

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

SIBERIAN HISTORICAL RESEARCH

Научный журнал

2025

№ 3

**Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 54966 от 08.08.2013)**

Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» – 94047

Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, входящих
в международные реферативные базы данных и системы цитирования,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук», Высшей аттестационной комиссии

Учредитель – Томский государственный университет

Главный редактор

Функ Дмитрий Анатольевич, Московский государственный лингвистический университет, Россия

Редакционная коллегия:

Соколовский Сергей Валерьевич, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия – заместитель главного редактора

Зайцева Ольга Викторовна, Томский государственный университет, Россия – заместитель главного редактора

Хазанов Анатолий Михайлович, университет Висконсин-Мэдисон, США
Нам Ираида Владимировна, Томский государственный университет, Россия
Швайцер Петер, университет г. Вена, Австрия

Трубина Елена Германовна, Уральский федеральный университет, Россия

Редакторы отдела рецензий:

Басов Александр Сергеевич, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия

Ковальский Святослав Олегович, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия

Редакционный совет:

Балзер Марджори Мандельштам, Джорджтаунский университет, США

Бирталан Агнеш, университет им. Лоранда Этвеша, Венгрия

де Грааф Тьеерд, университет г. Гронинген, Нидерланды

Грант Брюс, университет Нью-Йорка, США

Дериглазова Лариса Валериевна, Томский государственный университет, Россия

Дыбо Анна Владимировна, Институт языкознания РАН, Россия

Дятлов Виктор Иннокентьевич, Иркутский государственный университет, Россия

Завьялов Владимир Игоревич, Институт археологии РАН, Россия

Зиновьев Василий Павлович, Томский государственный университет, Россия

Крадин Николай Николаевич, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Россия

Лбова Людмила Валентиновна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия

Миськова Елена Вячеславовна, Институт этнологии и антропологии РАН, Россия

Степанов Шарль, Практическая Школа Высших Исследований, Франция

Уигет Эндрю, Государственный университет Нью-Мексико, США

Харусь Ольга Анатольевна, Томский государственный университет, Россия

Хлыновская-Рокхилл Елена Владимировна, Кембриджский университет, Великобритания

Секретарь: *Альбина Глуценко (Рассказчикова)*, Томский государственный университет, Россия

Переводчик: *Данилова Анастасия Павловна*, Томский государственный университет, Россия

Адрес издателя и редакции:

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет.

E-mail: shrjournal@mail.tsu.ru. Сайт журнала: www.journals.tsu.ru/siberia

Издательство: Издательство Томского государственного университета.

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36.

Телефоны: 8(382-2)–52-98-49; 8(382-2)–53-15-28; 8(382-2)–52-96-75

Сайт: <http://publish.tsu.ru>

E-mail: rio.tsu@mail.ru

Founder – Tomsk State University

Editor-in-Chief

Funk, Dmitry, Moscow State Linguistic University, Russia

Editorial Board:

Sokolovskiy, Sergey, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Russia – Associate Editor

Zaytseva, Olga, Tomsk State University, Russia – Associate Editor

Hazanov, Anatoliy, University of Wisconsin-Madison, USA

Nam, Iraida, Tomsk State University, Russia

Schweitzer, Peter, University of Vienna, Austria

Trubina, Elena, Ural Federal University, Russia

Book Review Editors:

Basov, Aleksandr, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Russia

Kovalskiy, Svyatoslav, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Russia

Editorial Advisory Board:

Balzer, Marjorie Mandelstam, Georgetown University, USA

Birtalan, Agnes, Eotvos Lorand University, Hungary

de Graaf, Tjeerd, Groningen University, the Netherlands

Grant, Bruce, University of New York, USA

Deriglazova, Larisa, Tomsk State University, Russia

Dybo, Anna, The Institute of Linguistics, RAS, Russia

Dyatlov, Viktor, Irkutsk State University, Russia

Zavyalov, Vladimir, Institute of Archaeology RAS, Russia

Zinoviev, Vasiliy, Tomsk State University, Russia

Kradin, Nikolay, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far-East, Far-Eastern Branch of the RAS, Russia

Lbova, Lyudmila, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia

Miskova, Elena, Institute of Ethnology and Anthropology RAS, Russia

Stépanoff Charles, Ecole Pratique des Hautes Etudes, France

Kharus, Olga, Tomsk State University, Russia

Khlinovskaya Rockhill, Elena, University of Cambridge, UK

Wiget, Andrew, New Mexico State University, USA

Secretary *Albina Glushchenko (Rasskazchikova)*, Tomsk State University, Russia

Translator *Anastasia Danilova*, Tomsk State University, Russia

СОДЕРЖАНИЕ

КАНОНЫ НАСЛЕДИЯ И ПРАКТИКИ ОХРАНЫ ПРОШЛОГО В СССР

(отв. ред. спец. темы – Е.А. Мельникова)

Мельникова Е.А. Каноны наследия и практики охраны прошлого в СССР. Введение к специальной теме номера	8
Мельникова Е.А. Канон наследия и национальные окраины: от советских списков памятников истории и культуры к объектам культурного наследия России	19
Неплюев П.А. Практики охраны историко-культурного наследия в национальных округах в позднесоветский период: по материалам Коми-Пермяцкого отделения ВООПИК	55
Клюева В.П. Низовые практики сохранения исторического наследия в 1980–1990-е гг. (кейс «Доброй воли», г. Тобольск)	77

ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ НА КАВКАЗЕ

(отв. ред. спец. темы – Э.Б.М. Гучинова, Г.А. Шагоян)

Гучинова Э.-Б.М., Шагоян Г.А. Языки описания насильственных переселений: власть, идентичность, память. Введение к специальной теме номера	96
Шагоян Г.А. Бюрократический, научный и вернакулярный тезаурус депортации армян 1949 г.	106
Гуляева Е.Ю., Андреева Ю.О. Вынужденное переселение армян-нахичеванцев в конце 1980-х гг.: хроника событий и категории самоописания	131

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ

И ФИЗИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бочарова Е.Н., Кожевникова Д.В., Колобова К.А. Возможности и перспективы применения КТ и микро-КТ в археологических исследованиях	152
Колясникова А.С., Маркин С.В., Колобова К.А. Способы разделки бизонов неандертальцами Чагырской пещеры (Алтай)	174
Васильев С.В., Герасимова М.М. Борущкая С.Б., Лейбова Н.А., Рассказова А.В., Кузьмин Я.В. Новые данные о древнем человеке из неолитической стоянки Берендеево	196

MISCELLANEA

Устюжанцева О.В., Прокопова С.М., Кравчук С.Г. Арктический город между проектом и повседневностью: эпистемология комфорта	226
Вигет Д.А. Реки и дороги: векторы движения, развитие инфраструктуры и перемены в культурных ландшафтах юганских ханты	249

Миськова Е.В. Культура медицинской помощи и ПТСР: многовекторный подход к диагностике	266
---	-----

РЕЦЕНЗИИ

Любимова Н.С. Отражения эпох в истории Восточноазиатского общества	307
Танайлова В.А. Право на выбор права	316

CONTENTS

THE HERITAGE CANONS AND THE PRACTICES OF PROTECTION OF THE PAST IN THE USSR

(Guest Editor *E.A. Melnikova*)

Melnikova E.A. The Heritage Canons and the Practices of Protecting the Past in the USSR. Introduction to the Special Theme of the Issue	8
Melnikova E.A. The Heritage Canon and National Peripheries: From Soviet Lists of Historical and Cultural Monuments to Russia's Cultural Heritage Sites	19
Nepliyev P.A. Practices of Protecting Historical and Cultural Heritage in National Districts in the Late Soviet Period: Based on Materials from the Komi-Permyak Branch of VOPIK	55
Klueva V.P. Grassroots Practices of Historical Heritage Preservation in the 1980s–1990s (the “Dobraya Volya” Case, Tobolsk)	77

LANGUAGES FOR DESCRIBING FORCED RESETTLEMENT IN THE CAUCASUS

(Guest Editors *E.-B.M. Guchinova & G.A. Shagoyan*)

Guchinova E.-B.M., Shagoyan G.A. Languages of Representation of Forced Displacements: Authority, Identity, and Memory. Introduction to the Special Theme of the Issue	96
Shagoyan G.A. Bureaucratic, Scholarly, and Vernacular Thesaurus of the Deportation of Armenians in 1949	106
Guliaeva E.Yu., Andreeva J.O. Forced Resettlement of Nakhichevan Armenians in the late 1980s: Chronicle of Events and Categories of Self-description	131

STUDIES IN ARCHAEOLOGY AND PHYSICAL ANTHROPOLOGY

Bocharova E.N., Kozhevnikova D.V., Kolobova K.A. Possibilities and Prospects of CT and Micro-CT Applications in Archaeological Research	152
Koliasnikova A.S., Markin S.V., Kolobova K.A. Neanderthal Butchery Practices of Bison at Chagyrskaya Cave (Altai)	174
Vasiliev S.V., Gerasimova M.M., Borutskaya S.B., Leibova N.A., Rasskazova A.V., Kuzmin Ya.V. New Data on the Ancient Man from the Neolithic Site of Berendeevo	196

MISCELLANEA

Ustyuzhantseva O.V., Prokopova S.M., Kravchuk S.G. The Arctic City Between Design and Daily Life: An Epistemology of Comfort	226
Wiget D.A. Rivers and Roads: Movement Vectors, Infrastructure Development and Changes in Yugan Khanty Cultural Landscapes	249

Miskova E.V. Culture of Care and PTSD: A Multi-vector Approach to Diagnosis	266
---	-----

REVIEWS

Liubimova N.S. Reflections of Eras in the History of East Asian Society	307
Tanaylova V.A. The Right to Choose the Right	316

КАНОНЫ НАСЛЕДИЯ И ПРАКТИКИ ОХРАНЫ ПРОШЛОГО В СССР

(отв. ред. специальной темы номера – Е.А. Мельникова)

Научная статья
УДК 94(470)
doi: 10.17223/2312461X/49/1

Каноны наследия и практики охраны прошлого в СССР. Введение к специальной теме номера

Екатерина Александровна Мельникова

*Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия,
Melek@eu.spb.ru*

Аннотация. Обсуждаются критические подходы к исследованию наследия. Рассматриваются общие направления развития этой области в последние десятилетия и специфика изучения российских политик и практик заботы о прошлом. Автор подчеркивает релятивное значение самой категории ценного прошлого и его связь с более общими политическими, экономическими и социальными процессами. В работе намечаются основные точки напряжения в историографии советских канонов наследия и обосновывается актуальность исследования региональных вариантов советской политики в области охраны историко-культурного наследия. Автор показывает, что каноны наследия в СССР не были статичными наборами правил, а формировались через согласование интересов различных акторов – государственных органов охраны, научных экспертов и общественных активистов. Особое внимание уделено противоречиям между центром и периферией, консерваторами и модернизаторами, а также роли гражданских инициатив в процессе согласования представлений о прошлом. Статья выявляет сложность и многомерность процесса производства и переоценки наследия, демонстрируя значимость расширения географических и методологических подходов к исследованию советского и постсоветского культурного наследия.

Ключевые слова: наследие, историческая память, история СССР

Для цитирования: Мельникова Е.А. Каноны наследия и практики охраны прошлого в СССР. Введение к специальной теме номера // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 8–18. doi: 10.17223/2312461X/49/1

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/1

The Heritage Canons and the Practices of Protecting the Past in the USSR. Introduction to the Special Theme of the Issue

Ekaterina A. Melnikova

*European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russian Federation,
Melek@eu.spb.ru*

Abstract. The article provides an overview of critical heritage studies, outlining key developments in the field and exploring the specific issues related to the study of Russian heritage policies and preservation practices. The author stresses the contingent and negotiable nature of what is considered valuable in the past, situating heritage process within larger political, economic, and social contexts. Key historiographical tensions regarding Soviet heritage canons are outlined, alongside an argument for the importance of examining regional differences in Soviet heritage protection policies. The article demonstrates that Soviet heritage canons were dynamic, shaped through negotiation among state bodies, academic experts, and civil activists. Particular attention is paid to conflicts between the center and periphery, conservatives and modernizers, as well as the role of civic initiatives in reconciling differing views of the past. Ultimately, the article highlights the complexity and multidimensionality of heritage production and reassessment, underscoring the need to broaden geographic and methodological approaches in the study of Soviet and post-Soviet cultural heritage.

Keywords: heritage, historical memory, history of the USSR

For citation: Melnikova, E.A. (2025) The Heritage Canons and the Practices of Protecting the Past in the USSR. Introduction to the Special Theme of the Issue. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 8–18. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/1

В последние годы понятие «наследие» все чаще становится объектом критического анализа, постепенно вытесняя «память» в качестве концептуальной линзы, сквозь которую исследователи смотрят на отношения между настоящим, прошлым и будущим. Так же как когда-то мемориальные исследования вошли в моду, захватив пространство гуманитарных конференций и периодических изданий, сегодня выходят сотни работ, посвященных тому, как наследие воплощается, создается и используется. Такой поворот можно считать естественной сменой модных ориентиров и результатом академической усталости от проблематики памяти с ее неразрешенными вопросами и противоречиями (Ассман 2014: 16–17; Feindt et al. 2014). Вместе с тем отказ от фокуса на «памяти» в пользу «наследия» открывает действительно новые возможности для понимания того, как люди обращаются с прошлым.

Критические исследования наследия, начавшиеся с «разоблачительных» публикаций конца 1980-х гг. (Hewison 1987) и стремительно развивающиеся с начала 2000-х гг. (Колесник, Русанов 2022; Harrison 2010), представляют сегодня огромную междисциплинарную область, опирающуюся на несколько главных постулатов. Во-первых, наследие, как и память, является результатом отбора, отражающего взгляд на прошлое из настоящего. Во-вторых, хотя ценность объектов наследия считается их имманентным, естественным свойством, критерии, институты и способы оценки изменчивы, нестабильны и противоречивы. В-третьих, наследие – это процесс производства ценности, а не сами материальные артефакты. В-четвертых, идеология и инфраструктура наследия – относительно новые явления, которые формировались начиная с XIX в. и неразрывно связаны с понятием модерности. Категория «наследия» как коллективного блага и инструмента управления прошлым возникает вместе с урбанизацией и индустриализацией, развитием науки и переходом к всеобщей грамотности, требованиями политического представительства, развитием средств массовой коммуникации (Несовершенная публичная 2016) и другими технологиями европейской модернизации¹.

Главный итог развития критических исследований наследия можно свести к признанию того факта, что «наследие» – не то, чем кажется, и не то, каким оно предъявляется самими стейкхолдерами, будь то историки архитектуры или искусствоведы, музейные сотрудники или члены государственных и международных комитетов охраны памятников, т.е. люди, которые на практике оценивают, сохраняют и контролируют использование памятников. Признание релятивной природы наследия как сложного процесса установления и переоценки ценности сделало возможным невероятный всплеск крайне интересных исследований, раскрывающих историю институтов наследия, особенности их работы и конкуренции за авторитет, иными словами, исследований, позволяющих взглянуть на политические, экономические и социальные процессы сквозь призму того, как по-разному устанавливается ценность таких объектов².

«Наследие» при таком подходе оказывается одной из самых продуктивных категорий социального анализа, позволяя проблематизировать глобальные исторические процессы, горизонтальные взаимоотношения между разными участниками, а также персонализированный, телесный, аффективный опыт проживания ценности объектов прошлого и его связь с идентичностью, субъектностью и привязанностью. Неудивительно, что при таких широких перспективах критические исследования наследия развиваются с геометрической прогрессией, расширяя свои географические, исторические и методологические горизонты.

Российские материалы, составляющие основу как исторического, так и антропологического исследовательского поля, представляют интерес

не только как источники, раскрывающие специфику российских институтов и инфраструктур наследия, но и как повод для обсуждения больших теоретических вопросов: как наследие инструментализируется современными политиками, какие изменения претерпевает концепция ценного прошлого при смене национальных экономических моделей и глобальном переходе к постиндустриальной экономике, как функционирует и меняется концепция коллективного блага в разных режимах публичности.

В последние десять лет был опубликован целый ряд работ, позволяющих взглянуть на российские материалы в такой широкой перспективе. Это и монография Екатерины Правиловой, посвященная поздним имперской истории формирования концепции «общего блага» (Правилова 2022), и книга Ирины Сандомирской «Past Discontinuous», где анализируются различные эффекты «патримониального дискурса» и связанных с ним противоречий (Сандомирская 2022). В своей диссертации Коринн Гееринг рассматривает историю взаимодействия советских институтов наследия с международными организациями, демонстрируя транснациональную природу институтов охраны памятников (Geering 2019). В том же году, что и диссертация Гееринг, вышла книга Виктории Донован «Chronicles in Stone», раскрывающая особенности советской политики в отношении наследия на примере Новгорода, Вологды и Пскова – исторических центров древнерусской государственности (Donovan 2019). Интересные материалы были собраны участниками проекта о культурной собственности (*cultural property*), инициированного исследователями из университетов Геттингена и Гамбурга в 2008 г. В сборнике «Heritage Regimes», опубликованном по результатам этого проекта, нет главы, посвященной России, но сама концепция режимов наследия, предложенная авторами, служит удобной рамкой для сравнительного анализа инфраструктур охраны ценного прошлого в разных странах (Bendix et al. 2013). Опубликованная в этом сборнике статья Габриеле Ментегес о роли ЮНЕСКО в современной национальной политике Узбекистана затрагивает и многие вопросы, связанные с советской предисторией этой политики (Mentges 2013). Книга под редакцией Эстер Гантнер, Коринн Гееринг и Поля Викерса обеспечивает сравнительный контекст социалистических режимов наследия (Gantner et al. 2021). Большое число работ, вышедших в недавнее время, посвящено не историческим, а современными российским практикам согласования ценности наследия и поиску новых подходов для их интерпретации³.

Один из ключевых вопросов, который соединяет исторические и антропологические исследования, заключается в проблеме преемственности или разрыва между советскими и постсоветскими практиками заботы о прошлом. Этот вопрос актуален и при анализе общественных движений, возникающих вокруг или в связи с охраной исторических памятников, и в обсуждении государственной политики наследия, которая

отчасти следует сложившимся еще в советский период канонам, и отчасти порывает с ними, реагируя на общие социальные, экономические и политические процессы. Авторы статей, включенных в специальную подборку этого номера журнала «Сибирские исторические исследования», конечно, не дают исчерпывающий ответ на этот вопрос, но намечают важные точки напряжения в исследовании советских форм обращения с прошлым.

Одна из них – это давно обсуждаемая дилемма «власть vs. общество», которая получает новое звучание, если в качестве призмы выступает система оценки и переоценки прошлого. Понятие, вынесенное в название специальной темы номера – «каноны наследия» – было использовано Родни Харрисоном для обозначения именно государственных, национальных принципов отбора ценных памятников, отражающих и воплощающих официальные исторические нарративы (Harrison 2010). Каноны наследия, как и другие виды канонов – литературных и художественных, предъявляют обществу его наследие, отобранное исходя из того, какое именно прошлое признается ценным национальными институтами памяти.

Именно с этой точки зрения Е.А. Мельникова рассматривает в своей статье государственные реестры, которые с середины 1930-х гг. и вплоть до конца советского периода составлялись комитетами по охране памятников в РСФСР, а позднее легли в основу современного государственного реестра объектов культурного наследия. Принципы отбора объектов для постановки на государственную охрану отражали меняющуюся политическую повестку, и, хотя списки не гарантировали ни выделения средств на ремонт или реставрацию, ни даже сохранения объектов, все же они выполняли важную роль легитимации принципов оценки прошлого. В этом качестве они служат хорошим источником для анализа территориального распределения ценных объектов и эволюции самого подхода к их оценке. В то же время каноны наследия не были инструментом мягкой силы и формой тоталитарного контроля метрополии над регионами. Скорее, они складывались в результате согласования ценности прошлого между разными экспертными группами, а их динамика отражала изменения в самом подходе к тому, что заслуживает государственной и общественной заботы.

Вторая точка напряжения в исследовании советских практик и политик наследия связана с вопросом о монолитности и однородности канонов наследия. Большинство современных работ, посвященных охране памятников истории и культуры, опираются на материалы Европейской части России, прежде всего тех регионов, которые традиционно считаются ядром формирования русской государственности – северо-восточной Руси, Новгорода и Пскова (Болтунова, Егорова 2022: 129). Именно история создания Древнерусского государства и его последующего пре-

вращения в империю стала канонической версией историографии, ретанимированной в конце 1930-х гг. и определившей сталинскую концепцию истории (Бранденбергер 2017; Тихонов 2024). Архитектурные памятники Владимира и Суздаля, Пскова и Новгорода служили воплощением метафоры «колыбель русской культуры» и эталонами ценного наследия советского народа. Хотя политическое использование прошлого этих регионов вызывало разную реакцию местных жителей, включая краеведов и специалистов по археологии и истории архитектуры (Pattle 2018), все же высокий политический статус локального прошлого обеспечивал им значительные привилегии в сравнении со всей остальной страной, оказавшейся на периферии советской империи наследия. В этом контексте особенно актуальным становится вопрос о том, как именно формировались концепции наследия в тех регионах, которые не могли «похвастаться» своим участием в становлении русского государства или даже вынуждены были скрывать свое сопротивление этому становлению, или попросту находились слишком далеко от центра, чтобы привлечь внимание столичных экспертов по охране памятников.

Риторика спасения наследия, ставшая нормативной в послевоенные годы, и последующее включение охраны прошлого в брежневскую политическую повестку (Donovan 2019) привели к значительной активизации местных энтузиастов, стремившихся найти ценные памятники у себя на родине и сделать их видимыми на карте общенародного достояния. Локальные, исторические, национальные особенности этих поисков неизбежно приводили к диверсификации канона наследия. Статьи Петра Неплюева и Веры Ключевой, включенные в специальную тему этого номера, обращены как раз к истории формирования региональных программ в сфере охраны памятников, где были и свои болевые точки, и свои излюбленные сюжеты. В обоих текстах речь идет о позднесоветском времени, когда охрана памятников становится важной точкой сборки различных гражданских инициатив и предметом заботы новых общественных организаций.

Петр Неплюев рассматривает в своей статье практики охраны историко-культурного наследия на территории Коми-Пермяцкого национального округа в 1960–1980-е гг., обращаясь к материалам местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ставшего в этот период одним из ключевых акторов в деле переговоров о судьбе наследия. Разделяя общие принципы оценки прошлого с московскими экспертами, добившимися создания общества в середине 1960-х гг., местные активисты сталкивались с целым рядом проблем, обусловленных региональной спецификой, включая административную принадлежность края к Пермской области, географические и культурные особенности края.

Вера Клюева обращается к истории борьбы за исторический облик Тобольска – одного из старейших городов Западной Сибири, оказавшегося в конце XX в. предметом острого противостояния между модернизаторами, стремившимися создать город, отвечающий нуждам промышленного развития в регионе, и консерваторами, оплакивавшими стремительно исчезающее городское наследие. Рассматривая деятельность клуба «Добрая воля», появившегося в Тобольске в середине 1980-х гг., Клюева показывает мобилизующее значение местного наследия, превратившегося в ключевой символ локальной идентичности. В этом случае мы видим, как каноны наследия не только производятся, но и проживаются людьми, объединенными идеей спасения прошлого, которому грозит уничтожение.

В этой же статье на первый план выходит и третья важная линия напряжения в исследовании советских практик охраны прошлого: столкновение не только разных взглядов на ценность прошлого, но и разных моделей будущего. Всплеск активизма в области охраны памятников в Тобольске был ответом на стремительную модернизацию города, поставленного на службу строящемуся нефтехимическому комбинату. Но вопрос о том, что лучше для города – меняться в погоне за развитием промышленности и технологий или служить историческим заповедником, сохраняя наследие прошлого для будущих поколений, был одним из самых острых для всех регионов во второй половине XX в. Спор между консерваторами и модернизаторами отражает фундаментальную дилемму сохранения и разрушения, о которой пишет Ирина Сандомирская (2022), и становится ареной, на которой формируются критерии оценки наследия и принципы отбора объектов, нуждающихся в активной и целенаправленной защите.

Опубликованные в этой тематической подборке работы предлагают не только новые материалы по истории охраны прошлого в различных регионах Сибири, но и позволяют взглянуть на эту историю как на процесс столкновения, оспаривания и согласования разных концепций наследия. Эти концепции отражают как политику метрополии и региональных центров, так и взгляды экспертов, обычных горожан, архитекторов, городских планировщиков и страстных ревнителей ценного прошлого. Канон наследия в этом случае – не фиксированный набор авторитетных правил, установленных национальными институтами охраны памятников, а динамичная система оценки и переоценки прошлого, отвечающая интересам различных стейкхолдеров наследия. Принципы оценки, как и состав участников процесса оценивания, изменчивы и не универсальны. Именно поэтому мы используем понятие «канон наследия» во множественном числе и надеемся на дальнейшее обсуждение их возможных вариантов.

Примечания

¹ Тимур Атнашев и Михаил Велижев выделяют 13 условных признаков модерности, в разной степени и в комбинации отражающих процессы модернизации во всех европейских государствах. Но споры о наборе этих признаков и самой сущности этого понятия не затихают уже многие годы. См.: (Дэвид-Фокс 2020; Санчес-Сибони 2022); обсуждение статьи Майкла Дэвида-Фокса (2016) в журнале НЛО (2016. № 140).

² Более подробный обзор исследований можно найти в статье Е.А. Мельниковой в этом номере журнала.

³ См., например, недавний номер журнала «Этнографическое обозрение», где опубликованы статьи участников проекта «Инициативы по производству и сохранению памяти и наследия в современной России: акторы, мотивации, механизмы», посвященные антропологии наследия (Куприянов 2025; Мочалова 2025; Танайлова 2025; Чубукова 2025), а также работы Елены Тыкановой, Любви Чернышовой и Анисьи Хохловой, выполненные в рамках проекта «Механизмы согласования интересов в процессах развития городских территорий», в которых центральное место отводится процессу переговоров о цене и ценности городского наследия (Тыканова, Хохлова 2025; Чернышова, Хохлова 2021; Бедерсон и др. 2021).

Список источников

- Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Бориса Хлебникова. М.: НЛО, 2014.
- Атнашев Т., Велижев М. Семья модерности и кривая тесина русской истории // НЛО. 2016. № 40. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/140_nlo_4_2016/article/12051/
- Бедерсон В.Д., Желнина А.А., Запорожец О.Н., Минаева Э.Ю., Семенов А.В., Тыканова Е.В., Хохлова А.М., Чернышева Л.А., Шевцова И.К. Города расходящихся улиц: траектории развития городских конфликтов в России / отв. ред. Е.В. Тыканова. М.; СПб.: ФНИСЦ РАН, 2021.
- Болтунова Е., Егорова Г. Территория и история: позднесоветские проекты «Города-герои» и «Золотое кольцо». М.: Кучково поле, 2022.
- Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм. Советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.) / пер. с англ. Н.Г. Алешиной и др. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РОССПЭН, 2017.
- Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? (пер. с англ. Татьяны Пирусской) // НЛО. 2016. № 40. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/140_nlo_4_2016/article/12048/
- Дэвид-Фокс М. Пересекая границы: модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе / пер. с англ. Т. Пирусской. М.: НЛО, 2020.
- Колесник А., Русанов А. Наследие-как-процесс: дискуссии о концепте культурного наследия в современных социальных и гуманитарных науках // Вестник Пермского университета. История. 2022. № 3 (58). С. 58–69.
- Куприянов П.С. Сберегая «левый берег»: авторизованный дискурс наследия на романовской стороне Тутаева // Этнографическое обозрение. 2025. № 2. С. 11–34.
- Мочалова М.А. Нганасанские идолы и советские этнографы в оптике критических исследований наследия: от сакрального к музейному // Этнографическое обозрение. 2025. № 2. С. 34–55.
- Правилова Е.А. Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России. М.: НЛО, 2022.
- Сандомирская И. Past discontinuous: фрагменты реставрации. М.: НЛО, 2022.

- Санчес-Сибони О. Красная глобализация: политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева / пер. с англ. К. Фомина. Бостон; Санкт-Петербург: Academic studies press БиблиоРоссика, 2022.
- Танайлова В.А. Школьный музей в Красногорске, мой дед и я: мотивации и механизмы производства космического наследия // Этнографическое обозрение. 2025. № 2. С. 77–96.
- Тихонов В. Полезное прошлое. История в сталинском СССР. М.: НЛЮ, 2024.
- Тыканова Е.В., Хохлова А.М. «Между мирами»: позиции игроков в полях стратегического действия в ситуациях (не)сохранения городского деревянного зодчества // Журнал исследований социальной политики. 2025 (в печати).
- Чернышева Л., Хохлова А. Создавая ценность и аутентичность: городские конфликты вокруг исторических зданий // Журнал исследований социальной политики. 2021. № 19 (2). С. 223–238.
- Чубукова Д.Г. Памятники Крыма о Гражданской войне: мнемонические акторы – воители памяти // Этнографическое обозрение. 2025. № 2. С. 56–76.
- Bendix R., Eggert A., Peselmann A. (eds.) *Heritage Regimes and the State*. Göttingen: University Press, 2013.
- Donovan V. *Chronicles in Stone: Preservation, Patriotism, and Identity in Northwest Russia*. Ithaca; New York: Cornell University Press, 2019.
- Feindt G., Krawatzek F., Mehler D., Pestel F., Trimçev R. Entangled memory: toward a third wave in memory studies // *History and Theory*. 2014. № 53 (1). P. 24–44.
- Gantner E., Geering C., Vickers P., eds. *Heritage under Socialism: Preservation in Eastern and Central Europe, 1945–1991*. New York; Oxford: Berghahn Books, 2021.
- Geering C. *Building a Common Past: World Heritage in Russia under Transformation, 1965–2000*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress, 2019.
- Harrison R. *What is Heritage?* // *Understanding the Politics of Heritage*. Manchester; Milton Keynes: Manchester University Press, 2010. P. 5–42.
- Hewison R. *The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline*. London: Methuen London, 1987.
- Mentges G. The Role of UNESCO and the Uzbek Nation Building Process // *Heritage Regimes and the State* / eds. by R. Bendix, A. Eggert, A. Peselmann. Göttingen: University Press, 2013. P. 213–226.
- Pattle Sh. Forging the Golden Ring: Tourist Development and Heritage Preservation in the Late Soviet Union // *The Slavonic and East European Review*. 2018. Vol. 96, № 2. P. 283–309.

References

- Assmann, A. (2014) *Dlinnaia ten' proshlogo: memorial'naia kultura i istoricheskaiia politika* [The long shadow of the past: memorial culture and historical policy]. Moscow: NLO.
- Atnashev, T. and Velizhev, M. (2016) 'Sem'ia modernosti i krivaia tesina russkoi istorii' [The family of modernity and the tightening noose of Russian history], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 40. Available at: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/140_nlo_4_2016/article/12051/
- Bederson, V.D., Zhelnina, A.A., Zaporozhets, O.N., Minaeva, E.Yu., Semenov, A.V., Tykanova, E.V., Khokhlova, A.M., Chernysheva, L.A., Shevtsova, I.K. (2021), *Goroda raskhodiashchikhsia ulits: traektorii razvitiia gorodskikh konfliktov v Rossii* [Cities of diverging streets: trajectories of urban conflict development in Russia] (E.V. Tykanova, Ed.). Moscow, St. Petersburg: FNIS RAN.
- Bendix, R., Eggert, A., Peselmann, A. (eds.) (2013) *Heritage Regimes and the State*. Göttingen: University Press.
- Boltanski, L., Esquerre, A. (2020) *Enrichment: a critique of commodities*; transl. by Catherine Porter. Cambridge, UK; Medford, MA: Polity Press.

- Boltunova, E., Egorova, G. (2022) *Territoriia i istoriia: pozdnesovetskie proekty 'Gorodageroi' i 'Zolotoe kol'tso'* [Territory and history: Late Soviet projects 'Hero Cities' and 'Golden Ring']. Moscow: Kuchkovo pole.
- Brandenberger, D. (2002) *National Bolshevism: Stalinist mass culture and the formation of modern Russian national identity, 1931–1956*. Harvard University Press.
- Chernysheva, L., Khokhlova, A. (2021) Sozdavaia tsennost' i autentichnost': gorodskie konflikty vokrug istoricheskikh zdaniy [Creating value and authenticity: urban conflicts around historic buildings], *Zhurnal issledovaniy sotsial'noi politiki* [Journal of Social Policy Research], 19 (2), pp. 223–238.
- Chubukova, D.G. (2025) 'Pamiatniki Kryma o Grazhdanskoi voine: mnemonicheskie aktory – voiteli pamyati' [Crimean Civil War monuments: mnemonic actors – warriors of memory], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2, pp. 56–76.
- David-Fox, M. (2015) *Crossing borders: modernity, ideology, and culture in Russia and the Soviet Union*. University of Pittsburgh Press.
- Donovan, V. (2019) *Chronicles in Stone: Preservation, Patriotism, and Identity in Northwest Russia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Feindt, G., Krawatzek, F., Mehler, D., Pestel, F. and Trimçev, R. (2014) Entangled memory: toward a third wave in memory studies, *History and Theory*, 53(1), pp. 24–44.
- Gantner, E., Geering, C., Vickers, P. (eds.) (2021) *Heritage under Socialism: Preservation in Eastern and Central Europe, 1945–1991*. New York, Oxford: Berghahn Books.
- Geering, C. (2019) *Building a Common Past: World Heritage in Russia under Transformation, 1965–2000*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress.
- Harrison, R. (2010) 'What is Heritage?' in R. Harrison (ed.) *Understanding the Politics of Heritage*. Manchester and Milton Keynes: Manchester University Press, pp. 5–42.
- Hewison, R. (1987) *The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline*. London: Methuen London.
- Kolesnik, A., Rusanov, A. (2022) 'Nasledie-kak-protess: diskussii o kontsepte kul'turnogo nasledia v sovremennykh sotsial'nykh i gumanitarnykh naukakh' [Heritage as a process: discussions on the concept of cultural heritage in contemporary social and humanities sciences], *Vestnik Permskogo universiteta. Istoriia*, 3 (58), pp. 58–69.
- Kuprianov, P.S. (2025) 'Sberegaiia "levyi bereg": autorizovannyi diskurs nasledia na Romanovskoi storone Tutaeva' [Saving the "left bank": authorized heritage discourse on the Romanov side of Tutaev], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2, pp. 11–34.
- Lowenthal, D. (1985) *The past is a foreign country*. New York: Cambridge University Press.
- Mentges, G. (2013) 'The Role of UNESCO and the Uzbek Nation Building Process' in R. Bendix, A. Eggert and A. Peselmann (eds.) *Heritage Regimes and the State*. Göttingen: University Press, pp. 213–226.
- Mochalova, M.A. (2025) 'Nganasanskii idoly i sovetskie etnografy v optike kriticheskikh issledovaniy nasledia: ot sakral'nogo k muzeinomu' [Nganasan idols and Soviet ethnographers in critical heritage studies: from sacred to museum], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2, pp. 34–55.
- Pattle, Sh. (2018) 'Forging the Golden Ring: Tourist Development and Heritage Preservation in the Late Soviet Union', *The Slavonic and East European Review*, 96(2), pp. 283–309.
- Pravilova, E. A. (2014) *A public empire: property and the quest for the common good in imperial Russia*. Princeton University Press, 2014.
- Sanchez-Sibony, O. (2014) *Red Globalization: The Political Economy of the Soviet Cold War from Stalin to Khrushchev*. Cambridge University Press.
- Sandomirskaiia, I. (2022) *Past discontinuous: fragmenty restoratsii* [Past discontinuous: fragments of restoration]. Moscow: NLO.
- Schönle, A. (2011) *Architecture of Oblivion: Ruins and Historical Consciousness in Modern Russia*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Tanailova, V.A. (2025) 'Shkol'nyi muzei v Krasnogorske, moi ded i ia: motivatsii i mekhanizmy proizvodstva kosmicheskogo nasledia' [School museum in Krasnogorsk, my

- grandfather and I: motivations and mechanisms of producing cosmic heritage], *Etnograficheskoe obozrenie*, 2, pp. 77–96.
- Tikhonov, V. (2024) *Poleznoe proshloe: istoriia v stalinskom SSSR* [Useful past: history in Stalin's USSR]. Moscow: NLO.
- Тыканова, Е.В., Хохлова, А.М. (2025) '«Mezhdru mirami»: pozitsii igrokov v poliakh strategicheskogo deistviia v situatsiiakh (ne)sokhraneniia gorodskogo dereviannogo zodchestva' ["Between worlds": positions of actors in fields of strategic action in situations of (non)preservation of urban wooden architecture], *Zhurnal issledovanií sotsial'noi politiki* [Journal of Social Policy Research]. (in press).

Сведения об авторе:

МЕЛЬНИКОВА Екатерина Александровна – кандидат исторических наук, доцент, Европейский университет в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: Melek@eu.spb.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Ekaterina A. Melnikova, European University at St. Petersburg (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: Melek@eu.spb.ru

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 18 июля 2025;
принята к публикации 8 августа 2025.*

*The article was submitted 18.07.2025;
accepted for publication 08.08.2025.*

Научная статья
УДК 94(470)
doi: 10.17223/2312461X/49/2

Канон наследия и национальные окраины: от советских списков памятников истории и культуры к объектам культурного наследия России

Екатерина Александровна Мельникова

*Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия,
Melek@eu.spb.ru*

Аннотация. Исследуется история формирования и изменения канона культурного наследия в России с советского периода до настоящего времени. Основными источниками служат списки памятников истории и культуры, которые рассматриваются, с одной стороны, как материальное воплощение меняющейся исторической и национальной политики, а с другой – как свидетельства ключевых противоречий между централизованными и региональными подходами к определению ценности наследия. Прослеживается эволюция критериев отбора объектов наследия – от руссоцентричного и европоцентричного канона 1930–1940-х гг. к более диверсифицированным и децентрализованным практикам постсоветского времени, позволяющим локальным экспертным сообществам не только участвовать в экстенсивном пополнении корпуса национального достояния, но и менять сами критерии определения ценного прошлого, требующего государственной и общественной заботы.

Ключевые слова: историко-культурное наследие, историческая политика, национальная политика, списки памятников, история России

Для цитирования: Мельникова Е.А. Канон наследия и национальные окраины: от советских списков памятников истории и культуры к объектам культурного наследия России // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 19–54. doi: 10.17223/2312461X/49/2

Original article
doi: 10.17223/2312461X/49/2

The Heritage Canon and National Peripheries: From Soviet Lists of Historical and Cultural Monuments to Russia's Cultural Heritage Sites

Ekaterina A. Melnikova

*European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russian Federation,
Melek@eu.spb.ru*

Abstract. This article examines the development and transformation of the cultural heritage canon in Russia from the Soviet era to the present. Using official lists of historical and cultural monuments as primary sources, it explores how these lists reflect

shifting historical and national policies, while also revealing tensions between centralized and regional approaches to heritage valuation. The study traces the evolution of selection criteria—from the Russo-centric and Eurocentric frameworks of the 1930s–40s to more diverse and decentralized post-Soviet practices. These newer approaches enable local expert communities not only to expand the national heritage corpus but also to redefine the criteria for what constitutes valuable heritage deserving of state and public protection.

Keywords: heritage, local initiatives, historical politics, nationality politics, heritage lists, history of Russia

For citation: Melnikova, E.A. (2025) The Heritage Canon and National Peripheries: From Soviet Lists of Historical and Cultural Monuments to Russia's Cultural Heritage Sites. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 19–54 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/2

С самых первых лет советской власти новое революционное правительство начало создавать инфраструктуру охраны наследия в СССР. Одновременно с разрушением символов старой России принимались меры по инвентаризации и национализации ценного достояния, которое теперь было признано народным богатством и предметом тщательного учета и переоценки. В этой статье я обращаюсь к анализу списков памятников истории и культуры, которые ставились на государственную охрану в РСФСР, и рассматриваю их как материальное воплощение канона наследия, утверждавшего и отражавшего меняющиеся ориентиры советской исторической политики. Вместе с тем сам этот канон был результатом сложных социальных и политических процессов, конфликтов и согласований между разными акторами центрального, регионального и местного уровней. Его изменения, как я утверждаю в этой работе, не были следствием исключительно динамики идеологического курса, но отражали трансформацию самой арены переговоров о содержании понятия «народное достояние», степень участия разных акторов в его кодификации и принципы оценки того, что именно составляет национальное наследие.

Наследие, память и политика

Современные критические исследования наследия, активно развивающиеся в последние десятилетия, определяются интересом не к самим памятникам прошлого и обоснованию их коллективной ценности, а к вопросам, связанным с формированием этой ценности – с ее динамикой, инфраструктурой производства, участниками, противоречиями и ее зависимостью от социального, политического и экономического контекстов (Smith 2006; Carman, Sorensen 2009; Harrison 2010; Gentry, Smith 2019; Harrison et al. 2023; Колесник, Русанов 2022). Это направление развивается сегодня в нескольких плоскостях.

Во-первых, оно тесно связано с анализом исторической политики и политики памяти, определяющей ключевые принципы оценки и отбора значимых объектов прошлого, заслуживающих сохранения или, наоборот, уничтожения. Работа с памятниками истории и культуры выступает элементом более широкого процесса создания и реконфигурации исторического канона, включающего разные виды иконоклазма, или, наоборот, монументальной пропаганды, отражающегося в учебниках истории, литературе, визуальных медиа и т.д. Значительный объем исследований, посвященных советской политике в области наследия, обращен именно к этой стороне работы с памятниками. Политика наследия трактуется в первую очередь как инструмент мягкой силы и идеологического контроля, обеспечивающий репрезентацию символов исторического прошлого в целях формирования и управления советским обществом (Donovan 2019; Deschepper 2019; Maddox 2015; Bittner 2008; Qualls 2009; Smith 1997; Forest, Johnson 2002; Eady 2009; Bogumił et al. 2015).

Во-вторых, это большая область исследований собственно институтов охраны наследия, появляющихся в Европе в XIX в. и активно разрастающихся на протяжении XX–XXI вв. в целую индустрию наследия. Для сравнительного анализа различных национальных форм этой индустрии ученые из Геттингенского университета предложили понятие «режим наследия», которое включает комбинацию из таких элементов, как бюрократия, политическая история, предшествующие режимы ценностей, стратегии наследия местного, национального и международного уровней, а также влияние посредников и интерпретаторов (Bendix et al. 2013)¹. В рамках этого направления наследие понимается как исключительно современный феномен, сложившийся в эпоху формирования либеральных концепций коллективного блага и инструментализации прошлого идеологиями национального романтизма (Правилова 2022; Шенле 2011; Лоуэнталь 2004).

Третье направление, появившееся позднее других, во многом отражающее специфику современного мемориального бума наследия, проблематизирует объекты наследия как точки социальной мобилизации и низового активизма. В контексте советской и постсоветской истории такие работы обращены в первую очередь к периодам 1960–1980-х гг. (Гладарев 2011, 2013; Келли 2009; Неплюев 2020, 2022; Павлова 2021; Болтунова, Егорова 2022) и современным формам активизма в сфере охраны памятников (Аргенбрайт 2021; Чернышева, Хохлова 2021; Бахарева, Садова 2021; Зверев 2016, 2017).

Наконец, четвертая область, прямо связанная с анализом практик и институтов производства наследия, – это история национальных, а точнее, национализирующих политик, активно использующих прошлое для легитимации символических границ, утверждения национального един-

ства и маркирования территорий в национальных терминах. Пересекающееся с исследованиями в области исторической политики, это направление крайне редко помещает в центр собственно институты охраны наследия, которые оказываются лишь одним из множества инструментов колонизации и деколонизации (Demchenko 2011; Abrahamian 2012; Darieva et al. 2012; Шагоян 2022). Редким исключением стала работа Светланы Горшениной и Веры Тольц, посвященная институтам наследия в Туркестане накануне революции и в первые послереволюционные десятилетия (Gorshenina, Tolz 2016). Но именно это исследование показывает всю сложность процессов согласования критериев оценки национального достояния, отвечавших интересам различных экспертных групп и одновременно откликавшихся на политические процессы национального размежевания.

Списки памятников истории и культуры, которые собирали и издавали различные ведомства, отвечавшие в СССР за охрану наследия, представляют собой уникальные источники, позволяющие совместить все четыре направления и проследить, с одной стороны, общую динамику канона наследия как отражения советской исторической и национальной политики, а с другой – проблематизировать сам канон как непосредственный продукт этой политики. Отталкиваясь от советских реестров народного достояния, я обращаюсь к тем процессам, которые скрываются за ними, непосредственно влияя на общий состав, региональное распределение и принципы отбора памятников. В этой работе я выбираю длинную историческую перспективу, начиная с 1930-х гг. и захватывая современным реестром объектов культурного наследия Российской Федерации. Естественно, что такой подход чреват рисками упрощения и поверхностного анализа. И все-таки, несмотря на очевидные недостатки, именно такой взгляд позволяет понять, как менялся канон наследия и чем были вызваны эти изменения.

Каноны наследия и национализирующие идеологии

Понятие «наследие» имеет бессчетное количество определений² и в самом широком смысле практически совпадает с определением культурной памяти. Андреас Шенле, к примеру, рассматривал наследие «как форму переговоров между настоящим и прошлым, которые ведутся во имя будущего» (Schönle 2012: 737), а согласно широко цитируемому определению Брайана Грэма, Грегори Эшворта и Джона Танбриджа, «наследие – это та часть прошлого, которую мы выбираем в настоящем для современных целей, будь то экономические, культурные, политические или социальные» (Graham et al. 2000: 32). Однако в исследованиях, ориентированных на анализ институтов, связанных с производством наследия как ценности, это понятие все-таки приобретает более ясные

черты и историческую прописку. Как показала Екатерина Правилова, идеология наследия тесно связана с концепцией коллективного блага, предполагающей, что индивидуальные права собственников могут и должны быть ущемлены в пользу коллективных в случае, если эти объекты признаны имеющими общественную ценность. Эта концепция формируется в Европе в XIX в. и получает развитие в законодательной базе, регламентирующей права собственности в отношении лесов, водных ресурсов, авторского права, а также ценных памятников прошлого (Правилова 2022; Шенле 2011). В это же время наследие включается в сферу символического управления и становится одним из мощных ресурсов национальных идеологий, позволяя государствам с помощью практик включения и исключения учреждать или реформировать канон ценного прошлого, изобретая и переизобретая, таким образом, историю нации.

Именно в этом контексте Родни Харрисон предлагает использовать понятие «канон наследия» по отношению к официальным спискам памятников, определяющим корпус наиболее ценных объектов прошлого. «Каноны, – пишет Харрисон, – могут рассматриваться как идеологические инструменты, способствующие распространению ценностей, на которых основывается определенное видение нации. Создание категории вещей, которые считаются наивысшим выражениями культуры, способствует формированию нарративов о наборе ценностей, считающихся наиболее достойными для сохранения конкретной формы государственного общества. Список объектов наследия, подобно литературному или художественному канону, контролируется путем передачи полномочий по установлению канона в руки экспертов, санкционированных государством» (Harrison 2010: 15).

Списки памятников истории и культуры, издававшиеся в Советском Союзе, также были формой национального канона наследия – и потому, что представляли собой инвентарные описи национального богатства, и потому, что утверждали национальные принципы оценки прошлого. Однако вопрос о том, в какой степени такие списки действительно были инструментализированы национализирующей идеологией в России, сложнее, чем может показаться. Отчасти это связано с тем, что вопросы о содержании самой национальной политики в России, как и направления ее трансформации, до сих пор остаются спорными. Отчасти же дело в том напряжении, которое Джон Танбридж и Грегори Эшворт называли диссонансом наследия: «Всякое наследие принадлежит кому-то, а значит, неизбежно кому-то не принадлежит: сама суть наследования предполагает лишение кого-то наследства, и, соответственно, любое производство наследия из прошлого неминуемо приводит к тому, что кто-то оказывается полностью или частично, явно или потенциально, отстраненным от него» (Tunbridge, Ashworth 1996: 21). С этой точки зрения ис-

тория национальных канонов наследия – это всегда история конкуренции и согласований по поводу того, кто является собственником наследия, и что именно составляет эту собственность. Прагматика включения или исключения ценных памятников из официальных реестров не бывает направленной только сверху вниз, но всегда отражает движения и в обратном направлении, свидетельствующие о попытках различных национальных или региональных сообществ одновременно заявить о себе и внести вклад в общенациональное богатство.

Первые попытки составить реестр ценных памятников старины были предприняты в России еще в начале XIX в., но не возымели серьезных последствий ни в законодательной, ни в практической плоскости (Гуров 2020; Правилова 2022: 140–145). Через год после Октябрьской революции СНК РСФСР издал декрет «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» (Декрет 1918), который также не привел к формированию сколько-нибудь систематического списка (Жуков 1987). Однако уже с середины 1930-х гг. охрана памятников попадает в область строгого государственного контроля, и с этого времени списки издаются регулярно. В этой работе я использую только списки 1934/35 гг., 1947/48 гг. и 1960 г., а также реестр объектов культурного наследия РФ, действующий сегодня. Эти четыре корпуса отражают ключевые точки в истории советской исторической и национальной политики и важные вехи в истории самого советского режима наследия как арены взаимодействия различных акторов. В то же время стоит учитывать, что если списки памятников РСФСР 1934/35 и 1947/48 гг. были по сути дела единственными в то время, монополизирующими национальный канон наследия, то уже с начала 1960-х гг. списки издаются не только центральными российскими органами власти, но и республиканскими, а затем и региональными ведомствами. В этой работе я ограничиваюсь сравнением только общероссийских списков, которые предъявляли советскому народу его советское наследие.

Противоречия раннесоветского канона наследия

Раннесоветский режим наследия, утверждение которого началось с первых же лет после Октябрьской революции, был принципиально противоречивым. Одно из противоречий связано с амбивалентной ролью государства, которое одновременно выступало в двух ролях – разрушителя старого, имперского наследия, и рачительного хозяина нового богатства советского народа. Джулия Дешеппер (Deschepper 2019) сформулировала это напряжение как «диалектику сохранения-разрушения», а Ирина Сандомирская (2022) рассматривала его сквозь призму понятий «революция/реставрация». Революционные преобразования 1917 г.,

включая отмену частной собственности и национализацию имущества церкви и бывшей аристократии, радикально изменили правовой и экономический ландшафт в России, превратив государство в единственного собственника и распорядителя народным достоянием. Такая трансформация, хотя и казалась воплощением мечтаний либералов XIX в., отставивших идею коллективной собственности на общенациональные ценности, в реальности значительно расходилась с их идеалами. В отличие от позднеимперских концепций коллективного блага, собственником наследия становилось не общество, а государство, монополизировавшее все ресурсы и инструменты распоряжения этим благом (Правилова 2022: 290–294).

Манифестируя вполне типичный для всех революционных режимов разрыв с дореволюционным прошлым, его ценностями и символами (Gamboni 1997; Ozouf 1988; Rolf 2013; Fureix 2019), большевистское правительство прилагало немало усилий к тому, чтобы продемонстрировать этот разрыв через обращение с материальными объектами, имевшими высокую символическую ценность в Российской империи (Stites 1989; Kelly 1998, 2018; Deschepper 2019; Кур-Королев и др. 2024; Cohen 2020a, b). И все же, сбрасывая двуглавых орлов со стен Кремля, разрушая соборы и имперские памятники, большевики пропагандировали заботу о теперь уже народном достоянии, создавая принципиально новую инфраструктуру охраны наследия, учреждая комитеты для инвентаризации ценных объектов культурного и исторического наследия и призывая граждан беречь «огромное наследство», которое «теперь принадлежит всему народу» (Воззвание 1917). Как пишет Правилова, «всеобъемлющее Советское государство напоминало гигантский, чудовищный склад» (Правилова 2022: 289). И действительно, в Москве и Ленинграде были созданы хранилища музейного фонда, которые служили не только символическим, но и вполне материальным воплощением новой концепции коллективной собственности³ (Иванов 2018). История современной охраны наследия в России, как правило, возводится именно к раннесоветским инициативам, а Петербургский комитет по охране культурного наследия называет в качестве своего прямого предшественника комитет по делам музеев и охраны памятников, созданный в 1918 г. (КГИОП 2025).

Второе ключевое противоречие раннесоветского режима наследия заключалось в том, что само наследие определялось большевиками не в национальных, как это было в других европейских странах, а в классовых терминах, т.е. как богатство, которое должно перейти из рук аристократии в руки пролетариата. Сравнивая политики наследия в Советском Союзе и Китае, Стивен Смит даже утверждает, что переход от классового к национальному подходу в определении наследия так никогда и не был в полной мере осуществлен в СССР (Smith 2015: 180). Катриона

Келли также отмечает, что даже во время ярко выраженного русоцентричного сдвига в исторической политике 1930-х гг. создание канона наследия не было полностью подчинено национализирующей идеологии: в советских художественных и архитектурных журналах ведущие позиции продолжали занимать европейские, а не русские мастера и шедевры (Kelly 2018: 93–94).

Если взглянуть на официальные документы, определяющие порядок инвентаризации народного достояния в первые послереволюционные десятилетия, то мы действительно не найдем в них определения национальной принадлежности хозяина ценных памятников и объектов, которые описываются скорее в пространственных, чем в этнических категориях, как находящиеся на территории РСФСР, а не принадлежащие какой-то конкретной нации⁴. Хотя с середины 1930-х гг. политика руссоцентризма, как ее определил Дэвид Бранденбергер, реанимирует патристические нарративы имперского прошлого России, а идеологическая повестка в СССР приобретает очевидные националистические черты, переопределяя «народ» в национальных категориях и делая акцент именно на русском народе как основе новой нации (Бранденбергер 2017), наследие как будто бы остается не инструментализированным этим новым национализирующим трендом.

Однако если взглянуть на сами списки памятников, собранные для постановки ценных объектов на государственную охрану, ситуация оказывается более сложной. Первый список, подготовленный в 1934 г. Комитетом по охране памятников революции, искусства и культуры при Президиуме ВЦИК, включал более тысячи объектов по всей территории РСФСР (Выписка из протокола 1934), но впоследствии по требованию Президиума ВЦИК был сокращен до 500 объектов, также представляющих все регионы РСФСР (Выписка из протокола 1935). Несмотря на более чем двухкратное сокращение перечня, принципы отбора памятников сохранились. Большинство объектов, включенных в список, были образцами каменного или деревянного зодчества доимперской истории России, второе место занимали сооружения XVIII в. и последнее – памятники XIX в. Такое понимание исторической ценности предметов зодчества вполне согласовывалось с подходом, выработанным защитниками наследия еще накануне революции (Правилова 2022; Басс 2018).

Наиболее любопытным оказывается распределение этих объектов в пространстве. Неудивительно, что наибольшая концентрация памятников наблюдалась в Ленинграде и Москве, особенно с учетом их пригородов⁵. Но показательно, что, например, на территории Западно-Сибирского края площадью 1 151 000 км² с населением в 8 185,7 млн человек в 1934 г.⁶ в список памятников было включено всего три объекта в длинном списке, из которых в короткий вошел только один – здание губерн-

ского правления в Томске XIX в., в то время как в Ярославле и Ярославском районе, входивших в это время в состав Ивановской промышленной области площадью 1790 км² и населением 60 600 человек, – в длинный список вошли 30 памятников, а в короткий – 14.

Больше 60% всех памятников, вошедших в короткий список, относятся к территориям Московской, Ленинградской и Ивановской промышленной областей. На тот момент Ленинградская область включала также территории современных Новгородской и Псковской областей, а в состав Ивановской промышленной области входили современные Владимирская, Костромская и Ярославская области, где сосредоточены основные памятники древнерусской и средневековой каменной архитектуры. Если добавить сюда территорию Северного края, включавшего в административно-территориальном делении 1934 г. всю Архангельскую и Вологодскую области, где сохранялись образцы деревянного зодчества XVII–XVIII вв., то объем памятников составит 74% от всего списка. Учитывая площадь РСФСР в это время, получается, что три четверти всех памятников были сосредоточены на территории меньше двенадцатой части республики, определяя в качестве ценного наследия, прежде всего, архитектуру, связанную с двумя центрами формирования древнерусской государственности – Северо-Восточной Руси и Русского Севера.

К середине 1934 г. в состав РСФСР входили 19 автономных республик, включая три закавказские, 17 автономных областей и 11 национальных округов. Однако большинство из них не были представлены в списке памятников. Логика, стоящая за отбором ценных объектов прошлого для включения в список государственной охраны, очевидно, отдавала приоритет архитектурным сооружениям, связанным со строительством русской государственности, практически отсутствующим за пределами бывших северо-восточных княжеств. Показательно, что все памятники, расположенные за Уралом, служили символами русской колонизации. Все объекты Восточно-Сибирского края, включенные в реестр, были остатками острогов, сторожевых башен и деревянных церквей, построенных в XVII–XVIII вв. Единственные два памятника на территории Якутской АССР также были остатками сторожевых башен XVII в.

В конфессиональном отношении список 1935 г. также был вполне однородным. Большинство памятников культовой архитектуры отражали историю православной катехизации России (Гуров 2023). Исключений из этой картины было немного, и их составляли прежде всего объекты мусульманской цивилизации, распределенные между Татарской, Крымской, Дагестанской, Казакской⁷ и Киргизской автономными республиками. Всего из 500 памятников в список было включено 11 мечетей, три минарета, девять мавзолеев и два мусульманских кладбища. Буддизм,

иудаизм и католицизм были представлены каждый по одному памятнику: Хошеутовский хурул в Астраханской области, древнееврейская синагога в Старом Крыму и костел св. Екатерины в Ленинграде. Другие конфессии не были представлены вовсе.

Включение Хошеутовского или Большого Тюменевского хурула в этот список само по себе примечательно. Этот памятник буддийской культовой архитектуры, обозначенный в списке как «Калмыцкий храм», был построен в 1817 г. калмыцким князем Сербеджапом Тюменем, возглавлявшим калмыцкий отряд, участвовавший в колониальных войнах Российской империи на Кавказе, а затем Астраханский калмыцкий полк в сражениях с Наполеоном. По возвращении с войны 1812 г. Тюмень решил увековечить участие калмыков в российских военных кампаниях строительством у себя на родине каменного храма на месте старого деревянного хурула. Отражая религиозное и конфессиональное разнообразие, этот памятник служил, тем не менее, ярким примером коренизации имперской политики России в области наследия.

Хотя само наследие и не было определено в документах первой трети XX в. в национальных категориях, а его «хозяева» не были названы, корпус ценных, заслуживающих опеки государства, памятников и создаваемый с помощью этого списка канон наследия недвусмысленно определяли в качестве значимого прошлого все, что было связано с утверждением российской государственности и историей колонизации обширных просторов империи.

Расширяя имперское разнообразие: списки памятников конца 1940-х гг.

Послевоенная политика в области наследия, ставшая во многом ответом на разрушения и утраты ценных объектов в период Второй мировой войны, была направлена на централизацию и усиление контроля, однако оставалась противоречивой в плане как содержания, так и своих последствий. Масштаб военных потерь подстегнул правительство к усилению мер по спасению и охране прошлого. В разрушенные города были направлены комиссии для проведения обследований, а градостроительные задачи требовали согласований с экспертными организациями в области охраны памятников (Qualls 2009; Maddox 2015; Donovan 2019; Кур-Королев и др. 2024, Кантор 2017). Историческое наследие превратилось в святой Грааль послевоенной символической политики уже потому, что на него посягнул внешний враг, разрушив или пытаясь его разрушить и уничтожить.

Во второй половине 1940-х гг. был принят целый ряд документов, определяющих понятия «памятники культуры»⁸ и регулирующих формы их охраны. В приложении к постановлению Совета Министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников культуры», вышедшем

в 1948 г., было опубликовано Положение об охране памятников культуры, где впервые в российской истории дано определение понятию «всенародное достояние»: «Все находящиеся на территории Союза СССР памятники культуры, имеющие научное, историческое или художественное значение, являются неприкосновенным всенародным достоянием и состоят под охраной государства» (Охрана памятников 1973: 68). В этом определении использовался наднационально-территориальный подход к определению содержания народного богатства, т.е. корпус наследия определялся в границах Советского Союза, и, хотя собственником всего этого достояния был назван народ, его национальные характеристики снова оставались неясными.

Концепция наследия, отразившаяся в постановлениях 1947 и 1948 гг. и прилагавшихся к ним списках памятников, свидетельствует о более общих идеологических напряжениях, советской послевоенной политики, с одной стороны, наследующей руссоцентричной парадигме предвоенного и военного времени, утверждавшей ведущую роль русского народа в этнически разнообразной и иерархически структурированной совокупности наций, а с другой стороны, делающей ставку на пансоветскую/интернационалистическую модель, которая ограничивала демонстрацию исключительной роли русского народа в пользу единого русскоязычного «советского народа» (Brunstedt 2021: 31). Как показывает Джонатан Брунштедт, обе парадигмы соседствовали в первое послевоенное десятилетие, подпитывая скорее конкурирующие, чем взаимодополняющие представления о том, что значит быть одновременно советским и русским (Idem: 34).

Определение корпуса ценных памятников культуры как «всенародного достояния», предложенное в Положении 1948 г., отсылает, скорее, к пансоветскому определению народа как его собственника, а списки памятников, прилагавшиеся к документам 1947 и 1948 гг., позволяют увидеть, как противоречивый канон наследия воплощался в перечне конкретных объектов.

В отличие от более ранних реестров списки 1947 и 1948 гг. не заменяют, а дополняют друг друга, поэтому их имеет смысл рассматривать вместе. В 1947 г. в приложении к постановлению о «Об охране памятников архитектуры» вышел Список памятников архитектуры, подлежащих государственной охране на территории РСФСР (кроме Москвы и Ленинграда), который включал 626 объектов, а спустя год появился дополнительный список, куда вошли еще 2 926 памятников (Постановление 1948). В сравнении с более ранним реестром 1935 г. этот новый корпус не только увеличился больше чем в семь раз, но и стал значительно более представительным. Если рассматривать оба списка вместе, в них нашли место 11 автономных республик из 12 (не представлена только Коми АССР) и 40 областей из 48, существовавших в то время.

Диспропорция в распределении ценного наследия отчасти уменьшилась: если в 1935 г. памятники, расположенные на территории Северо-Восточной и Северной Руси и оказавшиеся в то время в границах Ивановской промышленной области, Москвы и Московской области, Ленинградской области и Северного края, составляли 74%, то в новом варианте они занимали только 47% всего списка. И все же, учитывая общую площадь РСФСР, такое соотношение не было равномерным. Показательна и динамика изменений. Число памятников во Владимирской области увеличилось в 26 раз, в Костромской – в 16, в Архангельской – в 11, в Вологодской – в 10 раз. В то время как в Татарской АССР число объектов увеличилось меньше чем в два раза, а в бывшем Восточно-Сибирском крае меньше чем в четыре раза. В Якутской АССР число мест увеличилось в два раза, но это все еще были только два памятника.

Новые объекты, включенные в реестр конца 1940-х гг., представляли собой, прежде всего, православную архитектуру XVII–XIX вв. В Вологодской и Архангельской областях – это сохранившиеся деревянные церкви, в Сибири и Центральной России – в основном каменные храмы. Список значительно пополнился мусульманскими памятниками – мечетями и минаретами, мавзолеями и кладбищами, расположенными прежде всего в Татарской и Дагестанской АССР, на территории Крымской области и в некоторых других регионах, к примеру в Касимове Рязанской области. Около 50 таких объектов вошли в перечень.

Больше всего памятников ислама были включены в дополнительный список 1948 г. на территории Дагестанской АССР, которая стала одной из самых представленных в реестре республик. Причем число памятников здесь было в 3,5 раза больше, чем в Татарской АССР, а число культовых памятников, связанных с историей ислама, в 6,5 раз больше, чем в Татарстане. Другие конфессии хотя и были представлены в списке, как, например, лютеранская кирха в Гатчине⁹ или армянский монастырь в Крыму, но составляли почти незаметный процент от общего православного наследия. Даже калмыцкий хурул в Астраханской области пропал из реестра.

Территория Сибири в новом списке была более заметна, чем десять лет назад: бывший Восточно-Сибирский край, в новом делении включавший Красноярский край, Иркутскую и Читинскую области, Бурят-Монгольскую АССР, Таймырский и Эвенкийский национальные округа, был представлен 29 объектами против прежних восьми. Список был пополнен почти исключительно православными храмами XVIII–XIX вв. Число объектов в Западно-Сибирском крае (Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край) увеличилось в десять раз и составило, собственно, 10 памятников. Это были здания гражданской инфраструктуры XIX – начала XX в., одна церковь XVIII в. в Томске и ансамбль бывшей Демидовской площади в Барнауле.

«Всенародное достояние» образца второй половины 1940-х гг. хотя и предъявлялось пансоветским и многонациональным по форме, но по содержанию оставалось во многом руссоцентричным, сфокусированным на памятниках, связанных с историей русской государственности. В то же время разрастание и диверсификация списков не были следствием какого-то одного политического процесса и тем более какой-то одной политической воли, направленной на символическое завоевание пространства советской империи с помощью маркирования имперского прошлого знаками национального наследия. Расширение списков отражало целый ряд разнонаправленных процессов.

Памятники, связанные с историей Владимирской и Московской Руси, с одной стороны, и Новгородской республики – с другой, особенно сильно пострадали в годы войны, и их восстановление привлекло внимание значительной части как столичной, так и местной интеллигенции (Болтунова, Егорова 2022; Donovan 2019; Pattle 2018; Кур-Королев и др. 2024; Maddox 2015). В то же время с конца 1940-х гг. становится заметным увлечение историей и спасением деревянного зодчества Русского Севера (Голубев 2020), которое также привлекает к себе много внимания экспертов и приводит к расширению списков памятников за счет объектов деревянной архитектуры Архангельской и Вологодской областей. Тогда же происходит частичная реабилитация народной культуры, ознаменовавшаяся возобновлением этнографических и искусствоведческих исследований в регионах Русского Севера (Бернштам 2008: 149) и активизацией местной интеллигенции, откликнувшейся на моральные императивы поиска и спасения исторического наследия (Мельникова 2021, 2022).

Несмотря на соблазн интерпретировать создававшийся канон наследия как прямой акт русификации и имперского подавления национальных критериев оценки прошлого и наследия, он, скорее, отражает противоречивые взаимоотношения между центральными и местными культурными элитами, экспертными институтами и системами знания.

Светлана Горшенина и Вера Тольц рассматривают сложность и неочевидность этих взаимоотношений на примере Туркестана первой трети XX в. (Gorshenina, Tolz 2016), показывая, что принципы оценки наследия разительно отличались у местных и столичных экспертов. Однако, несмотря на все различия, и те и другие к началу XX в. разделяли «европейский научный дискурс сохранения наследия», как авторы называют убеждение в присущей определенным артефактам имманентной ценности, составляющей основу национальной культуры и идентичности. Хотя в период размежевания Туркестана и создания отдельных среднеазиатских республик особенно остро встал вопрос о том, в чем именно заключается национальная культура и чья это культура, сама

вера в то, что памятники прошлого служат безусловным ее выражением и содержанием, никем не подвергалась сомнению.

Эта фундаментальная идея определяла логику авторизованного дискурса наследия (Smith 2006), принятого за аксиому просвещенными экспертами, которые стояли во главе политики охраны памятников истории и культуры как в Москве и Петрограде, так и в древних столицах республик, вошедших в состав СССР. Согласно этой логике, «ценным» было все то, и только то, что отвечало критериям памятника, сформулированным еще в 1903 г. Алоизом Риглем¹⁰: это должны быть памятники, задуманные как таковые, исторические памятники или памятники старины (Ригль 2018). В этой системе ценностей конкуренцию Московскому Кремлю или новгородскому Софийскому собору могли составить древние мечети, мавзолеи или синагоги, но никак не почитаемые камни, капища или святые источники, к примеру.

В регионах проживания коренных народов, обозначавшихся в позднеимперских и раннесоветских документах как «инородческие», складывалась принципиально другая конфигурация в отношении к наследию в первой половине XX в. Несмотря на повсеместное появление в 1920-х гг. краеведческих обществ, музеев и различных просветительских и научных центров в Сибири и Европейской Арктике (Мочалова 2024, Маслов 2017; Gavrilova 2023), эти инициативы преимущественно служили цивилизаторской миссии советского государства и его академических институтов, а не отражали интересы местных сообществ в формировании собственного историко-культурного канона (Слезкин 2008). Маргинализация этих территорий в списках памятников 1930–1940-х гг., выглядевших огромным белым пятном на карте наследия, была следствием, с одной стороны, дефицита в метрополии ресурсов для их обследования (Жуков 1987: 78–79), а с другой – отсутствия собственных локальных элит, заинтересованных в утверждении местных принципов оценки ценного прошлого и оспаривании той идеологии наследия, с которой подходили к его оценке эксперты из центра.

Перед нами – ситуация двойного отрицания наследия. Столичные интеллектуалы, руководствовавшиеся европоцентричными принципами оценки памятников, не находили в индигенных регионах объектов, отвечавших принятой системе ценности. А представители местных сообществ не разделяли саму парадигму наследия в ее европейском понимании. Последующая эволюция корпуса и масштабов охраняемых объектов отражала изменения не только собственно национализующей идеологии, но и роли местной общественности в процессе канонизации ценного прошлого, а также критериев, с которыми она подходила к его оценке.

«Историческое прошлое советского народа»

Одним из эффектов послевоенной одержимости охраной наследия стала глорификация самой работы по спасению памятников, которая обеспечивала ореолом святости как интеллигенцию, непосредственно участвовавшую в период военных действий в эвакуации, укрытии и последующем восстановлении ценных объектов, так и народ как общество, бравшее на себя моральный и гражданский долг заботы о прошлом (Кантор 2017; Кур-Королев и др. 2024). Вкупе с общим смягчением репрессивного аппарата и относительной либерализацией отношений к церкви новый режим наследия выразился в значительной активизации локальной интеллигенции, обнаружившей в защите и спасении прошлого свое главное призвание и моральную миссию (Pattle 2018).

Этот масштабный сдвиг конца 1950–1960-х гг. обычно описывается понятиями «ретроспективный», «консервативный» или «исторический поворот», и включает не только начало движения за охрану памятников, но и целый спектр других форм озабоченности судьбой прошлого – от любви к старым вещам в оформлении домашних интерьеров до оживления краеведения и архивной работы (Clark 1993; Donovan 2015; Kozlov 2001; Gavrilova 2023; Разувалова 2015, Штырков, Кормина 2015; Клоц, Ромашова 2021). Хотя этот процесс в основном описан на примере столичной интеллигенции, материалы по национальным республикам и областям также показывают значительную активизацию местных экспертных сообществ, сосредоточившихся на обеспечении включения местного наследия в общесоветский корпус национального достояния (Паршикова 2015; Собольников 2011; Союрова 2014; Перетягина 2008; Егорушкин 2019; Еремин 2010; Лемытская 2012; Михайлов 2018)¹¹.

Новый список памятников, опубликованный в 1960 г. (Постановление 1960), фиксирует эту важную динамику. Его отличия по сравнению с более ранними версиями трудно переоценить. Три приложения включали 12 перечней, общий объем памятников увеличился больше чем в 10 раз по сравнению с реестром 1935 г. Памятники не только были классифицированы по трем категориям – государственного значения, местного значения и памятники, подлежащие первоочередной подготовке к музейному показу, но и разделены на группы, соответствующие введенной еще в конце 1940-х гг. типологии: памятники археологии, истории, искусства и архитектуры. Представленность различных регионов и национальных автономий также была принципиально другой. В реестр вошли все национальные территории, включая 14 из 16 автономных республик, все шесть краев, пять автономных областей и пять национальных округов. Остались не представленными только Калмыцкая и Марийская АССР, Агинский Бурятский, Корякский, Эвенкийский, Усть-Ордынский Бурятский, Таймырский национальные округа.

Новая карта наследия, поставленного на службу «коммунистического воспитания советского народа», была материальным выражением утверждавшейся на политической арене концепции новой гражданской нации (Бранденбергер и др. 2022). Картографирование наследия во многом выполняло ту же роль, что и другие пансоветские мегакампании брежневского времени, – позволяло всем гражданам страны и всем автономиям внести свой вклад в общенародное достояние и зафиксировать свое присутствие на общесоветском пространстве.

Демократичность и инклюзивность нового списка наследия при этом была весьма относительной. Несмотря на объем в несколько сотен страниц и впечатляющую представительность регионов, он производит новые иерархии типов и территорий наследия, многие из которых сохраняются вплоть до сегодняшнего дня. В списке памятников, предназначенных для первоочередного музейного показа, доминируют регионы, по-прежнему связанные с наследием Северо-Восточной и Северной Руси. Национальные автономии представлены здесь только Татарской и Карельской АССР, а также Дагестанской и Осетинской АССР (один и два памятника архитектуры соответственно). Сибирские национальные округа и автономные области впервые вошли в советский список наследия, но представлены исключительно как территории памятников археологии.

Более существенным, чем собственно изменение состава памятников, была трансформация роли общественности в самом процессе создания и утверждения наследия. Мобилизация местной интеллигенции на инвентаризацию и включение локально значимого прошлого в общесоветский корпус, обеспечило ей заметную роль в этом процессе, а созданное в 1965 г. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) впервые стало легальным представителем публики в процессе решения вопросов о судьбе и формах заботы об объектах наследия.

ВООПИиК представляло собой вполне типичное порождение брежневской политики включения, как эту форму политической мобилизации интеллигенции назвал Ицхак Брудный (Brudny 1998). Санкционированная высшими органами власти¹², его деятельность и на местах была формой квазигосударственного управления в сфере наследия. Отчеты о создании республиканских, окружных, областных, районных отделений ВООПИиК служили скорее демонстрацией успеха новой пансоветской кампании, чем реальными свидетельствами массового добровольного участия. Как показывает Татьяна Соболюкова на материалах Ханты-Мансийского окружного отделения общества, его создание было инициировано «сверху», решением Тюменского областного исполнительного комитета Совета депутатов, а значительную часть руководства составляли представители государственных и партийных органов, а также руководители окружных учреждений культуры и образования (Соболюкова 2009: 112). Аналогичная ситуация складывалась и в других отделениях.

Создание местных ячеек общества, поиск и паспортизация локальных памятников истории и культуры стали одной из форм коммунистического соревнования за выполнение и перевыполнение плана силами общественности, а пленумы и заседания превращались в демонстрацию успехов этого соревнования. «На состоявшемся на днях II пленуме Марийского республиканского совета общества, – пишет Михаил Мухачев на страницах «Марийской правды», – отмечалось, что охрана памятников стала почетным делом широкой общественности. Из года в год пополняются ряды общества. Сейчас в нем состоит свыше 11 тысяч человек, создано 279 первичных организаций, насчитывается 74 коллективных члена. <...> В настоящее время в республике выявлено 178 исторических, 200 археологических, 21 архитектурный и 48 памятников искусств. Это ценное достояние нашего народа» (Мухачев 1969). Собственно задача создать ячейки общества не только во всех городах, но даже на всех предприятиях, в колхозах и совхозах ставилась центральным советом ВООПИиК и местными исполкомами. Но достаточных ресурсов для полноценной работы по охране памятников не имелось, и эта деятельность зачастую была либо формальной, либо крайне ограниченной.

В то же время, несмотря на во многом декларативный во многом характер деятельности ВООПИиК, его создание все же ознаменовало существенный символический и политический сдвиг в советской публичной сфере в целом (Вайзер и др. 2021) и в охране наследия в частности. Само существование ВООПИиК превращало «общественность» в легального участника переговоров о судьбе наследия¹³, а отделения и местные ячейки становились центрами мобилизации локальной интеллигенции, охотно вступавшей в ряды борцов за охрану памятников – «священную обязанность каждого трудящегося города и района, каждого патриота», как гласили многочисленные плакаты, призывающие вступать в члены общества.

Пополнение общегосударственного списка памятников местными объектами наследия служило главным показателем успеха работы отделений. И действительно, в 1960–1970-е гг. списки памятников начинают стремительно разрастаться, пополняясь объектами, которые ставятся под охрану республиканскими органами власти. Национальный канон наследия, воплощением которого были предшествующие списки памятников истории и культуры, диверсифицируется за счет более активного участия местных экспертов и локальных групп.

Однако основным направлением этой диверсификации становится экстенсивное пополнение существующего государственного реестра местными объектами, отвечающими критериям ценности, установленным в метрополии. Ярким примером такого подхода служит заметка инструктора центрального совета ВООПИиК из Йошкар-Олы, опубликованная в газете «Марийская правда» в 1969 г. «Мне пришлось, – пишет

Н. Смирнов, – посетить Дом политического просвещения, где я увидел фотовыставку: “Памятники истории и архитектуры СССР”. Здесь показаны памятники Ростова, Суздаля, Владимира и других городов, но нет ни одного памятника Марийской республики, а ведь они здесь есть. Скажем, почему бы не показать самый древний архитектурный памятник марийского края, каким является церковь с шатровой колокольней, построенная в селе Ежове в 1647 г.? Архитектурный образ колокольни создан под очевидным влиянием знаменитого храма в селе Коломенском под Москвой» (Смирнов 1969). Смирнов, как и другие активные участники воопиковской деятельности, говорит здесь о необходимости представить республику на карте общероссийского наследия, но само это наследие оценивается в сравнении с уже знакомыми примерами Ростова, Суздаля и Владимира, выступавшими в качестве эмблем нормативного, наиболее ценного прошлого.

Такой взгляд на участие во всенародном деле охраны памятников истории и культуры приводил к расширению списка и увеличению доли каждого региона или республики на карте всенародного достояния, но не реформировал сам канон наследия, скорее, поддерживая его и лишь дополняя местными объектами. Те же задачи должен был решать много томный «Свод памятников архитектуры и монументального искусства», для подготовки которого в 1967 г. в московском Институте истории искусств создан специальный сектор. Задуманное энциклопедическое издание должно было представить национальное наследие широкой публике, а каждый том был призван стать витриной отдельного региона. Работа затянулась на несколько десятилетий и не закончена до сих пор. Показательно, что единственными опубликованными на данный момент томами стали три книги, посвященные Ивановской области, первая часть четырехтомника о Владимирской области, книги о Брянской и Смоленской областях и первые два тома о Тверской области. В работе же находятся тома о Рязанской, Калужской, Костромской и Ярославской областях. На очереди – Архангельская, Вологодская и Нижегородская (Свод памятников 2025). Картография Свода памятников, задуманного еще в период брежневского ретроспективизма, не слишком отличается от национального канона наследия, создававшегося еще в начале XX в. Сам же канон начал стремительно меняться в конце 1980-х гг.

Дестабилизация и диверсификация канона наследия

Масштабные изменения, произошедшие с началом перестройки и последующим крахом Советского Союза, включают целый спектр эффектов в области наследия, которые невозможно рассмотреть в одной статье. Либерализация отношений с церковью, возвращение частной соб-

ственности, парад национальных суверенитетов и пересборка национального прошлого, включение российских объектов в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО и расширение возможностей гражданского участия в деятельности по охране наследия – все это кардинально поменяло правовой, экономический и социальный ландшафт в области охраны наследия.

Дестабилизация режима наследия, также как и сто лет назад, сопровождалась в России усилением централизации практик его управления и новыми мерами по инвентаризации национальных ценностей. Законом 1996 г. и постановлением 1998 г.¹⁴ был образован Музейный фонд РФ, частью которого стали все объекты, содержащиеся в фондах российских музеев – от Эрмитажа до краеведческого музея на Камчатке¹⁵. В 2009 г. был также создан Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) РФ, куда должны быть внесены все объекты наследия федерального, регионального и муниципального уровней. На июль 2025 г. в Государственный каталог Музейного фонда РФ занесено 52 106 645 экспонатов, а в реестр объектов культурного наследия РФ – 158 168 объектов. Инвентаризация и учет ОКН возложены сегодня на Министерство культуры и разветвленную сеть специальных комитетов.

Но несмотря на усилившуюся централизацию управления наследием, на практике региональные и локальные акторы получили больше возможностей для участия в процессе утверждения ценности своего прошлого и реформировании национального канона. Свою книгу, посвященную истории взаимодействия СССР с международными организациями в области наследия, Карин Гееринг заканчивает двухтысячным годом, когда Казанский кремль был включен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, что Гееринг рассматривает как прямой результат влияния региональных акторов на политику в области охраны прошлого (Geering 2012: 31). Усиление роли местных элит и экспертов хорошо заметно и при анализе самих списков памятников.

964 объекта из 1 652, включенных в современный реестр ОКН по Татарстану, вошли в списки памятников в период с 1987 по 1997 г. и еще 432 – в 2000-е гг. В Республике Саха (Якутия) в настоящий момент расположено 679 объектов культурного наследия, что в 62 раза больше, чем было в списке 1960 г., и в 340 раз больше, чем в 1935 г. Из них почти половина (372 объекта) были включены в реестр в 1976 г., еще 300 – в период с 2012 по 2023 г. На территории Ханты-Мансийского автономного округа сейчас находится 1 147 объектов, при том что в список 1960 г. входило только три¹⁶. 1 058 из них были зарегистрированы постановлением 1997 г. и еще 61 объект – в период с 2011 по 2021 г. Из 147 объектов, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, все, кроме одного, были занесены в реестр после 2009 г. Во всех регионах и национальных автономиях хорошо заметно взрывное увеличение

корпуса объектов культурного наследия в конце 1990-х и постепенное их наращивание в 2000-е гг.

Разрастание списка наследия происходит не только количественно, но и качественно. Изменились системы оценки и, соответственно, типы объектов, попадающих в реестр. Самым ярким примером этой принципиально новой динамики стала постанова в 1993 г. на государственную охрану 327 марийских священных роц (Постановление 1993; Михеева, Перевозчиков 2019; Сухова 2018). 226 из них до сих пор входят в реестр ОКН РФ. В 1996 г. 29 священных роц, включая 2 эрзянские и 27 марийских роц, были поставлены на государственную охрану как памятники природы регионального (областного) значения в Нижегородской области (Распоряжение 1996). Пять священных роц также зарегистрированы в Удмуртской республике и одна в Чувашской. После выхода федерального закона 2002 г., в котором к категории «памятников» были добавлены «ансамбли» и «достопримечательные места», в статусе последних стали активно регистрироваться не только священные рощи, но и другие культовые объекты, непосредственно связанные с индигенной религиозностью представителей коренных народов, которые прежде никогда не попадали в списки наследия. В Ханты-Мансийском автономном округе было включено 57 новых объектов в статусе «достопримечательных мест», все из которых определены как святилища или священные места. В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 35 аналогичных объектов. В Иркутской области более 100 объектов религиозного назначения внесены в список достопримечательных мест¹⁷. В этом же статусе зарегистрированы и православные почитаемые места: чудотворная сосна в Нижегородской области, несколько святых источников в Ленинградской, Ярославской и Московской областях, почитаемые часовни и погосты.

Диверсификация и разрастание корпуса наследия не только за счет экстенсивного добавления в федеральные списки местных объектов, но и включения национально и локально специфических форм ценного прошлого отражают степень вовлеченности местных защитников наследия, стремящихся к тому, чтобы вписать и утвердить собственное видение культурного наследия в общенациональном корпусе. Этот процесс, характерный далеко не только для России, отражает глобальную тенденцию к монополизации авторизованного дискурса наследия (Gutman et al. 2023; Kuutma 2013; Muzaini, Minca 2018; Robertson 2008, 2012). Сегодня различные группы формируют собственные системы ценностей, легитимируя их не через государственные экспертные институты, а через альтернативные формы экспертизы и оценки. Критерии отбора объектов, принципы их сохранения и сами списки приоритетных памятников зачастую формируются вне рамок официальных государственных или международных регламентов.

Заключение

В этой статье я попыталась наметить векторы развития режима наследия в СССР и постсоветской России. Используя в качестве якорей официальные списки памятников, которые ставились в разные годы на государственную охрану, я рассматриваю их одновременно и как исторические свидетельства менявшегося канона наследия, и как отражения более сложных и динамичных процессов согласования ценностей наследия между центральными и периферийными акторами – комитетами по охране памятников, экспертными сообществами, концентрирующимися в музеях, краеведческих обществах и исследовательских институтах.

Сформированный в 1930–1940-х гг. канон наследия не только утверждал прошлое Северо-Восточной Руси в качестве фундамента политической нации советского народа, но и отражал общие противоречия, связанные с этим понятием, его политической и исторического легитимацией. В то же время этот канон не был просто навязан местным элитам, но во многом свидетельствовал об установках и ценностях самих этих элит, разделявших европоцентричные взгляды на наследие и желание быть частью советской нации. Очевидные белые пятна на карте наследия Сибири и Дальнего Востока в те же годы свидетельствуют о двойном отказе – объектам, местам и ландшафтам, ценным с точки зрения коренных народов, было отказано в праве служить важными элементами национально значимого прошлого, и представители самих коренных народов отказывались разделять ценности европейского дискурса наследия в интерпретации собственной культуры и прошлого.

Последующая диверсификация списков наследия также остается противоречивой. Национальная представительность стремительно увеличивается к 1960-м гг., но отражает не столько инклюзивность локальных и национальных взглядов на ценность прошлого, сколько утверждение столичных взглядов на интернациональность политической нации советского народа и желание местных элит инвестировать в это общее наследие.

Трансформация режима наследия в постсоветское время, связанная с изменениями как в правовой и экономической сферах, так и в области исторической политики и реинтерпретации национальных нарративов, привела к тому, что канон наследия стал меняться не только в сторону еще большего разрастания списков памятников, но и в направлении демонополизации центра в качестве кодификатора ценного прошлого. Одним из ключевых эффектов общей динамики режима наследия в последние годы стало децентрирование империи наследия, которая, благодаря разнородным импульсам, больше не выглядит как имперское ядро, окруженное перифериями, а, скорее, предстает в виде многослойного пирога или пестрого одеяла многочисленных канонов наследия.

Примечания

- ¹ Дальнейшее развитие этой концепции см. в: (Geismar 2015).
- ² Многочисленные варианты определения «наследия» также становились предметом специального анализа. В своей «матрице дискурса сохранения» Кристофер Козел классифицирует дискурсы наследия по четырем параметрам: аутентичность, чувство принадлежности, адаптивное повторное использование и экономическое развитие (Koziol 2008). Полный обзор этих подходов и определений см.: (Carman, Sorensen 2009; Harrison 2010).
- ³ Культурное богатство использовалось и собственно как экономический ресурс, став в послереволюционные годы источником активного пополнения валютного фонда (Осокина 2020; Maddox 2015: 36).
- ⁴ Вот как народное достояние определяется, к примеру, в самом первом декрете 1918 г.: «В целях охранения, изучения и возможно полного ознакомления широких масс населения с сокровищами искусства и старины, находящимися в России» (Декрет 1918).
- ⁵ 90 памятников в Ленинграде с пригородами были включены в длинный список и 51 памятник – в короткий; в Москве это 83 памятника в длинном списке и 56 в коротком.
- ⁶ Данные приводятся по изданию: (Административно-территориальное 1934).
- ⁷ Именно так с июня 1925 г. по февраль 1936 г. называлась республика, переименованная затем в Казахскую АССР и в том же году преобразованная в Казахскую ССР.
- ⁸ Об истории самого понятия «памятник истории и культуры» см.: (Крылова 2017).
- ⁹ Обозначена в списке как финская кирка в с. Колпаны Гатчинского района Ленинградской области.
- ¹⁰ О значении работы Ригля «Современный культ памятников» (1903) для становления современного законодательства и практики в области охраны наследия и реставрации см.: (Сандомирская 2022).
- ¹¹ Также см. статьи Петра Неплюева и Веры Ключевой в этом номере журнала.
- ¹² См. подробнее об истории создания и деятельности ВООПИиК: (Hosking 2006: 358; Kelly 2016: 235; Brudny 1998: 69; Болтунова, Егорова 2022, Неплюев 2022).
- ¹³ Эти изменения были впоследствии закреплены законом об охране памятников, изданном в 1976 г. Здесь на граждан была возложена роль помощников в деятельности по сохранению наследия. Аналогичный республиканский закон 1978 г. еще больше расширил эти полномочия, объявив охрану памятников гражданским долгом и наделив ВООПИиК дополнительными обязанностями, включая общественный контроль за деятельностью по сохранению памятников.
- ¹⁴ Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (26 мая 1996 г. № 54-ФЗ); постановление Правительства РФ от 12.02.1998 № 179 (ред. от 08.05.2002 № 302) «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации».
- ¹⁵ Согласно положению о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, вступившем в силу с 1 января 2017 г., все фонды должны быть зарегистрированы до конца 2025 г. в Государственном каталоге.
- ¹⁶ Один из них включал два объекта – стоянку Чес-тый-яг и городище.
- ¹⁷ Большинство из них зарегистрированы одним постановлением главы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа в 2002 г.

Список источников

Административно-территориальное деление Союза ССР на 15 июля 1934 года / Центральный исполнительный комитет Союза ССР. М.: Власть Советов, 1934.
Аргенбрайт Р. Москва строящаяся: градостроительство, протесты градозащитников и гражданское общество. М.: Библиороссика, 2021.

- Басс В. Изобретение «Старого Петербурга» 100 лет назад: к истории самого успешного отечественного предприятия по отделению архитектуры от политики // Новое литературное обозрение. 2018. № 1 (149). С. 145–174.
- Бахарева М.А., Садова Е.С. «Том Соьер Фест» в Вологде: опыт участия горожан в сохранении исторического облика города // Городские исследования и практика. 2021. № 6 (3). С. 7–21.
- Бернштам Т. А. Старообрядцы и крестьянская бытовая роспись на Севере и в Поволжье: XVIII–XX вв. // Коллекции отдела Европы: Выставочные проекты. КATALOGИ. Исследования. СПб., 2008. С. 144–202.
- Болтунова Е., Егорова Г. Территория и история: позднесоветские проекты «Города-герои» и «Золотое кольцо». М.: Кучково поле, 2022.
- Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм. Советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.). М.: РОССПЭН, 2017.
- Бранденбергер Д., Тихонов В.В., Фокин А.А., Баранов А.В. «Советская нация» vs «Советский народ»: к вопросу о проблематизации наднациональной идентичности // Новое прошлое / The New Past. 2022. № 4. С. 176–220.
- Воззвание Совета рабочих и солдатских депутатов // Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. № 9 (8 марта). С. 2.
- Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК от 10 июня 1934 г. об утверждении списка памятников архитектуры, находящихся под государственной охраной с приложением списка // Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. Р1235. Оп. 76. Д. 90. Л. 109–143.
- Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК от 20 марта 1935 г. об утверждении списка памятников архитектуры, находящихся под государственной охраной с приложением списка // ГАРФ. Ф. Р1235. Оп. 76. Д. 90. Л. 153–186.
- Гладарев Б. «Это наш город!»: Анализ петербургского движения за сохранение историко-культурного наследия // Городские движения России в 2009–2012 годах: на пути к политическому. М. 2013. С. 23–145
- Гладарев Б. Историко-культурное наследие Петербурга: рождение общественности из духа города // От общественного к публичному / под ред. О. Хархордина. СПб: изд-во ЕУСПб. 2011. С. 70–304.
- Голубев А. Вещная жизнь. Материальность позднего социализма. М.: НЛО, 2020.
- Гуров М.Б. «Краткое обозрение» А.Г. Глаголева – первый свод памятников истории и культуры России (По материалам изданий министерства внутренних дел 30–40-х гг. XIX в.) // Наследие веков. 2020. № 2 (22). С. 93–105.
- Гуров М.Б. Архитектурные памятники с религиозной составляющей как ценностное ядро первых утвержденных списков памятников советской России 1935 и 1947 гг. // Культурологический журнал. 2023. № 4. С. 16–45.
- Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 5 октября 1918 года «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» // Охрана памятников истории и культуры. Сб. документов. М.: Советская Россия, 1973. С. 22–24.
- Егорушкин Ю.А. Реализация государственной политики ТАССР в сфере сохранения объектов культурного наследия (1950-е – 1990-е гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2019.
- Еремин Л.В. Музеефикация особо охраняемых территорий историко-культурного значения в республиках Южной Сибири (конец XX – начало XXI века): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2010.
- Жуков Ю.Н. Теоретическое и практическое значение первого государственного списка недвижимых памятников РСФСР (1935 г.) // Памятник и современность. Вопросы освоения историко-культурного наследия. М., 1987. С. 75–101.
- Зверев А.А. «Мы наш, мы новый мир построим!» Факторы эволюции движения по охране памятников в Москве (1990–2015 гг.) // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. № 12 (1). С. 90–105.

- Зверев А.А. Политическое измерение охраны памятников в России: кейс московского движения Архнадзор // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2017. № 19 (2). С. 118–129.
- Иванов Д.В. Революции и коллекции: Петроградское (Ленинградское) отделение Государственного музейного фонда и Музей антропологии и этнографии. СПб.: МАЭ РАН, 2018.
- Кантор Ю.З. Невидимый фронт. Музеи России в 1941–1945 гг. М.: Политическая энциклопедия, 2017.
- КГИОП 2025. История. Официальный сайт Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. URL: <https://kgiop.gov.spb.ru/o-komitete/istoriya-kgiop/>
- Келли К. «Исправить ли историю?». Споры об охране памятников в Ленинграде 1960–1980-х гг. // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64). С. 117–139.
- Клоц А., Ромашова М. «Так вы живая история?»: советский человек на фоне тихой архивной революции позднего социализма // Антропологический форум. 2021. № 50. С. 169–199.
- Колесник А., Русанов А. Наследие-как-процесс: дискуссии о концепте культурного наследия в современных социальных и гуманитарных науках // Вестник Пермского университета. История. 2022. № 3(58). С. 58–69.
- Крылова М.С. Понятие «памятник истории и культуры» в советском и российском законодательстве 1918–2002 гг. // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2017. № 3. С. 91–107.
- Кур-Королев К., Шмгельт-Ритиг У., Зубкова Е., Айхведе В. Грабеж и спасение: российские музеи в годы Второй мировой войны / пер. с нем. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение, 2024.
- Лемьтская Д.Е. К проблеме выявления и постановки на охрану памятников архитектуры национальных автономий Сибири (на примере городов республики Хакасия Абакана и Черногорска) // Молодежь и наука: материалы VIII Всерос. науч. техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.
- Лоуэнцаль Д. Прошлое – чужая страна. СПб.: Владимир Даль, 2004.
- Маслов Д.В. Локальные музеи и репрезентации этнической культуры алтайцев: дис. ... канд. ист. наук. М.: Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклохо-Маклая, 2017.
- Мельникова Е.А. «Мезенская лошадка»: между традицией и брендом // Традиционная культура. 2021. № 1. С. 85–96.
- Мельникова Е.А. Северодвинские росписи в фондах МАЭ РАН // Восточноевропейские коллекции Музея антропологии и этнографии РАН. Т. LXIX. СПб.: МАЭ РАН, 2022. С. 54–76.
- Михайлов Е.П. На страже культурного наследия Чувашии (В.Ф. Каховский и охрана памятников истории и культуры) // Чувашская археология. 2018. № 3. С. 61–73.
- Михеева А.И., Перевозчиков Ю.А. Священные рощи марийцев как объекты культурного наследия // Финно-угорский мир в полиэтническом пространстве России: культурное наследие и новые вызовы. Ижевск, 2019. С. 514–517.
- Мочалова М. Производство знаний и наследия как борьба с неопределенностью: список коренных народов Таймыра в 1920–1930-е гг. // Сибирские исторические исследования. 2024. № 1. С. 139–165.
- Мухачев М. Ценное достояние // Марийская правда. 1969. 8 февр. С. 2.
- Неплюев П. «Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране»: историографический обзор историко-культурного активизма в позднесоветский период // Культурный код. 2020. № 3. С. 38–49.
- Неплюев П. Публичная история «по-советски». Региональные отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «бюрократические правила игры»

- и историко-культурный активизм // Вестник Пермского университета. История. 2022. № 3 (58). С. 79–93.
- Несовершенная публичная сфера: история режимов публичности в России / под ред. Т. Вайзер, Т. Атнашева, М. Велижева. М.: НЛЮ, 2021.
- Осокина Е. Небесная голубизна ангельских одежд. Судьба произведений древнерусской живописи, 1920–1930-е годы. 2-е изд. М.: НЛЮ, 2020.
- Охрана памятников истории и культуры. Сб. документов. М.: Советская Россия, 1973.
- Павлова М. Публичная сфера в движении: Клуб-81 и Группа спасения памятников архитектуры как примеры гражданской самоорганизации в позднесоветском Ленинграде // Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России / под ред. Т. Атнашева и др. М.: НЛЮ, 2021. С. 408–506.
- Паришкова Т.С. Мероприятия по охране археологических памятников Алтайского края в 1960-е гг. в связи с созданием Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 2015. Вып. XXI. С. 45–48.
- Перетягина Е.В. История выявления, изучения и сохранения историко-культурного наследия Томской области // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2008. № 2. С. 38–44.
- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 24.08.1993 № 298 «О мерах по дальнейшему обеспечению сохранности археологических памятников и культовых мест на территории Республики Марий Эл». URL: <https://mari-el.gov.ru/upload/medialibrary/559/kja24ejleoj05wehe9sodcpne30158g6.pdf>
- Постановление Совета Министров РСФСР 22 мая 1947 г. // Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР, 3. 1940–1947 гг. М.: Госюриздат, 1958. URL: <https://www.docs.historyrussia.org/ru/nodes/372108-ob-ohrane-pamyatnikov-arhitektury-postanovlenie-soveta-ministrov-rsfsr-22-maya-1947-g> (дата обращения: 15.12.2024).
- Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 О дальнейшем улучшении охраны памятников культуры в РСФСР. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=esu&n=3268#eklmxwuoyqdrspir1> (дата обращения: 15.12.2024).
- Правилова Е.А. Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России. М.: НЛЮ, 2022.
- Приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 22 мая 1948 г. Список памятников архитектуры, подлежащих государственной охране на территории РСФСР (дополнительный).
- Разувалова А. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. М.: НЛЮ, 2015.
- Распоряжение администрации Нижегородской обл. от 13 сентября 1996 г. № 1236-р об объявлении природных объектов государственными памятниками природы регионального (областного) значения. URL: <https://docs.cntd.ru/document/944904521>
- Ригль А. Современный культ памятников: его сущность и возникновение. М.: ЦЭМ, V-A-C press, 2018.
- Сандомирская И. Past discontinuous: фрагменты реставрации. М.: НЛЮ, 2022.
- Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Государственный институт искусствознания МК РФ. URL: https://ruinaru.ru/about_ru.php
- Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: НЛЮ, 2008.
- Смирнов Н. Ценное достояние истории // Марийская правда. 1969. № 120 (23 мая). С. 3.
- Собольникова Т.Н. Охрана памятников археологии и этнографии на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 1960–1980-е гг. (по архивным документам окружного отделения ВООПИК) // Уральский исторический вестник. 2011. № 4 (33). С. 69–75.
- Собольникова Т.Н. Ханты-Мансийское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: к истории становления и функционирования //

- Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск, 2009. Вып. 7. С. 110–122.
- Союрова А.В. Роль общественных учреждений в охране культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1960-х – начале 1990-х гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 3 (41): в 2 ч. Ч. I. С. 156–160.
- Сухова А.Г. Государственная политика в сфере охраны памятников традиционной марийской религии «кӱсото» (священных рош), расположенных на территории Республики Марий Эл // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2018. Т. 4, № 2. С. 70–76.
- Чернышева Л., Хохлова А. Создавая ценность и аутентичность: городские конфликты вокруг исторических зданий // Журнал исследований социальной политики. 2021. № 19 (2). С. 223–238.
- Чуйкина С. Дворянская память: «Бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–30-е годы). СПб.: ЕУСПб, 2006.
- Шагоян Г. Национальное по содержанию и социалистическое по форме: Палимпсест мемориалов Советской Армении // Армянский гуманитарный вестник. 2022. С. 122–144.
- Шенле А. Архитектура забвения. Руины и историческое сознание в России Нового времени. М.: НЛЮ, 2011.
- Штырков С., Кормина Ж. «Это наше исконно русское, и никуда нам от этого не деться»: предыстория постсоветской десекуляризации // Изобретение религии: десекуляризация в постсоветском контексте / науч. ред. Ж.В. Кормина, А.А. Панченко, С.А. Штырков. СПб.: Изда-во ЕУСПб, 2015.
- Abrahamian L. Yerevan: Memory and Forgetting in the Organization of Post-Soviet Urban Space // Russian Cultural Anthropology After the Collapse of Communism / eds. by A. Baiburin, C. Kelly, N. Vakhtin. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012. P. 254–275.
- Bendix R., Eggert A., Peselmann A., eds. Heritage Regimes and the State. Göttingen: University Press, 2013.
- Bittner S. The Many Lives of Khrushchev's Thaw: Experience and Memory in Moscow's Arbat. Ithaca: Cornell University Press, 2008.
- Bogumil Z., Moran D., E. Harrowell Sacred or Secular? 'Memorial', the Russian Orthodox Church, and the Contested Commemoration of Soviet Repressions // Europe-Asia Studies. 2015. № 67 (9). P. 1416–1444.
- Brudny Y. Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, 1998.
- Brunstedt J. The Soviet myth of World War II: patriotic memory and the Russian question in the USSR. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2021.
- Carman J, Sørensen M. L. S., eds. Heritage studies: methods and approaches. London; New York: Routledge, 2009.
- Clark K. Changing Historical Paradigms in Soviet Culture // Late Soviet Culture: From Perestroika to Novostroika / eds. by A. Lahusen, G. Kuperman. Durham, N.C.: Duke University Press, 1993. P. 289–306.
- Cohen A.J. (a) The Limits of Iconoclasm: The Fate of Tsarist Monuments in Revolutionary Moscow and Petrograd, 1917–1918 // City: Analysis of Urban Change, Theory and Action. 2020. № 24 (3-4). P. 616–626.
- Cohen A.J. (b) War Monuments, Public Patriotism, and Bereavement in Russia, 1905–2015. Lanham: Lexington Books, 2020.
- Deschepper J. Between future and eternity: a Soviet conception of heritage // International Journal of Heritage Studies. 2019. 55(5). P. 491–506.
- Darjeva T., Kaschuba W., Melanie Krebs, eds. Urban Spaces after Socialism. Ethnographies of Public Places in Eurasian Cities. Frankfurt am Main: Campus, 2012.

- Demchenko I.* Decentralized Past: Heritage Politics in Post-Stalin Central Asia // *Future Anterior: Journal of Historic Preservation History, Theory, and Criticism*. 2011. № 8 (1). P. 64–80.
- Donovan V.* ‘How Well Do You Know Your Krai?’ The Kraevedenie Revival and Patriotic Politics in Late Khrushchev-Era Russia // *Slavic Review*. 2015. № 74 (3). P. 464–483.
- Donovan V.* *Chronicles in Stone: Preservation, Patriotism, and Identity in Northwest Russia*. Ithaca; New York: Cornell University Press, 2019.
- Eady K.* The Reconstruction of the Cathedral of Christ the Saviour: Public Space and National Identity in Post-Soviet Moscow // *University of Toronto Art Journal*. 2009. № 2 (11). URL: <https://utaj.library.utoronto.ca/index.php/utaj/article/view/6659/3671> (accessed: 27 August 2024).
- Forest B., Johnson J.* Unraveling the Threads of History: Soviet-Era Monuments and Post-Soviet National Identity in Moscow // *Annals of the Association of American Geographers*. 2002. № 92 (3). P. 524–547.
- Fureix E.* L’Œil blessé. Politiques de l’iconoclisme après la Révolution française. Ceyzérieu, Éditions Champ Vallon, coll. “Époques”, 2019.
- Gamboni D.* *The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution*. London: Reaktion Books, 1997.
- Gavrilova S.* *Russia’s regional museums: representing and misrepresenting knowledge about nature, history and society*. London; New York: Routledge; Taylor & Francis Group, 2023.
- Geering C.* Building a Common Past: World Heritage in Russia under Transformation, 1965–2000. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress, 2019.
- Geismar H.* Anthropology and Heritage Regimes // *Annual Review of Anthropology*. 2015. № 44. P. 71–85.
- Gentry K., Smith L.* Critical Heritage Studies and the Legacies of the Late-twentieth Century Heritage Canon // *International Journal of Heritage Studies*. 2019. № 25 (11). P. 1148–1168.
- Gorshenina S., Tolz V.* Constructing Heritage in Early Soviet Central Asia: The Politics of Memory in a Revolutionary Context // *Ab Imperio*. 2016. № 4. P. 77–115.
- Graham B.J., Ashworth G.J., Tunbridge J.E.* *A Geography of Heritage: Power, Culture, and Economy*. London: Arnold; New York: Oxford University Press, 2000.
- Gutman Y., Wüstenberg J.* (eds.) *The Routledge Handbook of Memory Activism*. London; New York: Routledge, 2023.
- Harrison R.* What is Heritage? // *Understanding the Politics of Heritage* / ed. by R. Harrison. Manchester; Milton Keynes: Manchester University Press, 2010. P. 5–42.
- Harrison R., Dias N., Kristiansen K.* Introduction // *Critical Heritage Studies and the Futures of Europe* / eds. by R. Harrison, N. Dias, K. Kristiansen. 2023.
- Hosking G. A.* *Rulers and victims: the Russians in the Soviet Union*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2006.
- Kelly C.* Iconoclasm and Commemorating the Past // *Constructing Russian Culture in the Age of Revolution 1881–1940* / eds. by C. Kelly, D. Shepherd. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 227–238.
- Kelly C.* *Socialist Churches: Radical Secularization and the Preservation of the Past in Petrograd and Leningrad, 1918–1988*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2016.
- Kelly C.* The Shock of the Old: Architectural Preservation in Soviet Russia // *Nations and Nationalism*. 2018. № 24 (1). P. 88–109.
- Koziol C.* Historic Preservation Ideology: A Critical Mapping of Contemporary Heritage Policy Discourse // *Preservation Education and Research*. 2008. № 1. P. 41–84.
- Kozlov D.* The Historical Turn in Late Soviet Culture: Retrospectivism, Factography, Doubt, 1953–1991 // *Kritika*. 2001. № 2 (3). P. 577–600.
- Kuutma K.* Between Arbitration and Engineering: Concepts and Contingencies in the Shaping of Heritage Regimes // *Bendix R., Eggert A., Peselmann A., eds. Heritage Regimes and the State*. Göttingen: University Press, 2013. P. 21–36.

- Maddox S. Saving Stalin's Imperial City: Historic Preservation in Leningrad, 1930–1950.
- Muzaini H., Minca C. After Heritage: Critical Perspectives on Heritage from Below. Northampton: Edward Elgar Pub. Inc., 2018.
- Ozouf M. Festivals and the French Revolution. Cambridge, Mass., 1988.
- Pattle S. Forging the Golden Ring: Tourist Development and Heritage Preservation in the Late Soviet Union // *The Slavonic and East European Review*. 2018. № 96 (2). P. 283–309.
- Qualls K. From Ruins to Reconstruction: Urban Identity in Soviet Sevastopol after World War II. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2009.
- Robertson I. Heritage from Below. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Pub. Company, 2012.
- Robertson I. Heritage from below: class, social protest and resistance // *The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity* / eds. by P. Graham, P. Howard. Aldershot: Ashgate, 2008. P. 143–158.
- Rolf M. Soviet mass festivals, 1917–1991 / translated by C. Klohr. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 2013.
- Schönle A. Heritage matters: (De-)Mobilizing Monuments and (Mis-)Shaping Identities. Introduction // *Slavic Review*. 2012. № 71 (4). P. 737–744.
- Smith K.E. An Old Cathedral for a New Russia: The Symbolic Politics of the Reconstituted Church of Christ the Saviour // *Religion, State and Society*. 1997. № 25 (2). P. 163–175.
- Smith S.A. Contentious Heritage: The Preservation of Churches and Temples in Communist and Post-Communist Russia and China // *Past and Present*. 2015. Supplement 10. P. 178–213.
- Smith L. Uses of Heritage. London; New York: Routledge, 2006.
- Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989.
- Tunbridge, J.E., Ashworth, G. J. Dissonant Heritage: the Management of the Past as a Resource in Conflict. Chichester: Wiley, 1996.

References

- Abrahamian, L. (2012) 'Yerevan: Memory and Forgetting in the Organization of Post-Soviet Urban Space', in A. Baiburin, C. Kelly, N. Vakhtin (eds.) *Russian Cultural Anthropology After the Collapse of Communism*. Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 254–275.
- Administrativno-territorial'noe delenie Soiuza SSR na 15 iul'ia 1934 goda [Administrative-territorial division of the Union of Soviet Socialist Republics as of 15 July 1934]. Tsentralny Iсполnitelny Komitet Soiuza SSR. Moscow: Vlast Sovetov, 1934.
- Bakhareva, M.A., Sadova E.S. (2021) "Tom Soier Fest" v Vologde: opyt uchastiia gorozhan v sokhranении istoricheskogo oblika goroda ['Tom Sawyer Fest' in Vologda: the experience of citizens' participation in the preservation of the historical image of the city], *Gorodskie issledovaniia i praktiki*, 6(3), pp. 7–21.
- Bass, V. (2018) 'Izobretenie "Starogo Peterburga" 100 let nazad: k istorii samogo uspešnogo otechestvennogo predpriiatiia po otdeleniiu arkhitektury ot politiki' [The invention of 'Old Petersburg' 100 years ago: to the history of the most successful domestic enterprise to separate architecture from politics], *Novoe literaturnoe obozrenie*, 1 (149), pp. 145–174.
- Bendix, R., Eggert A., Peselmann A., eds. (2013) *Heritage Regimes and the State*. Göttingen: University Press.
- Berger, S. (2015) 'National Museums in between Nationalism, Imperialism and Regionalism, 1750–1914', in P. Aronsson and G. Elgenius (eds.) *National museums and nation-building in Europe, 1750–2010: Mobilization and Legitimacy, Continuity and Change*, pp. 13–32.
- Bernshtam, T. A. (2008) Staroobryadcy i krestianskaya bytovaia rospis na Severe i v Povolzhie: XVIII–XX vv. [Old Believers and Peasant Domestic Painting in the North and Volga Region: 18th–20th Centuries], *Kollekcii otдела Evropy: Vystavochnye proekty. Katalogi. Issledovaniya*. St. Petersburg, pp. 144–202.

- Bittner, S. (2008) *The Many Lives of Khrushchev's Thaw: Experience and Memory in Moscow's Arbat*. Ithaca: Cornell University Press.
- Bogumił, Z., Moran, D. & E. Harrowell (2015) 'Sacred or Secular? 'Memorial', the Russian Orthodox Church, and the Contested Commemoration of Soviet Repressions', *Europe-Asia Studies*, 67 (9), pp. 1416–1444.
- Boltunova, E., Egorova G. (2022) *Territoriia i istoriia: pozdnesovetskie proekty 'Gorodageroi' i 'Zolotoe kol'tso'* [Territory and History: Late Soviet projects 'Hero Cities' and 'Golden Ring']. Moscow: Kuchkovo pole.
- Brandenberger, D. (2002) *National Bolshevism: Stalinist mass culture and the formation of modern Russian national identity, 1931-1956*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Brandenberger, D., Tihonov, V.V., Fokin, A.A., Baranov, A.V. (2022) «Sovetskaya natsiia» vs «Sovetskii narod»: k voprosu o problematizatsii nadnatsional'noi identichnosti ["Soviet Nation" vs. "Soviet People": On the Question of Problematizing Supranational Identity], *Novoe proshloe / The New Past*, 4, pp. 176–220.
- Brudny, Y. (1998) *Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991*. Cambridge.
- Brunstedt, J. (2021) *The Soviet myth of World War II: patriotic memory and the Russian question in the USSR*. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press.
- Burgess, J.P. (2007) Community of Prayer, Historical Museum, or Recreational Playground? Challenges to the Revival of the Monastic Community at Solovki, Russia, *International Journal for the Study of the Christian Church*, 7(3), pp. 194–209.
- Carman, J., Sørensen, M. L. S., eds. (2009) *Heritage studies: methods and approaches*. London; New York: Routledge.
- Chernysheva, L., Khokhlova A. (2021) Sozdavaia tsennost' i autentichnost': gorodskie konflikty vokrug istoricheskikh zdani [Creating Value and Authenticity: Urban Conflicts around Historical Buildings], *Zhurnal issledovaniï sotsial'noi politiki*, 19 (2), pp. 223–238.
- Clark, K. (1993) Changing Historical Paradigms in Soviet Culture, in A. Lahusen and G. Kuperman (eds.), *Late Soviet Culture: From Perestroika to Novostroika*. Durham, N.C.: Duke University Press, pp. 289–306.
- Cohen, A.J. (2020a) The Limits of Iconoclasm: The Fate of Tsarist Monuments in Revolutionary Moscow and Petrograd, 1917–1918, *City: Analysis of Urban Change, Theory and Action*, 24(3-4), pp. 616–626.
- Cohen, A.J. (2020b) War Monuments, Public Patriotism, and Bereavement in Russia, 1905–2015. Lanham: Lexington Books.
- Colla, M.A. (2024) Monument to Friendship: Socialist Modernity and the Reconstruction of Tashkent, 1966–1975, in M. Colla, P. Betts (ed.) *Rethinking Socialist Space in the Twentieth Century*. Palgrave Macmillan Cham.
- Darieva, T., Kaschuba, W. & Melanie Krebs, eds. (2012) *Urban Spaces after Socialism. Ethnographies of Public Places in Eurasian Cities*. Frankfurt am Main: Campus.
- Dekret Soveta Narodnykh Komissarov RSFSR ot 5 oktiabria 1918 goda «O registratsii, prieme na uchët i okhraneniï pamiatnikov iskusstva i stariny, nakhodiashchikhsia vo vladenii chastnykh lits, obshchestv i uchrezhdenii» [Decree of the Council of People's Commissars of the RSFSR of October 5, 1918 "On the registration, acceptance for registration and protection of monuments of art and antiquity in the possession of private individuals, societies and institutions"]. In: *Okhrana pamiatnikov istorii i kul'tury. Sb. dokumentov* [Protection of historical and cultural monuments. Collection of documents]. Moscow: «Sovetskaia Rossiia», 1973, pp. 22–24.
- Demchenko, I. (2011) Decentralized Past Heritage Politics in Post-Stalin Central Asia, *Future Anterior: Journal of Historic Preservation History, Theory, and Criticism*, 8(1), pp. 64–80.
- Deschepper, J. (2019) Between future and eternity: a Soviet conception of heritage, *International Journal of Heritage Studies*, 55(5), pp. 491–506.

- Donovan, V. (2015) 'How Well Do You Know Your Krai?' The Kraevedenie Revival and Patriotic Politics in Late Khrushchev-Era Russia, *Slavic Review*, 74(3), pp. 464–483.
- Donovan, V. (2019) *Chronicles in Stone: Preservation, Patriotism, and Identity in Northwest Russia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Eady, K. (2009) The Reconstruction of the Cathedral of Christ the Saviour: Public Space and National Identity in Post-Soviet Moscow, *University of Toronto Art Journal*, 2 (11). Available at: <https://utaj.library.utoronto.ca/index.php/utaj/article/view/6659/3671> (accessed 27 August 2024).
- Egorushkin, Iu.A. (2019) *Realizatsiia gosudarstvennoi politiki TASSR v sfere sokhraneniia ob'ektov kul'turnogo naslediia (1950-e – 1990-e gg.)* [Realisation of the TASSR state policy in the sphere of preservation of objects of cultural heritage (1950s – 1990s)]. Abstract of dissertation of Cand. of Historical Sciences. Kazan.
- Eriomin, L.V. (2010) *Muzeifikatsiia osobo okhraniaemykh territorii istoriko-kul'turnogo znachenii v respublikakh Iuzhnoi Sibiri (konets XX – nachalo XXI veka)* [Museification of specially protected territories of historical and cultural significance in the republics of South Siberia (late XX – early XXI century)]. Abstract of dissertation of Cand. of Historical Sciences. Tomsk.
- Forest, B. and J. Johnson (2002) Unraveling the Threads of History: Soviet-Era Monuments and Post-Soviet National Identity in Moscow, *Annals of the Association of American Geographers*, 92(3), pp. 524–547.
- Fureix, E. (2019) *L'Œil blessé. Politiques de l'iconoclasme après la Révolution française, Ceyzérieu*, Éditions Champ Vallon, coll. "Époques".
- Gamboni, D. (1997) *The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution*. London: Reaktion Books.
- Gantner, E., C. Geering and P. Vickers (2021) *Heritage under Socialism: Preservation in Eastern and Central Europe, 1945–1991*. New York, Oxford: Berghahn Books.
- Gavrilova, S. (2023) *Russia's regional museums: representing and misrepresenting knowledge about nature, history and society*. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Geering, C. (2019) *Building a Common Past: World Heritage in Russia under Transformation, 1965–2000*. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht unipress.
- Geismar, H. (2015) Anthropology and Heritage Regimes, *Annual Review of Anthropology*, 44, pp. 71–85.
- Gladarev, B. (2011) Istoriko-kul'turnoe nasledie Peterburga: rozhdenie obshchestvennosti iz dukha goroda [Historical and Cultural Heritage of St. Petersburg: the Birth of Public from the Spirit of the City], in O. Kharkhordin (ed.), *Ot obshchestvennogo k publichnomu*. St. Petersburg: Izd-vo EUSPb, pp. 70–304.
- Gladarev, B. (2013) 'Eto nash gorod!': Analiz peterburgskogo dvizheniia za sokhranenie istoriko-kul'turnogo naslediia ['This is our city!': Analysis of the St. Petersburg movement for the preservation of historical and cultural heritage], in K. Clement (ed.) *Gorodskie dvizheniia Rossii v 2009–2012 godakh: na puti k politicheskomu*. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, pp. 44–51.
- Golubev, A. (2020) History in Wood: The Search for Historical Authenticity in North Russia, in A. Golubev, *The Things of Life: Materiality in late Soviet Russia*. Ithaca, New York: Cornell University Press, pp. 61–89.
- Gorshenina, S., Tolz V. (2016) Constructing Heritage in Early Soviet Central Asia: The Politics of Memory in a Revolutionary Context, *Ab Imperio*, 4, pp. 77–115.
- Graham, B.J., Ashworth, G.J. and J.E. Tunbridge (2000) *A Geography of Heritage: Power, Culture, and Economy*. London: Arnold; New York: Oxford University Press.
- Gurov, M.B. (2023) Arkhitekturnye pamiatniki s religioznoi sostavliaiushchei kak tsennostnoe iadro pervykh utverzhdenykh spiskov pamiatnikov Sovetskoi Rossii 1935 i 1947 gg. [Architectural monuments with a religious component as a value core of the first approved lists of monuments of Soviet Russia in 1935 and 1947], *Kul'turologicheskii zhurnal*, 4, pp. 16–45.

- Gurov, M.B. (2020) "Kratkoe obozrenie" A.G. Glagoleva – pervyi svod pamyatnikov istorii i kul'tury Rossii (Po materialam izdaniy ministerstva vnutrennih del 30–40-h gg. XIX v.) ["Brief Review" by A.G. Glagolev – the first collection of historical and cultural monuments of Russia (Based on materials from publications of the Ministry of Internal Affairs of the 1830s–1840s)], *Nasledie vekov*, 2 (22), pp. 93–105.
- Gutman, Y., Wüstenberg J., eds. (2023) *The Routledge Handbook of Memory Activism*. London; New York: Routledge.
- Gutman, Y., Wüstenberg J. (2022) Challenging the Meaning of the Past from Below: A Typology for Comparative Research on Memory Activists, *Memory Studies*, 15(5), pp. 1070–1086.
- Hallas-Murula, K., Truu, K. (2021) International Contacts and Cooperation in Heritage Preservation in Soviet Estonia, 1960–1990, in Gantner, E., C. Geering and P. Vickers (eds.) *Heritage under Socialism: Preservation in Eastern and Central Europe, 1945–1991*. New York, Oxford: Berghahn Books.
- Harrison, R. (2010) What is Heritage?, in R. Harrison (ed.) *Understanding the Politics of Heritage*. Manchester and Milton Keynes: Manchester University Press, pp. 5–42.
- Harrison, R., Dias N. and K. Kristiansen (2023) Introduction, in R. Harrison, N. Dias, K. Kristiansen (eds.) *Critical Heritage Studies and the Futures of Europe*.
- Hemme, D., M. Tauschek and R. Bendix, eds. (2007) 'Prädikat, 'Heritage'', in *Wertschöpfung aus kulturellen Ressourcen*. Munster: LIT.
- Hewison, R. (1987) *The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline*. London: Methuen London.
- Hosking, G. A. (2006) *Rulers and victims: the Russians in the Soviet Union*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.
- Ivanov, D.V. (2018) *Revoliutsii i kolleksii: Petrogradskoe (Leningradskoe) otdelenie Gosudarstvennogo muzeinogo fonda i Muzei antropologii i etnografii* [Revolutions and Collections: Petrograd (Leningrad) Branch of the State Museum Fund and the Museum of Anthropology and Ethnography]. St. Petersburg: Museum of Anthropology and Ethnography.
- Ivanova, A.S. (2022) Podkhody k voprosam vyivleniia ob'ektov kul'turnogo nasledia krasnoarskogo kraia v zakonodatel'stve 1960–2020-kh godov [Approaches to the issues of identification of cultural heritage objects of the Krasnoyarsk region in the legislation of the 1960–2020s], in *Nauka, obrazovanie i eksperimental'noe proektirovanie*, pp. 238–241.
- Kantor, J. (2017) *Nevidimyi front. Muzei Rossii v 1941–1945 gg.* [Invisible front. Museums of Russia in 1941–1945] Moscow: Politicheskaya entsiklopediya.
- Kelly, C. (1998) Iconoclasm and Commemorating the Past, in C. Kelly and D. Shepherd (eds) *Constructing Russian Culture in the Age of Revolution 1881–1940*. Oxford: Oxford University Press, pp. 227–238.
- Kelly, C. (2009), 'Ispravlyat' li istoriyu?' Spory ob okhrane pamyatnikov v Leningrade 1960-kh–1970-kh gg. ['Are We to 'Correct' History?'] Debates on Preserving Architecture in Leningrad, 1960–1980], *Neprikosnovennyi zapas*, 2 (64), pp. 117–139.
- Kelly, C. (2016) *Socialist Churches: Radical Secularization and the Preservation of the Past in Petrograd and Leningrad, 1918–1988*. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.
- Kelly, C. (2018) The Shock of the Old: Architectural Preservation in Soviet Russia, *Nations and Nationalism*, 24 (1), pp. 88–109.
- KGIO 2025. Istoriia. Ofitsial'nyi sait Komiteta po gosudarstvennomu kontroliu, ispol'zovaniyu i okhrane pamiatnikov istorii i kul'tury [KGIO 2025. History. Official website of the Committee for State Control, Use and Protection of Historical and Cultural Monuments]. Available at: <https://kgiop.gov.spb.ru/o-komitete/istoriya-kgiop/>
- Klots, A., Romashova M. (2021) 'Tak vy zhivaya istoriya?': sovetskiy chelovek na fone tikhoy arkhivnoy revolyutsii pozdnego sotsializma ['Are You Living History?' – The Soviet Person and the Quiet Archival Revolution of Late Socialism], *Antropologicheskij forum*, 50, pp. 169–199.

- Kolesnik, A., Rusanov, A. (2021) Nasledie-kak-protsess: diskussii o kontsepte kul'turnogo naslediya v sovremennyh sotsial'nyh i gumanitarnykh naukakh [Heritage-as-Process: the Concept of Cultural Heritage in Contemporary Social Sciences and Humanities], *Vestnik Permskogo universiteta. Istorii*, 3(58), pp. 58–69.
- Kormina, J. (2020) “The Church Should Know its Place”: The Passions and the Interests of Urban Struggle in Post-Atheist Russia, *History and Anthropology*, 12, pp. 11–22.
- Kozioł, C. (2008) Historic Preservation Ideology: A Critical Mapping of Contemporary Heritage Policy Discourse, *Preservation Education and Research*, 1, pp. 41–84.
- Kozlov, D. (2001) The Historical Turn in Late Soviet Culture: Retrospectivism, Factography, Doubt, 1953–1991, *Kritika*, 2(3), pp. 577–600.
- Kuhr-Korolev, C., Schmiegelt-Rietig, U. und E. Zubkova, Wolfgang Eichwede (2019) *Raub und Rettung. Russische Museen im Zweiten Weltkrieg*. Köln: Böhlau.
- Kuutma, K. (2013) Between Arbitration and Engineering: Concepts and Contingencies in the Shaping of Heritage Regimes, Bendix R., Eggert A., Peselmann A., eds. *Heritage Regimes and the State*. Göttingen: University Press, pp. 21–36.
- Lemytskaia, D.E. (2012) K probleme vyavleniia i postanovki na okhranu pamiatnikov arkhitektury natsional'nykh avtonomii Sibiri (na primere gorodov respubliki Khakasii Abakana i Chernogorska) [To the problem of identification and protection of architectural monuments of national autonomies of Siberia (on the example of the cities of the Republic of Khakassia Abakan and Chernogorsk)], in *Molodezh i nauka: sb. materialov VIII Vserossiiskoi nauchno-tehnicheskoi konf. studentov, aspirantov i molodykh uchenykh*. Krasnoyarsk: Sibirskii federal'nyi universitet.
- Macdonald, S. (2013) *Memorylands. Heritage and identity in Europe today*. London; New York: Routledge.
- Maddox, S. (2015) *Saving Stalin's Imperial City: Historic Preservation in Leningrad, 1930–1950*. Bloomington: Indiana University Press.
- Maslov, D.V. *Lokal'nye muzei i reprezentatsii etnicheskoi kul'tury altaitsev* [Local museums and representations of the ethnic culture of the Altai people]. Dissertation of candidate of historical sciences. Institut etnologii i antropologii im. N.N. Miklokh-Maklaia, 2017.
- Melnikova, E. (2024) Sharing and Conquering: Memory, Religion, and Belonging on the Island of Valaam, *Archives of Social Sciences of Religions*, 206, pp. 77–98.
- Mentges, G. (2012) The Role of UNESCO and the Uzbek Nation Building Process, in R. Bendix, A. Eggert, A. Peselmann (eds.) *Heritage regimes and the state*. Göttingen: Univ.-Verl. Göttingen, pp. 213–226.
- Mikhailov, E.P. (2018) Na strazhe kul'turnogo nasledia Chuvashii (V.F. Kakhovskii i okhrana pamiatnikov istorii i kul'tury) [On guard of the cultural heritage of Chuvashia (V.F. Kakhovsky and the protection of historical and cultural monuments)], *Chuvashskaia arkheologiya*, 3, pp. 61–73.
- Mochalova, M. (2024) The Production of Knowledge and Heritage as a Struggle Against Uncertainty: The Case of the Indigenous Peoples of Taimyr in the 1920s–1930s. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*, 1, pp. 139–165.
- Nepliev, P. (2020) ‘Esli chelovek ravnodushen k pamiatnikam istorii svoei strany, znachit, on ravnodushen k svoei strane’: istoriograficheskii obzor istoriko-kul'turnogo aktivizma v pozdnesovetskii period [‘If a Person is Indifferent to the Monuments of His Country’s History, It Means that He is Indifferent to His Country’: Historiographical Review of Historical and Cultural Activism in the Late Soviet Period], *Kul'turnyi kod*, 3, pp. 38–49.
- Nepliev, P. (2022) Publichnaia istoriia ‘po-sovetski’. Regional'nye otdeleniia Vserossiiskogo obshchestva okhrany pamiatnikov istorii i kul'tury: ‘biurokraticheskie pravila igry’ i istoriko-kul'turnyi aktivizm [Public History ‘in the Soviet Way’: Regional Branches of the All-Russian Society for the Protection of Monuments of History and Culture: ‘Bureaucratic Rules of the Game’ and Historical-Cultural Activism], *Vestnik Permskogo universiteta. Istorii*, 3 (58), pp. 79–93.

- Noskova, A.V. (2011) Okhrana istoriko-kul'turnogo naslediiia v Surgutskom raione Tiimenskoi oblasti (1920–1960 gg.) [Protection of historical and cultural heritage in Surgut district of Tyumen region (1920-1960)], *Ural'skii istoricheskii vestnik*, 4(33), pp. 76–82.
- O dal'neishem uluchshenii dela okhrany pamiatnikov kul'tury v RSFSR. Postanovlenie Soveta Ministrov RSFSR ot 30 avgusta 1960 g. No. 1327 [On further improvement of the protection of cultural monuments in the RSFSR. Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR from 30 August 1960 No. 1327]. Available at: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=esu&n=3268#eklmxwuoyqrdspir1> (accessed 15 December 2024).
- Ob okhrane pamiatnikov arkhitektury. Postanovlenie Soveta Ministrov RSFSR 22 maia 1947 g. [On the protection of architectural monuments. Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR 22 May 1947], in *Khronologicheskoe sobranie zakonov, ukazov Prezidiuma Verkhovnogo Soveta i postanovlenii Pravitel'stva RSFSR*, 3. 1940–1947 gg. Moscow: Gosizurizdat, 1958. Available at: <https://www.docs.historyrussia.org/ru/nodes/372108-ob-okhrane-pamyatnikov-arhitektury-postanovlenie-soveta-ministrov-rsfsr-22-maya-1947-g> (accessed 15 December 2024).
- Odom, A., Salmond W. R., eds. (2009) *Treasures into Tractors: The Selling of Russia's Cultural Heritage, 1918–1938*. Washington DC: Hillhouse Museum.
- Ohrana pamyatnikov istorii i kultury. Sbornik dokumentov [Protection of historical and cultural monuments]. Moscow: Sovetskaia Rossiia, 1973.
- Ozouf, M. (1988) *Festivals and the French Revolution*. Cambridge, Mass.
- Parshikova, T.S. (2015) Meropriiatiia po okhrane arheologicheskikh pamiatnikov altaiskogo kraia v 1960-e gg. v sviazi s sozdaniem Vserossiiskogo obshchestva okhrany pamiatnikov istorii i kul'tury (VOOPiK) [Measures to protect archaeological monuments of the Altai region in the 1960s in connection with the establishment of the All-Russian Society for the Protection of Monuments of History and Culture (VOOPiK)], in *Sokhranenie i izuchenie kul'turnogo naslediiia Altaiskogo kraia*. pp. 45–48.
- Pattle, S. (2018) Forging the Golden Ring: Tourist Development and Heritage Preservation in the Late Soviet Union, *The Slavonic and East European Review*, 96(2), pp. 283–309.
- Pavlova, M. (2021) Publichnaia sfera v dvizhenii: Klub-81 i Gruppa spaseniia pamiatnikov arkhitektury kak primery grazhdanskoi samoorganizatsii v pozdnesovetskom Leningrade [The Public Sphere in Motion: Club-81 and the Group for the Rescue of Architectural Monuments as Examples of Civic Self-Organization in Late Soviet Leningrad], in T. Atnashev et al. (eds.), *Nesovershennaia publichnaia sfera. Istoriia rezhimov publichnosti v Rossii* [The Imperfect Public Sphere. History of publicity regimes in Russia]. Moscow: Novoe Literatorunor Obozrenie, pp. 408–506.
- Peretiagina, E.V. (2008) Istoriia vyiavleniia, izucheniia i sokhraneniia istoriko-kul'turnogo naslediiia Tomskoi oblasti [History of identification, study and preservation of historical and cultural heritage of the Tomsk region], *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta*, 2, pp. 38–44.
- Pimenova, K. (2022) Human Remains and Indigenous Religiosity in the Museum Space: Ritual Relations to the Altaian Mummy in the Anokhin National Museum of the Altai Republic, Russia, in *Contemporary Indigenous Cosmologies and Pragmatics*. University of Alberta Press, pp. 253–284.
- Pimenova, K. (2023) From a museum of Others to a museum of Selves: Repatriation, affective relations, and social values of archaeological human remains, *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 13 (1), pp. 159–178.
- Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Marij El ot 24.08.1993 No. 298 “O merakh po dal'neishemu obespecheniiu sokhrannosti arheologicheskikh pamiatnikov i kultovykh mest na territorii Respubliki Marij El” [Decree of the Government of the Republic of Mari El No. 298 of August 24, 1993, “On measures to further ensure the preservation of archaeological monuments and religious sites on the territory of the Republic of Mari El”].

- Available at: <https://mari-el.gov.ru/upload/medialibrary/b7d/u10eamcchhyyc3n2w3lubhjhdcru1p0g.pdf> (Accessed 15 December 2024).
- Postanovlenie Soveta Ministrov RSFSR 22 maia 1947 g. [Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR of May 22, 1947]. In: *Khronologicheskoe sobranie zakonov, ukazov Prezidiuma Verkhovnogo Soveta i postanovlenii Pravitel'stva RSFSR, 3. 1940–1947 gg.* [Chronological collection of laws, decrees of the Presidium of the Supreme Soviet and resolutions of the Government of the RSFSR, 3. 1940–1947.]. Moscow: Gosizrizdat, 1958. Available at: <https://www.docs.historyrussia.org/ru/nodes/372108-ob-ohrane-pamyatnikov-arhitektury-postanovlenie-soveta-ministrov-rsfsr-22-maya-1947-g> (Accessed 15 December 2024).
- Postanovlenie Soveta Ministrov RSFSR ot 30 avgusta 1960 g. № 1327 O dal'neishem uluchshenii okhrany pamiatnikov kul'tury v RSFSR [Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR of August 30, 1960 No. 1327 On further improvement of the protection of cultural monuments in the RSFSR]. Available at: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=esu&n=3268#eklmxwuoyqrdspir1> (Accessed 15 December 2024).
- Prilozhenie k postanovleniiu Soveta Ministrov RSFSR ot 22 maia 1948 g. Spisok pamiatnikov arkhitektury, podlezhashchikh gosudarstvennoi okhrane na territorii RSFSR (dopolnitel'nyi) [Appendix to the Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR of May 22, 1948 List of architectural monuments subject to state protection on the territory of the RSFSR (additional)].
- Rasporiazhenie administratsii Nizhegorodskoi obl. ot 13 sentiabrya 1996 g. No. 1236-r ob obyavlenii prirodnykh obektov gosudarstvennymi pamiatnikami prirody regionalnogo (oblastnogo) znachenii [Order of the Administration of the Nizhny Novgorod Region No. 1236-r dated September 13, 1996, on the declaration of natural objects as state natural monuments of regional (provincial) significance]. Available online at: <https://docs.cntd.ru/document/944904521> (Accessed 15 December 2024).
- Qualls, K. (2009) *From Ruins to Reconstruction: Urban Identity in Soviet Sevastopol after World War II*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Rolf, M. (2013) *Soviet mass festivals, 1917–1991*; translated by C. Klohr. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press.
- Rousselet, K. (2024) Saint Catherine's Cathedral in Ekaterinburg and Disputes over the Common Good, *Archives of Social Sciences of Religions*, 206, pp. 151–180.
- Rychkova, N. (2024) “A Right to the Square”: Practices of Urban Space Appropriation by the Religious Community of the Strastnoy Monastery in Moscow, *Archives of Social Sciences of Religions*, 206, pp. 123–150.
- Sandomirskaja, I. (2022) *Past Discontinuous: fragmenty restvratsii* [Past Discontinuous: fragments of restoration]. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie.
- Shagoian, G. (2022) “Natsional'noe po sodержaniyu i sotsialisticheskoe po forme”: Palimpsest memorialov Sovetskoi Armenii [‘National in Content and Socialist in Form’: Palimpsest of Memorials of Soviet Armenia], *Armianskii gumanitarnyi vestnik*, pp. 122–144.
- Shtyrkov, S., Kormina J. (2015) “Eto nashe iskonno russkoe, i nikuda nam ot etogo ne detsya”: predystoriya postsovetskoy desekulyarizatsii [‘This is Our Primordially Russian and We Can't Get away from It’: Prehistory of the Post-Soviet Desecularization], in J. Kormina, A. Panchenko, S. Shtyrkov (eds.), *Izobretenie religii: desekularizatsiya v postsovetskom kontekste* [Invention of Religion: Desecularization in the Post-Soviet Context]. St. Petersburg: Izd-vo EUSPb, pp. 7–45.
- Sklokina, I. (2021) International Tourism and the Making of the National Heritage Canon in Late Soviet Ukraine, 1964–1991, in E. Gantner, C. Geering and P. Vickers (eds.), *Heritage under Socialism: Preservation in Eastern and Central Europe, 1945–1991*. New York, Oxford: Berghahn Books.

- Smith K.E. (1997) An Old Cathedral for a New Russia: The Symbolic Politics of the Reconstituted Church of Christ the Saviour, *Religion, State and Society*, 25(2), pp. 163–175.
- Smith S.A. (2015) Contentious Heritage: The Preservation of Churches and Temples in Communist and Post-Communist Russia and China, *Past and Present*, Supplement 10, pp. 178–213.
- Smith, L. (2006) *Uses of Heritage*. London; New York: Routledge.
- Sobol'nikova, T.N. (2011) Okhrana pamyatnikov arkhologii i etnografii na territorii Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga v 1960–1980-e gg. (po arkhivnym dokumentam okruzhnogo otdeleniia VOOPiK) [Protection of archaeological and ethnographic monuments on the territory of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug in 1960-1980-ies (on archival documents of the district branch of VOOPiK)], *Ural'skii istoricheskii vestnik*, 4(33), pp. 69–75.
- Sobol'nikova, T.N. (2009) Khanty-Mansiiskoe otdelenie Vserossiiskogo obshchestva okhrany pamyatnikov istorii i kul'tury: k istorii stanovleniia i funktsionirovaniia [Khanty-Mansiysk branch of the All-Russian Society for the Protection of Monuments of History and Culture: to the history of formation and functioning], *Khanty-Mansiiskii avtonomnyi okrug v zerkale proshlogo*, 7, pp. 110–122.
- Soiurova, A.V. (2014) Rol' obshchestvennykh uchrezhdenii v okhrane kul'turnogo naslediia Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga – Iugry v 1960-kh – nachale 1990-kh gg. [The role of public institutions in the protection of cultural heritage of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra in the 1960s – early 1990s], *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i iuridicheskie nauki, kul'turologiia i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki*. 3 (41), pp. 156–160.
- Soiurova, A.V. (2015) *Okhrana pamyatnikov istorii i kul'tury na severe Zapadnoi Sibiri v 1917–1991 gg. (po materialam Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga – Iugry)* [Protection of historical and cultural monuments in the north of Western Siberia in 1917–1991 (on the materials of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra)]. Abstract of dissertation of candidate of historical sciences. Ekaterinburg.
- Stites, R. (1989) *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. New York: Oxford University Press.
- Suhova, A.G. (2018) Gosudarstvennaia politika v sfere okhrany pamyatnikov traditsionnoi mariiskoi religii “kysoto” (sviashchennykh roshch), raspolozhennykh na territorii respubliky Marii El [State policy in the sphere of protection of monuments of the Mari traditional religion ‘kysoto’ (sacred groves) located on the territory of the Republic of Mari El], *Vestnik mariiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia “Istoricheskie nauki. Iuridicheskie nauki”*, 4(2), pp. 70–76.
- Swenson, A. (2013) *The Rise of Heritage: Preserving the Past in France, Germany and England, 1789–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tchouikina, S. (2006) *Dvoriaskaia pamiat: “byvshie” v sovetskom gorode (Leningrad, 1920–30-e gody)* [Noble Memory: “Formers” in a Soviet City (Leningrad, 1920–30s)]. St. Petersburg: European University at St. Petersburg Press.
- Tocheva, D. (2022) Custodians of heritage and faith: Orthodox Christianity in a Russian state museum, *Civilisations*, 71, pp. 115–136.
- Tunbridge, J.E., Ashworth, G. J. (1996) *Dissonant Heritage: the Management of the Past as a Resource in Conflict*. Chichester: Wiley.
- Veizer, T., Atnashev, T., Velizhev, M., eds. (2021) *Nesovershennaya publichnaya sfera: istoriya rezhimov publichnosti v Rossii* [The Imperfect Public Sphere: The History of Public Regimes in Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Vozzvanie Soveta Rabochikh i Soldatskikh Deputatov [Appeal of the Council of Workers' and Soldiers' Deputies], *Izvestiia Petrogradskogo Soveta rabochikh i soldatskikh deputatov*. no. 9. 8 March 1917. P. 2.

- Vypiska iz protokola zasedaniia Prezidiuma VTsIK ot 10 iyunia 1934 g. ob utverzhdenii spiska pamiatnikov arkhitektury, nakhodiashchikhsia pod gosudarstvennoi okhranoi s prilozheniem spiska [Extract from the minutes of the meeting of the Presidium of the All-Russian Central Executive Committee on June 10, 1934 on the approval of the list of architectural monuments under state protection with the appendix of the list], *State Archive of the Russian Federation (GARF)*. Fund R1235. List 76. D. 90. File 109–143.
- Vypiska iz protokola zasedaniia Prezidiuma VTsIK ot 20 marta 1935 g. ob utverzhdenii spiska pamiatnikov arkhitektury, nakhodiashchikhsia pod gosudarstvennoi okhranoi s prilozheniem spiska [Extract from the minutes of the meeting of the Presidium of the All-Russian Central Executive Committee on March 20, 1935 on the approval of the list of architectural monuments under state protection with the appendix of the list], *State Archive of the Russian Federation (GARF)*. Fund R1235. List 76. File 90. P. 153–186.
- Winter, T. (2015) Heritage and Nationalism: An Unbreachable Couple?, in E. Waterton and S. Watson (eds.) *The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research*, pp. 331–345.
- Zhukov, Iu.N. (1987) Teoreticheskoe i prakticheskoe znachenie pervogo gosudarstvennogo spiska nedvizhimykh pamiatnikov RSFSR (1935 g.) [Theoretical and practical significance of the first state list of immovable monuments of the RSFSR (1935)], in *Pamiatnik i sovremennost'*. *Voprosy osvoeniia istoriko-kul'turnogo naslediiia*. Moscow, pp. 75–101.
- Zubkova, E. (2018) Liudi i muzei: transformatsiia kul'turnogo landshtafta Novgoroda i Pskova v pervoi treti XX veka' [People and museums: transformation of the cultural landscape of Novgorod and Pskov in the first third of the twentieth century], in *Lichnost', obshchestvo i vlast' v istorii Rossii*. Novosibirsk, pp. 151–169.

Сведения об авторе:

МЕЛЬНИКОВА Екатерина Александровна – кандидат исторических наук, доцент, Европейский университет в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: Melek@eu.spb.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Ekaterina A. Melnikova, European University at St. Petersburg (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: Melek@eu.spb.ru

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 14 июля 2025;
принята к публикации 8 августа 2025.*

*The article was submitted 14.07.2025;
accepted for publication 08.08.2025.*

Научная статья
УДК 94(470)
doi: 10.17223/2312461X/49/3

Практики охраны историко-культурного наследия в национальных округах в позднесоветский период: по материалам Коми-Пермяцкого отделения ВООПИК

Петр Андреевич Неплюев^{1, 2}

¹ *Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия*

² *Пермский краеведческий музей, Пермь, Россия
^{1, 2} peter.neplyueff@yandex.ru*

Аннотация. Предпринимается попытка рассмотреть практики охраны историко-культурного наследия на примере Коми-Пермяцкого округа в позднесоветский период (1960–1980-е гг.). Коми-Пермяцкий округ представляет интерес для исследования, так как, с одной стороны, в позднесоветский период являлся национальным округом, а с другой – был встроен в систему управления Пермской области, подчиняясь региональным властям. Основным источником для исследования выступает деятельность созданного в 1965–1966 гг. Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, отделение которого функционировало на территории округа с конца 1965 г. по 1980-е гг. Оно сосредоточило вокруг себя основных активистов в области охраны памятников и выступало как ключевой элемент системы сохранения наследия в округе, давая своим участникам определенную субъектность. В рамках деятельности окружного отделения прослеживается не только общесоветский канон сохранения наследия (консолидация памяти о Гражданской и Великой Отечественной войнах), но и локальные сюжеты Коми-Пермяцкого округа. Эти два направления взаимодействуют между собой и формируют своеобразный канон охраны наследия на территории округа, что также является объектом исследования. Кроме вышеперечисленного, на примере коми-пермяцкого окружного отделения рассматривается деятельность низовых отделений ВООПИК, их практики, взаимодействие с властью и вышестоящими отделениями.

Ключевые слова: Коми-Пермяцкий округ, ВООПИК, охрана историко-культурного наследия, «полезное прошлое», советские массовые добровольные общества, низовой историко-культурный активизм

Для цитирования: Неплюев П.А. Практики охраны историко-культурного наследия в национальных округах в позднесоветский период: по материалам Коми-Пермяцкого отделения ВООПИК // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 55–76. doi: 10.17223/2312461X/49/3

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/3

Practices of Protecting Historical and Cultural Heritage in National Districts in the Late Soviet Period: Based on Materials from the Komi-Permyak Branch of VOPIK

Petr A. Nepluev^{1, 2}

¹ Perm State National Research University, Perm, Russian Federation

² Perm Museum of Local Lore, Perm, Russian Federation

^{1, 2} peter.neplyueff@yandex.ru

Abstract. This article attempts to examine heritage preservation practices using the Komi-Permyak Okrug as a case study during the late Soviet period (1960s–1980s). The Komi-Permyak Okrug is of particular interest for research because, on the one hand, it was a national district during the late Soviet era, while on the other, it was integrated into the administrative system of the Perm Region and subordinate to regional authorities. The primary source for this study is the activity of the All-Russian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments (VOPIK), which was established in 1965–1966. A local branch of VOPIK operated in the district from the end of 1965 through the 1980-s. This branch brought together key activists in the field of monument preservation and functioned as one of the central components of the heritage protection system in the region, granting its members a certain degree of agency. Within the activities of the district branch, one can observe not only the all-Soviet canon of heritage preservation (the consolidation of memory of the Civil War and the Great Patriotic War), but also local narratives specific to the Komi-Permyak district. These two directions interact with each other and shape a distinctive canon of heritage protection within the district, which is also a subject of study. In addition to the above, the article examines, using the example of the Komi-Permyak district branch, the activities of grassroots branches of VOPIK, their practices, and their interactions with authorities and higher-level branches. In addition, the article examines the activities of grassroots VOPIK branches through the example of the Komi-Permyak district branch, their practices, and their interactions with the authorities and higher-level branches.

Keywords: Komi-Permyak Okrug, VOPIK, protection of historical and cultural heritage, “usable past”, Soviet mass voluntary societies, grassroots cultural and historical activism

For citation: Nepluev, P.A. (2025) Practices of Protecting Historical and Cultural Heritage in National Districts in the Late Soviet Period: Based on Materials from the Komi-Permyak Branch of VOPIK. *Ia. Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 55–76 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/3

Вступление

Использование прошлого в Советской России начинается практически сразу же после установления власти большевиков. Несмотря на то, что в официальном идеологическом поле СССР в 1920-е гг. был постав-

лен курс на отказ от прошлого и стремление к будущему, дореволюционное и советское историко-культурное наследие регулярно использовалось региональными краеведческими обществами и организациями, а также и самим государством. Во многих случаях корни краеведческих объединений уходили в дореволюционную эпоху, в движения второй половины XIX – начала XX в. Внутри таких обществ уже с 1920-х гг. сосредотачивались историко-культурные активисты: граждане, добровольно участвующие в сохранении историко-культурного наследия. Занимаясь изучением местной истории, активисты зачастую не только поддерживали общесоюзный исторический нарратив, но и способствовали формированию особенных региональных канонов, для которых «местное» могло иметь приоритет над «общегосударственным». Важной частью использования прошлого выступали практики охраны историко-культурного наследия, которые позволяли создавать преемственность исторической памяти, вовлекать непрофессионалов в изучение и трансляцию исторических сюжетов, создавать локальную идентичность регионов.

В рамках данной статьи внимание будет уделено практикам охраны историко-культурного наследия на территории Коми-Пермяцкого округа в позднесоветский период (1960–1980-е гг.), а также формированию регионального канона охраны наследия. Именно в этот период всесоюзная государственная поддержка сферы охраны памятников, в том числе на региональном уровне, приводила к укреплению локальных идентичностей. Коми-Пермяцкий округ в позднесоветский период представляет интерес для исследования, так как, с одной стороны, он являлся примером национального административного формирования на территории РСФСР, а с другой – в отличие от национальных республик (АССР) был частью Пермской области, включался в ее структуру.

Система охраны наследия на территории округа опиралась как на общесоветский нарратив по охране памятников Гражданской и Великой Отечественной войн, так и на локальные интересы активистов по сохранению регионального наследия. Изучению взаимодействия этих направлений по охране наследия в округе и посвящено исследование.

Практики охраны памятников на территории округа во многом сложились при участии местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (далее ВООПИК или Общество), основанного в 1965–1966 гг. Общество с Центральным советом в Москве, с одной стороны, задавало единые для РСФСР каноны и векторы движения в области охраны общесоветского наследия, с другой же – способствовало объединению региональных активистов вокруг темы локальной истории и культуры. Кроме того, особый интерес представляет взаимодействие коми-пермяцкого окружного и пермского областного отделений. Так как Коми-Пермяцкий округ был частью Пермской

области, то коми-пермяцкое областное отделение ВООПИК подчинялось пермскому областному отделению. При этом активисты округа были заинтересованы в диверсификации региональной сферы охраны памятников через сохранение коми-пермяцкой культуры, народных промыслов и другие сюжеты.

Основным источником для исследования выступают материалы о деятельности ВООПИК из окружного архива Коми-Пермяцкого округа (КПОГА), пермских краевых архивов (ПермГАСПИ и ГАПК), а также Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).

Поворот к истории в СССР: поиски «полезного прошлого» и охрана наследия

В 1920-е гг. в СССР наступает короткий период расцвета локальной истории. Краеведческие организации, объединенные под эгидой Центрального бюро краеведения (ЦБК, 1922–1937 гг.), ставили своей задачей культурную трансформацию, сохранение и изучение историко-культурного наследия, укрепление национального сознания на периферии Советского государства. Таким образом, укрепляя региональные и национальные нарративы, краеведческие сообщества становились частью социалистического строительства.

Уже на рубеже 1920–1930-х гг. деятельность локальных краеведческих объединений и ЦБК в целом вызывает подозрение со стороны центральных властей, что приводит к постепенному ограничению их деятельности. Многие региональные организации постепенно закрываются. В 1930-е гг. ЦБК превращается в полностью зависимую от государства организацию, его кадровый потенциал был утрачен. В 1937 г. Центральное бюро краеведения было распущено, как дублирующее многие другие общественные организации (Козлов 2013: 80).

Параллельно с маргинализацией краеведческой деятельности в 1930-е гг. на волне популяризации идеи «строительства социализма в отдельно взятой стране» в СССР усиливается централизация власти и начинается «возврат к традиционным культурным и историческим ценностям» (Тихонов 2016: 32–33). Характерным признаком этого поворота становится использование сюжетов и образов дореволюционного прошлого для государственного строительства, формирование нового пантеона героев, в который вместо безликих революционных сил стали входить передовики производства, революционеры, а также правители и полководцы, внесшие свой вклад в укрепление Российского государства. Эти процессы не означали полную ликвидацию краеведческой деятельности, но сильно ограничили ее возможности и публичность на ближайшие годы.

Ограниченный возврат к формированию региональных канонов и поворот к сохранению памятников историко-культурного наследия произойдет уже в годы Великой Отечественной войны. Так, в 1944 г. при облисполкомах РСФСР создаются специальные архитектурные отделы, чьей главной задачей становится учет и охрана исторических и культурных памятников, в первую очередь архитектуры. Возникает подобный отдел и в Молотовской (Пермской) области (ГАПК Р-1619).

В послевоенные годы начинается возрождение и возвращение в публичную плоскость тематики региональных исторических сюжетов и образов. Одним из первых случаев использования таких сюжетов в публичном пространстве стало возрождение традиции городских юбилеев. Первым широко празднуемым городским юбилеем было 800-летие Москвы, отмечавшееся в 1947 г., однако после него в СССР создается «прецедент, которому в дальнейшем активно следовали и другие города» (Янковская 2023: 13).

Вслед за московским торжеством в позднесталинскую и позднесоветскую эпоху традиция отмечать юбилеи прочно закрепляется в советском публичном пространстве. Для региональных властей такие празднования зачастую выступали как способ политической мобилизации, обеспечивавший доступ к дополнительным ресурсам, финансированию, укреплению локальной идентичности города, области, края, республики (АССР), а также более мелких административно-территориальных образований (13). Для историко-культурных активистов юбилеи также становились особой «точкой сборки» – периодом активизации усилий, привлечения новых сторонников сохранения историко-культурного наследия, опублицивания региональных сюжетов.

Особую роль в складывании региональных канонов играло и изменение во второй половине 1950–1960-е гг. режима публичности, который определял правила и границы публичных высказываний, а также реакции на них. По классификации авторов сборника «Несовершенная публичная сфера» (Несовершенная публичная сфера 2021: 51–69) существует четыре режима публичности, применимых к отечественному (в том числе и советскому) опыту. Для указанного периода характерен режим «бурных дискуссий» (расширение поля обсуждения общественно важных вопросов и вовлечение в него новых акторов), который в 1960-е гг. переходит в режим «публичной немоты» (снижение значимости публичных дискуссий с сохранением анклавов свободы высказываний). В 1960-е гг. в советском публичном пространстве сфера охраны историко-культурного наследия становится одним из «анклавов свободы высказываний». Внутри этого «анклава» активно развиваются такие феномены, как «письма во власть», а также публичная критика текущего положения охраны памятников через СМИ, лекционную деятельность. В дискуссию на страницах советских газет и журналов включаются как

историки, археологи, искусствоведы, так и общественные активисты, краеведы, не имеющие официального исторического или искусствоведческого образования.

На местном уровне силами активистов начинается поиск локальной идентичности, которая позволила бы выделить регион на фоне соседей и/или других советских регионов. Для Молотовской, а затем Пермской (с 1957 г.) области основными сюжетами становится архитектура Русского Севера, пермский звериный стиль, а также ряд народных промыслов. При этом локальные историко-культурные активисты преследовали не только цель сохранения историко-культурного наследия, но и его популяризацию, а также ориентировались на решение практических задач, связанных с привлечением в регион туристов. Как отмечает В.В. Абашев, само появление темы пермского звериного стиля в публичном пространстве Пермской области в 1960-е гг. стало ответом на проблему «плачевного положения местной художественной промышленности» и общего отсутствия сувенирной продукции в Перми, который предложил местный журналист-пенсионер Б.Н. Назаровский (Абашев 2023: 98).

Отдельное внимание в первой половине 1960-х гг. уделялось новым формам сохранения наследия, таким, например, как музеи-заповедники под открытым небом. Первые музеи такого типа на территории СССР стали появляться еще до 1960-х гг., например музей «Кижи» или Соловецкий музей-заповедник. Однако именно в 1960-е гг. эта идея широко распространилась по всему Советскому государству как радикальный способ сохранения памятников архитектуры и этнографии, в первую очередь дореволюционной. Одним из основных публичных сторонников этой идеи выступал известный архитектор и исследователь русского деревянного зодчества И.В. Маковецкий (Маковецкий 1963).

Самой широкой публичности тема охраны историко-культурного наследия достигает во второй половине 1960-х гг. после создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Создание новой массовой добровольной организации стало решением сразу нескольких проблем, с которыми сталкиваются в послевоенные годы государственные власти.

Во-первых, это масштабный запрос со стороны населения и активистов на сохранение наследия и регулярная критика сферы охраны памятников в публичном пространстве. Не имея человеческих и финансовых ресурсов для обеспечения полноценной охраны наследия, государство передает часть полномочий в руки историко-культурных активистов. Члены ВООПИК должны были заниматься выявлением нуждающихся в реставрации памятников, сбором необходимых для реставрации средств, рекрутингом активистов, популяризацией исторических сюжетов в публичном пространстве через СМИ, чтением публичных лекций, организацией туристических походов по историческим местам, поисковой деятельностью и т.д.

Во-вторых, ВООПИК было призвано решать важную воспитательную задачу, связанную с сохранением исторической памяти среди молодого поколения, не заставшего Гражданскую и Великую Отечественную войны. К началу 1960-х гг. намечался разрыв между советскими «бэби-бумерами» (родившимися в послевоенные годы) и старшими поколениями (Мельникова 2018: 21). По мнению властей, именно молодая и самая физически активная часть советского общества – школьники и студенты – должна была взять на себя основную работу по сохранению историко-культурного наследия. Одновременно должна была решиться и проблема преемственности исторической памяти.

Пройдя период своего оформления в конце 1960-х – начале 1970-х гг., на рубеже 1970–1980-х гг. общество достигает апогея своей охранной деятельности. В этот период в ВООПИК состояло более 15 млн членов (ГАРФ. Ф. А-639. Оп. 1. Д. 705. Л. 18), а выделяемые обществом на нужды реставрации памятников средства достигали 10 млн руб. (ГАРФ. Ф. А-639. Оп. 1. Д. 657. Л. 45). Основным инструментом развертывания деятельности ВООПИК стали местные отделения, созданные в каждом регионе РСФСР. Именно они осуществляли координацию деятельности нижестоящих районных и городских отделений, держали связь с Центральным советом ВООПИК в Москве, который задавал основные векторы движения.

С одной стороны, деятельность региональных отделений регулировалась и контролировалась местными органами власти (управлениями культуры при местных облисполкомах, крайисполкомах), а членами региональных отделений были местные чиновники разных уровней. С другой – в состав региональных отделений с самого начала их существования вошли местные историко-культурные активисты, которые занимались опубличиванием проблем сохранения историко-культурного наследия еще до создания ВООПИК.

Ярким примером подобной деятельности по охране и популяризации историко-культурного наследия служит уже упоминавшийся Б.Н. Назаровский, начавший свою публичную краеведческую деятельность еще в первой половине 1960-х гг. через газетные статьи, выступления, лекции, письма во власть. Кроме того, среди будущих членов Пермского ВООПИК подобную деятельность по развитию локальной идентичности вели археолог В.А. Оборин, директор Пермского краеведческого музея Л.Г. Дворсон, архитектор А.С. Терехин и др. Так, объединенные вокруг Общества, они получили «поддержку дружеского плеча» со стороны других активистов, а также финансовые ресурсы для продвижения локальных интересов. И хотя на момент создания главными целями Общества было сохранение памяти о Гражданской и Великой Отечественной войнах, немалая часть его деятельности была посвящена продвижению локальных сюжетов.

В Пермской области результатом работы местных активистов стало создание музея деревянного зодчества в деревне Хохловка, экспериментального ювелирно-гранильного завода по производству сувенирной продукции на основе местных традиционных промыслов. Члены ВООПИК также участвовали в создании пермского городского герба в 1969 г. и проведении 250-летнего юбилея Перми в 1973 г.

Таким образом, вторая половина 1960-х – начало 1970-х гг. в СССР стали периодом особой активизации поиска «полезного прошлого» как на общегосударственном, так и локальном уровне. Важную роль в использовании прошлого играл вопрос сохранения наследия, для чего привлекались и активисты на самых разных уровнях. Они, в свою очередь, следуя основным задачам Общества по сохранению памяти о Гражданской и Великой Отечественной войнах, участвовали в поисках локальной идентичности и создавали свой особый региональный историко-культурный канон. С переменным успехом в создании региональных канонов и формировании практик охраны наследия участвовали и национальные округа, к которым относился Коми-Пермяцкий округ, в позднесоветский период входивший в состав Пермской области.

«Сохранить все старое, что имеется в народе»: Коми-Пермяцкий округ и практики охраны историко-культурного наследия

Коми-Пермяцкий округ – один из первых национальных округов, созданных в молодом Советском государстве. Он был образован 26 февраля 1925 г. в составе Уральской области РСФСР. Как отмечают А.В. Черных и М.С. Каменских, Коми-Пермяцкий округ был во многом показательным и уникальным опытом советского нациестроительства.

Во-первых, его появление закрепило в конце 1920-х гг. новый этноним «коми-пермяки», определяющий идентичность его жителей, которые ранее называли себя «пермяками». Другие представители пермяцкой народности, обитавшие на территории Уральской области и за ее пределами, не включенные в состав Коми-Пермяцкого округа, определяли себя как коми (коми-зыряне), а не коми-пермяки. Во-вторых, создание нового округа в Уральской области стало «пилотным» проектом по учреждению новых административно-территориальных единиц в РСФСР. Населявшие национальные округа народы уступали по численности титульным народам, для которых в РСФСР создавались автономные республики (АССР), но при этом сохраняли определенную национальную идентичность и на заре Советского государства получили свои собственные округа. В-третьих, само создание Коми-Пермяцкого округа находилось не только в плоскости решения национального вопроса, но и во многом зависело от экономической целесообразности. Коми-пермяки этнически были близки к коми-зырянам, населявшим соседнюю

республику Коми, однако экономически территория округа была близка к территории бывшей Пермской губернии и при создании была включена в Уральскую область (а затем и в Пермскую/Молотовскую область) (Черных, Каменских 2022: 61–64). Как отмечают исследователи, само создание Коми-Пермяцкого округа ставило своей целью «не обеспечить права национальных меньшинств, а обеспечить лояльность населения разных национальностей в рамках советской государственности» (64). Таким образом, национальные округа занимали промежуточное положение: с одной стороны, у них были свои национальные интересы, с другой же – вследствие экономической необходимости входили в состав более крупных административных единиц, подчиняясь их руководству.

В 1930-е гг. начинается сворачивание активности национальных меньшинств, их присутствия в публичном пространстве. Со второй половины десятилетия «национальная политика и органы власти, ее реализовывавшие, получают все меньше возможностей для принятия решений» (Каменских 2019: 156). К концу 1930-х гг. национальная политика по отношению к Коми-Пермяцкому округу окончательно формируется и практически не изменяется до самого распада Советского государства. Национальный округ хотя и имел свои местные органы власти, но был полностью подчинен областным. На территории подобных национальных округов по отношению к историко-культурному наследию и его сохранению складывается два основных нарратива: господствующий, общесоюзный, а также локальный. Локальный нарратив зачастую подчинялся общегосударственному, однако и внутри него остаются некоторые «анклавы свободы высказываний». Речь о конкретных примерах пересечения этих нарративов пойдет ниже.

Как и в случае с другими регионами РСФСР, период институциональной активизации коми-пермяцких историко-культурных активистов наступает в середине 1960-х гг., после создания Всероссийского общества охраны памятников. Общество консолидирует местных активистов и дает им возможность публично заниматься охраной наследия.

Учредительная конференция местного отделения охраны памятников (под названием «Общество “Охраны памятников старины”») состоялась 22 декабря 1965 г. На конференции обозначались основные направления деятельности будущего отделения (КПОГА. Д. 1. Л. 1–2). В соответствии с директивами центральных государственных властей, на которые опиралось ВООПИК после создания, главным приоритетом работы местного отделения называлось сохранение памяти и охрана памятников Гражданской и Великой Отечественной войн. Отметим, что окружные историко-культурные активисты были заинтересованы в диверсификации сферы охраны наследия через сохранение локальной истории и культуры, в том числе дореволюционной. Таким образом, уже на первых

заседаниях окружного отделения ВООПИК формировалось два нарратива охраны наследия: общесоюзный и локальный.

При этом не стоит говорить о противопоставлении двух этих нарративов, так как сохранение исторической памяти о Гражданской и Великой Отечественной войнах тесно переплеталось с локальными интересами. Так, отметим, что на всей территории Пермской области региональное, а также местные отделения ВООПИК уделяли Гражданской войне особое внимание. Связано это было в первую очередь с тем, что годы Гражданской войны ознаменовались сражениями во многих районах Пермской области. Здесь сохранилось множество памятников и захоронений, жили участники боевых действий. Значимой датой для поисковых отрядов и историко-культурных объединений оставалось 15 июля – официальная дата освобождения Урала от сил адмирала Колчака (ПермГАСПИ 1458). Таким образом, для активистов Коми-Пермяцкого округа сохранение памятников и свидетельств участников Гражданской войны было важной частью охраны наследия региона.

В годы Великой Отечественной войны Пермская область находилась в глубоком тылу, но на территории области располагались многочисленные госпитали и оборонные предприятия; более 500 тысяч жителей области воевали на фронтах. Это также обуславливало актуальность Великой Отечественной войны и делало ее фокусом для сохранения памяти.

Основными видами деятельности местного отделения по сохранению наследия Гражданской и Великой Отечественной войн стоит назвать походы и автоагитпробеги (КПОГА. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 1. Л. 19–20), а также поисковую деятельность (совместно со Всесоюзным походом по местам революционной, боевой и трудовой славы, учрежденным, как и ВООПИК, в 1965–1966 гг.). Представители поискового движения активно записывали воспоминания ветеранов, занимались поиском информации о госпиталях и известных участниках войны. Одной из наиболее успешных ячеек поискового движения стала первичная организация ВООПИК Кудымкарской школы № 1, собиравшая материалы о жизни Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, который в 1930-е гг. работал в г. Кудымкар. Члены организации инициировали переписку с другими подобными отрядами по всему СССР, а также участвовали в слетах Кузнецовских дружин в г. Херсон (КПОГА. Д. 6. Л. 34; Д. 14. Л. 3; Д. 14. Л. 75). В некоторых случаях учащиеся Кудымкарской школы отправлялись по «кузнецовским местам» в частном порядке, «дикарями» (КПОГА. Д. 14. Л. 75).

Вместе с тем «полезное прошлое» в глазах локальных активистов не ограничивалось темой Гражданской и Великой Отечественных войн. Окружное отделение ВООПИК, как и центральные отделения Общества, быстро обнаруживает интерес к другим направлениям охраны насле-

дия – народной культуре, дореволюционной истории и пр. Уже на первых встречах ВООПИК появляются сюжеты, имеющие отношение к местной историко-культурной повестке. В этом отношении дискуссии на заседаниях местного отделения Общества были похожи на многие, которые проходили в других регионах РСФСР, где в первые годы после учреждения ВООПИК новое общество воспринималось как полноценный субъект в системе охраны памятников. По мнению активистов, Общество охраны памятников обладало (или должно было обладать) полномочиями принимать самостоятельные решения и отменять постановления советских органов, вредящих делу охраны памятников.

Среди главных тем, поднимавшихся еще на учредительной конференции ВООПИК в декабре 1965 г., ставился вопрос о начале производства особых коми-пермяцких сувениров на основе традиционных промыслов жителей округа (КПОГА. Д. 1. Л. 1–2). Обсуждение создания подобной мастерской было частью более широкой дискуссии локальных активистов о сборе предметов прикладного искусства коми-пермяков и сохранении национальных ремесел (КПОГА. Д. 1. Л. 32). Местное отделение, не имея необходимых ресурсов для создания мастерской, а также желая продавать сувениры не только в Кудымкаре, но и в Перми, просило о помощи областное отделение Общества, куда и был передан запрос.

В 1967–1968 гг. предложение о строительстве камнерезной мастерской для работы с мрамором под эгидой ВООПИК в Коми-Пермяцком округе было отвергнуто. Можно предположить, что Центральный совет ВООПИК посчитал организацию постоянной мастерской в Коми-Пермяцком округе или других районах Пермской области (например, в г. Соликамске) экономически нецелесообразной из-за их удаленности от регионального центра. Временное же производство, пока не будет найдена площадка в Перми, по замечанию Б.Н. Назаровского, позднее невозможно будет перевести в столицу области (ПермГАСПИ 3688). В 1969 г. в Перми была найдена подходящая территория для строительства мастерской и открыт экспериментальный ювелирно-гранильный завод, который просуществовал до 2004 г. Он взял на себя задачу по созданию уникальной для Пермской области сувенирной продукции, в дизайне которой использовались мотивы и образы народных промыслов, в том числе и элементы пермского звериного стиля.

Особого внимания, по мнению коми-пермяцких активистов, заслуживал вопрос о создании на территории округа музея под открытым небом, что было частью общесоюзного тренда в 1960–1970-е гг. Немалую роль в его популяризации сыграли и члены ВООПИК. Так, на рубеже 1960–1970-х гг. эта мера рассматривалась как ключевой инструмент для сохранения памятников архитектуры и с энтузиазмом поддерживалась членами Общества (ОГАЧО П4).

Окружной музей под открытым небом должен был сохранять коми-пермяцкую деревянную архитектуру и «древне-пермяцкую скульптуру» (КПОГА. Д. 1. Л. 1–2, 8–27). Предположим, что хоть основной задачей такого музея должно было стать сохранение деревянного зодчества округа, часть экспозиций заняли бы народные промыслы и этнографические коллекции. Впрочем, как и в случае с мастерской по производству сувениров, планы создания музея под открытым небом в округе не были реализованы. Основной причиной стала удаленность территории, затруднявшая доступ ко многим памятникам и, соответственно, препятствовавшая реставрационной деятельности. Изъятие памятников из их естественной среды и перевозка на территорию новых музеев в первую очередь преследовали цель обеспечения доступности для реставраторов, чего добиться в отдаленном Коми-Пермяцком округе было непросто.

Уже в 1968 г. для музея под открытым небом в Пермской области была выбрана площадка в сорока километрах от Перми, рядом с деревней Хохловка. Вероятно, это решение тогда же стало известно и членам коми-пермяцкого отделения, так как с 1968 г. обсуждение своего музея под открытым небом фактически прекращается. А уже весной следующего, 1969 г. пермский областной исполнительный комитет отдает распоряжение о создании музея и присоединении его в качестве филиала к Пермскому краеведческому музею. Открытие музея состоялось осенью 1980 г.

Так как многие памятники деревянной архитектуры в Пермской области находились на территории округа, в Хохловском музее был создан отдельный сектор коми-пермяцкой народной архитектуры и быта. С 1971 г. члены архитектурной секции областного отделения ВООПИК (Кукин Н.Н., Будрина А.Г., Власов И.Ф., Пленина В.С., Игошин Г.М.) занимаются организацией северных экспедиций в Коми-Пермяцкий округ по поиску экспонатов и памятников для музея под открытым небом (КПОГА. Д. 9. Л. 37). В 1970-е гг. в подобных экскурсиях принимали участие историки, археологи, сотрудники Пермского краеведческого музея (Заякина 1978, 1980).

Само окружное отделение в 1975 г. озвучивает следующую позицию: «На территории нашего округа имеются и памятники архитектуры в Пожве, Косе, Юрле, Куве и Кудымкаре. Сохранились еще старинные избы с архитектурными украшениями, курные избы, охотничьи чембы, амбары – все это памятники архитектуры прошлого. При этом надо сказать, что эти памятники находятся в полуразрушенном состоянии, их на местах не представляется возможным сохранить, поэтому нам следует принять активное участие в создании музея-заповедника деревянной архитектуры Прикамья в Хохловке, в котором будет перевезено и собрано несколько построек Коми-пермяцкого национального округа» (КПОГА. Д. 24. Л. 19). Таким образом, к середине 1970-х гг. окружное отделение

ВООПИК практически полностью отказывается от своих планов по созданию местного музея под открытым небом, посвящая все свои усилия в этом направлении организации Коми-Пермяцкого сектора в музее в Хохловке. При этом планы по созданию такого музея не были оставлены окончательно. В конце 1970-х гг., когда открытие музея в Хохловке становится лишь вопросом времени, под влиянием сообщений о реставрации Троицкого городища в г. Чердынъ Пермской области, вопрос о создании собственного музея под открытым небом возникает вновь (КПОГА. Д. 27). Однако, как и раньше, за пределы обсуждений на заседаниях окружного отделения в 1978 г. этот вопрос не выходил.

Особое внимание со стороны местных активистов ВООПИК уделялось сохранению дореволюционного наследия, в первую очередь церквей и монастырей. Уже на первых заседаниях местного отделения поднимался вопрос об особом режиме охраны Никольского собора в г. Кудымкаре, в котором в советский период, с 1943 по 1990 гг., размещался окружной краеведческий музей. Позиция активистов аргументировалась следующим образом: «В этом оригинальном по своему решению сооружении, вместе с некоторыми элементами классицизма ярко выражена простота, какая-то строгость мыслей и форм, что придают зданию массивность и суровость, которые на наш взгляд убедительно отражают глухой и забытый лесной Коми-Пермяцкий край XVIII века» (КПОГА. Д. 1. Л. 18). Из указанной цитаты видно, что вектор защиты дореволюционного наследия представлял для локальных активистов не меньшую важность, давая им свою собственную идентичность в рамках Пермской области, пусть даже в виде «глухого» и «забытого» края в период XVIII в.

Упоминались и другие церкви, находящиеся в плачевном состоянии: «Многие из этих памятников, особенно деревянных зданий занимают торговые предприятия под склады. Например, бывшие церкви в Юксево, Купроссе, Косе, Собачке, занимают ОРСы комбината “Комипермлес”, но относятся к ним варварски. Так в Юксево, в Купроссе, в д. Собачка крыши текут, кирпич разваливается и здание теряет свою ценность. Такое же положение в Пешнигорте (здание занимает детдом) Кудымкарского района, в Гаинцово, Пельме (здания занимают колхозы) Кочевского района. На наши разговоры о бережном отношении к памятникам старины, эти предприятия не обращают внимания. Пора, как нам думается, поставить вопрос перед областными и местными Советскими органами о том, что по охране памятников истории и культуры иметь специальные постановления. И потребовать от “хозяев” наведения порядка и бережного отношения к используемым зданиям» (КПОГА. Д. 1. Л. 19–20). Примечательно, что местное отделение, как не обладающее необходимыми материальными ресурсами и политическим влиянием на местные власти, было вынуждено обращаться за помощью в областное отделение.

ние. Подчеркнем, что стремление защитить дореволюционные памятники становится признаком «локального патриотизма» историко-культурных активистов. При этом они не делают различий между памятниками коми-пермяцкой культуры и русскими памятниками. И те и те в их представлении являются «памятниками старины», не имея ярко выраженного национального или религиозного значения.

В подобном ключе видится вопрос и об археологических памятниках на территории округа. В части сохранения локальной идентичности выступали прошения местных активистов обеспечить охрану археологическим памятникам (селищам, могильникам, жертвенным местам и пр.) округа, тесно связанным с историей его коренных жителей (КПОГА. Д. 1. Л. 19–20), населявших Пермскую область задолго до русской колонизации Урала. Так, в начале 1970-х гг. секретарь Коми-Пермяцкого окружного отделения уведомлял Кудымкарский городской совет депутатов о постановке археологического памятника «Кудымкарское городище» на государственный учет и просил обеспечить сохранность памятника с помощью необходимых знаков и охранных досок (КПОГА. Д. 2. Л. 119). Предположим, что стремление сохранить археологические памятники местного населения до русской колонизации XIV–XV вв. все же не было проявлением национального нарратива. Скорее всего, для локальных активистов было важно, что археологические памятники, как и в случае с дореволюционными церквями, являются «памятниками старины», частью истории региона, которую необходимо изучать и защищать. С одной стороны, такие «памятники старины» способствовали формированию локальной идентичности региона, с другой – выступали частью социалистического строительства Советского государства во всем его многообразии, где каждый отдельный регион участвует в создании единого целого.

Несмотря на то, что в 1960–1980-е гг. ВООПИК и его региональные отделения во многом задавали направление развития в сфере охраны историко-культурного наследия, Общество оставалось массовой *добровольной общественной* организацией, которая могла лишь инициировать проекты и осуществлять общественный контроль за их реализацией. Его решения и постановления не были обязательными для исполнения государственными властями, что сильно ограничивало эффективность всей деятельности ВООПИК. Постепенно отсутствие реальных полномочий у активистов, состоящих в Обществе, повлияло и на образ самой организации.

По прохождении первых организационных лет работы Общества, к концу 1960-х гг., инициативы активистов Коми-Пермяцкого отделения по сохранению коми-пермяцкого наследия отходят на второй план. На первое место выходит рекрутинг новых членов (в первую очередь коллективных, чьи взносы составляли основной доход ВООПИК), сбор

взносов (КПОГА. Д. 1. Л. 57) и охрана уже существующих памятников. Существовала жесткая система подчинения областному совету ВООПИК, который регулярно посылал инструкторов и специалистов для контроля работы окружного отделения. В протоколах заседания местного отделения за 1973 г. можно встретить выступление представителя областного отделения Н.М. Артамоновой, которая критиковала слабую организационную работу в ряде районных отделений и недостаточные сборы взносов: «Если в округе не способны будут это сделать, то мы в области можем сделать. Лучше вы сами разберитесь на месте. Улучшить контакты с партийными органами» (КПОГА. Д. 14. Л. 76).

Не получалось в полной мере и обеспечить сохранность памятников, особенно тех, которые находились на территории советских предприятий и учреждений. Связано это было в первую очередь с отсутствием реальных полномочий. Члены ВООПИК могли лишь рекомендовать предприятиям заниматься реставрацией памятников или же увлечь его работников и руководство охраной историко-культурного наследия через первичные организации. В крайнем случае Общество могло обратить внимание местных государственных властей на проблемы сохранения памятников, но и эта мера зачастую зависела от заинтересованности представителей местных властей в охране наследия. Все это приводило к ухудшению положения памятников, даже при наличии заинтересованных активистов. Так, в решении исполкома Коми-пермяцкого округа от 10 июля 1972 г. указывается: «усилить пропаганду вокруг памятников истории советского общества, организовать над ними шефство предприятий, учреждений, колхозов и совхозов, учебных заведений и школ» (КПОГА. Д. 2. Л. 14, 14 об.). Таким образом, очевидно, что практика установления шефства над памятниками на территории учреждения не сумела стать массовой.

Сами члены окружного отделения регулярно критикуют создавшееся положение, выражая обеспокоенность репутацией Общества: «Нам надо серьезно подумать над тем, что если мы не будем проявлять необходимой заботы о благоустройстве и охране памятников, то наши члены могут сделать серьезный упрек. Как же так, членские взносы с индивидуальных и коллективных членов собираем, а ремонт и реставрацию памятников и мемориальных досок проводим плохо. В этом деле мы обязаны навести порядок и, чтобы наши члены могли сказать, что членские взносы, которые они вносят, идут на очень важное дело по сохранению памяти наших дедов и отцов» (КПОГА. Д. 14. Л. 105). Судя по всему, окружное отделение сталкивается с более широкой тенденцией 1970-х – начала 1980-х гг., когда Общество становится объектом критики отдельных советских граждан и советских властей за неиспользование полученных финансовых средств, перераспределение их в другие регионы, отсутствие видимой деятельности внутри района, где могли собираться

средства. Апогеем такой критики в публичном пространстве станет статья «Пассы вокруг кассы», опубликованная в конце 1982 г. в газете «Известия». В статье ВООПИК назывался «центром выколачивания народных средств для их присвоения в личных целях» (Костин 1982: 3), что сильно повлияло на публичный имидж Общества в 1980-е гг.

Логистические проблемы и нехватка штатов также ограничивали функционал коми-пермяцкого отделения Общества. В прошении, отправленном в 1973 г. в областное отделение, коми-пермяцкие члены ВООПИК просят предоставить ставку для бухгалтера, а также обеспечить доплату в 45 рублей ответственному секретарю Гайнского районного отделения ввиду разбросанности поселений в этом районе и трудностей в перемещении между ними (КПОГА. Д. 14. Л. 84).

Эта проблема не была уникальной для Коми-Пермяцкого округа. Так как изначально Общество создавалось как массовое и добровольное, с минимальным оплачиваемым штатом, то большую часть должностей в нем должны были занимать активисты, участвующие в ВООПИК на общественных началах (ГАРФ 259). Многие отделения (особенно районные) не имели полноценной ставки ответственного секретаря, на которого ложилась основная делопроизводственная работа. Зачастую сами секретари могли не обладать навыками ведения дел, составления смет и пр. Это приводило, например, к нарушениям в сфере учета взносов, ведения отчетности. В некоторой степени отсутствие этих навыков могло компенсироваться помощью профессиональных бухгалтеров, однако, чаще всего, ставка бухгалтера могла быть разделена сразу на несколько отделений, что ограничивало их трудоспособность. Даже набор штатных сотрудников считался проблемой. Зарплата ответственных секретарей на полную ставку зачастую не считалась достаточной (от 110 до 140 рублей, в зависимости от региона) при необходимости регулярных разъездов по населенным пунктам района для сбора взносов. При этом подавляющая часть отделений могла не иметь закрепленного за собой транспорта.

Населенные пункты, входившие в сферу ответственности районного отделения, могли находиться на расстоянии десятков и сотен километров между собой, часто в труднодоступных местах. Это существенно ограничивало возможность секретарей заниматься сбором индивидуальных членских взносов, что, в свою очередь, лишало отделения финансовой стабильности и заставляло их сосредотачиваться преимущественно на коллективных взносах предприятий. По отчетам, направляемым в Центральный совет ВООПИИК в Москве, становится видно, что главными проблемными регионами в РСФСР считалась Архангельская, Магаданская области, а также Сибирь и Дальний Восток. К проблемным

относились и некоторые северные уральские территории. Судя по имеющимся данным, к их числу принадлежал и Коми-Пермяцкий округ в Пермской области.

Уже к началу 1970-х гг. Коми-Пермяцкое отделение начинает испытывать проблемы со сбором индивидуальных и коллективных взносов и с организацией работы в отдаленных районах округа. В протоколах заседаний окружного отделения нередко можно было встретить подобные слова: «По членским взносам и активизации работы некоторых отделений все остается по-прежнему, “как говорят, на точке замерзания”» (КПОГА. Д. 14. Л. 53). Предположим, что удаленность и труднодоступность многих населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа стали причиной и низкого процента вступивших в Общество. Так, количество вступивших по области оценивалось в 12% от общего населения, в Коми-Пермяцком же округе в середине 1970-х гг. лишь 3% населения состояли в ВООПИК (КПОГА. Д. 426. Л. 67).

Из-за удаленности и отсутствия полноценного ответственного секретаря, с 1973 г. практически перестали работать Гайнское и Косинское отделения (КПОГА. Д. 14. Л. 71). В дальнейшем и окружное, и областное отделения прикладывали усилия по исправлению этой ситуации, однако добиться серьезных успехов вплоть до 1980-х гг. не удалось.

Некоторая активизация работы окружного отделения прослеживается в связи с различными юбилеями: 50-летие Октябрьской революции, 100-летие со дня рождения В.И. Ленина, годовщина окончания Великой Отечественной войны в 1975 г. Отдельно стоит отметить мероприятия к 50-летию со дня основания Коми-Пермяцкого округа в 1975 г. В 1973 г. был объявлен специальный смотр памятников на территории округа (КПОГА. Д. 17. Л. 31). Для многих отделений Общества подобные смотры, проходившие в преддверие крупных юбилеев городов, областей, краев и местных территорий, становились главным поводом для инвентаризации новых памятников. По результатам смотра в 1973 г. в окружном отделении Пермского книжного издательства была опубликована книга «Памятники истории и культуры Коми-Пермяцкого округа» с тиражом в 5 000 экземпляров (КПОГА. Д. 15. Л. 3). Под руководством члена исторической секции окружного отделения Г.К. Кониной в виде методички также был издан перспективный план основных мероприятий Общества в округе на 1974–1978 гг. (КПОГА. Д. 15). Главными векторами работы, согласно плану, объявлялись уже упоминавшиеся выше сюжеты: поисковая деятельность и заботы о памятниках Гражданской и Великой Отечественной войн (рекомендации по работе с этими сюжетами занимали большую часть методички), но был сделан и акцент на локальную историю. Членам окружного отделения рекомендовалось изучать дореволюционную архитектуру, в том числе промышленную (плотины, здания доменного цеха, заводскую ограду и пр.), крестьянские

избы, усадьбы, амбары. Отметим, что юбилейные мероприятия давали толчок деятельности местного отделения, но без системной работы и из-за многочисленных логистических и штатных проблем эффект был скоротечным и не способствовал развитию отделения.

С начала 1980-х гг. деятельность окружного отделения постепенно угасает, что, предположительно, было связано с общим кризисом Всероссийского общества охраны памятников в 1982–1983 гг. (Неплюев 2023: 81–97). Одним из главных изменений в этот период становится отказ от сбора взносов с коллективных членов ВООПИК (с 1983 г.), которые в некоторых случаях могли составлять до 60% всех доходов Общества. Вместе с тем урезаются премии для штатных работников и сокращаются сами штаты ВООПИК. Эти изменения стали серьезным испытанием для отделений Общества в северных регионах РСФСР, постепенно приводя к их фактической ликвидации. Отметим, что до некоторых районов распоряжение об отказе сбора средств у коллективных членов дошло не сразу, и они продолжали эту работу вплоть до 1984 г. (КПОГА. Д. 52. Л. 11). По отсутствию документов о деятельности окружного отделения после 1984 г. в Коми-Пермяцком окружном государственном архиве можно сделать вывод, что систематическая деятельность окружного отделения ВООПИК прекращается.

Выводы

Несмотря на инициативность коми-пермяцких активистов в первые годы существования ВООПИК, уже с 1970-х гг. окружное отделение превращается в инструмент для сбора взносов для областного отделения и выше на крупные проекты. На местном уровне работа чаще всего ограничивается поисковой деятельностью по теме Гражданской и Великой Отечественной войн на местах, ремонтом/установкой досок, обелисков, памятников, торжественных встреч и походов по местам революционной, боевой и трудовой славы. Крупных историко-культурных проектов на территории округа не возникает. Все основные инициативы, появившиеся в округе, быстро переходят на областной уровень. К их числу относились создание музея под открытым небом, мастерская/завод по производству сувениров на основе региональных ремесел. Тем не менее в документах окружного отделения в фондах Коми-Пермяцкого окружного государственного архива прослеживаются инициативы, направленные на создание локальной идентичности округа, сохранение коми-пермяцкой культуры, архитектуры и быта. Такие инициативы, оставаясь вектором, продвигаемым центральными отделениями ВООПИК, способствуют постепенной диверсификации региональных канонов охраны историко-культурного наследия.

Список источников

- Абашев В.В. Пермский звериный стиль как культурный проект // Слово. Текст. Контекст. 2023. № 4 (16). С. 94–105.
- Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 106. Л. 8–10. Л.Н. Златогорский. Сообщение об охране памятников архитектуры в Молотовской области.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 259. Оп. 45. Д. 4205. Л. 27. Дело об организации Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры.
- ГАРФ. Ф. А-639. Оп. 1. Д. 657. Л. 45. Приказы №№ 1-90 ЦС ВООПИК за 1981 год; Д. 705. Л. 18. Статотчет ЦС ВООПИК о работе за 1982 год. Ф. 2 и объяснительная записка к нему.
- Заякина Н.П. Коротко об экспедициях // Советская этнография. 1978. № 2. С. 137–138.
- Заякина Н.П. Коротко об экспедициях // Советская этнография. 1980. № 1. С. 170–171.
- Каменских М.С. Национальная политика в Прикамье в 1918–1939 гг.: региональный аспект. СПб.: Маматов, 2019.
- Козлов В.Ф. «Огосударствленное» краеведение. История и уроки (по страницам журнала «Советское краеведение». 1930–1936 гг.) // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2013. № 9 (110). С. 53–83.
- Костин В. Пассы вокруг кассы. О серьезных недостатках в хозяйственной и финансовой деятельности Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры // Известия. 1982. № 342 (20323). С. 3.
- Коми-Пермский окружной государственный архив (КПОГА). Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2, 8–27, 32. Протоколы заседаний президиума пленумов и конференций окружного Совета по охране памятников истории и культуры; Д. 2. Л. 14, 14 об., 34–36, 57, 119. Сведения о памятниках истории и культуры по округу; Д. 6. Л. 34. Протоколы президиума окружного и районных отделений общества охраны памятников истории и культуры; Д. 9. Л. 37. План работы окружного общества охраны памятников; Д. 14. Л. 3, 53, 71, 75, 76, 84, 105. Протоколы заседаний президиума, пленумов окружного Совета по охране памятников и районных отделений Советов общества; Д. 15. Планы работы окружного и районных отделений общества; Д. 17. Л. 31. Отчеты районных и первичных организаций города о численности членов общества; Д. 24. Л. 19. Протоколы заседания пленума; Д. 27. Протоколы заседаний пленумов окружного отделения общества охраны памятников истории и культуры; Д. 426. Л. 67. Протоколы заседаний отчетно-выборных конференций райгоротделений; Д. 52. Л. 11. Сводные статистические отчеты окружного общества.
- Маковецкий И.В. Принципы организации музеев под открытым небом и их задачи // Советская этнография. 1963. № 2. С. 7–18.
- Мельникова Е.А. Руками народа: следопытское движение 1960–1980-х гг. в СССР // Антропологический форум. 2018. № 19. С. 19–53.
- Неплюев П.А. Кризис во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры: изменение правил «игры» и адаптация к новым реалиям в первой половине 1980-х годов // Правила игры на общественных началах. Власть и добровольные общественные организации в СССР 1960–1990-х гг. Пермь, 2023.
- Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России. Сборник статей / сост. Т. Атнашев, Т. Вайзер, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2021.
- Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. П4. Оп. 1. Д. 70. Л. 35–43. Переписка Челябинского ВООПИИК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) с Центральным Советом по вопросам основной деятельности.

- Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАСПИ). Ф. 1458. Оп. 41. Д. 29. Л. 12–13. Решения оперативной группы обкома ВЛКСМ, постановления бюро областного штаба Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа и материалы к ним.
- ПермГАСПИ. Ф. 3688. Оп. 1. Д. 25. Л. 17. Протоколы заседания и постановления Президиума Совета Пермского областного отделения ВООПИК.
- Тихонов В.В. Идеологические кампании позднего сталинизма и советская историческая наука (середина 1940–1953 г.). М.; СПб.: Нестор-История, 2016.
- Черных А.В., Каменских М.С. Урал в национальной политике 1920–1930-х годов // Материалы Международной научно-практической конференции «Национальная политика и миграционные процессы в Советском Союзе. К столетию создания СССР» (ПермГАСПИ. 30 ноября – 1 декабря 2021 г.). Пермь, 2022.
- Янковская Г.А. Юбилей города и становление «периферийных столиц» в СССР // Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 4. С. 9–22.

References

- Abashev V.V. (2023) *Permskii zverinyi stil' kak kul'turnyi proekt* [Perm Animal Style as Cultural Project], *Slovo. Tekst. Kontekst*, 16 (4), pp. 94–105.
- GAPK (The State Archive of Perm Krai). F. R-1619. Op. 1. D. 106. L. 8–10. L.N. Zlatogorskii. *Soobshchenie ob okhrane pamyatnikov arkhitektury v Molotovskoi oblasti* [Stock R-1619. Inventory 1. File 106. Pages 8–10. L.N. Zlatogorsky. Report on the Protection of Architectural Monuments in the Molotov Region].
- GARF (The State Archive of the Russian Federation). F. 259. Op. 45. D. 4205. L. 27. *Delo ob organizatsii Vserossiiskogo dobrovol'nogo obshchestva okhrany pamyatnikov istorii i kul'tury* [Fund 259. List 45. File 4205. Page 27. File on the Organization of the All-Russian Voluntary Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments].
- GARF. F. A-639. Op. 1. D. 657. L. 45. *Prikazy №№ 1–90 TsS VOOPIK za 1981 god* [Fund A-639. List 1. File 657. Page 45. Orders Nos. 1–90 of the Central Council of VOOPIK for 1981]; D. 705. L. 18. *Statotchet TsS VOOPIK o rabote za 1982 god. F. 2 i obyasnitel'naya zapiska k nemu* [File 705. Page 18. Statistical Report of the Central Council of VOOPIK on the Work for 1982. Form 2 and Explanatory Note].
- Zayakina N.P. (1978) *Korotko ob ekspeditsiyakh* [Brief Notes on Expeditions], *Sovetskaya etnografiya*, 2, pp. 137–138.
- Zayakina N.P. (1980) *Korotko ob ekspeditsiyakh* [Brief Notes on Expeditions], *Sovetskaya etnografiya*, 1, pp. 170–171.
- Kamenskikh M.S. (2019) *Natsional'naya politika v Prikam'e v 1918–1939 gg.: regional'nyi aspekt* [Nationalities Policy in the Prikamye Region, 1918–1939: Regional Aspects]. Saint Petersburg: Mamatov.
- Kozlov V.F. (2013) *“Ogudarstvlennoe” kraevedenie. Istoriya i uroki (po stranitsam zhurnala Sovetskoe kraevedenie. 1930–1936 gg.)* [“State-Controlled” Local History. History and Lessons (Through the Pages of the Journal Soviet Local History, 1930–1936)], *Vestnik RGGU. Ser. Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul'turologiya*, 110 (9), pp. 53–83.
- Kostin V. (1982) *Passy vokrug kassy. O ser'eznykh nedostatkakh v khozyaistvennoi i finansovoi deyatel'nosti Vserossiiskogo obshchestva okhrany pamyatnikov istorii i kul'tury* [Maneuvers Around the Budget: On Serious Shortcomings in the Financial and Administrative Work of the All-Russian Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments], *Izvestiya*. 20323 (342). p. 3.
- KPOGA (The Komi-Permyak District State Archive). F. R-159. Op. 1. D. 1. L. 1–2, 8–27, 32. *Protokoly zasedanii prezidiuma, plenumov i konferentsii okruzhnogo Soveta po okhrane pamyatnikov istorii i kul'tury* [Fund R-159. List. 1. File 1. Pages 1–2, 8–27, 32. Minutes of Meetings of the Presidium, Plenums, and Conferences of the District Council for the Preservation of Historical and Cultural Monuments]; D. 2. L. 14, 14ob, 34–36, 57, 119.

- Svedeniya o pamyatnikakh istorii i kul'tury po okргу* [Fund R-159. List. 1. File 2. Pages 14. 14v, 34-36, 57, 119. Information on Historical and Cultural Monuments in the District]; *D. 6. L. 34. Protokoly prezidiuma okružnogo i raionnykh otdelenii obshchestva okhrany pamyatnikov* [Fund R-159. List. 1. File 6. Page 34. Minutes of the Presidium of the District and Regional Departments of the Society]; *D. 9. L. 37. Plan raboty okružnogo obshchestva* [Fund R-159. List. 1. File 9. Page 37. Work Plan of the District Society]; *D. 14. L. 3, 53, 71, 75, 76, 84, 105. Protokoly zasedanii prezidiuma, plenumov okružnogo Soveta i raionnykh Sovetov obshchestva* [Fund R-159. List. 1. File 14. Pages 3, 53, 71, 75, 76, 84, 105. Minutes of the Presidium and Plenums of the District Council and Regional Branches]; *D. 15. Plany raboty okružnogo i raionnykh otdelenii obshchestva* [Fund R-159. List. 1. File 15. Work Plans of the District and Regional Departments]; *D. 17. L. 31. Otchety raionnykh i pervichnykh organizatsii o chislennosti chlenov obshchestva* [Fund R-159. List. 1. File 17. Page 31. Reports of Regional and Primary Organizations on Membership]; *D. 24. L. 19. Protokoly zasedaniya plenuma* [Fund R-159. List. 1. File 24. Page 19. Minutes of the Plenum]; *D. 27. Protokoly plenumov okružnogo otdeleniya obshchestva* [Fund R-159. List. 1. File 27. Minutes of the District Branch Plenums]; *D. 42b. L. 67. To zhe: otchetno-vyborye konferentsii raiongorotdelenii* [Fund R-159. List. 1. File 42b. Page 67. Same: Reporting-Election Conferences of District and City Branches]; *D. 52. L. 11. Svodnye statisticheskie otchety okružnogo obshchestva* [Fund R-159. List. 1. File 52. Page 11. Consolidated Statistical Reports of the District Society].
- Makovetskii I.V. (1963) *Printsipy organizatsii muzeev pod otkrytym небом i ikh zadachi* [Principles of Open-Air Museum Organization and Their Tasks], *Sovetskaya etnografiya*. 2. pp. 7–18.
- Mel'nikova E.A. (2018) *Rukami naroda: sledopytskoe dvizhenie 1960–1980-kh gg. v SSSR* [By the Hands of the People: The Pathfinder Movement in the USSR in the 1960s–1980s], *Antropologicheskii forum*. 19. pp. 19–53.
- Nepliyuev P.A. (2023) *Krizis vo Vserossiiskom obshchestve okhrany pamyatnikov istorii i kul'tury: izmenenie pravil «igry» i adaptatsiya k novym realiyam v pervoi polovine 1980-kh godov* [Crisis in the All-Russian Society for Protection of Historical and Cultural Monuments: Changing the Rules of the «Game» and Adapting to new Realities in the First Half of the 1980s]. *Pravila igry na obshchestvennykh nachalakh. Vlast' i dobrovol'nye obshchestvennye organizatsii v SSSR 1960–1990-kh gg.* pp. 81–97.
- Nesovershennaya publichnaya sfera. *Istoriya rezhimov publichnosti v Rossii. Sbornik statei* [Imperfect public sphere: The history of publicity regimes in Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- OGACHO (The United State Archive of the Chelyabinsk Region). *F. P4. Op. 1. D. 70. L. 35–43. Perepiska Chelyabinskogo VOOPIK s Tsentral'nyim Sovetom po voprosam osnovnoi deyatel'nosti* [Fund P4. List 1. File 70. Pages 35–43. Correspondence of the Chelyabinsk VOOPIK with the Central Council on Core Activities].
- PermGASPI (The Perm State Archive of Socio-Political History). *F. 1458. Op. 41. D. 29. L. 12–13. Resheniya operativnoi gruppy obkoma VLKSM, postanovleniya byuro oblastnogo shtaba Vsesoyuznogo pokhoda po mestam revolyutsionnoi, boevoi i trudovoi slavy sovetского naroda i materialy k nim* [Fund 1458. List 41. File 29. Pages 12–13. Decisions of the Komsomol Regional Committee Task Force, Resolutions of the Regional Headquarters of the All-Union March to Places of Revolutionary, Combat, and Labor Glory of the Soviet People, and Related Materials].
- PermGASPI. *F. 3688. Op. 1. D. 25. L. 17. Protokoly zasedaniya i postanovleniya Prezidiuma Soveta Permskogo oblastnogo otdeleniya VOOPIK* [Fund 3688. List 1. File 25. Page 17. Minutes and Resolutions of the Presidium of the Perm Regional Branch of VOOPIK].
- Tikhonov V.V. (2016) *Ideologicheskie kampanii pozdnego stalinizma i sovetская istoricheskaya nauka (seredina 1940–1953 g.)* [Ideological Campaigns of Late Stalinism and Soviet Historical Science (Mid-1940s–1953)]. Moscow – Saint Petersburg: Nestor-Istoriya.

- Chernykh A.V., Kamenskikh M.S. (2022) Ural v natsional'noi politike 1920–1930-kh godov [The Urals in Nationalities Policy of the 1920s–1930s], *Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Natsional'naya politika i migratsionnye protsessy v Sovetskom Soyuze. K stoletiyu sozdaniya SSSR”* (PermGASPI. 30 noyabrya – 1 dekabrya 2021 g.). Perm.
- Yankovskaya G.A. (2023) Yubilei goroda i stanovlenie “periferiiniikh stolits” v SSSR [City Jubilees and the Formation of "Peripheral Capitals" in the USSR], *Izvestiya UrFU. Seriya 2: Gumanitarnye nauki*, 4 (25), pp. 9–22.

Сведения об авторе:

НЕПЛЮЕВ Петр Андреевич – преподаватель кафедры междисциплинарных исторических исследований, Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, Россия); научный сотрудник, Пермский краеведческий музей (Пермь, Россия). E-mail: peter.neplyueff@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Petr A. Nepluev, Perm State National Research University (Perm, Russian Federation); Perm Museum of Local Lore (Perm, Russian Federation). E-mail: peter.neplyueff@yandex.ru

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 14 июля 2025;
принята к публикации 8 августа 2025.*

*The article was submitted 14.07.2025;
accepted for publication 08.08.2025.*

Научная статья
УДК 94(470.2):069.2
doi: 10.17223/2312461X/49/4

Низовые практики сохранения исторического наследия в 1980–1990-е гг. (кейс «Доброй воли», г. Тобольск)

Вера Павловна Ключева

*Институт проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН,
Тюмень, Россия, vormpk@gmail.com*

Аннотация. Анализируется роль общественных инициатив и волонтерского движения в сохранении историко-культурного наследия города Тобольска в 1980–1990-х гг. На фоне модернизационных проектов происходит разрушение «старого Тобольска». Особое место в реставрационном и градозащитном процессе занимает клуб «Добрая воля». Деятельность клуба была связана с подготовкой к празднованию 400-летия Тобольска, что послужило стимулом для объединения усилий граждан и привлечения внимания к вопросам культурного наследия. Волонтеры участвовали в реставрационных работах и занимались просветительской деятельностью среди населения. Их деятельность способствовала формированию общественного сознания и развитию гражданской ответственности. Активизм «Доброй воли» способствовал сохранению уникальных историко-культурных ценностей Тобольска, появлению этой темы в публичном дискурсе и повышению интереса к историческому наследию города.

Ключевые слова: историко-культурное наследие, локальные инициативы, волонтерское движение, реставрация, Тобольск, гражданский активизм

Благодарности: работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (№ FWRZ-2021-0006).

Для цитирования: Ключева В.П. Низовые практики сохранения исторического наследия в 1980–1990-е гг. (кейс «Доброй воли», г. Тобольск) // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 77–95. doi: 10.17223/2312461X/49/4

Original article
doi: 10.17223/2312461X/49/4

Grassroots Practices of Historical Heritage Preservation in the 1980s–1990s (the “Dobraya Volya” Case, Tobolsk)

Vera P. Klueva

*Institute of the Problems of Northern Development, Tyumen Scientific Centre SB RAS,
Tyumen, Russian Federation, vormpk@gmail.com*

Abstract. This article examines the role of public initiatives and volunteer movements in the preservation of Tobolsk’s historical and cultural heritage during the 1980s–

1990s. During this period, modernization projects led to the destruction of the “old Tobolsk”. The “Dobraya Volya” club played a crucial role in the restoration and urban protection efforts. Its activities were closely linked to the preparations for Tobolsk’s 400th anniversary, which became a driving force for mobilizing citizens and raising awareness about cultural heritage issues. Volunteers engaged in restoration projects and carried out educational outreach among residents. Their work helped shape public awareness and fostered civic responsibility. The activism of “Dobraya Volya” contributed significantly to the preservation of Tobolsk’s unique historical and cultural assets, brought the topic into public discussion, and heightened interest in the city’s heritage.

Keywords: historical and cultural heritage, local initiatives, volunteer movement, restoration, Tobolsk, civic activism

Acknowledgements: The research was carried out on the basis of the state assignment, project No. FWRZ-2021-0006.

For citation: Klueva, V.P. (2025) Grassroots Practices of Historical Heritage Preservation in the 1980s–1990s (the “Dobraya Volya” Case, Tobolsk). *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 77–95 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/4

Введение

В течение XX в. Тобольск прошел через несколько этапов развития: от постепенной утраты статуса из-за переноса административного центра в Тюмень и своеобразной консервации старинного города до активного индустриального роста в 1970-е гг., вызванного строительством крупного нефтехимического комплекса. Казалось бы, советская и прежде всего послевоенная судьба Тобольска была похожа на другие исторические города Тюменской области: Сургут, Ханты-Мансийск, Салехард. Все они получили новый импульс развития с открытием Западно-сибирского нефтегазового комплекса. Однако между этими городами и Тобольском была существенная разница. Тобольск оставался городом с сохранившимся историческим обликом, значительная доля горожан состояла из тоболяков-старожилов, чьи предки также жили в Тобольске. Тогда как в старинных городах на севере Тюменской области каменной застройки XIX – начала XX в. было очень мало. Поэтически настроенные авторы спустя годы писали, что «город как бы законсервировался в своем прежнем обличье, и время не внесло капитальных поправок в его градостроительную среду. Поправки, конечно, были, но не такие существенные, чтобы изменить панораму былинного города, в которой так плотно сомкнулись история и поэзия» (Барабанова 1986: 19–20).

Для коренных тоболяков история города является одновременно источником и гордости, и боли. Значимость Тобольска в имперский период, особенно в первые столетия освоения Сибири, резко контрастирует с советской эпохой, когда город превратился в провинциальный центр без удобной транспортной инфраструктуры, соединяющей его с

другими городами страны, и с постепенно разрушающимися архитектурными памятниками. Неудивительно, что для горожан тема исторического наследия является латентным фоном любых городских практик: от коммунального благоустройства до миграционных настроений. Особенно ярко это проявилось в 1980–1990-е гг. Более того, можно говорить, что в тот период своеобразным тобольским «вайбом» стало чувство ре-сентимента, включавшее в себя не только обиду за несостоявшееся настоящее/будущее, но и гордость за прошлое¹. В 1990-е гг. мне неоднократно приходилось участвовать в разговорах, где упоминались «виртуальные потери» города: открытие первого сибирского университета в Томске, а не Тобольске; перенос административного центра в Тюмень в 1918 г.; появление железной дороги только во второй половине 1960-х гг. и пр. Одновременно с этим подчеркивалась историческая и культурная значимость Тобольска, сохранившего свою историческую планировку и архитектуру.

Идеализацию старого Тобольска прекрасно иллюстрируют слова журналиста и местного уроженца В. Тоболякова: «Город как бы замер во времени... И его подсознательно берегли жители! ...После войны он становится своеобразной “меккой” для художников, фотографов, кинематографистов, писателей, поэтов, искусствоведов, реставраторов и т.д. Они приезжали напиться видами городской жизни 19-го века ...Город, оставаясь вдалеке от политики, представлял собой в эти годы сказку. Душам людским было хорошо здесь, и они отдыхали от потрясений 19-го, начала 20-го веков. Да! Ностальгия тоболяков по этому периоду жизни – грандиозна...» (Тоболяков, б.д.: 30).

В фокусе моей статьи будут низовые практики участия населения в сохранении исторического наследия в провинциальном городе на примере деятельности клуба «Добрая воля» в городе Тобольске. Клуб возник в 1986 г. после нескольких субботников по расчистке реставрационных объектов (Софийский собор, церковь Михаила Архангела, церковь Захария и Елизаветы и др.) и существует, в несколько измененной форме, до сих пор. Каким образом сложилось сообщество добровольцев, какие общие ценности и практики сформировали его? Вот вопросы, на которые мне бы хотелось найти ответ. В качестве основных источников я использую материалы устной истории и опубликованные воспоминания непосредственных участников событий в юбилейных сборниках. Мне удалось провести четыре нарративных интервью с членами клуба и бывшими сотрудниками Тобольского музея-заповедника, также дополнительно используются интервью, собранные Павлом Вялковым для магистерской диссертации². Интервью важны тем, что они показывают мотивацию участников «Доброй воли», их отношение к сохранению исторического наследия в городе, а также рассказывают о клубной повседневности. Самым информативным сборником, посвященным «Доброй

воле», стала книга «Богоспасаемый город» Галины Кондаковой (2016). Он был подготовлен к 30-летию клуба, и воспоминания самой Кондаковой дополняются газетными публикациями, воспоминаниями других «добровольцев», а также статьями Б. Эристов и В. Тоболякова.

В отличие от других, более известных общественных движений, где ядром и движущей силой выступала интеллигенция (например, эта тема была разобрана Е. Мельниковой (2023)), тобольское движение за сохранение исторического наследия отличалось большей разнородностью – среди его участников были люди разного уровня образования и разных профессий. В данном случае объединяющим началом стала локальная идентичность, сплотившая всех небезразличных к прошлому Тобольска. Об этом пишет в 1987 г. Борис Эристов: «Очень часто можно слышать: “Любить Родину”, “Любовь к Родине”. Конечно, любить что-то общее, неконкретное всегда проще. Для нас, жителей оваянного славой Тобольска, это чувство должно начинаться с уважения к истории своего города, с любви к его многочисленным памятникам. Чувство это явилось главным при создании клуба “Добрая воля”» (Эристов 2000: 136). На мой взгляд, движущим мотивом появления «Доброй воли» стало преодоление или превращение ресентимента в позитивный активизм.

Хотя клуб существует до сих пор, мне кажется, что наиболее интересный период его деятельности приходится на рубеж 1980–1990-х гг. – с момента основания и до начала-середины 1990-х гг. Во второй половине 1990-х гг. инициаторы и организаторы клуба – Борис Эристов (1995 г.) и Людмила Захарова (1998 г.) – умирают, и на какое-то время «добровольческая» активность сходит на нет. *«В этот период времени (имеются в виду 1990-е гг. – В.К.) с реставрационными работами была полная труба, потому что никому никакая реставрация стала не нужна ...Нельзя стало [добровольцам] работать на этих объектах. Сначала потому, что никто [из реставраторов] на них не работал, а потом, когда возможность начала появляться, уже нельзя было без каких-то лицензий, согласований, договоров и все такое прочее»* (Инт. 1).

Гибель старого города и/или вторая юность Тобольска: индустриальные преобразования 1970–1980-х гг.

Архитектор и популяризатор истории градостроения Сибири С.П. Заварихин так описывал панораму Тобольска: «Возникнув в очень удачном месте, Тобольск стал быстро расти. Своеобразная топография местности естественно привела к возникновению двух частей города – верхней и нижней. В верхнем городе, на Троицком мысу, появились укрепленная крепость и Софийский двор, позже объединенные в единый кремль – первый в Сибири... Одновременно в верхней и нижней частях города возводились церкви и гражданские здания... Классицистическая

перепланировка Тобольска во второй половине XVIII века, значительно скорректировав сеть улиц, тем не менее сохранила всю систему архитектурных доминант» (Заварихин 1987: 64–65). Панорама Тобольского кремля, если смотреть на него снизу вверх со стороны Базарной площади, сохранилась до настоящего времени. Борьба за ее сохранность велась весь позднесоветский период. Она же остается точкой напряжения до сих пор. *«Мы историческую панораму должны сохранить. И у нас идут войны периодически [до сих пор]... [Тобольск] единственный город, при подъезде к которому у нас в России, ты видишь, как он выглядел 300 лет тому назад»* (Инт. 1).

Впервые историческая ценность Тобольска была признана государством лишь в 1952 г.: тогда Центральные научно-реставрационными мастерскими провели предварительное обследование Тобольского кремля, и был разработан проект реставрации (Кочедамов 1963: 144). Реставрационными работами руководил московский архитектор и реставратор Ф.Г. Дубровин. В 1961 г. Совмин РСФСР принимает постановление о создании Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (ТГИАМЗ) на базе архитектурного комплекса Тобольского кремля и Тобольского краеведческого музея (Распоряжение от 28 июля 1961 г. № 3679-р). В его состав были включены кремль, городской земляной вал XVII в, пять церквей (Крестовоздвиженская, Михаило-Архангельская, Спасская, Захарьевская, Петропавловская), а также памятник Ермаку и могилы декабристов. Это был первый и единственный сибирский историко-архитектурный музей-заповедник, наряду с Новгородским, Костромским, Владимиро-Суздальским (1958 г.) и Ярославско-Ростовским³ (1959 г.) (Шумилкин 2021: 91–92; Каулен 2012: 272–273).

Появление музея-заповедника не изменило внешний облик Тобольска. Случайные гости города обращали внимание на неухоженность и постепенно разрушающиеся памятники. В 1965 г. геолог Геннадий Кизилев, направляясь в Ханты-Мансийск, провел несколько часов в Тобольске и оставил в своем дневнике такую запись: «Перед видом Тобольского кремля устоять трудно... Архитектура кремля, его расположение на местности и сама местность понравились. Но сохранность кремля плохая: двор захламлен, каменные стены местами разрушены, стекла выбиты, полностью исчез каменный барьер вокруг памятника Ермаку. Красивые надгробные постройки из мрамора и архитектурные украшения ворот варварски разрушены невежественными и псевдопатриотическими представителями советской власти. Обломки архитектурных украшений валяются под ногами... Колорит архитектуры города Тобольска, кроме кремля, составляют шпили церквей и соборов и старинные каменные здания. Благоустройство города слабое, но место красивое» (Кизилев, б.д). Да и журналистка, в восторженных тонах описывавшая город, констатировала, что «было бы ханжеством не замечать, что

былинный город, как правило, неблагоустроенный, что архитектурный миф, так пленяющий наше воображение на открытках... не всегда восхищает проживающих в нем жителей» (Барабанова 1986: 20).

Казалось, бы будущее Тобольска после признания исторической ценности архитектурного наследия города могло быть связано с музеефикацией и разработкой туристических маршрутов. Именно об этом писал академик А.П. Окладников в статье «Приобщение к прошлому» (1968: 5), рассуждая о возможных путях развития древней столицы Сибири. Но уже в середине 1960-х гг. Тобольск рассматривался как потенциальная площадка для нефтехимического комплекса. Этому способствовало несколько факторов: удобное месторасположение рядом с источниками сырья, транспортная доступность, наличие энергетических ресурсов и свободное место для строительства нового промышленного района. Соответственно, к началу 1970-х гг. четко обозначилось две перспективы развития города: индустриальная модернизация и консервация исторического облика.

Решение о строительстве Тобольского нефтехимического комбината было принято в 1972 г., стройка началась в 1974 г. (Стройка, ставшая судьбой... 2004). О масштабах строительства можно судить по прогнозам роста численности населения: более чем в пять раз к концу 1990-х гг. Появление Нефтехима в общественном дискурсе преподносилось как новое рождение города, его «вторая юность» (Юности города взлет 1975: 3). Коренная тоболячка Елена Федорова, окончившая школу в 1982 г., вспоминала, что еще в начале 1980-х гг. *«нас на выпускном бале садили в автобус и везли на нефтехимкомбинат. Я как сейчас помню, говорили, что вот оно – счастье города»* (выделено мною. – В.К.)» (Инт. 2). Об этом же писал, но уже с негативными коннотациями, Валентин Распутин в очерке «Тобольск» (1987 г.): «Тобольск возрос в последнее время с открытием тюменской нефти, с проведением железной дороги и строительством под боком нефтехимического комбината. Комбинат... стоит теперь независимо и гордо: вот я каков, молодец! У меня сила, власть, молодость, деньги, со мной не поспоришь!» (Распутин 2000: 50). Для значительной части горожан новое промышленное производство, которое влекло за собой изменение социальной инфраструктуры, было как минимум возможностью изменить свои жилищные условия – переехать в благоустроенное жилье. *«Местные жители, те, кто жил в этих исторических памятниках, предлагали все разрушить и переехать на гору. Они были согласны [на переезд], и поэтому пал [т.е. пожар] конца XX века, когда горели [дома], местные жители, нет-нет, наверное, прикладывали руку, по крайней мере, не тушили, потому что знали, что им предоставят благоустроенное жилье на горе»* (Инт. 3).

По генплану, разработанному Ленгипрогором к 1974 г., вся новая застройка города должна была вестись в верхней (нагорной) части города,

тогда как подгорная часть «старого Тобольска» оставалась периферией. Одновременно с генпланом был разработан проект зон охраны памятников истории и культуры Тобольска (Туманик, Туманик 2019: 311). В 1970 г. Тобольск был включен в список исторических городов, на территории которых располагались архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками национальной культуры (Об утверждении нового списка... 1990). Авторы путеводителя по Тобольску 1974 г. рисовали радужные перспективы строящегося города. «Генеральный план, рассчитанный до 2000 г., предусматривает сохранить для потомков все исторические памятники Тобольска и одновременно придать ему облик коммунистического города. Все памятные места будут реставрированы и выделены в неприкосновенные охранные зоны» (Копылов, Прибыльский 1974: 215).

В 1974 г. был объявлен закрытый всесоюзный конкурс для планировки и застройки Тобольска, на котором победил проект ЦНИИП градостроительства (г. Москва). Участник конкурса Г.Н. Туманик (главный архитектор Новосибиргражданпроект) позднее писал, что обоснованная в генплане удаленность новых городских районов была необходима для сохранения исторического центра. В то же время такой подход оказался губительным для старого города, так как все ресурсы и внимание были сосредоточены на новой стройке. Соответственно «ускорились темпы старения старого города, физической деградации исторически сложившейся городской среды Тобольска. Поистине – “спасение во имя гибели”» (Туманик, Туманик 2019: 311). Неудовлетворительное состояние памятников истории и нарушение охранных зон даже обсуждалось на заседании Совмина РСФСР в 1976 г. (Строительство нового города... 1976: 2).

К 1980-м гг. историческая часть Тобольска пришла в состояние упадка. Проблемы заключались не только в массовом строительстве, частично затрагивавшем и территорию охранных зон, но и в том, что нижняя, подгорная часть, почти полностью деревянная, оказалась на грани уничтожения из-за поджогов, весенних паводков, отсутствия реставрационных и консервационных работ, а также сформировавшегося негативного восприятия этого района как опасного и некомфортного для жизни: *«Почти весь город жил под горой. [Именно там была] историческая часть, здесь [на горе] только две улицы было. Весь город, вся инфраструктура была подгорной частью... [Дома] были все в симпатичном виде, они все ремонтировались, содержались в хорошем состоянии, но только вот туалет, туалета, ванн не было внутри. Поэтому, когда началась стройка и строительство микрорайонов, конечно, все захотели в хороших, нормальных условиях жить»* (Инт. 2).

У приезжих впечатления от города тоже были противоречивые – от восхищения ландшафтными видами на кремль до печали и удивления от

запустения и разрушений подгорной части города. В общественном пространстве сосуществовали противоречивые взгляды на будущее города: нужно ли сохранять «старый Тобольск»⁴, искать консенсус или поддерживать исключительно новое строительство. Уникальная двучастная планировка Тобольска, разделившая его на подгорную и нагорную части, оказалась для исторической застройки одновременно спасением и большой проблемой. У города была возможность расти и расширяться без уничтожения старинной застройки Тобольска, что и способствовало его сохранению. Вместе с тем поддержка реставрационных работ велась по остаточному принципу, так как первоочередной заботой городских властей было именно индустриальное развитие города и расселение в благоустроенном жилье приезжих – строителей и работников Нефтехима.

**«Мы отвечали за наследие как за свое личное»:
общественный дискурс сохранения старого Тобольска**

В феврале 1986 г. группа энтузиастов обратилась к тоболякам: «Все, кому дорог родной город, на помощь реставраторам». Пришедшие на субботник по расчистке Софийско-Успенского собора и стали основой для клуба «Добрая воля» (Эристов 2000: 136–137; Кондакова 2016: 15–17). Это не был спонтанный активизм тобольских волонтеров-реставраторов. Идея создания краеведческого общества обсуждалась уже в 1970-е гг. Кроме того, как минимум с начала 1970-х гг. в Тобольске шла постоянная дискуссия о необходимости модернизации для успешного развития города и возможности сосуществования новых индустриальных элементов и архитектурных памятников. Ранее в городе уже был прецедент строительства типового здания рядом с кремлем. На Троицком мысу со стороны реки было построено общежитие для рыбопромышленного техникума. А в конце 1960-х гг. рядом с кремлем предполагалось поставить телевышку. Но в результате «целой кампании в прессе, и местной, и столичной, против опасного соседства» конфликт благополучно разрешился: вышку поставили на Панином бугре, а панорама Тобольского кремля осталась неизменной (Барабанова 1986: 20–21). При этом неприкосновенность выделенных охранных зон не соблюдалась. Около Петропавловской церкви была построена гостиница Тобол (строительство завершено в 1978 г.), а в охранный зоне Захарьевской церкви размещены временные торговые павильоны (Строительство нового города... 1976: 2).

В середине 1970-х гг. был разработан перспективный план реставрации памятников истории и культуры, но работы велись очень медленно. Во многом из-за того, что тобольская реставрационная мастерская, со-

зданная в 1971 г., фактически стала выполнять ремонтные работы по заказу города, она «превратилась в ремстройучасток – красят фасады домов, ведут ремонт зданий, к архитектурным памятникам отношения, не имеющим» (Иванов 1982: 3). Позднее сложившуюся ситуацию эмоционально описывал В. Тоболяков: «Деньги поступали. Реставрационные мастерские возводили вокруг них строительные леса. Потом выходила какая-то “техническая” заминка. И реставрация останавливалась. Строительные леса вокруг памятников за несколько лет сгнивали. Их разбирали, и все повторялось заново... Это продолжалось до тех пор, пока не грянул юбилей города, и не встрепенулись поверившие в “перестройку” энтузиасты клуба “Добрая воля”, во главе с Л.Н. Захаровой» (Тоболяков, б.д.: 66–67).

Активная фаза борьбы за сохранение облика и исторического наследия Тобольска началась в 1980-е гг. Знаковым событием, послужившим катализатором для роста интереса к истории города, стало 400-летие Тобольска, празднование которого состоялось летом 1987 г. Свою роль в этом сыграла и местная газета «Тобольская правда», которая открыла рубрику «К 400-летию Тобольска», где публиковались статьи, посвященные истории города и Сибири⁵. Публикации были интересны не только коренным тоболякам. Популяризация исторического наследия способствовала тому, что среди активистов, занимавшихся реставрационными работами, было много приезжих, и в том числе работников Нефтехима.

Дискуссия о состоянии исторической (подгорной) части города и важности реставрации памятников архитектуры также была введена в публичный оборот на страницах городской газеты. Большую статью о запущенном состоянии города написал корреспондент «Труда» В. Иванов, что легитимировало дискуссию для руководства города и придало особую значимость в глазах тоболяков. Статья «Старый город и новый комбинат» была перепечатана в Тобольской правде в апреле 1982 г. (Иванов 1982: 3) После публикации активизировалась деятельность городского отделения ВООПИК, который существовал в Тобольске с 1968 г. На отчетном собрании в январе 1983 г. кроме хвалебных речей о проделанной работе было заявлено об отсутствии интереса к деятельности общества со стороны крупных предприятий и плохой работе реставрационных мастерских (Вялков 2025: 47). В поддержку реставраторов и результатов их работы выступал Б. Эристов, сотрудник музея и активный популяризатор тобольской истории. В качестве аргумента он озвучил проблему нехватки рабочих рук для неквалифицированной работы. Именно такой подсобной работой занялись энтузиасты-добровольцы.

Б. Гладарев, анализируя возникновение движения защитников наследия в Ленинграде, в качестве основных факторов мобилизации называет

сформировавшуюся среду энтузиастов-краеведов, недовольство программой капитального ремонта и государственный курс на общеполитическую либерализацию (2011: 106). Эти факторы можно распространить и на Тобольск, только вместо программы капитального ремонта здесь нужно говорить о программе реставрационных работ. Спецификой тобольской краеведческой среды был активизм как коренных тоболяков, так и приезжих, переживающих за сохранность исторического города. Но в отличие от реставрационных работ на Соловках или в Кирилло-Белозерском монастыре, куда волонтеры специально приезжали на сезон или длительное время, тобольские энтузиасты могли помогать реставраторам в основном в выходные дни.

К тому же общественная ситуация середины 1980-х гг. способствовала появлению разнообразного активизма, в том числе и направленного на сохранение исторического наследия. С одной стороны, сохранение культурных объектов было достаточно нейтральной и неполитизированной сферой как минимум до первой половины 1990-х гг., когда начался процесс возвращения церковного имущества Тобольско-Тюменской епархии, с другой – это был способ влияния на городскую политику, реализации собственного «права на город». Один из старейших участников «Доброй воли» попытался объяснить мне, почему «добровольческие» субботники оказались популярными: *«...кто-то в кооперативы шел, а кто-то шел что-то сделать для города, как общественник, для страны... Люди, которые пошли в “Добрую волю”, видели прежде всего все плюсы [происходящего], как люди, которые могут внести свою лепту небольшую, побольше, совсем маленькую, в сохранение [исторического] наследия. Вот эта вера в Россию, в белую Россию поручика Голицына, это все увязывалось с храмами, с [Тобольским] кремлем, просто с [архитектурными] памятниками»* (Инт. 1).

Аполитичность или внеполитичность «Доброй воли» в первые годы ее существования упоминается всеми сопричастными к ее деятельности: «В то время была мода на неформальные объединения самого различного толка, в том числе и на политически ориентированные. А в «Доброй воле» никакой особой политики не было. Было добровольное стремление части горожан возродить былую славу Тобольска» (Полищук 2005: 219).

Но аполитичность была мнимой⁶. Своей главной задачей «Добрая воля» заявляла «защиту тобольской старины и пропаганду древнего города», а также практическую помощь реставраторам (Кондакова 2016: 20). И добивалась этих целей в том числе через политическую мобилизацию общества. Так, в июле 1988 г. по инициативе добровольцев был организован митинг в защиту нижнего города (т.е. подгорной части Тобольска). Это был «первый, возможно, со времен революции митинг в Тобольске, инициированный не “сверху”, а “низами”, власти города не

на шутку переполошились» (Полищук 2005: 219). Причиной для митинга стала бездеятельность городских властей после завершения реставрации церкви Михаила Архангела. Реставрация прошла успешно, но из-за отсутствия дренажной системы здание отсырело и его пришлось ремонтировать заново. Кроме этого, митингующие обсуждали другие проблемы, прежде всего постепенно пустующую территорию, которая становилась противоположностью благоустроенной нагорной части. Результатом митинга стало выездное заседание горисполкома. В целом митинг стал возможностью обозначить проблемы, но не решить их. Но такие события были редкостью, политические высказывания в клубе не были распространены. Более того, среди организаторов тобольского «Народного фронта» были бывшие добровольцы, которые вышли из клуба, признав, что не могут совмещать волонтерскую и политическую активности: «поняли: все усилия “Доброй воли” могут быть сведены к нулю злой волей конкретных должностных лиц, и сегодня (в сентябре 1989 г. – В.К.) гораздо важнее открыто заявить об этом» (Кондакова 2016: 71).

Мобилизация на охрану древней столицы Сибири: публичные практики «Доброй воли»

1 февраля 1986 г. прошел первый субботник по расчистке Софийско-Успенского собора и рентерей. Его инициаторами стали сотрудник музея Борис Эристов и инженер-строитель, внештатный инспектор ВОООПИК Людмила Захарова. Захарова объясняла свою инициативу эмоциональной привязанностью к городу: «Несколько лет подряд минимум четыре раза в день я проходила мимо Захарьевской церкви. И как-то незаметно для себя пленилась совершенством и красотой ее форм, которые не могло скрыть даже разрушительное влияние людского равнодушия. Тут еще приближалось 400-летие Тобольска... была уверенность: народ к юбилею безразличен. Но было и понимание: требуется инициатива, нужны деятельностные люди» (Кондакова 2016: 13).

В течение года субботники проводились регулярно каждую неделю. В них принимали участие 25-50 человек. Сложилась практика, когда на субботники приходили школьники вместе с учителями и студенты с преподавателями. По подсчетам Захаровой, за полгода (к августу 1986 г.) прошло 28 субботников, в них участвовали более 200 человек. Работа была малоквалифицированная, в основном очистка строительной площадки от мусора. Но встречались и более интересные дела. Один из участников вспоминает, что в феврале 1987 г. добровольцы занимались расчисткой подземного хода от Консistorии в сторону гостиничного двора (Инт. 1). Согласно сохранившимся записям, в 1980-е гг. волонтеры работали на 20 объектах, среди которых Софийско-Успенский собор,

церковь Михаила Архангела и церковь Захария и Елизаветы; Мемориальное Завальное кладбище, дома Фонвизина и Ершова; Гостиный двор; отдельные корпуса Тюремного замка и пр. (Тоболяков б.д.: 46).

С первых встреч стала формироваться организационная структура. Был зарегистрирован устав клуба «Добрая воля», в котором обозначены задачи: 1) собственным трудом приблизить день восстановления запovedного Тобольска; 2) создать общественное мнение в стране об общенациональной ценности архитектурного и исторического центра Сибири; 3) добиться постановления правительства о восстановлении запovedного Тобольска и его окрестностей и создании на этой базе туристического центра (Захарова 1988: 102).

Романтический стиль уставных задач хорошо передает общее настроение волонтеров-реставраторов. Владимир Мергенев, один из первых участников, так описывал своих соclubников: «В “Доброй воле” был совсем другой народ, люди другие. Те, кто бескорыстно может работать. Чокнутые маленько. “Работаем в удовольствие” – их слова. С этими людьми было не страшно, они были духовно другие, не от мира сего, надежные, не отдадут, не продадут» (Тоболяков б.д.: 45). Об этом же писала и сама Людмила Захарова: «произошло удивительное, сложился уникальный коллектив, как мы теперь говорим, “кусочек доброты”... Люди в таком сообществе обрели крылья, которые одиночкам часто подрезают» (Захарова 1988: 102). И люди со стороны, нерегулярные участники субботников, замечали дружескую атмосферу в клубе: *«Мне нравилось то, что там учета не велось, т.е. [не отмечали] по спискам все пришли или нет. Пришли, поработали, кто-то полчаса, кто-то час, никто никого не упрекал... Не было обязательки, люди шли ради общения, [собирались] единомышленники»* (Инт. 3).

Возникновение названия «Добрая воля» также связано с романтическими представлениями о добровольности работы. Позднее Захарова констатировала, что клуб попал в ловушку собственного названия – предполагалась добровольность, но не обязательность участия в деятельности клуба.

Постепенно деятельность клуба стала обрастать традициями. С первых встреч участники вели хронику своей деятельности, тем более что среди них были профессиональные художники и фотографы. «Л.Н. Захарова сказала мне: “Ты рисуй, а мы за тебя лопатой и ломиком поработаем”. Вообще специалистов освобождали от черной работы. Так, фотографам А. Мартынову и В. Ветцелю потом говорил М. Тимергазеев: “Ваше дело снимать. Чтобы это осталось в истории, а мы уж за вас лопатой-то помашем”» (Тоболяков б.д.: 45). Своеобразным маркированием пространства и способом заявить о себе стал фотостенд с информацией о клубе, размещенный в стеклянной витрине «Трансагенства», рядом с Кремлем.

Важным элементом формирования сообщества была раздача памятных значков с Коньком-горбунком (автор рисунка Вл. Мergenев). Их стали вручать начиная с третьего субботника. Через некоторое время значок стали получать только после участия в пяти субботниках.

Кроме реставрационной работы, члены клуба быстро перешли к совместному досугу. *«А настоящие добровольцы, для них это было очень важно. И я понимаю, что это на самом деле точно так же спланировало их и двигало вперед, как и сама работа»* (Инт. 1). Этому способствовал тот факт, что летом 1986 г. руководство музея передало в пользование восточную квадратную башню кремля (Кондакова 2016: 48). Добровольцы сделали там ремонт, и квадратная башня стала местом притяжения волонтеров и тех, кто с ними соприкасался. *«Там было место встреч для всех неравнодушных ...когда есть место общения людей, у нас [там был] мозговой центр, [мы] намечали, что делать, как делать. И вот не просто были субботники, но и свободное время тоже вместе проводили»* (Инт. 2). Наиболее распространенной формой досуга стали совместные чаепития: *«Каждый нес на них что мог: пряники, баранки, всевозможные выпечки, варенья. Заваривался чай, все рассаживались за общим длинным столом... Постепенно стихийное поначалу общение тематизировалось, разговор сводился к одному какому-либо вопросу: привлечение молодежи к работе в клубе, отношения его членов с местным духовенством, предстоящие знаменательные даты и т.п. Нередко на чаепития приглашались известные люди»* (Полищук 2005: 222). Сохранились рассказы о совместных празднованиях нового года, дней рождений, и годовщин основания клуба.

В конце 1980-х гг. клуб стал местом притяжения гостей, связанных с историей города. Знаковым событием для всех участников был приезд Ордовских-Танаевских, внука и правнука последнего тобольского губернатора. *«Например, Распутин приезжал несколько раз, но я ни разу его не видел. Жалею сейчас о том. Я его считал приличным писателем и неплохо было бы [пообщаться]... Или, например, вот Ордовские-Танаевские тоже приезжали»* (Инт. 1). Валентин Распутин бывал в Тобольске несколько раз. Первый раз он приехал в 1987 г. по приглашению клуба, после чего написал очерк «Тобольск», где в том числе рассказал о деятельности «Доброй воли» (Распутин 2000: 59–60).

Самым ярким периодом в жизни клуба было время до начала 1990-х гг. Как раз в этот период Людмила Захарова стала председателем городского ВООПИКа. И от городского ВООПИКа она баллотировалась в депутаты Верховного Совета РСФСР (март 1990 г.), но выборы проиграла. Тогда же сменила профессию Галина Кондакова, активистка клуба. Ее приняли на работу в ТГИАМЗ инженером по охране памятников, а затем инженером по охране памятников истории и культуры Тобольского

городского отдела культуры (Кондакова 2016: 206–207). За время своей работы она сумела поставить на учет 178 памятников.

Из активных действий клуба, кроме реставрационных работ, можно упомянуть также запрет на строительство гаражей в Аптекарском саду и ликвидацию катка около Гостиного двора Тобольского Кремля.

После этого, хотя не обязательно вследствие этого, клуб переключился на градозащитную деятельность, *«...стал как бы ВООПИть, от слова ВООПИК. И пошли всякие публикации, обсуждения, т.е. была такая словесная деятельность и страдания по поводу того, сколько памятников деревянного зодчества поставили на охрану... А они стали потом чуть ли не десятками исчезать. Кто-то специально поджигал. А до этого еще театр “Теремок” сгорел. И это тоже морально всех подавило»* (Инт. 1). Также на активность добровольцев повлияла деятельность Тобольско-Тюменской епархии, которая в ноябре 1990 г. предъявила права на объекты Тобольского Кремля. И одним из первых действий митрополита Димитрия (Капалина) стало изгнание «Доброй воли» из квадратной башни. По рассказу очевидца и участника событий, это подкосило единство сообщества; высказывались мнения, одобряющие действия РПЦ, и противники этого. Тем более что в дальнейшем переданные храмы, в том числе те, что были подготовлены к реставрации при помощи волонтеров, оказались в аварийном состоянии.

Заключение

В 1990-е гг. клуб находился в состоянии застоя, люди продолжали встречаться, устраивать мероприятия, но резонансных событий не происходило. Активность участников была перенаправлена на просветительскую деятельность. Клуб становится местом встреч для разнообразных гостей Тобольска, и прежде всего тех, кто связывает себя с прошлым Тобольска.

Есть мнение, что клуб не стал общегородским явлением (Полищук 1987: 3). Это мнение В.И. Полищука поддерживает и один из моих собеседников (Инт. 1). Мне сложно с этим согласиться. Публичные практики «Доброй воли» – субботники, митинги, собрания и активное участие в мероприятиях на всесоюзном/всероссийском уровнях – вывели тему исторического наследия в публичное пространство, позволив горожанам заявить свое право на город. Деятельность «Доброй воли» оказала влияние на траекторию развития города через волонтерский активизм. При этом активизм не перерос в политические действия. Митинг в защиту церкви Михаила Архангела остался разовым событием. В своих выступлениях добровольцы не выдвигали политические требования, они фокусировались исключительно на вопросах сохранения наследия и популя-

ризации истории города. Даже свое избрание депутатом городского совета Л. Захарова воспринимала как способ популяризации туризма и привлечения внимания к историческому наследию (Кондакова 2016: 14), а не решения политических вопросов. Наиболее активные действия пришлось на период перестройки, а сплочение произошло вокруг общегородского события – 400-летия Тобольска (1987 г.).

При изменении общественно-политической ситуации начинается поиск иных стратегий (с отказом от волонтерской деятельности): переход к точечным акциям – письмам в защиту памятников архитектуры и коммуникациям с органами власти. В этот период у активистов-добровольцев и городских властей совпадают задачи. Председателем горисполкома в 1986 г. был назначен Аркадий Елфимов, который тоже высоко ценил историческое наследие Тобольска. Елфимов и Захарова вместе участвуют во Всесоюзном совещании по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и архитектуры в мае 1988 г.

К началу 1990-х гг. тема спасения старого Тобольска вышла на первый план. Для решения этой проблемы впервые в бюджете города на 1990 г. заложены средства на реставрацию памятников архитектуры – 1 100 тыс. руб. (Вялков 2025: 84). А в начале 1990 г. принято постановление Совета министров РСФСР № 5 от 03.01.1990 «О мерах по реконструкции, реставрации памятников истории и культуры и комплексному развитию городского хозяйства г. Тобольска» (Постановление № 5). Инициатива принятия постановления принадлежит «Доброй воле».

В целом для жителей Тобольска клуб оказался своеобразной точкой сборки горожан разных поколений, так как в субботниках участвовали не только отдельные взрослые, но и семьи, школьные классы и студенческие группы. И таким образом закладывалась нормативность заботы об историческом наследии города. Можно утверждать, что работа клуба способствовала и формированию локальной идентичности, объединившей коренных горожан и приезжих. Это мы видим даже на примере создателей «Доброй воли»: Борис Эрстов был тоболяком в третьем поколении, а Людмила Захарова приехала из Омска. Еще одним следствием деятельности клуба становится складывание и поддержание градозащитных и других городских практик. Новый виток активности клуба и его членов начинается с 2010-х гг. Например, с 2013 г. по инициативе одного из членов клуба проходит «День [спасения] кита»⁷. В этот день/дни (сначала только 27 апреля, сейчас с 13 апреля по 9 мая) желающие могут поучаствовать в сборе мусора на берегу Иртыша. Затем, с 2021 г. тоболяки присоединяются к общероссийскому движению «ТомСойерФест». Современные члены «Доброй воли» занимаются популяризацией краеведения, собирая истории деревянных домов города (проект «Невыдуманные истории тобольских дворишков») и проводя краеведческий лекторий (возобновлен в 2016 г.).

Таким образом, амбивалентное отношение к развитию города Тобольска в конце 1970-х гг. привело к актуализации патриотизма и возрастанию ресентимента в отношении индустриальной модернизации города, что отразилось в появлении общественных инициатив в деле сохранения историко-культурного наследия города Тобольска в 1980–1990-х гг. Основным результатом деятельности волонтеров заключается в опыте мобилизации горожан – как старожилов Тобольска, так и приезжих, укреплении локальной идентичности, обращении к общим разделяемым ценностям (любовь к городу, гордость за его прошлое, чувство коллективизма, понимание своей роли в истории и пр.), в совместной практической деятельности в целях сохранения исторического облика города, а главное – это сохранение уникальных объектов культурного наследия. Современное поколение тобольских активистов определяет добровольцев как *«людей, которые образуют какой-то вихрь... когда нужно действительно защитить, спасти какой-то памятник архитектуры, когда нужно пресечь какую-то идиотскую, допустим, идею создания чего-то, которое в итоге уничтожит что-то»* (Инт. 4)⁸. И более того, считают их хранителями города. На мой взгляд, это точная характеристика людей, которые уже 40 лет, не жалея сил и времени, занимаются спасением «старого Тобольска».

Список сокращений

ВООПИК – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры; Ленгипрогор – Ленинградский государственный институт проектирования городов; НХК – Тобольский нефтехимический комбинат; ТГИАМЗ – Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Список интервью

Инт. 1. – муж., член клуба «Добрая воля» с 1987 г.

Инт. 2. – групповое интервью, в котором участвовали жительницы Тобольска, современные активистки «Доброй воли».

Инт. 3. – жен., бывший сотрудник ТГИАМЗ, не была членом «Доброй воли», но участвовала в «добровольских» акциях.

Инт. 4. – Трофимова И.Н., тобольская активистка, руководитель литературно-музыкальных клубов и вечеров. Записано М. Лурье, П. Куприяновым, Е. Мельниковой 14.07.2021 в г. Тобольске (Материалы проекта при поддержке фонда Потанина, СГМ-59/19).

Примечания

¹ Чаще всего ресентимент используется психологами или политологами (Salmela, Capelos 2021; Demertzis 2020), в том числе при обращении к проблемам коммеморации (см. проект International Research Cluster: Ressentiment and Change Potential in Europe – RECHANGE // <https://psychologie.sfu.ac.at/en/research/research-cluster-rechange/>). Попытка приложить концепт ресентимента к городскому дискурсу была сделана в магистерской диссертации П. Вялкова ««Спасти старый Тобольск»: ресентимент в городском дискурсе бывшей сибирской столицы (вторая половина 1970-х – 1990-е гг.)» (ТюмГУ, 2025).

² Я благодарю П. Вялкова, поделившегося со мной своими наработками.

³ Музей-заповедник в Ростове до 1969 г. назывался Ярослав-Ростовский (ростовский

филиал), а с 1969 по 1991 г. – Ростово-Ярославский музей-заповедник.

⁴ Понятие «старый Тобольск» было и остается широко распространенным в дискурсе исторического наследия, противопоставляясь «новому городу», существование которого связывается с деятельностью Нефтехимкомбината.

⁵ По подсчетам П. Вялкова, исторические публикации печатались почти каждую неделю (два-три раза в месяц), всего было опубликовано 304 статьи (2025: 40–41).

⁶ Ситуация развивалась в соответствии с наблюдением В. Донован (Donovan V.) о том, что после снятия ограничений на публичные дискуссии общественники – защитники наследия стали осознавать свой политический потенциал и использовать его (2013: 32).

⁷ Днем кита эта акция была названа достаточно спонтанно, ее организатор рассказал журналистам, что «мусор уходит в Иртыш, Обь, Обскую губу, Карское море и Ледовитый океан. И [потом распространяется] по всему мировому океану. Киты это все едят, сходят с ума, выбрасываются на берег. И вот мы спасаем этого кита. А мы должны китов беречь, потому что Тобольск стоит на ките (здесь отсылка к знаменитой ершовской «чудо-юдо рыбе-киту». – В.К.). Всякую хрень, что называется, начал им [корреспондентам] нести» (Инт. 1).

⁸ Интервью И. Трофимовой со мной поделилась Е. Мельникова, за что ей большое спасибо.

Список источников

- Барабанова Л. Этюды о заповедном городе. Свердловск: Средне-Урал. кн. изд-во, 1986.
- Вялков П. «Спасти старый Тобольск»: ресентимент в городском дискурсе бывшей сибирской столицы (вторая половина 1970-х – 1990-е гг.): магистерская диссертация. ТюмГУ, Институт гуманитарных наук, научный руководитель И.Н. Стась. Тюмень, 2025.
- Гладарев Б. Историко-культурное наследие Петербурга: рождение общественности из духа города // От общественного к публичному. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2011. С. 70–304.
- Заварихин С.П. В древнем центре Сибири. М.: Искусство, 1987.
- Захарова Л.Н. «Добрая воля» Тобольска // Памятники Отечества. 1988. № 2. С. 101–102.
- Иванов В. Старый город и новый комбинат. Древний Тобольск нуждается в реконструкции // Тобольская правда. 1982. № 84. С. 3.
- Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М.: Этерна, 2012.
- Кизилов Г.И. Тюменская экспедиция – 1965. URL: https://samlib.ru/k/kizilow_g_i/ekspedicijajitzjumeninasewernyjural-1965.shtml?ysclid=mbkpcfxm7g916755182
- Кондакова Г. Богоспасаемый город. Тобольск: Полиграфист, 2016.
- Копылов Д., Прибыльский Ю. Тобольск. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1974.
- Кочедамов В.И. Тобольск: (Как рос и строился город). Тюмень: Кн. изд-во, 1963.
- Мельникова Е.А. Интеллигенция как событие: валаамское наследие и его хранители в позднем СССР // Ab Imperio. 2023. № 1. С. 181–221. doi: 10.1353/imp.2023.0013
- Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР. Постановление коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г. № 3 и президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990 г. № 12 (162). URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102101396&page=1&rdk=0&ysclid=mbnmyd6beu971137179#10
- Окладников А.П. Приобщение к прошлому // Неделя. 1968. 17 марта. С. 5.
- Полищук В. «Добрая воля» города, 1987. № 77. С. 3.
- Полищук В.И. Добрая «Добрая воля» // Западная Сибирь: история и современность: краеведческие записки. Вып. 7. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2005. С. 219–222.
- Постановление Совета Министров РСФСР № 5 от 03.01.1990 «О мерах по реконструкции, реставрации памятников истории и культуры и комплексному развитию городского хозяйства г. Тобольска». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=4050-0&req=doc&base=ESU&n=28450&rnd=sWIXrQ#K5YBlqUiHsT0xP001>

- Распоряжение от 28 июля 1961 г. № 3679-р. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6076#BFz0knUExoAOYh281>
- Распутин В.Г. Тобольск // Сибирь, Сибирь... Иркутск: Артиздат, 2000. С. 35–62.
- Строительство нового города – дело всех тоболяков // Тобольская правда, 1976. № 116. С. 2.
- Стройка, ставшая судьбой. 30-летию начала строительства Тобольского нефтехимического комплекса посвящается / авт.-сост. В. Горохов. Тобольск: Баско, 2004.
- Тоболяков В. Письма тоболякам [рукопись], б.д. URL: http://www.kulturatob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=484:2014-03-13-06-28-20&catid=19:2013-02-09-04-52-53
- Туманик А.Г., Туманик Г.Н. Поиск концепции градостроительного развития древней сибирской столицы (Тобольск) // Баландинские чтения. 2019. Т. XIV. С. 310–320. doi: 10.24411/9999-001A-2019-10097
- Шумилкин А.С. Концепция реставрации архитектурного наследия в России XX – начала XXI вв. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского гос. архитектурно-строительного ун-та, 2021.
- Эристов Б.О. «Добрая воля» глазами доброй воли // Недопетая песня. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2000. С. 136–138.
- Юности города взлет // Тобольская правда. 1975. № 87. С. 3.
- Demertzis N. The Political Sociology of Emotions. Essays on Trauma and Ressentiment. London: Routledge, 2020.
- Donovan V. The ‘Old New Russian Town’: Modernization and Architectural Preservation in Russia’s Historic North West, 1961–1982 // Slavonica. 2013. № 19 (1). P. 18–35. doi: 10.1179/1361742713Z.00000000013
- Salmela M., Capelos T. Ressentiment: A Complex Emotion or an Emotional Mechanism of Psychic Defences? // Politics and Governance. 2021. № 9 (3). P. 191–203.

References

- Barabanova, L. (1986) *Etjudy o zapovednom gorode* [Essays about the protected city]. Sverdlovsk: Sredneuralskoe knizhnoe izdatel'stvo.
- Demertzis, N. (2020) *The political sociology of emotions: essays on trauma and resentment*. London: Routledge.
- Donovan, V. (2013) The old-new Russian town: modernization and architectural preservation in Russia's historic northwest, 1961–1982. *Slavonica*, 19(1), 18–35. <https://doi.org/10.1179/1361742713Z.00000000013>
- Eristov, B.O. (2000) “Dobraia volia” glázami dobryei voli [“Good will” seen through the eyes of good will]. *Nedopetaya pesnya*. Ekaterinburg: Ural'skii rabochii, pp. 136–138.
- Gladirev, B. (2011) Istoriko-kul'turnoye nasledie Peterburga: rozhdenie obshchestvennosti iz dukha goroda [Cultural heritage of St. Petersburg: birth of civil society from the spirit of the city]. In E. Leontiev et al. (Eds.), *Ot obshchestvennogo k publichnomu*. Saint Petersburg: Evropejskij universitet v Sankt-Peterburge, pp. 70–304.
- Ivanov, V. (1982, April) Staryi gorod i novyi kombinat. Drevnii Tobolsk nuzhdaetsia v rekonsiutsii [Old city and new combine. Ancient Tobolsk needs reconstruction]. *Tobolskaia pravda*, 84, p. 3.
- Kaulen, M.E. (2012) *Muzeifikatsiia istoriko-kul'turnogo naslediia Rossii* [Museumification of historical-cultural heritage of Russia]. Moscow: Eterna.
- Kochedamov, V.I. (1963) *Tobolsk: Kak ros i stroilsia gorod* [Tobolsk: how it grew and was built]. Tyumen: Knizhnoe izdatel'stvo.
- Kondakova, G. (2016) *Bogospasaemyi gorod* [God-saved city]. Tobolsk: Poligrafist.
- Kopylov, D., Pribyl'skii, I. (1974) *Tobolsk* [Tobolsk]. Sverdlovsk: Sredneuralskoe knizhnoe izdatel'stvo.
- Melnikova, E.A. (2023) Intelligentisiia kak sobytie: valaamskoe nasledie i ego khraniteli v pozdnem SSSR [Intelligentsia as event: Valaam legacy and its keepers in late USSR]. *Ab imperio*, (1), pp. 181–221. <https://doi.org/10.1353/imp.2023.0013>

- Okladnikov, A.P. (1968, March 17) Priobschenie k proshlomu [Accession to the past]. *Nedelia*, p. 5.
- Polischuk, V. (1987, July) Dobraia volia goroda [City goodwill]. *Tobolskaia pravda*, 77, p. 3.
- Polischuk, V.I. (2005) Dobraia "Dobraia volia" ["Good will"]. In V.R. Smirnova (Ed.), *Zapadnaya Sibir': istoriya i sovremennost': kraevedcheskie zapiski. Vypusk 7*. Ekaterinburg: Media-Kholding "Ural'skii rabochii.", pp. 219–222.
- Rasputin V. (2000) Tobolsk [Tobolsk]. *Sibir', Sibir'*, pp. 35–62.
- Salmela, M., Capelos, T. (2021) Resentiment: a complex emotion or an emotional mechanism of psychic defense? *Politics and Governance*, 9(3), pp. 191–203.
- Shumilkin, A.S. (2021) *Konceptsiia restavratsii arkhitektronnogo naslediiia v Rossii XX-nachala XXI vv.* [Concept of restoration of architectural heritage in Russia at the turn of the century]. Nizhnyi Novgorod: Nizhegorodskii gosudarstvennyi arkhitektorno-stroitel'nyi universitet.
- Stroika, stavshaia sud'boiu. 30-letiiu nachala stroitel'stva Tobolskogo neftekhimicheskogo kompleksa posviashchaetsia* (2004) [Commemorating the 30-year anniversary of the beginning of construction of the Tobolsk oil chemical complex]. Compiled by V. Gorokhov. Tobolsk: Basko.
- Stroitel'stvo novogo goroda – delo vseh toboliakov. (1976, June) *Tobolskaia pravda*, 116, p. 2.
- Toboliakov, V. (n.d.) *Pis'ma Toboliakam* [Letters to citizens of Tobolsk]. Available at: http://www.kulturatob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=484:2014-03-13-06-28-20&catid=19:2013-02-09-04-52-53
- Tumanik, A.G., Tumanik, G.N. (2019) Poisk kontseptsii gradostroitel'nogo razvitiia drevnei sibirskoi stolitsy (Tobolsk) [Searching for urban development concept of the ancient capital of Siberia (Tobolsk)]. *Balandinskie chteniia*. Vol. XIV, pp. 310–320. <https://doi.org/10.24411/9999-001A-2019-10097>
- Zavarihin S.P. (1987) *V drevnem centre Sibiri* [In the ancient center of Siberia]. Moscow: Iskusstvo.
- Vialkov P. (2025) "Spasti staryi Tobolsk": resentment v gorodskom diskurse byvshey sibirskoy stolitsy (vtoraya polovina 1970-kh – 1990-e gg.) ["Save Old Tobolsk": Resentment in the Urban Discourse of the Former Siberian Capital (Late 1970s – 1990s)]. Unpublished master's dissertation / Tyumen State University, Institute of Humanities; supervisor I. Stas'; Tyumen.

Сведения об авторе:

КЛЮЕВА Вера Павловна – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН (Тюмень, Россия). E-mail: vormpk@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Vera P. Klueva, Institute of the Problems of Northern Development, Tyumen Scientific Centre SB RAS (Tyumen, Russian Federation). E-mail: vormpk@gmail.com

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 15 июля 2025;
принята к публикации 8 августа 2025.*

*The article was submitted 15.07.2025;
accepted for publication 08.08.2025.*

ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ НА КАВКАЗЕ

(отв. редакторы специальной темы –
Э.-Б.М. Гучинова, Г.А. Шагоян)

Научная статья
УДК 325:94
doi: 10.17223/2312461X/49/5

Языки описания насильственных переселений: власть, идентичность, память. Введение к специальной теме номера

Эльза-Баир Мацаковна Гучинова¹,
Гаяне Арутюновна Шагоян²

¹ *Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
Москва, Россия*

² *Институт археологии и этнографии НАН РА, Ереван, Армения*
¹ *bairjan@mail.ru*

² *gayashag@yahoo.com*

Аннотация. Характеризуется проблемное поле антропологических исследований советских депортаций. Предлагаются концептуальные подходы к анализу нарративов о принудительных переселениях через призму языка, памяти и идентичности. Статьи специальной темы номера основаны на материалах секции «Антропология массовых депортаций в СССР» XV Конгресса антропологов и этнологов России (КАЭР, 2023). Авторы подчеркивают, что в описании депортационного опыта доминируют правовые и административные термины, а также публицистическая риторика, которые редко соответствуют сложной социальной и культурной реальности. Особое внимание уделяется формам вернакулярной памяти – локальным, неинституционализированным способом запоминания и передачи травматического опыта, основанным на семейных архивах, устных рассказах и визуальных практиках. На основе теоретических подходов Б. Миштал, М. Хирш, Р. Бендикс и М. Ротберга рассматривается, как память о депортациях формируется вне официального канона и институционального признания, вступая в конкуренцию или диалог с другими травматическими нарративами. Авторы выделяют три уровня описания депортационного опыта: язык власти, академический язык и язык жертв, предлагая междисциплинарную перспективу для анализа коллективной памяти. Представлен общий контекст для включенных в специальную тему кейсов: депортации армян (1949) и вытеснения армян из Нахичевани (1988–1989). Работа демонстрирует, как депортации становились не только политическим инструментом, но и важным фактором в формировании новых идентичностей, трансформации памяти и переопределении границ сообществ в постсоветском пространстве.

Ключевые слова: насильственные выселения, армяне в СССР, коллективная память, язык описания, антропология насилия, вернакулярный язык, нарратив

Для цитирования: Гучинова Э.-Б.М., Шагоян Г.А. Языки описания насильственных переселений: власть, идентичность, память. Введение к специальной теме номера // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 96–105. doi: 10.17223/2312461X/49/5

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/5

Languages of Representation of Forced Displacements: Authority, Identity, and Memory. Introduction to the Special Theme of the Issue

Elza-Bair M. Guchinova¹, Gayane A. Shagoyan²

¹ *Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation*

² *Institute of Archaeology and Ethnography, Armenian Academy of Sciences,
Yerevan, Armenia*

¹ *bairjan@mail.ru*

² *gayashag@yahoo.com*

Abstract. This article introduces the thematic issue dedicated to the anthropology of Soviet deportations and outlines a conceptual framework for analyzing narratives of forced displacement through the lenses of language, memory, and identity. The issue is based on materials from the panel “Anthropology of Mass Deportations in the USSR” at the XV CAER (2023). The authors argue that legal, administrative, and journalistic vocabularies dominate the representation of deportation experiences, often failing to reflect the social and cultural complexity of the events. Particular attention is given to forms of vernacular memory—localized, non-institutionalized modes of remembering and transmitting trauma rooted in oral histories, family archives, and visual practices. Drawing on the theoretical insights of B. Misztal, M. Hirsch, R. Bendix, and M. Rothberg, the article explores how memory about Soviet deportations is constructed outside official narratives, often entering into competition or dialogue with other traumatic histories. The authors identify three levels of description: the language of power, academic discourse, and the language of victims, proposing an interdisciplinary approach to understanding collective memory. The issue includes case studies on the deportation of Armenians in 1949 and the expulsion of Armenians from Nakhichevan in 1988–1989. The article shows how deportations served not only as political instruments but also as catalysts for identity formation, memory transformation, and the reconfiguration of community boundaries in the post-Soviet context.

Keywords: forced displacement, Armenians in the USSR, collective memory, language of description, anthropology of violence, vernacular language, narrative

For citation: Guchinova, E.-B.M. & Shagoyan, G.A. (2025) Languages of Representation of Forced Displacements: Authority, Identity, and Memory. Introduction to the Special Theme of the Issue. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 96–105. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/5

История массовых депортаций в СССР на сегодняшний день имеет относительно узкий круг исследователей, сложившийся за последние

три десятилетия. Эти ученые, как правило, сосредоточены на изучении одной этнической группы, чаще той, к которой принадлежат, редко выходя за пределы выбранного поля, вследствие чего сравнительные работы в данной области почти отсутствуют. В существующих на эту тему публикациях доминируют термины, заимствованные либо из языка власти (юридическая и административная лексика), либо эмоционально нагруженные выражения из публицистического дискурса. В исследовательский тезаурус иногда проникают определения, используемые самими пострадавшими для описания своего статуса и субъектности. Однако эти элементы эмного подхода также проходят через фильтры профессиональных предпочтений исследователей, стремящихся к «объективности» и «нейтральности», что, кстати, плохо сочетается с антропологической традицией позиционирования исследователя через призму «треугольника насилия»: жертвы, преступника и свидетеля (Riches 1986).

Настоящий выпуск представляют статьи, подготовленные на основе докладов секции «Антропология массовых депортаций в СССР: проблематизация тезауруса», прошедшей в рамках XV Конгресса КАЭР в Санкт-Петербурге в 2023 г. Это вторая публикация материалов секции, первая вышла в 2023 г. (Шагоян, Гучинова 2023; Гучинова 2023; Танайлова 2023; Тахнаева 2023). В данный номер вошли статьи, рассматривающие депортацию армян в Сибирь в 1949 г. и опыт длительного выдавливания армян из Нахичеванской АССР.

Рассматривая указанные кейсы, авторы исследуют не только языковые репертуары, используемые для описания исторических событий, но и их эволюцию в более поздних нарративах. Таким образом, язык оказывается не просто инструментом описания, но и пространством формирования мифологем там, где отсутствуют однозначные ответы на сложные исторические вопросы. Авторы обращаются к тому, как современный язык влияет на интерпретацию событий прошлого и как, в свою очередь, язык репрессивных органов и непосредственных жертв используется для осмысления и объяснения событий, происходивших ранее или позднее, формируя тем самым описание опыта следующими поколениями.

Помимо официального и академического языка, особенно важную роль в артикуляции травматического опыта играют формы вернакулярной памяти – коллективной, но неинституционализированной памяти, которая сохраняется в семейных архивах, устных рассказах, бытовых ритуалах и визуальных практиках. Во многом пересекающаяся с концептом коммуникативной памяти четы Ассман и особенно в работах Алейды Ассман (2011), вернакулярная память больше акцентирует противопоставление официальной позиции, это, скорее, вариант контр-памяти. Итак, этот концепт используется для обозначения низовых форм запоминания, возникающих вне контроля государства и науки, но формирующих устойчивые локальные нарративы. В условиях отсутствия

официальной коммеморативной политики или ее фрагментарности, именно такие формы памяти становятся центральным механизмом сохранения и передачи опыта (Misztal 2003; Hirsch 2012).

Так, Барбара Миштал, анализируя типы социальной памяти, подчеркивает, что вернакулярная память проявляется в повседневных взаимодействиях, связанных с телесными и материальными практиками, и часто вступает в противоречие с доминирующими историческими нарративами (Misztal 2003: 158). Визуальные и устные семейные источники, сохраняемые в архивах, фотоальбомах и практиках рассказывания, также рассматриваются как основа для формирования постпамяти – вторичного опыта травмы у поколений, не переживших ее непосредственно (Hirsch 2012).

В контексте советских депортаций, лишенных полноценного институционального признания, такие вернакулярные формы памяти оказываются не только главным источником реконструкции прошлого, но и пространством формирования языка, в котором осмысливается этот опыт, – за пределами бюрократического и научного тезауруса.

В последние десятилетия в социальной антропологии язык информантов приобретает все большее значение как ключ к пониманию ими исторической реальности. Однако здесь важно учитывать, что нарративы потерпевшей стороны нередко воспроизводят язык властных структур, что требует деконструкции для выявления границ усвоенного дискурса. Здесь уместно вспомнить отношение к памяти Реджины Бендикс (Bendix 2009), которая, правда, в несколько ином контексте – нематериального культурного наследия, критикует институционализацию и политизацию памяти. В то же самое время через ее примеры можно лучше увидеть неизбежное воздействие институциональной памяти на носителя некой локальной версии какой-либо устной традиции, даже политически самой нейтральной (фольклор, ремесла, народные практики). Историки при этом оказываются в еще более сложной ситуации, поскольку вынуждены опираться на архивные источники, насыщенные официальной терминологией, что повышает риск воспроизведения политически ангажированного языка прошедшей эпохи в современных академических исследованиях.

Особую сложность выбор рабочего понятийного аппарата представляет для тех исторических событий, которые не получили международной правовой или политической квалификации, подобной Холокосту. Это обстоятельство способствует возникновению «конкурирующих нарративов памяти», претендующих на роль метанарратива, используемого в инструментализации коллективных травм. Как показал Майкл Ротберг (2009), травматические нарративы не обязательно находятся в отношении конкуренции: они могут быть взаимодополняющими в процессе выработки механизмов коллективной работы многонаправленной памяти.

Однако в изучении советской истории подобная перспектива пока выражена крайне слабо. Поэтому сведение в один номер нескольких кейсов дает нам возможность выстроить такую оптику, в которой лучше видно, как меняются взаимосвязанные язык, память и идентичность, формируя новые группы или расщепляя старые под воздействием глубоких коллективных потрясений.

Статья Г.А. Шагоян предлагает антропологический анализ депортации армян в рамках операции «Волна» (июнь 1949), в результате которой около 19 тысяч человек были высланы из Армении, Грузии, Азербайджана и Северного Причерноморья в Сибирь (Алтайский край, Томская область). Автор показывает, как этот кейс не вписывается в существующие научные классификации советских репрессивных практик. Г.А. Шагоян анализирует депортацию армян через призму трех языков описания: бюрократического, научного и вернакулярного, сопоставимых с «треугольником насилия» Ричеса (Riches 1986) (соответственно: насильник, свидетель и жертва). В статье разбирается, как советская административная система конструировала аморфные бюрократические категории (например, «контингенты»), которые расходились с самовосприятием депортированных, усложняя их самоидентификацию, создавая новые сообщества и их групповую память. Армяне были депортированы на основании различных критериев: бывшего гражданства, бывшей политической судимости главы семьи, пленения во время Великой Отечественной войны, иммиграции из стран капиталистического лагеря или подозрения в принадлежности к дашнакской партии¹, при этом сами депортируемые узнавали о своей включенности в тот или иной «контингент» только по месту прибытия на «вечное поселение».

Автор демонстрирует, что память о депортациях в Армении часто формируется и существует в локальных сообществах, заимствуя коммеморативные практики и символы из публичных практик коммеморации других исторических травм, например, геноцида армян 1915–1923 гг. Тем самым исследователь поднимает вопросы о границах применимости существующих научных классификаций депортаций и о сложной динамике формирования коллективной памяти в советском и постсоветском контекстах.

На большом полевом материале Шагоян показывает, как официальные термины вступали в конфликт с народными определениями депортации и как это влияло на восприятие самого события. Административный язык, формируя контингент «турки», мог включать в эту категорию далеко не только турок или даже турецкоподданных, но в том числе и армян, что, однако, не отменяло антиармянской направленности репрессий для самих пострадавших. Подобная терминологическая неопределенность осложняла коллективное позиционирование к этому событию пострадавшей группы и ее мемориальные практики.

Статья Е.Ю. Гуляевой и Ю.О. Андреевой посвящена анализу малоисследованного случая – вытеснения армян из Нахичеванской АССР в 1988–1989 гг., происходившего на фоне армяно-азербайджанского конфликта. Авторы опираются на корпус биографических интервью с вынужденными переселенцами, а также на демографические данные, позволяющие проследить долгосрочную динамику сокращения армянского населения в регионе, в частности, от трети населения Нахичеванского уезда к 1917 г.² или 34 700 согласно переписи 1897 г. (ВПН 1897, также см.: Кавказский календарь 1916: 214–221) до 1 858 армян к началу 1980-х гг. (Переписи населения 2013), а затем полному изгнанию армянского населения в 1989 г. Центральным в исследовании становится язык описания изгнания: авторов интересует, как сами информанты концептуализируют свое переселение – используют ли они такие категории, как «беженец», кого называют инициаторами вытеснения (государство, соседей, обстоятельства) и какие термины используют для обозначения собственной идентичности. Следует отметить, что стремление не ассоциироваться с категорией «беженцев» обусловлено не только причинами, указанными авторами, но и социально-культурными различиями между местным и пришлым населением. Значительная часть армян в Азербайджане проживала в городах, поэтому переселенцы чаще ассоциировались с городским образом жизни. В контексте традиционного сельского уклада это вызывало отторжение: нормы поведения и стили общения «городских» переселенцев, в большинстве своем уже русскоязычных, воспринимались как менее приемлемые. Эти различия усиливали символическую дистанцию между коренным сельским населением и «беженцами», порождая дополнительные идентификационные разрывы. В результате формировалось стремление дистанцироваться от статуса «беженца» не только из-за связанного с ним низкого социального капитала, но и из желания остаться внутри локальной оппозиции «свои (сельские)» – «чужие (городские)».

Анализ нарративов показывает, как индивидуальная память о потере дома и вынужденном отъезде вплетается в более широкий коллективный армянский нарратив травмы. В языке описания заметно влияние дискурсов, сформированных вокруг памяти о геноциде армян 1915 г., что позволяет рассматривать случай Нахичевани как часть «многонаправленной памяти» (Rothberg 2009). Неслучайно, что в черновой версии статьи авторы, следуя речевым стратегиям своих собеседников, называли события февраля 1988 г. в Сумгаите «резнёй». Это отражает не только эмоциональную оценку произошедшего, но и устоявшуюся в армянской коммуникативной памяти лексику описания насилия. Понятие «геноцид», предложенное Рафаэлем Лемкиным на основе кейса массовых этнических чисток армян в Османской империи, вошло в международный юридический оборот лишь в конце 1940-х гг. (Irvin-Erickson 2017). До этого

времени, как и в повседневной речи, трагические события 1915–1923 гг. описывались с помощью другого набора терминов: «резня», «бойня» (арм. *yeghern*, *jard*), «побег» или «депортация» (*pakhepah*).

Со временем слово *yeghern* (букв. «резня», «массовое убийство») приобрело сакрально-политическое значение, став в армянской культуре и диаспоре синонимом геноцида. Именно по этой причине ряд международных политиков, желая выразить сочувствие армянам, но избегая прямого употребления слова «геноцид» (запрещенного в официальной риторике Турции)³, прибегали к использованию термина *yeghern* как своеобразного эвфемизма.

В русскоязычных текстах и устных нарративах армян слово «резня» также сохраняет свое устойчивое значение. Оно может выступать либо в качестве перевода армянского *yeghern*, либо как наиболее точное, с точки зрения носителей языка, описание форм насилия начала XX в. Именно поэтому использование слова «резня» для обозначения событий в Сумгаите 1988 г. со стороны собеседников Гуляевой и Андреевой уже само по себе является интерпретацией произошедшего как части исторически продолжающейся политики насилия в отношении армян. Таким образом, насильники Сумгаита в восприятии информантов символически соотносятся с турками начала XX в., а события 1988 г. воспринимаются как реплика или продолжение геноцидной логики.

Авторы выделяют в нарративах три типа травматического опыта – утрата, символическая матрица и консолидация, – которые формируют новое «сообщество утраты» (Ушакин 2009). Эта категория становится продуктивной для понимания того, как коллективная идентичность армян-нахичеванцев формировалась через опыт изгнания и обмен опытом утраты. Особое внимание уделено сложным отношениям с азербайджанскими соседями, роли власти, а также символическим практикам, связанным с воспоминаниями о покинутых местах. Исследование демонстрирует, как индивидуальные рассказы становятся звеньями в цепочке формирования коллективной памяти и этнической солидарности.

Итак, в условиях отсутствия общепринятого академического языка для описания массовых переселений в СССР, а также активного использования в публицистике правовой лексики с размытыми и зачастую неустойчивыми значениями возникает проблема неприменимости этих терминов ко всем советским кейсам, которые сами существенно отличались друг от друга по характеру, масштабу и последствиям. В результате пострадавшие нередко объединяют в повседневном языке явления, которые в юридической практике определяются разными понятиями, такими как «геноцид», «культурный геноцид», «этнотцид» и т.д. Отстраняясь от сугубо правовых дебатов, мы предлагаем рассматривать, как подобные термины мигрируют из юридического словаря в медийный и в нациестроительные дискурсы. Анализ эмпирических описаний и способов их восприятия самими депортированными позволяет не только

уточнить исследовательский понятийный аппарат, но и глубже понять механизмы коллективной работы с травматическим опытом.

Представленные статьи демонстрируют разные подходы – от микро-исторических кейсов и архивных изысканий до анализа вернакулярных нарративов и теоретических моделей. Такой междисциплинарный взгляд позволяет рассматривать депортацию не просто как репрессивную операцию, но как длительный исторический процесс, формирующий идентичности, коллективную память и социальные практики, находящие продолжение в интерпретациях последующих поколений.

Публикации, вошедшие в данный тематический выпуск, демонстрируют разнообразие подходов к описанию и интерпретации массовых выселений, акцентируя внимание на сложности понятийного аппарата и неоднозначности используемых терминов. Представленные кейсы позволяют проследить, как различные языковые режимы – административный, академический, вернакулярный – формируют конкурирующие интерпретации одного и того же исторического явления. Тем самым данная подборка статей инициирует академическую дискуссию о границах применимости существующего тезауруса и о необходимости его критического переосмысления в междисциплинарной перспективе.

Примечания

¹ Армянская революционная федерация (Дашнакцутюн) – основанная в 1890 г. армянская социал-национальная партия, сыгравшая ключевую роль в создании Первой Республики Армения (1918–1920). После установления советской власти была запрещена и рассматривалась как антисоветская и буржуазно-националистическая организация (Sury 1993: 135–146). В годы сталинских репрессий членство в этой партии приписывалось почти всем, кто обвинялся по ст. 58-1а – измена Родине (чаще всего: связь с иностранными разведками, в том числе с «армянской буржуазной эмиграцией») и 58-11 – участие в контрреволюционной организации.

² Мы благодарны нашему коллеге Самвелу Меликсетяну за консультацию по поводу демографической картины Нахичеванского уезда и соответственно той ее части, которая после советизации Азербайджана и Армении вошла в Нахичеванскую АССР.

³ Речь идет о печально известной ст. 301 Уголовного кодекса Турции, согласно которой уголовному преследованию подлежит «оскорбление турецкой нации»; именно по этой статье в свое время был выдвинут обвинительный вердикт в отношении писателя Орхана Памука за его публичные высказывания о геноциде армян. В то время как в Турции использование термина «геноцид» в отношении событий 1915 г. может повлечь юридические последствия, в ряде других стран, напротив, уголовно наказуемым является отрицание геноцида армян – например, во Франции. О критическом отношении историков к практике криминализации оценок исторических событий см.: (Nora 2011).

Список источников

- Гучинова Э.-Б.М. Языки описания депортации калмыков // Сибирские исторические исследования. 2023. № 4. С. 144–163. doi: 10.17223/2312461X/42/8
- Кавказский календарь на 1917 год. С приложением карт Кавказа, Азиатской Турции и Персии / под ред. Н.П. Стельмашука. Тифлис: Типография наместника Е.И.В. на Кавказе, 1916.

- Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. // Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств. Демоскоп, 2013. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=575 (дата обращения: 30.07.2025).
- Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств // Демоскоп, 2013. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_89.php?reg=70 (дата обращения: 30.07.2025).
- Танайлова В.А. Истории о депортации чеченцев: трансформации языка описания // Сибирские исторические исследования. 2023. № 4. С. 164–179. doi: 10.17223/2312461X/42/9
- Тахнаева П.И. Современная мифологема о «несостоявшейся депортации» дагестанцев в 1944 г. и исторические реалии // Сибирские исторические исследования. 2023. № 4. С. 180–200. doi: 10.17223/2312461X/42/10
- Ушакин С. Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России // Травма: пункты / под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 306–345.
- Шагоян Г.А., Гучинова Э.-Б.М. Языки описания национальных депортаций на Кавказе. Введение к специальной теме номера // Сибирские исторические исследования. 2023. № 4. С. 134–143. doi: 10.17223/2312461X/42/7
- Assmann A. *Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives*. Cambridge University Press, 2011.
- Bendix R. *Heritage Between Economy and Politics* // *Intangible Heritage* / eds. by L. Smith, N. Akagawa. Routledge, 2009.
- Hirsch M. *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust*. Columbia University Press, 2012.
- Irvin-Erickson D. *Raphael Lemkin and the Concept of Genocide*. University of Pennsylvania Press, 2017.
- Misztal B.A. *Theories of Social Remembering*. Open University Press, 2003.
- Nora P. *History, Memory and the Law in France, 1990–2010* // *Historien*. 2011. Vol. 11. P. 10–13.
- Riches D. *The Anthropology of Violence*. Blackwell; Oxford, 1986.
- Rothberg M. *Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford University Press, 2009.
- Suny R.G. *Looking Toward Ararat: Armenia in Modern History*. Bloomington: Indiana University Press, 1993.

References

- Assmann A. (2011) *Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives*. Cambridge University Press.
- Bendix R. (2009) *Heritage Between Economy and Politics*. In: *Intangible Heritage*. Smith L., Akagawa N. (eds). Routledge.
- Guchinova, E.-B.M. (2023) Languages for Describing the Kalmyk Deportations. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 4. pp. 144–163. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/42/8
- Hirsch M. (2012) *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust*. Columbia University Press.
- Irvin-Erickson D. (2017) *Raphael Lemkin and the Concept of Genocide*, University of Pennsylvania Press.
- Kavkazskiy kalendar' na 1917 god. S prilozheniyem kart Kavkaza, Aziatskoy Turtsii i Persii* [Caucasian calendar for 1917. With the appendix of maps of the Caucasus, Asian Turkey and Persia]. Tiflis: Printing house of the Viceroy of His Imperial Majesty in the Caucasus, edited by N.P. Stelmashchuk. 1916.
- Misztal B.A. (2003) *Theories of Social Remembering*. Open University Press.

- Nora P. (2011) History, Memory and the Law in France, 1990–2010, *Historein*, Vol. 11, pp. 10–13.
- Oushakine S. (2009) Vmesto utraty: materializatsiya pamyati i germeneytika boli v provintsial'noy Rossii [Instead of loss: materialization of memory and hermeneutics of pain in provincial Russia]. In: *Travma: punkty* [Trauma: points]. Ed. by S. Oushakine and E. Trubina. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, pp. 306–345.
- VPN. Pervaya vseobshchaya perepis' naseleniya Rossiyskoy Imperii 1897 g. [The first general census of the Russian Empire in 1897]. In: *Perepisi naseleniya Rossiyskoy Imperii, SSSR, 15 novykh nezavisimyykh gosudarstv* [Population censuses of the Russian Empire], USSR, 15 new independent states, Demoscope, 2013. Available at: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=575 (Accessed 30 July 2025).
- Perepisi naseleniya Rossiyskoy Imperii, SSSR, 15 novykh nezavisimyykh gosudarstv [Population censuses of the Russian Empire], USSR, 15 new independent states, *Demoscope*, 2013. Available at: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_89.php?reg=70 (Accessed 30 July 2025)
- Riches D. (1986) *The Anthropology of Violence*. Blackwell, Oxford.
- Rothberg M. (2009) *Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford University Press.
- Shagoyan, G.A. & Guchinova, E.-B.M. (2023) Languages for Describing National Deportations in the Caucasus. Introduction to the Special Theme of the Issue. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 4. pp. 134–143. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/42/7
- Suny R.G. (1993) *Looking Toward Ararat: Armenia in Modern History*. Bloomington: Indiana University Press.
- Takhnaeva, P.I. (2023) The Modern Mythologeme about the “Failed Deportation” of Dagestanis in 1944 and Historical Realities. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 4. pp. 180–200 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/42/10
- Tanaylova, V.A. (2023) Stories of Chechen Deportation: Transformations of Narrative Language. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 4. pp. 164–179 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/42/9

Сведения об авторах:

ГУЧИНОВА Эльза-Баир Мацаковна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). ORCID: 0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

ШАГОЯН Гаяне Арутюновна – ведущий научный сотрудник, отдел антропологии современности, руководитель Центра устной истории, Институт археологии и этнографии НАН РА (Ереван, Армения). ORCID: 0009-0001-0505-6236. E-mail: gayashag@yahoo.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Elza-Bair M. Guchinova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

Gayane A. Shagoyan, Institute of Archaeology and Ethnography, Armenian Academy of Sciences (Erevan, Armenia). ORCID: 0009-0001-0505-6236. E-mail: gayashag@yahoo.com

The authors declare no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 14 июня 2025;
принята к публикации 9 августа 2025.*

*The article was submitted 14.06.2025;
accepted for publication 09.08.2025.*

Научная статья
УДК 325:94
doi: 10.17223/2312461X/49/6

Бюрократический, научный и вернакулярный тезаурус депортации армян 1949 г.

Гаяне Арутюновна Шагоян

Институт археологии и этнографии НАН РА, Ереван, Армения, gayashag@yahoo.com

Аннотация. Представлен анализ депортации армян в рамках советской операции «Волна» в июне 1949 г., в результате которой около 19 тысяч человек были высланы из Армянской ССР, Грузии, Азербайджана и Черноморского побережья в Сибирь. Автор рассматривает этот случай как феномен, не вписывающийся в существующие классификации советских репрессивных практик, и исследует, как бюрократический, научный и вернакулярный языки формировали восприятие и репрезентацию этой травмы. Показано, что категории, в которых фиксировалась «контингентность» депортируемых («дашнаки», «легионеры», «репатрианты» и др.), имели не только административную, но и идеологическую функцию, в то время как для самих депортированных эти определения часто были непонятны или отвергались. Автор исследует, как такие идентификационные ярлыки трансформировались в личных рассказах, устных историях и семейных архивах, а также как формировались мемориальные практики вокруг темы депортации. Исследование опирается на полевые материалы, в том числе интервью и визуальные источники, собранные в рамках проекта *Armenia Total(itar)is*, и прослеживает различия в мужских и женских нарративах, в отношении к памяти и способам ее сохранения. Отмечено, что в условиях отсутствия официальной политики памяти о депортации инициатива коммеморации исходила, как правило, от самих репрессированных и их потомков. Через анализ практик хранения, рассказывания и визуального оформления памяти демонстрируется, как память о депортации интегрируется в более широкий мемориальный ландшафт Армении, наряду с памятью о геноциде армян и Великой Отечественной войне, заимствуя их символический язык и формы представления. Раскрывается, каким образом депортационный опыт и его репрезентации отражают не только индивидуальные и семейные стратегии переживания травмы, но и политические и культурные трансформации в постсоветском армянском обществе.

Ключевые слова: депортация армян, коммеморативные практики, контингентность, репрессии, вернакулярная память, семейный архив

Для цитирования: Шагоян Г.А. Бюрократический, научный и вернакулярный тезаурус депортации армян 1949 г. // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 106–130. doi: 10.17223/2312461X/49/6

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/6

Bureaucratic, Scholarly, and Vernacular Thesaurus of the Deportation of Armenians in 1949

Gayane A. Shagoyan

*Institute of Archaeology and Ethnography, Armenian Academy of Sciences,
Yerevan, Armenia, gayashag@yahoo.com*

Abstract. The article analyzes the deportation of Armenians during the Soviet operation “Wave” in June 1949, which resulted in the exile of about 19,000 people from the Armenian SSR, Georgia, Azerbaijan, and the Black Sea coast to Siberia. The author sees this case as a phenomenon that does not fit existing classifications of Soviet repressive practices and explores how bureaucratic, scholarly, and vernacular languages shaped the perception and representation of this trauma. It is shown that the categories defining deportee “contingency” (“Dashnaks,” “legionnaires,” “repatriates,” etc.) had not only administrative but also ideological functions, while for the deportees these designations were often unclear or rejected. The article explores how such labels were transformed in personal narratives, oral histories, and family archives, and how commemorative practices developed around the deportation. Based on field materials—interviews and visual sources collected within the *Armenia Total(itar)is* project—the article traces gendered differences in memory narratives, attitudes toward the past, and practices of preservation. In the absence of an official memory policy, commemoration was typically initiated by the repressed and their descendants. Through analysis of how memory was preserved, narrated, and visually framed, the article shows how the memory of the 1949 deportation integrates into Armenia’s broader memorial landscape, alongside memories of the Armenian Genocide and the Great Patriotic War, borrowing their symbolic language and representational forms. It demonstrates how the deportation experience and its representations reflect not only individual and family strategies of coping with trauma but also political and cultural shifts in post-Soviet Armenian society.

Keywords: Armenian deportation, commemorative practices, contingency, repression, vernacular memory, family archive

For citation: Shagoyan, G.A. (2025) Bureaucratic, Scholarly, and Vernacular Thesaurus of the Deportation of Armenians in 1949. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 106–130 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/6

Проблема массовых депортаций, как и собственно депортационный тезаурус в контексте советских репрессивных практик, на первый взгляд, кажется достаточно разработанной. В частности, благодаря работам Павла Поляна, появились классификации групп не только по «контингентности» (этнические, социальные, конфессиональные, политические), но и по мотивации депортаций (превентивные и карательные) (Полян 2001: 46). Их административный характер, выражавшийся во включении людей в те или иные «контингенты», не только эссенцировал эти

категории, принцип принадлежности к которым нередко был непонятен самим депортируемым, но и нашел отражение как в научном дискурсе, так и в мемориальных практиках народов, затронутых операциями массовых принудительных переселений.

Для одних народов сюжет тотальной депортации стал метанарративом и сегодня отмечается в республиках актами массовых публичных мероприятий. В других случаях депортации на этнической основе хотя и осознаются как таковые, обсуждаются среди небольших групп этнических активистов и исследователей, но не превращаются в общенациональный нарратив. И, наконец, есть примеры массовых депортаций, определение контингентности которых усложняется из-за разных принципов формирования групп, на которые распространились репрессивные операции (например, одновременно социальные и политические контингенты или «по подданству», но при этом не этнические), что недостаточно разработано в научных классификационных делениях. Иногда они определяются как комбинированные или смешанные депортации. Но для самих депортированных подобные разночтения и множественные принципы группирования усложняют собственное позиционирование к этому историческому и биографическому факту, включая коммеморативные практики. Как самим депортированным, так и их потомкам в этих случаях сложно сориентироваться, в какой публичный дискурс можно включить проговаривание своего опыта или с какой из признанных коллективных травм можно его соотнести.

В рамках данной статьи на примере депортационной кампании 1949 г. «Волна» попробую обрисовать сложности, несовпадения и наложения разделительных линий между депортируемыми группами, исходя из перспективы советской администрации, научного дискурса о депортациях и языка описания жертв депортаций. С учетом того, что этот язык формируется на основе других коммеморативных практик и доминирующих в разные периоды идеологий, в статье более подробно будет рассмотрен спектр нарративов и форм коммемораций, повлиявших на восприятие депортационного опыта 1949 г.

Научный и бюрократический тезаурус

Принудительные массовые миграции были одним из методов социальной инженерии как в больших деспотиях древности, так и в руках правителей модернизационных проектов, впрочем, и сегодня не потерявших своего инструментального значения. Иногда они были прелюдией к физическому уничтожению различных групп (Поболь, Полян 2005: 5) и/или их формальным обоснованием, как, например, во время геноцида армян в Османской империи (1915–1923 гг.), где уничтожение автохтонного населения (армян) преподносилось как депортационная операция,

вызванная необходимостью защиты восточных границ от потенциально сочувствующих Российской империи этнических групп во время Первой мировой войны. И ранее, на протяжении XIX в., армян не раз массово переселяли из Западной Армении на территорию Восточной Армении, население которой, в свою очередь, подверглось насильственному тотальному переселению еще в XVII в. персидским шахом Аббасом (результат военной стратегии «выжженной земли» во время персидско-турецкой войны). В итоге северные и северо-западные территории современной Республики Армения и частично сегодняшней Грузии к XVIII в. практически обезлюдели. Вследствие русско-персидских и русско-турецких войн XIX в. эти районы были вновь заселены армянами-переселенцами из Османской и Персидской империй. Соответственно память о различных кампаниях принудительных миграций сохранились не только как часть армянской истории: для многих ныне живущих армян это страницы семейной биографии, которая обросла новыми историями депортаций и ссылок за советской период. Поэтому армянский «депортационный словарь» богат различными определениями массовых переселений.

Однако при всем «богатстве» депортационного словаря, зачитываемое в ночь на 14 июня 1949 г. советскими военными постановление о «высылке» (*artaqsum*) для многих армян оказалось непонятной дефиницией. Административный язык репрессий оперировал новым термином (*artaqsum*), который хоть и был взят из литературного армянского языка, но для людей малограмотных, уже однажды подвергшихся «депортации» в Османской империи, это определение никак не объясняло сути того, что с ними происходило. Для понимания его переводили с «бюрократического армянского» на «армянский исторический», заменяя на более понятный «*aqsor*» – «ссылку». В административной таксономии репрессий «высылка» предполагала менее суровую форму наказания по сравнению со «ссылкой», «тюрьмой» и т.д. Однако армянам, у которых понимание о советской «ссылке» сложилось на основе опыта кулацких и индивидуальных ссылок 1930-х, зачитываемый указ рисовал исключительно лагерную перспективу в Сибирь (Кисибекян 2011: 382–492), а у репатриантов, которые переехали в Советскую Армению после Второй мировой войны, слово «*aqsor*» ассоциировалось с опытом турецкой депортации, получившей в народе название «дорога смерти», поскольку геноцид армян формально был определен как переселение в глубь страны – в концентрационный лагерь Дейр-Эз-Зор (в армянской транскрипции известен как Дерзор) в Сирийской пустыне. На деле большинство переселяемых было убито по дороге или погибло от невыносимых условий во время переселения, а из дошедших собственно до лагеря в 1915–1916 гг. около 200 тыс. были убиты на месте (подробнее см.: Гервоян 2015: 709–782).

Пояснения советских военных, выполнявших операцию «Волна», «вас перевозят в другое место жительства», не вносили ясности, так как и причины выселения, и места назначения оставались неизвестными вплоть до прибытия. Только в местах расселения, в комендатуре, люди знакомились с учетной записью, где была указана их контингентность: «турок», «дашнак»¹, «легионер». Как видим, среди этих определений нет категории «армянин», но у оказавшихся в эшелонах, где были исключительно армяне, будь это эшелоны из Армении, Абхазии или из Грузии, сложилось впечатление, что это ссылка именно армянская. Хотя количество выселенных по постановлению Совета министров СССР № 2214-356 сс от 29 мая 1949 г. («Об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства выселенцев с территории Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также побережья Черного моря») насчитывало 57,7 тыс. человек², по приказу МГБ СССР № 00183 «О выселении турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство, греческих подданных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее время гражданства, и бывших греческих подданных, принятых в советское гражданство, и дашнаков с семьями с территории ГССР, АрмССР, АзССР и Черноморского побережья» армяне составляли чуть больше четверти (около 19 000 чел.) (Харатян 2020: 5–33) всех депортированных по этому приказу. Уже длинное название приказа говорит о сложных, запутанных принципах группирования людей, с указанием одновременно и гражданства («нынешнее», «прежнее»), и географического региона (Закавказье, Причерноморье).

Кроме гражданства (текущего и бывшего), в постановлении специально оговаривается категория «дашнаков», к которым были причислены не только многие из тех, кого включили в депортационные списки по текущей или бывшей гражданской принадлежности, но также те, кто ранее был судим или оказался в немецком плену во время Второй мировой войны. Причем гражданство учитывалось в случае депортации армян из Грузии, Азербайджана и Северного Причерноморья, а в случае депортированных из Армении ключевой категорией становилось членство в дашнакской партии (Харатян 2020: 73). Независимо от этнической принадлежности, депортированные по этому постановлению относились к выселенным «навечно» и квалифицировались как «выселенцы».

Также сложно определить целеполагание этой операции. Если греков депортировали в основном в Казахстан (Бугай 1995: 140–141; Pohl 1999: 119–128; Полян 2001: 141), то депортируемых армян из Армении сослали в Алтайский край (ГАРФ, Ф. Р-9479; Аблажей 2011: 34–49), а остальных армян – в Томскую область, в частности, в Нарым. Где, как отмечает историк Н. Аблажей, после войны было заметное сокращение населения, отчасти из-за военных мобилизаций, отчасти потому, что

ссылные освобождалась по истечении 10-летних сроков, полученных во время Большого террора. Очевидно, что данная депортационная операция, помимо других целей, была призвана решать и проблемы экономического и демографического характера в местах расселения³.

В то же время эту операцию можно было бы воспринять в первую очередь как превентивную, учитывая, что выселение шло из приграничных регионов Закавказья, Северного Причерноморья, которые «зачищались» от людей с гражданством соседних стран, граничащих по суше или морю. Учитывая, что туда же были определены и дашнаки, а в их число включали и военнопленных, обвиняемых в коллаборационизме, депортация может считаться также и карательной. Причем во время фильтрации 1945–1946 г. «коллаборационистов» разделили на две категории: членов «Армянского легиона», в отношении которых не было выявлено фактов участия в военных действиях, отправили к месту их жительства («пассивные» легионеры), а «активных» легионеров в составе «власовцев» направили на шестилетнее спецпоселение. Во время депортации 1949 г. в категорию «дашнаки» были включены и «пассивные» легионеры. То есть все «легионеры», освобожденные в 1945–1946 гг. от отправки на шестилетнее поселение и вернувшиеся в Армению, в 1949 г. все же отправлялись на спецпоселение в качестве контингента «дашнаки», которых выселяли «навечно» (Земсков 2016: 224–225; Абрамян 2005).

Пытаясь понять механизмы принятия решений, нельзя исключать и вероятность аппаратных интриг республиканских элит, которые пытались извлечь свои национальные и локальные выгоды. Как показывают некоторые авторы, в результате депортаций в плане получения «нужного демографического» расклада некоторые титульные нации, в том числе и на Кавказе, в сухом остатке оказывались в выигрыше (Полян 2001: 15; Кешаниди 2015).

До этой кампании армян депортировали по разным обвинениям, не всегда связанным с этнической принадлежностью. Депортация армян, во время которой выселяли именно по этническому признаку, коснулась лишь крымских армян в 1944 г. (наряду с греками и татарами), а к марту 1949 г. на спецпоселении находилось 3 678 армян из числа спецконтингента «власовец» (Аблажей 2011: 47). Поскольку самая массовая депортация армян началась 14 июня 1949 г., то именно этот день был включен в календарь памятных дат Республики Армения как день памяти жертв советских политических репрессий. Мемориал жертвам репрессий советского периода (2008) открывается только на один день в году – 14 июня для проведения коммеморативных акций, инициированных в основном жертвами депортаций (многие из которых были высланы еще детьми) и их потомками. Тема депортаций армян 1930-х гг. (наряду с курдами из пограничных с Турцией районов), «армян-власовцев» или

крымских армян (1944 г.) практически отсутствует в современном мемориальном ландшафте Армении.

Среди армянского спецконтингента были выделены как отдельные учетные категории «легионеры», «дашнаки-националисты» и «репатрианты» и члены их семей. Причем в первую категорию попадали любые военнопленные и члены их семей, которые, в отличие от других групп, и после смерти Сталина, и после провозглашения независимости Армении не обращались за реабилитацией или получением удостоверения о том, что были депортированы, поскольку были уверены, что обвинение в коллаборационизме не подлежит пересмотру.

Во вторую группу попадали не только люди с «неправильным» бывшим гражданством, но и семьи тех, кто когда-либо были осуждены по статье о принадлежности к дашнакской партии, правящей партии первой республики 1918–1920 гг. Это обвинение предъявлялось почти всем политзаключенным, особенно в годы Большого террора. Вообще, «дашнак-националист» – было самым распространенным обвинением независимо от реального членства или даже знакомства с кем-либо из этой партии. С учетом того, что членство в ней обычно каралось высшей мерой наказания, в 1949 г. в Сибирь отправляли семьи тех, кого уже расстреляли в 1930-х гг., или кому удалось бежать за пределы СССР, но семья осталась в Армении, или же, как упоминалось выше, в этот контингент попали военнопленные коллаборационисты. Понятно, что о членстве в партии малолетних детей или вдов не могло быть и речи, но поскольку, согласно постановлению, высылке подвергалась вся семья, проживавшая вместе с обвиняемым, то с членами семей бывших «дашнаков» обращались так, как если бы те были живы, если даже допустить их реальное членство в этой партии. Примечательно, что некоторые реабилитационные документы в качестве основания для оправдания указывали именно на неправильное определение глав семьи, где вместо покойного мужа якобы нужно было указать жену, которая не имела ни судимости, ни обвинения, ни подозрений в членстве запрещенной в СССР партии.

В группу так называемых репатриантов попали армяне-иммигранты, которые приехали в Советскую Армению под воздействием советской агитации по переселению зарубежных армян «на историческую родину». Такая работа велась в армянской диаспоре в рамках планов Сталина на продвижение СССР в южном направлении (в сторону Турции), и наличие людей, бежавших из Турции в результате геноцида, было «подходящим материалом» как для войны, так и для последующего расселения на предполагаемых территориях, которые могли быть отсечены от Турции в результате этой операции. По крайней мере, такие перспективы обсуждались на разных уровнях. Но к моменту организации самой «репатриации» (1946–1949 гг.), когда в Армению приехали около 100 000 армян из разных стран (в основном из Ближнего Востока, но

были и из Франции, США), планы по нападению на Турцию изменились и иммигранты из «капиталистических стран» были стигматизированы как потенциально неблагонадежные.

Хотя кампания по принятию зарубежных армян называлась «репатриацией», видимо, по примеру принудительных репатриаций граждан СССР, после войны (см.: Земсков 2018: 197–259; Полян 2001: 137–143; Арзамаскин 2001), именно для армян термин «репатриация» подходил меньше всего, поскольку, как верно отметила Грануш Харатян, ни эти люди, ни их предки никогда не жили на территории Восточной Армении, это были выходцы из Османской империи (Харатян 2020: 16). Определение этих иммигрантов в данные категории облегчало союзному бюрократическому аппарату их политическое, социальное и экономическое администрирование. Поэтому десятая часть репатриантов-армян также оказались в товарных вагонах, следовавших в Сибирь. При этом в самой группе репатриантов, как и в армянской диаспоре в целом, укоренилось представление о том, что ссылали в основном именно репатриантов. Благодаря скрупулезной архивной работе Тиграна Паскевичяна и Сатеник Фарамазян, которые не только сняли фильм-трилогию об армянах-репатриантах⁴, но и провели кропотливое архивное исследование⁵, установлено, что доля депортированных репатриантов (1 578 чел.)⁶ среди всех ссыльных из Армении (около 12 300 человек) составляет примерно 10%. С учетом того, что в это время общее население Армении едва превышало один миллион, в целом число репатриантов (100 тыс.) составляло около 10% всего населения Армянской республики. То есть депортация коснулась группы репатриантов ровно настолько, насколько они были представлены в общем населении Армении.

Волны «репатриации» на символическую родину были и в 1920-х гг., когда после геноцида отдельные группы беженцев, оказавшиеся в самых разных странах, после формирования Армянской Советской Республики, решили перебраться сюда. Мы не делали отдельного анализа о том, сколько человек из этой группы репатриантов оказались в депортационных списках, но в банке устных историй, которые были собраны в рамках проекта «Armenia Total(itar)is» (2012–2017)⁷, было немало историй, когда один и тот же человек бежал из Османской империи во время армянского геноцида в Восточную Армению или перебирался через третью страну в уже Советскую Армению, во время Второй мировой войны был призван в армию и оказался в немецком плену, после освобождения из лагеря и возвращения в Армению всей семьей был депортирован в Сибирь. Будучи жертвами трех режимов, наши рассказчики сравнивали опыт трех исторических трагедий, одна из которых впоследствии стала культурной травмой (геноцид), другая – выработала общий перформативный язык публичной истории («Великая отечественная война»), третья – циркулировала как коллективная травма в относительно небольшой группе (в основном

среди жертв сталинских репрессий и их потомков) (Шагоян 2021: 73–98). Если в учебниках истории эти сюжеты, как правило, никак не пересекаются, и официальная историография рассматривает их в контекстах совершенно разных нарративов, то в рассказах наших собеседников публичный язык об одном из этих событий (например Великой Отечественной войне) используется для описания другого события (геноцида), а коммеморативные практики этой травмы служат моделью для воспоминаний о другой (депортация 1949 г.) (Шагоян 2021: 73–98).

В международных исследованиях памяти отсылка к геноциду армян встречается в дискуссиях о Холокосте как минимум в двух контекстах. Во-первых, история создания самого понятия «геноцид» польским юристом Рафаэлем Лемкиным связана с его оценкой массовых убийств и депортаций армян в Османской империи, термин был сформулирован им именно на основе этого кейса (Irvin-Erickson 2017).

Вторая известная отсылка к геноциду армян в дискурсе о Второй мировой войне встречается по поводу слов Гитлера в его речи 1939 г. перед нападением на Польшу: «Кто сегодня говорит об уничтожении армян?» (Dadrian 2003: 408; Albrecht 2007: 65). У советских армян возможности публичного проговаривания проблемы геноцида не было вплоть до 1965 г., когда прошли многотысячные митинги на улицах Еревана, озвучившие проблему памяти о геноциде в форме беспрецедентного для советского пространства протеста (Lehmann 2015: 9–31).

В личных рассказах язык описания вторжения Германии в СССР использовался для описания турецких погромов (ср.: «Турция *вероломно* напала на маленькую Армению»), хотя геноцид армян в Турции заключался не в нападении на соседнюю страну, а в уничтожении Турецким государством собственных граждан – армян по этнорелигиозному признаку. То, как память об одной культурной травме может повлиять на формирование языка описания, мемориализации, Майкл Ротберг рассматривает в рамках функциональных возможностей многонаправленной памяти, противопоставляя ее памяти конкурирующей. Под многонаправленной памятью он имеет в виду случаи, когда мемориальный инструментарий, разработанный для одной культурной травмы, используется для понимания и описания другой, а не за счет ее вытеснения и задушевания (ср.: колониализм и холокост) (Rothberg 2009).

Вербальная и визуальная репрезентация депортации «выселенцами»

Текстов репрессированных о своем депортационном опыте в армянском публичном пространстве немного. Армянские писатели в художественных произведениях периода оттепели описывали события 1949 г., не называя их ссылкой, а подразумевая некий контекст, о котором чита-

тели должны были сами догадаться (см.: Мкртич Армен 1967). Обращение к этой теме в период перестройки было переключено на более актуальный сюжет – сталинскую передачу Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Публичные коммеморативные практики сконцентрировались в основном вокруг темы Геноцида и погромов армян в Азербайджане (Сумгаит, февраль 1988; Кировобад, ноябрь 1988; Баку, январь 1990). Поэтому, когда наша исследовательская команда начала изучение проблемы сталинских репрессий в рамках упомянутого проекта «Armenia Total(itar)is», включая депортацию 1949 г., нельзя сказать, что на такое исследование был общественный запрос. Некоторые члены исследовательской группы были из семей, подвергшихся репрессиям, или из семей, которые находились под непосредственной угрозой репрессий, поэтому была и личная мотивация такого исследования, и используемая методология включала некоторые аспекты автоэтнографии. Мы провели полевые работы практически во всех областях Армении, а некоторые интервью (более 20) записали за пределами Армении (в Грузии, России, США).

В годы репрессий обычно мобильность населения возрастает, и это связано прежде всего с тем, что выезд с места регистрации был способом избежать ареста, особенно в 1930-е гг. Поэтому судьбы некоторых наших собеседников напоминают череду переездов во избежание ожидаемого ареста или высылки⁸. И хотя каждый раз это была практически вынужденная миграция, решение о которой принималось исходя из обоснованных подозрений об угрозе, но назывался этот переезд по-разному, и, конечно, данный тезаурус не пересекался с депортационным словарем.

***А. Устоявшийся и создающийся нарративы о депортации:
тексты мужские и женские***

Часть интервью мы записывали повторно примерно через месяц после первого, для того чтобы использовать их в документальном фильме, который снимали в рамках того же проекта⁹. Некоторые из повторных бесед были записаны оба раза одним и тем же исследователем, в то время как остальные интервью вторично записывались другим исследователем из той же команды, т.е. новым для рассказчика человеком. И хотя мы просили наших информантов пересказать те же сюжеты, которыми они поделились с нами месяц назад, второй пересказ больше совпадал с первым, если интервьюер был тот же. При смене собеседника в текстах наших информантов добавлялись новые факты и сюжеты, менялись акценты в интерпретациях. Это говорит о большом влиянии интервьюера на формирование историй, что не всегда осознается. Наш полевой опыт показал: не только интервьюер выбирает рассказчика, но и рассказчик

выбирает «своего» собеседника и решает, кому бы он доверил те или иные сюжеты, даже если осознает, что реальных адресатов текста гораздо больше хотя бы потому, что, как в нашем случае, интервью снимается для фильма. Но нарратация разворачивается в рамках общих практик коммуникации независимо от конечной цели интервью, и рассказчики ориентируются в первую очередь на тех, кому адресовано повествование в данный момент.

Хотя все собеседники были одинаково свободны в выборе сюжетов, оценок и т.п., но если у одних повторный рассказ мало чем отличался от первого, а некоторые эпизоды повторялись почти дословно и с той же эмоциональностью, то другая часть рассказчиков спустя месяц после первого интервью столкнулась с трудностями при пересказе своих историй. Как оказалось, это были в основном те информанты, которые по нашей просьбе впервые коснулись этого периода своей жизни. Их рассказ не был устоявшимся текстом, а скорее создавался по ходу беседы. Тогда как информанты, почти слово в слово повторившие свой рассказ, очевидно, уже имели «устойчивое повествование», которое, как в случае с одним из наших собеседников, было даже опубликовано еще до нашего знакомства (Тоноян 2008).

Другой особенностью было то, что женские тексты о репрессиях оказались менее «устойчивыми». Это говорит о том, что женщины меньше проговаривали свой опыт «репрессированной», у них не было сложившегося нарратива о депортации. Это, возможно, связано с их большей осторожностью в условиях, когда именно женщинам приходилось брать на себя ответственность за выживание детей, часто не только своих. Нередко после расстрела, ссылки, ареста мужчин они оказывались в роли единственной опекуны в большой расширенной семье. Женщины обладали меньшей политической субъектностью и, как правило, воспринимались как «дополнение» к приговору мужчин их большой родственной группы (Шагоян 2022а: 11–36). В Армении из приблизительно 45 000 репрессированных (за все советские годы) 6 130 женщин были высланы в 1949 г. (только из Армении) как члены семей, подлежащих высылке, согласно указанным в приказе контингентам, и только около 1 250 дел заведено собственно на женщин, в основном как ЧСИР («член семьи изменника родины»)¹⁰.

Неожиданным оказалось, что мужчины были более эмоциональными рассказчиками, безуспешно сдерживавшими слезы на протяжении всего разговора. Женщины, рассказывая о депортационном опыте своих близких, больше сосредотачивались на сюжетах борьбы за выживание, чем на потерях и связанных с ними эмоциях. Создавалось впечатление, что психологическая травма оставила у мужчин более глубокий след. Женщины, несмотря на перенесенные лишения, зачастую воспринимали

себя как объект ситуации, как человека, невольно оказавшегося в трудных обстоятельствах, главной задачей которого было преодолеть эти трудности. Между тем в мужских рассказах о репрессиях рассказчик выступал в позиции, скорее, субъекта, одновременно формулируя вопрос о своей ответственности за близких. Наиболее эмоциональными оказались рассказы мужчин, которые выделяли в своем повествовании сюжеты о матерях, словно превращаясь в подростков, которые в те годы страдали от невозможности защитить мать и младших членов семьи. Это было особенно заметно в рассказах старших детей. Очевидно, что социальная роль мужчин и старшего ребенка подразумевала дополнительную ответственность, и потому к воспоминаниям о потерях и трудностях прибавлялось и чувство вины, менее выраженное у женщин и младших детей независимо от пола. Семейные отношения и роли отразились и в том, что в рассказах женщин, как заметил историк Гриша Смбалян, особо большое место занимают переживания, связанные с судьбой братьев.

Женские и мужские тексты часто отличались выбором сюжетов, что было в целом ожидаемо. Неожиданным было то, что женщины чаще, чем мужчины, обращались в различные государственные органы, чтобы узнать о судьбе своих родственников (ПМА 2012–2013, Анжела Шахбазян, Ахурян; ПМА 2012, Ася Ясоян, Гюмри; Марутян, ПМА 2012, Нина Овсепян, Горис). Даже если они не могли сами подготовить письмо на русском языке, именно по их настоянию родственники занимались выяснением судьбы пропавшего члена семьи и отправляли письма, как правило, от имени этих женщин.

Механизмы «вспоминания» семейной депортационной истории имели еще одно заметное различие у женщин и мужчин. В то время как женщины бережно хранили все документы, отдельные фотографии или вещи своих репрессированных родственников, напоминая работника музейного фонда, то архив, собранный несколькими нашими собеседниками-мужчинами, больше напоминал музейную экспозицию. Это не только про сохранение материализованной памяти, но и попытка поместить ее в определенную интерпретационную рамку. Человек так формировал память, словно превращался в куратора и гида музейной экспозиции. В их случае предметы (фотографии и другие реликвии) часто демонстрировались в гостиной, занимая наиболее выигрышную часть стены, становились экспозицией в прямом смысле этого слова (Шагоян, Абрамян, ПМА 2012–2013, Руссо Абрамян, Гюмри; Шагоян, Абрамян, ПМА 2013, Сергей Хуршудян, Гюмри; ПМА 2010, Хорен Закарян, Даштадем).

Фотографии в «мужских архивах» могли храниться не только в обычных фотоальбомах, но наклеивались в иллюстрированные книги (Шагоян, Абрамян, ПМА 2013, Сергей Хуршудян, Гюмри; ПМА 2010, Хорен Закарян, Даштадем) или другие документы (Шагоян, Абрамян, ПМА

2012–2013, Руссо Абрамян, Гюмри). Меняя контекст снимка, рассказчик фреймировал личную биографию как часть общенациональной или большой семейной истории. Часто «депортационные альбомы» напоминали «дембельский альбом», где изображения сопровождались дополнительными пояснениями, рисунками от руки или мангой японских военнопленных о своей жизни в лагерях ГУПВИ (Гучинова 2016). Визуальная память о депортации выстраивала новую идентичность, которая в каких-то случаях пыталась заново вписать биографию человека в историю своей республики, откуда человек был изгнан (ср. книги-альбомы Сергея Хуршудяна), или, наоборот, подчеркивала идентичность депортированного, как это сделал Руссо Абрамян, вклеивший в паспорт своего депортированного отца их совместную фотографию, сделанную в ссылке. Из его большой семьи были сосланы только отец и он, одиннадцатилетний Руссо, поскольку оставался единственным несовершеннолетним и, в отличие от остальных пяти братьев, находился на попечении отца. Совместная фотография отца и сына в отцовском паспорте стала убедительной иллюстрацией того, как члены семей депортированных становились заложниками судьбы другого члена семьи.

Наряду с фотографиями, в семейном архиве можно было найти вырезки из различных газет, отдельные записи телевизионных передач, отражающие тему депортаций, включая и депортацию других народов (ПМА 2012–2013, Анжела Шахбазян, Ахурян; ПМА 2012–2013, Хажак Амаякян, Гюмри; ПМА 2013, Джавахян Асмик, Шнох; ПМА 2013, Сергей Хуршудян, Гюмри). Например, заметка в газете о Поезде памяти в постсоветской Калмыкии для гюмрийца Сергея Хуршудяна хранилась как свидетельство важного прецедента, документ, с которым он обращался в разные инстанции с просьбой организовать подобный поезд и для депортированных армян. Он даже продумал маршрут в условиях непрекращающейся блокады постсоветской Армении со стороны Азербайджана, через территорию которого пролегал путь в 1949 г.

Как правило, воспоминания и дневники репрессированных хранились рядом с фотографиями, которые служили не столько носителем информации, сколько сокровищницей семейных реликвий. Зачастую члены семьи даже не читали эти бережно хранимые записи. Они напоминали практики вернакулярного христианства, в рамках которых к книгам религиозного содержания сложилось отношение как к священным реликвиям, воспринимаемым как «домашние святыне» с чудотворными возможностями исцеления, спасения и помощи в трудной ситуации (о «домашних святынях» см.: Марутян 2001). Отношение к материалам депортационного периода – фотографиям, документам, дневникам, письмам – у наследников таких семейных историй во многом совпадало с отношением к этим «священным книгам» – их не старались публиковать, ни

даже подробно ознакомиться с содержанием, эти «архивы» обычно хранились как священная семейная память.

Подобно тому как многие верующие в сталинские годы рисковали жизнью, чтобы спрятать свои священные книги, фотографии репрессированных и другие памятные вещи о них хранились в тайниках. Например, мать одной из наших собеседниц, подвергавшаяся преследованиям из-за того, что ее муж-коммунист, оказавшийся в немецком лагере, сотрудничал с фашистами, «объединила» фотографии – свою и мужа – висевшие рядом, спрятав фотографию мужа за своей в той же рамке, а фронтовые письма мужа хранила между этими двумя фотографиями. Несмотря на жесткие допросы со стороны НКВД-КГБ, она не уничтожила эти материализованные «памятки» о муже, а защищала их своим портретом до конца жизни, рискуя свободой каждый день (ПМА 2014, Ереван). Эта и другие подобные истории объясняют также и скудость дошедших до нас «семейных архивов». Хранение этих документов эпохи всегда было делом риска и требовало особого мужества.

Обычно хранение семейных реликвий входило в обязанности женщин, потому, видимо, мы чаще видим «архивирование» депортационных материалов и их совместное хранение со «священными реликвиями» именно в тех случаях, когда наследниками этой материализованной памяти являются женщины.

В. Депортация, определяющая семейные рамки

Коммуникативная память, по Я. Ассману, передается в первую очередь через семейные связи. Но как определить те коммуникативные сети, которые на деле работали в семьях депортированных и могли бы стать каналами трансляции этой памяти, если понятие семьи у различных народов, входящих в состав СССР, имело разное содержание, охватывало разные родственные линии? Тем более, что у разных частей одного и того же родственного клана или малой семьи мог быть не только отличающийся депортационный опыт, но и тот же опыт мог по-разному интерпретироваться. Например, интересны отличия в рассказах тех, кто был выселен взрослым, и рассказах тех, кто был выселен детьми и подростками, кого можно было бы определить как поколение «полтора» (см.: Rumbaut 1991: 53–91, Гучинова 2024). Если для старшего поколения депортация была травматическим опытом, то для детей, никогда не выезжавших за пределы села, впечатления о дороге и новых местах проживания нередко облекались в форму приключенческого рассказа. Такое отношение отразилось не только в их устных историях, но стало темой для художественного творчества: отозвалось в опубликованных художественных рассказах и коллажах.

Волны репрессий в разных регионах Армении имели локальные особенности. В то время как партия «Дашнакцутюн» была более известна в западноармянской среде, идеология социализма и большевизма была более знакома в некоторых восточноармянских деревнях, поэтому последние особенно пострадали во время «партийных чисток» 1930-х гг., при этом в семьях сохранились нарративы «старых большевиков». В селе Ахпат Лорийской области некоторые даже в 2000-х гг. продолжали гордиться тем, что именно здесь была первая партийная ячейка в Армении, и перечисляли имена старых большевиков из своего села (ПМА 2014, Ахпат). Примечательно, что в некоторых поселениях Лори (один из северных районов Армении), наоборот, перечисляли имена доносчиков, но с трудом припоминали имена их жертв (ПМА 2014, Шнох). Это можно объяснить отсутствием в селе потомков погибших, которые, возможно, из-за ссылки или чтобы избежать перспективы выяснения отношений с потомками доносчиков (как нам часто объясняли депортированные причину своего невозвращения в родное поселение после депортации), прекратили всякие отношения со своим поселением и были стерты из коллективной памяти односельчан. Тем более что любой контакт с репрессированными был чреват последствиями. И если сами депортированные не предпринимали шагов для поддержания связи с родной деревней, то, как правило, трудно было ожидать подобной инициативы от односельчан. Между тем необходимо было знать имена доносчиков, чтобы относиться к ним с осторожностью. Хотя нами зафиксирован уникальный случай, когда по инициативе и благодаря последовательным требованиям односельчан в родное село из ссылки вернулся один из депортированных¹¹.

Составление списков на выселение началось за несколько месяцев до депортации, однако какие-то небольшие изменения, вмешательство на разных уровнях имели место. Многие депортированные были уверены, что они оказались в этих списках либо по ошибке, либо по доносу. По крайней мере, меньше всего они верили, что государственная машина сама пришла к решению депортировать именно их. Обвинение локальных, сельских управленцев усугублялось слухами о том, как в соседних селах председатель колхоза или первый секретарь отказывались выполнять распоряжение о составлении списков. Например, многие упоминали такие села, как Лернапат, Сваранц, Верин Саснашен, Покр Кети и Саратак, где, якобы, благодаря солидарности жителей села или смелости местных властей депортированных было очень мало или почти не было. Или, наоборот, местные чиновники во избежание депортации своих родственников меняли в списках имена. В одном случае наши собеседники были убеждены, что чиновник вместо семьи брата сослал другую семью (ПМА 2014, Гохт). В другом случае, исходя из общественных

интересов, отказывались включать в списки людей, в профессиях которых село нуждалось. Сложились легенды, как некоторые руководители жестко объявляли, что «у нас нет людей для депортации, если надо обязательно кого-то забрать, то заберите нас – председателя сельсовета, секретаря партийной ячейки...» (ПМА 2012, Сергей Хуршудян, Гюмри)¹².

Подобные сюжеты в рассказах крайне эпизодичны, и для понимания того, насколько они могли соотноситься с реальностью, необходимо изучить каждый из них. Так или иначе, но жители района воспринимали рассказы про подобные села как островки справедливости и солидарности, а само их существование формировало мнение о том, что государственный террор является результатом произвола местных чиновников. Неподчинение решению, спущенному сверху, или изменение решения на месте теоретически были возможны, хотя и зависели от многих обстоятельств. Не исключено, что руководители некоторых общин пытались воспользоваться этими обстоятельствами, а в других – нет. Иногда, наоборот, план «осужденных» перевыполнялся благодаря стараниям местных чиновников. Однако для обоснования того или другого утверждения необходимы специальные исследования, нам же эти нарративы интересны как часть депортационного дискурса, который неизбежно формируется, когда принцип «контингентности» настолько размыт, что включение в списки воспринимается как результат субъективных решений на местах и становится причиной новых социальных расколов.

Если кто-то попадал под определение контингента на депортацию, то высылке подлежала и вся его семья. Здесь проявилась сложность определения «границ» армянской семьи. Чтобы включить ту или иную семью в список для высылки, необходимо было определить ее состав. Состав семей в целом совпадал со списком людей, проживающих под одной крышей. Если чья-то дочь выходила замуж и жила в семье мужа, она не считалась членом семьи отца и не подлежала высылке (см.: ПМА 2006, женщина, 70 л., Гош). То же самое было и с сыном, который уже выделился и жил в другом месте. Однако если сын, даже будучи женатым, жил с отцом, выселяли не только его, но и его семью – жену, детей, независимо от того, когда его жена появилась в этой семье. В случае, если семью выслали не из-за отца, а, например, из-за его сына, депортации подлежали и родители. Иногда паре молодоженов, которая еще не была зарегистрирована, но уже успела справить свадьбу, удавалось убедить представителей власти разрешить отсутствующему в списках новому члену семьи добровольно присоединиться к депортируемым¹³.

Обычно виновниками высылки были мужчины, депортация женщин, как правило, была следствием высылки их отца, сына, брата или мужа. Но депортация осуществлялась в очень короткий срок, в ночь на 14 июня 1949 г. Бывало, что члены семьи, занесенные в списки, иногда именно в

эту ночь по разным причинам (учебы, работы и т.д.) могли отсутствовать, и тогда они могли избежать высылки¹⁴. Мы зафиксировали примечательный случай в селе Паник, откуда собирались депортировать мужчину, попавшего в плен во время войны. В ночь депортации он находился в Грузии, но дома оказались его 19-летняя жена и новорожденный сын, которых посадили в поезд, увезший молодую женщину с грудным ребенком в Сибирь. Когда отец семейства вернулся из Грузии и узнал, что из-за него жену и сына сослали, он обратился к местным властям с просьбой сослать и его. Однако ему отказали, объяснив, что у них нет дополнительных средств для его транспортировки. И когда «виновнику семейной драмы», спустя несколько месяцев, удалось накопить денег и за свой счет добраться до Алтайского края, где он нашел свою семью, в списке высленцев его уже не было. Учет депортированных на местах, видимо, проводился по факту прибытия/приема. Он остался жить в поселении, куда сослали жену с ребенком, как свободный житель, устроился на работу, продвинулся по службе на относительно высокие посты. Вместе с тем он регулярно возил жену отмечаться в комендатуру, что обязаны были делать все высленцы по месту регистрации (ПМА 2015, мужчина, 1949 г.р., Паник).

Таким образом, бюрократическая «контингентность» зависела от реального состава семей, но корректировалась в момент выселения в сторону увеличения числа депортируемых и никогда в обратном направлении. Бюрократическая машина не имела возможности пересмотреть собственное решение, если даже нужно было кого-то дополнительно включить в списки задним числом. В данном случае мы видим, как экономические расчеты на транспортировку превалировали над идеологической и/или юридической целесообразностью.

Отношение членов семей к «виновникам» депортации, судя по рассказам, было разным: это и истории неприятия, и отказа, и полного обожания. Но вопрос, как же формировалось негативное или позитивное отношение к депортированным родственникам, остается открытым, поскольку это часть взаимоотношений складывалась вне контроля самих высленцев, чаще оказывающихся в центре внимания исследователей, тогда как рассказы членов их семей, особенно отдаленных, остаются вне исследовательских вопросов. Так как мы начали наше исследование довольно поздно, то имели дело больше с детьми депортированных, т.е. с текстами «постпамяти», нежели с рассказами самих высленцев. Они интересны как тексты социализации в условиях депортации, когда осваиваются новые правила (в школе), сочетаемые с установками традиционного общества (в семье). Рассказы «бывших детей» особенно содержательны в плане того, как складывалась новая система ценностей, воспитывался и формировался «советский» человек.

На долю менее заметных в качестве «целевого контингента» женщин приходится не совсем очевидные формы повседневного сопротивления,

выражения несогласия с решениями властей, что было незаметно для властей, но усваивалось детьми. Один из наших собеседников рассказывает: «Моя мать никогда не говорила, что твой отец не виноват, но она всем своим поведением показывала, что это так» (Абрамян, ПМА 2012, Ереван)¹⁵. Это не проговариваемое отношение, но передаваемое через жесты, мимику, интонации, давало детям понять, что не все так однозначно в школьной пропаганде. Потому и «женские тексты», звучащие из уст мужчин или женщин – детей, которые выросли в основном под влиянием женщин, это не только жизнеутверждающие сюжеты о борьбе и выживании, но часто и контртексты официальной идеологии.

С. Депортация в коллективных коммеморативных практиках

Во время нашей полевой работы ожидания исследователя, что он сейчас услышит текст о «травматическом опыте», часто не оправдывались. Публичного признания сюжета депортации армян как травматического не было, как и не было адекватной политической и исторической оценки и самим репрессиям. Эти сюжеты не стали предметом публичного дискурса и, соответственно, не были фреймированы как «травматический опыт», что, конечно, не отменяет драматического переживания депортации для каждой отдельной семьи. Но речь о том, что эти сюжеты не стали культурной травмой, они, скорее, остались предметом «памяти тех, кого это коснулось непосредственно» и вспоминаются по-разному, в зависимости от того, кто рассказчик – мужчина или женщина, в каком возрасте они были свидетелями этих событий, через кого была транслирована семейная история.

Публичное мемориальное пространство в Армении было заполнено, скорее, сюжетом о геноциде армян. Память о геноциде и утраченной родине подвергалась преследованию в первой половине XX в., а во второй половине века выжившие боролись за публичное признание своей травмы (до открытия мемориала геноцида в 1967 г.), чтобы в конечном итоге это стало важным компонентом государственной политики независимой Армении. Это нарратив о виктимизации, страданиях и выживании перед лицом врага, реализующего расистские планы. Итак, тексты о геноциде, прежде чем стать основным нарративом, проходили латентный период. Советские власти, следуя принципу «социалистическое по содержанию, национальное по форме», допускали лишь те формы национального самовыражения, которые вписывались в допустимые идеологические рамки. В таких условиях интеллектуалы искали обходные пути. Например, фольклористка Вержине Связлян маскировала сбор свидетельств очевидцев как исследование армянского фольклора. Архитектор Рафаэль Егоян инициировал строительство памятника жертвам резни

1920 г. в Лениникане (Гюмри), замаскировав мемориал как декоративный источник воды у дороги в рамках дорожного проекта, договорившись со своим другом – начальником районного дорожно-строительного треста, что позволило избежать идеологической цензуры (Шагоян 2022б: 122–144). Эти примеры демонстрируют, как локальная политика контрпамяти и личные воспоминания простых граждан переплетались, мимикрируя и вписываясь в допустимые рамки публичной памяти.

Схожая динамика прослеживается в попытках увековечения памяти о депортации армян в 1949 г. Массовая депортация армян в Сибирь долгое время оставались в тени даже в семейной памяти. Однако после реабилитации репрессированных их потомки стали перевозить прах своих родственников в Армению. На надгробиях таких людей указывали не только годы жизни, но и место первой могилы в Сибири, а также год перезахоронения. Это мемориальная практика, подобно тому как на могильных плитах жертв геноцида указывались их родные города в Западной Армении, служила каменным свидетельством утраты родины или фиксировала траекторию принудительной миграции.

Другой доминирующий публичный нарратив в советском мемориальном пространстве – это героическая история Великой Отечественной войны, в которой враг представлен как «абсолютное зло», противостоящее всему советскому народу, включающему и армян, сражавшихся как в составе Красной армии (около 200 тыс.), так и в союзных войсках (около 100 тыс.). Многие локальные памятники, посвященные погибшим в этой войне, воздвигнутые в период «оттепели» и «застоя» (1960–1980-е гг.), укоренились как допустимая форма публичной коммеморации. Постсоветские государства, как правило, продолжают использовать мемориальные нарративы Великой Отечественной войны в своей мемориальной политике (Памятник и праздник 2020). Так было и в Армении, когда после Первой Карабахской войны день 9 мая отмечался как тройной праздник – день взятия Шуши, день формирования арцахской армии и День Победы в Великой Отечественной войне. После Второй Карабахской войны 2020 г., когда нападение Азербайджана на Арцах завершилось их победой, в Азербайджане было введено официальное название этой войне – «Отечественная война» (как в советском мемориальном языке для фреймирования постсоветских событий). В первый год празднования своей победы в Азербайджане был организован также парад «бессмертного полка» – концепция, как известно, возникшая в низовой мемориальной практике постсоветской России. Эта инициатива была адаптирована российскими властями в качестве нового официального языка празднования. В Азербайджане же этот формат празднования победы трансформировался в строго контролируемую, официальную память по поводу Карабахской войны, где армия марширует с портретами погибших в этой войне. Такой язык «отечественной войны» понятен не

только постсоветским сообществам, но также представляет собой сдвиг в сторону языка бывшей метрополии – России, чья позиция в карабахском конфликте оставалась ощутимой, несмотря на этническую чистку всех армян в Карабахе в сентябре 2023 г. В этом смысле использование мемориального языка постсоветской России при описании «национальных» побед скорее указывает на важного адресата этих торжеств или на язык многонаправленной памяти (Rothberg 2009), который заставляет говорить о победах или поражениях на языке «других», чтобы быть «правильно услышанными».

Организация локальных памятников тоже отчасти отсылает к мемориальным практикам Второй мировой войны. Так, например, распространенная практика установки памятника на средства односельчан с указанием имен погибших говорила о том, что это был не столько «памятник неизвестному солдату», как его часто называли в официальных описаниях, а был посвящен вполне конкретным людям – своим односельчанам и функционировал как кенотаф для тех семей, чьи родные не вернулись с войны и не имели могилы. Этот же подход можно видеть и в мемориализации памяти репрессированных или депортированных, у которых нет в селе могилы. Например, в селе Гохт в 2011 г. по инициативе местной администрации был установлен памятник жертвам репрессий, с указанием конкретных имен. Интересно, что на этой же плите оказалось имя человека, который донес на других репрессированных и сам в итоге был расстрелян (Шагоян 2021: 87–88). Организаторы памятника подчеркивали, что их целью было осуждение системы, заставлявшей людей доносить друг на друга.

Трудности с поиском публичного пространства для новых памятников привели к тому, что они стали появляться на частных территориях. В деревне Вардаблур был установлен памятник репрессированным в форме генеалогического древа, на котором указаны 17 человек из одной семьи, пострадавших в разные периоды репрессий (во время Большого террора и депортации 1949 г.). Постепенно этот частный участок превратился в публичный мемориальный парк, включающий памятники, связанные не только с семейной историей.

Таким образом, память о репрессиях и депортациях в постсоветской Армении имеет многослойный характер. В отличие от памяти о геноциде, ставшей главным национальным нарративом, память о репрессиях часто сталкивалась с политикой забвения. Однако это же забвение создавало пространство для более разнообразных форм мемориализации, включая частные инициативы. В отличие от советских военных памятников, которые возводились под контролем государства, памятники жертвам репрессий чаще устанавливались родственниками, что позволяло отражать в них более сложные оценки на события прошлого. В этом смысле память о депортации 1949 г. становится частью многослойного

мемориального ландшафта, отражая взаимодействие личной, локальной и национальной памяти.

Итак, обсуждаемый кейс дает основания для следующих выводов.

Депортация армян в 1949 г. не укладывается в существующие классификационные схемы, принятые в научной литературе (ср.: Полян 2001): смешанная контингентность (по гражданству, политическим и социальным признакам) порождала разночтения не только у исполнителей, но прежде всего у самих жертв, усложняя восприятие причин репрессии и формируя представление о произвольности «отбора».

Советский бюрократический язык, отражающий процесс организации депортации, не воспринимался жертвами как нейтральное описание событий: он прочитывался через призму прежних коллективных и личных травм (геноцид, ссылки 1930-х гг.), что создавало альтернативные интерпретации – как вернакулярные, так и «контртексты» по отношению к официальной терминологии.

Коммеморативные практики, связанные с депортацией 1949 г., формировались преимущественно по аналогии с уже институционализированными практиками памяти о геноциде и Великой Отечественной войне, заимствуя их язык, визуальные формы и ритуальные модели, но адаптируя их под локальные и семейные контексты.

Примечания

¹ Дашнаками называли членов партии «Армянская революционная федерация (Дашнакцутюн)», сыгравшей ключевую роль в создании Первой Республики Армении (1918–1920) и запрещенной после установления советской власти.

² По данным 1953 г., из 56 142 выселенцев по этому указу 37 352 были греки (Pohl 1999: 123).

³ Аблажей Н. Доклад на летней школе по сталинским депортациям «Депортации как чекистско-войсковые операции» (Цапатах, 2015 г.).

⁴ Трилогия реж. Т. Паскевичяна называется «Возвращаясь на круги своя», первый фильм: «Моя незнакомая родина» (2012), второй – «О родина! Горькая и сладкая» (2016), третий – «Последняя мечта или Game Over» (2017), Versus studio.

⁵ См.: Museum of repatriation. URL: hayrenadardz.org/en (дата обращения: 25.07.2025).

⁶ To Siberia // Museum of repatriation. URL: <https://hayrenadardz.org/en/page/aksor> (дата обращения: 01.03.2025).

⁷ Проект был инициирован Грануш Харатян, Гаяне Шагоян, Арутюном Марутяном и Левонем Абрамяном, сотрудниками Института археологии и этнографии НАН РА; отдельные исследовательские проекты осуществлялись в рамках научной общественной организации Армянского центра этнологических исследований «Азарашен».

⁸ Шагоян Г. Полевые материалы автора (далее ПМА; мы упоминаем имена тех информантов, которые дали свое согласие на участие в фильме, в остальных случаях будут указаны лишь год и поселение, где проводилось интервью). Интервью с Согомоном Арутюновым, Ереван, 2013, см.: Арутюнов С. «Мы всю жизнь скрывали, что наш отец был в тюрьме» // Armenia Total(itar)is. 27.07.2014. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7JKb6ktThkg&list=PLaSFzKhwrHrFCkwb-2h_6vs3D4EM0-ef&index=10 (дата обращения: 26.02.2025).

⁹ См. фильм «The Unfamiliar people» реж. С. Овсепян, Н. Шек (48:06) (11.06.2014). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BiYaGvorFiU> (дата обращения: 26.02.2025).

¹⁰ Архивные материалы проекта Armenia Total(itar)is.

¹¹ Один из таких случаев зафиксирован этнографом Лилит Погосян в Армавирской области в 2014 г.

¹² См. видеointервью Сергея Хуршудяна «Спасительный половник повара, сломавшийся в Сибири» (YouTube-канал Armenia Total(itar)is. 2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_5p3dT4gJo (на арм. яз.) (дата обращения: 01.03.2025)).

¹³ У нас есть зафиксированный случай, когда жениха сослали в ночь его свадьбы, а его невеста настояла и сумела присоединиться к изгнанникам. См. видеointервью Сергея Хуршудяна «Спасительный половник повара, сломавшийся в Сибири» (на арм. яз.).

¹⁴ См., например, видеointервью с Руссо Абрамяном «Одни и те же сотрудники НКВД были и злыми, и добрыми» (YouTube-канал Armenia Total(itar)is. 2014. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1Y86T1w5LRw> (на арм. яз.) (дата обращения: 01.03.2025)).

¹⁵ Полную транскрипцию интервью Левона Абрамяна с Ревиком Арутюняном см.: (Арутюнян 2015: 330–342).

Полевые материалы автора (ПМА)

Арутюнов Согомон, Ереван, 2013, видеointервью см.: Арутюнов С. «Мы всю жизнь скрывали, что наш отец был в тюрьме» // Armenia Total(itar)is. 27.07.2014. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7JKb6ktThkg&list=PLa-SFzKhwrHrFCKWb-2h_6vs3D4EM0-ef&index=10 (дата обращения: 26.02.2025).

Амаякян Хажак, Гюмри, 1926 г.р., 2012–2013.

Джавахан Асмик, Шнох, 2014.

Григорян Зарик, Гош, 2006.

Закарян Хорен, Даштадем, 2010.

Ясоян Ася, Гюмри, 2012.

Григорян Самвел, Паник, 2015.

Жен. 65 л. Ахпат, 2014.

Муж. 70 л., Шнох, 2014.

Муж. 35 л., Гохт, 2014.

Список источников

Аблажей Н.Н. Депортация армян в Алтайский край в 1949 г. // Гуманитарные науки в Сибири. 2011. № 1. С. 47–53.

Абрамян Э.А. Забытый легион. Неизвестные страницы соединения специального назначения «Бергманн». Ереван: Аполлон, 2005.

Арзамаскин Ю.Н. Заложники Второй мировой войны: Репатриация советских граждан в 1944–1953 гг. М.: Фокус, 2001.

Арутюнян Р. «Для меня он был хорошим человеком» // Сталинские репрессии в Армении: история, память, повседневность / ред. Г. Харатян, Г. Шагоян, Г. Марутян, Л. Абрамян. Ереван: Гитутюн, 2015. С. 330–342 (на арм. яз.).

Бугай Н.Ф. Л. Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...». М.: АИРО-XX, 1995. ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 476. Л. 39. Спецконтингенты, депортации и спецпоселения за 1930–1959 гг.

Геворгян Р. Геноцид армян. Полная история. М.: Яуза-каталог, 2015.

Гучинова Э.-Б. Рисовать лагерь. Язык травмы в памяти японских военнопленных о СССР. Саппоро, 2016.

Гучинова Э.-Б. «У каждого своя Сибирь». Рассказы калмыков о ссылке. М.: Бумба, 2024.

Земсков В.Н. Сталинская эпоха. Экономика, репрессии, индустриализация. 1924–1954. М.: Вече, 2018.

- Земсков В.Н. Возвращение советских перемещенных лиц в СССР. 1944–1952, М.; СПб.: Ин-т рос. ист. РАН; Центр гум. инициатив, 2016.
- Кешианиди Х. Выселение греков СССР в 1949 г., Афины, 2015.
- Кисибекян А. Воспоминания. Т. 2. Ереван: Араспел, 2011 (на арм. яз.). Կիսիբեկյան Ա. Հուշեր: Հատոր 2, Եր. «Առաքյալ», 2011.
- Марутян А. Феномен «домашних святых»: вопрос о происхождении и сегодняшние проявления // Армянские святые и святыни. Ереван: Армения, 2001. С. 337–346 (на арм. яз.). Մարության Հ., «Տան տուր» երևույթը. Ակունքների հարցը և մերօրյա դրսևորումները // Հայոց սրբերն ու սրբավայրերը, Եր., «Հայաստան», 2001, էջ 337–346.
- Мкртчч Армен. Жирайр Гленц. Ереван: 1967 (на арм. яз.). Մկրտչի Արմեն, Ժիրայր Գլենց, Եր., 1967.
- Памятник и праздник. Этнография дня Победы / под ред. М. Габович. СПб.: Нестор-История, 2020.
- Поболь Н.Л., Полян П.М. Сталинские депортации. 1928–1953. М.: МФД: Материк, 2005.
- Полян П. Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. М.: О.Г.И., 2001.
- Тоноян П. Одна жизнь. Ереван: б.и., 2008 (на арм. яз.). Տոնյան Պ. Մի կյանք, ա.հ. Երևան, 2008.
- Харатян Г. Выселение армян «навечно» 1949 года. Анализ и архивные документы (К 70-летию этнической депортации армян). Ереван: Изд. ИАЭ, 2020.
- Шагоян Г. Наказанные за недонесение. От редактора // Саргсян Т. Женщины, которые не доносят. Ереван: ИАЭ изд-во, фонд Генриха Белля, 2022а. С. 11–36 (на арм. яз.). Շաղոյան Գ. Չմատնելու համար պատժվածները. Խմբագրի կողմից // Տիգրան Սարգսյան, Չմատնող կանայք, Երևան, ՀԲՀ և ՀԱԻ հրատ., 2022, էջ 11–36.
- Шагоян Г. «Национальное по содержанию и социалистическое по форме»: палимпсест мемориалов советской Армении // Армянский гуманитарный вестник. 2022б. № 9. С. 122–144.
- Шагоян Г.А. Культурная vs коллективная травма: мемориализация советских репрессий в постсоветской Армении по модели памяти о геноциде // Сибирские исторические исследования. 2021. № 2. С. 73–98.
- Albrecht R. Crime/s Against Mankind, Humanity and Civilisation. 1st ed. München: GRIN Verlag, 2007 (опубликовано в 2008).
- Dadrian V. The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus. Berghahn Books, 2003.
- Irvin-Erickson D. Raphael Lemkin and the Concept of Genocide. Philadelphia: Penn-University of Pennsylvania Press, 2017.
- Lehmann M. Apricot Socialism: The National Past, the Soviet Project, and the Imagining of Community in Late Soviet Armenia // Slavic Review. 2015. Vol. 74, № 1 (Spring). P. 9–31.
- Pohl J.O. Ethnic Cleansing in the USSR, 1937–1949. Westport, CT: Greenwood Press, 1999.
- Rothberg M. Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Stanford University Press, 2009.
- Rumbaut R.G. The Agony of Exile: A Study of the Migration and Adaptation of Indochinese Refugee Adults and Children // Refugee Children: Theory, Research, and Practice / eds. by Frederick L. Ahearn Jr., Jean Athey. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991. P. 53–91.

References

- Ablazhey N.N. (2011) Deportatsiya armenyan v Altayskiy kray v 1949 g. [Deportation of Armenians to the Altai Province in 1949]. In: *Gumanitarnyye nauki v Sibiri* [Humanities in Siberia], 1, pp. 47–53.

- Abramyan E.A. (2005) *Zabytyy legion. Neizvestnyye stranitsy soyedineniya spetsial'nogo naznacheniya «Bergmann»* [Forgotten Legion. Unknown Pages of the Special Purpose Unit "Bergmann"]. Yerevan: Apollon.
- Albrecht R. (2008) *Crime/s Against Mankind, Humanity and Civilisation*. 1st edition. München: GRIN Verlag, 2007 (published in 2008).
- Arzamaskin Yu.N. (2001) *Zalozhniki Vtoroy mirovoy voyny: Repatriatsiya sovetskikh grazhdan v 1944–1953 gg.* [Hostages of World War II: Repatriation of Soviet Citizens in 1944–1953]. Moscow: Fokus.
- Bugay N.F. (1995) *L. Beriia – I. Stalinu: «Soglasno Vashemu ukazaniyu...»* [Beria to I. Stalin: "According to your instructions..."]. Moscow: AIRO-XX.
- Dadrian V. (2003) *The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus*. Berghahn Books.
- GARF (Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii [State Archives of the Russian Federation]), F. R-9479, Op.1, D. 476, L. 39. Spetskontingenty, deportatsii i spetsposeleniya za 1930–1959 [Special contingents, deportations and special settlements for 1930–1959].
- Gevorgyan R. (2015) *Genotsid arмян. Polnaya istoriya* [The Armenian Genocide. A Complete History]. Moscow: Yauza-katalog.
- Guchinova E.-B. (2016) *Risovat' lager'. Yazyk travmy v pamyati yaponskikh voyennoplennyykh o SSSR* [Drawing a Camp. The Language of Trauma in the Memory of Japanese Prisoners of War about the USSR]. Sapporo.
- Guchinova E.-B. (2024) *«U každogo svoâ Sibir'»*. *Rasskazy kalmykov o ssylke*. ["Everyone has their own Siberia". Stories of the Kalmyks about exile]. Moscow: Bumba.
- Harutyunyan R. (2015) «Im hamar ink'y lav mard er» ["For Me He Was a Good Man"]. In: Kharatyan G., Shagoyan G., Marutyan G., Abrahamian L. (red.). *Stalinyan brnnachshumery Hayastanum. patmut'yun, hishoghut'yun, arrorya* [Stalinist Repressions in Armenia: History, Memory, Everyday Life]. Yerevan: Gitutyun, pp. 330–342 (in Armenian).
- Irvin-Erickson D. (2017) *Raphael Lemkin and the Concept of Genocide*. Penn-University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Keshanidi Kh. (2015) *Vyseleniye grekov SSSR v 1949 g.* [The Deportation of Greeks from the USSR in 1949]. Athens.
- Kharatyan G. (2020) *Vyseleniye arмян «navechno» 1949 goda. Analiz i arkhivnyye dokumenty (K 70-letiyu etnicheskoy deportatsii arмян)* [The expulsion of Armenians "forever" in 1949. Analysis and archival documents (On the 70th anniversary of the ethnic deportation of Armenians)]. Yerevan: Izd. IAE.
- Kisibekyan A. (2011) *Husher* [Memories]. Vol. 2, Yerevan: Araspel (in Armenian).
- Lehmann M. (2015) Apricot Socialism: The National Past, the Soviet Project, and the Imagining of Community in Late Soviet Armenia, *Slavic Review*, 74, no. 1 (Spring), pp. 9–31.
- Marut'yan H. (2001) «Tan surb» erevuyt'ə. Akunk'neri harc'ə ev merōrya drsevorumnerə [The Phenomenon of "Household Saints": The Question of Origin and Current Manifestations]. In: *Hayoc' srbern u srbavayrerə* [Armenian saints and sanctuaries]. Yerevan: Armeniya, pp. 337–346 (in Armenian).
- Mkrtych Armen, *Zhirayr Glents*. Yerevan: 1967 (in Armenian).
- Pamyatnik i prazdnik*. Etnografiya dnya Pobedy [Monument and holiday. Ethnography of Victory Day], by ed.: M. Gabovich. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2020.
- Pobol' N.L., Polyan P.M. (2005) *Stalinskiye deportatsii. 1928–1953* [Stalin's deportations. 1928–1953]. Moscow: MFD: Materik.
- Pohl J.O. (1999) *Ethnic Cleansing in the USSR, 1937–1949*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Polyan P. (2001) *Ne po svoey vole... Istoriya i geografiya prinuditel'nykh migratsiy v SSSR* [Not of their own free will... History and geography of forced migrations in the USSR]. Moscow: O.G.I.

- Rothberg M. (2009) *Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford University Press.
- Rumbaut R.G. (1991) The Agony of Exile: A Study of the Migration and Adaptation of Indochinese Refugee Adults and Children. In: *Refugee Children: Theory, Research, and Practice*. Eds.: Frederick L. Ahearn, Jr. and Jean Athey, Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 53–91.
- Shagoyan G. (2022) «Natsional'noye po sodержaniyu i sotsialisticheskoye po forme»: palimpsest memorialov sovetsoy Armenii [“National in content and socialist in form”: a palimpsest of memorials to Soviet Armenia], *Armenyanskiy gumanitarnyy vestnik*, 9, pp. 122–144.
- Shagoyan G. (2022) Ch'matnelu hamar patzhvatsnery. Khmbagri koghmits' [Those punished for not betraying. By the editor]. In: Tigran Sargsyan, *Ch'matnogh kanayk'* [Women who do not betray]. Yerevan: IAE press, Heinrich Boll Foundation, pp. 11–36 (in Armenian).
- Shagoyan G.A. (2021) Kul'turnaya vs. kollektivnaya travma: memorializatsiya sovetsskikh repressiy v postsovetsoy armenii po modeli pamyati o genotside [Cultural vs. Collective Trauma: Memorialization of Soviet Repressions in Post-Soviet Armenia Based on the Genocide Memory Model], *Sibirskiye istoricheskiye issledovaniya – Siberian Historical Research*, 2, pp. 73–98.
- Tonoyan P. (2008) *A Mi kyanq* [Life]. Yerevan (in Armenian).
- Zemskov V.N. (2016) *Vozvrashcheniye sovetsskikh peremeshchennykh lits v SSSR. 1944–1952* [The Return of Soviet Displaced Persons to the USSR. 1944–1952]. Moscow-St. Petersburg: Institut rossiyskoy istorii RAN; Tsentr gumanitarnykh initsiativ [Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences; Center for Humanitarian Initiatives].
- Zemskov V.N. (2018) *Stalinskaya epokha. Ekonomika, repressii, industrializatsiya. 1924–1954* [The Stalin Era. Economy, Repressions, Industrialization. 1924–1954]. Moscow: Veche.

Сведения об авторе:

ШАГОЯН Гаяне Арутюновна – ведущий научный сотрудник, отдел антропологии современности, руководитель Центра устной истории, Институт археологии и этнографии НАН РА (Ереван, Армения). ORCID: 0009-0001-0505-6236. E-mail: gayashag@yahoo.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Gayane A. Shagoyan, Institute of Archaeology and Ethnography, Armenian Academy of Sciences (Erevan, Armenia). ORCID: 0009-0001-0505-6236. E-mail: gayashag@yahoo.com

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 14 июня 2025;
принята к публикации 9 августа 2025.*

*The article was submitted 14.06.2025;
accepted for publication 09.08.2025.*

Научная статья
УДК 325:94
doi: 10.17223/2312461X/49/7

Вынужденное переселение армян-нахичеванцев в конце 1980-х гг.: хроника событий и категории самоописания

Евгения Юрьевна Гуляева¹
Юлия Олеговна Андреева²

¹ *Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, Россия*

² *Независимый исследователь, Санкт-Петербург, Россия*

¹ *guliaevaevgenia@list.ru*

² *julia.o.andreeva@gmail.com*

Аннотация. Опыт относительно малочисленных армян – беженцев из Нахичеванской АССР часто остается незаметным на фоне массового изгнания армян из Азербайджана в 1988–1992 гг. Цель данного исследования – зафиксировать «живые нарративы», т.е. истории, рассказанные участниками драматических событий, а также выявить особенности кейса нахичеванских армян и проанализировать способы его включения в общенациональный метанарратив. Работа основана на полевых материалах, собранных в Армении (г. Ереван, с. Нор-Харберт Араратского района и селах Гохтаник и Гермон Вайоцдзорского района) и в России (Краснодар, Москва, Санкт-Петербург) у бывших жителей Ордубадского, Бабекского, Шахбузского районов, а также г. Нахичевань. Погромы армян в г. Сумгаит, произошедшие в феврале 1988 г., воспринимаются нашими собеседниками как точка невозврата к мирному сосуществованию армян и азербайджанцев. Последовавшее спустя девять месяцев изгнание армян из Нахичевани объясняется обращением к исторической травме и опыту геноцида. В рассказах о вынужденном переселении прослеживается напряжение между ощущением внезапности произошедшего и обоснованием его закономерности, потерей субъектности и репрезентацией себя в качестве активных участников событий. Особое место в историях занимает повествование о санкционированном властями Азербайджана разрушении армянских памятников в Нахичеванской Автономной Республике. Это воспринимается как продолжение политики геноцида. И именно этот сюжет включается в общеармянский метанарратив.

Ключевые слова: армяне, Нахичеванская АССР, 1988, беженцы, депортация, этническая чистка

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РЦНИ в рамках научного проекта № 20-59-05013 «Святые места Восточной Армении на примере историко-этнографической области Гохтн (Нахичевань): фольклорно-этнографический анализ». Мы благодарим всех бывших жителей Нахичевани, поделившихся своими воспоминаниями, и выражаем особую признательность Карлосу Агабабяну, Сильве Бабян, Амбарцуму Самвеляну и Хачику Шмавоняну. Кроме того, эта работа была бы невозможна без помощи коллег, в особенности – Арусяк Агабабян, Аргамы Айвазян, Артака Варданян, Эвии Оганнисян и Торка Далаляна.

Для цитирования: Гуляева Е.Ю., Андреева Ю.О. Вынужденное переселение армян-нахичеванцев в конце 1980-х гг.: хроника событий и категории самоописания // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 131–151. doi: 10.17223/2312461X/49/7

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/7

Forced Resettlement of Nakhichevan Armenians in the late 1980s: Chronicle of Events and Categories of Self-description

Evgenia Yu. Guliaeva¹, Julia O. Andreeva²

¹ Russian Museum of Ethnography, St. Petersburg, Russian Federation

² Independent researcher, St. Petersburg, Russian Federation

¹ guliaevaevgenia@list.ru

² julia.o.andreeva@gmail.com

Abstract. The experience of the relatively small group of Armenian refugees from the Nakhichevan ASSR often remains overlooked against the backdrop of the mass expulsion of Armenians from Azerbaijan between 1988 and 1992. The aim of this article is to document "living narratives"—stories told by participants of the dramatic events, and to identify the particularities of this case and analyze the ways in which it has been integrated into the national metanarrative. The work is based on field materials collected in Armenia (the city of Yerevan, the village of Nor-Kharberd in the Ararat district, and the villages of Gokhtanik and Hermon in the Vayots Dzor district) and in Russia (the cities of Krasnodar, Moscow, and St. Petersburg) from former residents of the Ordubad, Babek, and Shahbuz districts, as well as the city of Nakhichevan. The massacre of Armenians in Sumgait in February 1988 is perceived by our interlocutors as a point of no return to the peaceful coexistence of Armenians and Azerbaijanis. The expulsion of Armenians from Nakhichevan nine months later is explained through reference to historical trauma and the experience of genocide. The stories about forced displacement reveal tension between the sense of the suddenness of what happened and the justification of its regularity, the loss of subjectivity and the representation of themselves as active participants in the events. A special place in the stories is occupied by the narrative about the destruction of Armenian monuments in the Nakhichevan Autonomous Republic sanctioned by the Azerbaijani authorities. This is perceived as a continuation of the policy of genocide. And this plot is included in the pan-Armenian metanarrative.

Keywords: Armenians, Nakhichevan ASSR, 1988, refugees, deportation, ethnic cleansing

Acknowledgments: This research was carried out with financial support from the Russian Science Foundation within the framework of project No. 20-59-05013, "*Sacred Sites of Eastern Armenia on the Example of the Historical-Ethnographic Region of Gohtn (Nakhichevan): A Folkloric and Ethnographic Analysis.*" We thank all former residents of Nakhichevan and especially Carlos Agababyan, Silva Babayan, Hambartsum Samvelyan, and Hachik Shmavonyan. This work would not have been possible without the assistance of our colleagues Arusyak Agababyan, Argam Ayvazyan, Artak Vardanyan, Evia Hovhannisyanyan, and Tork Dalalyan.

For citation: Guliaeva, E.Yu. & Andreeva, J.O. (2025) Forced Resettlement of Nakhichevan Armenians in the late 1980s: Chronicle of Events and Categories of Self-description *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 131–151. (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/7

В истории армян массовые переселения и погромы случались многократно. Геноцид 1915 г. является одним из ключевых элементов метанарратива и важной составляющей этнической идентичности армян (Гучинова 2010: 84; Шагоян 2016). Нередко как продолжение политики геноцида рассматриваются и более поздние события, в том числе бегство армян из Азербайджана в 1988–1992 гг.¹ При этом опыт относительно малочисленных армян – беженцев из Нахичевани часто остается незамечен. Тщательный анализ по большому счету малоизвестной истории исхода нахичеванских армян еще ждет своего вдумчивого исследователя. Сейчас же первоочередной задачей стоит фиксация «живых нарративов» – историй, рассказанных участниками драматических событий уже неблизкого прошлого. То есть всего того, что входит в понятие «коммуникативная память»². Кроме того, одной из задач этой работы является выявление особенностей кейса нахичеванских армян и способов его включения в общенациональный метанарратив.

Мы рассматриваем рассказы о вынужденном переселении 1988–1989 гг. с позиции их участников и обращаемся к категориям, на которых строятся нарративы. Нас интересует, какие понятия использовались для описания изгнания, называли ли информанты себя беженцами? Кто в рассказах предстает действующими лицами – государство, соседи или они сами?

Исследование депортаций и изгнания нередко рассматривается в контексте травмы – события, которое резко изменило всю жизнь группы, и в то же время «процесса, который продолжает оказывать воздействие на отношение людей к своему прошлому и на их восприятие своего настоящего и будущего» (Ушакин 2009: 7). Через эту оптику мы и смотрим на вынужденное переселение армян-нахичеванцев.

Характеристика поля

Данная работа основана на полевых материалах, собранных в рамках совместного с армянскими коллегами проекта, посвященного сакральному пространству Нахичеванской Автономной Республики. В 2021–2023 гг. мы взяли биографические интервью у 42 армян – бывших жителей Нахичеванской АССР. Мы также говорили с супругами наших информантов из других регионов Армении и Азербайджана. Беседы велись на русском языке, в редких случаях нам помогали с переводом соседи и родственники информантов.

Интервью были собраны в Армении (г. Ереван, с. Нор-Харберт Арагатского района и сел Гохтаник и Гермон Вайоцдзорского района) и России (города Краснодар, Москва, Санкт-Петербург). Среди информантов преобладали мужчины в возрасте 50–70 лет. Женщин было всего девять человек, в основном этого же возраста. Гендерный перекося произошёл как из-за болезни или отъезда жен, так и потому, что новые контакты мы получали через мужчин. Наши собеседники в основном состояли в браке, примерно у половины из них супруги были родом из Нахичеванской АССР. Спектр профессий был широк: от фермеров и рабочих до бизнесменов, инженеров, учителей и научных сотрудников.

Среди тех, с кем мы говорили, были бывшие жители Ордубадского (с. Парака – 13 человек, с. Бист – 8, с. Алахи – 4, с. Насирваз – 1, с. Аза – 1, с. Цхна – 1), Бабекского (с. Азнаберд – 7 человек, с. Кюльтепе – 1), Шахбузского районов (с. Ариндж – 1, с. Норс – 1, с. Гёмур – 1, п. Шахбуз – 1) и г. Нахичевань (2). Четверо родились за пределами Нахичеванской АССР, но приезжали к родным в села Ордубадского района.

Большинство наших информантов уехало из Нахичевани ещё в 1960–1980-е гг., но на родине у них оставались родители, к которым они приезжали на выходные, каникулы и в отпуск. Нередко эти люди участвовали в ведении хозяйства, строили себе дома, которые предполагали использовать как дачи, забирали пожилых родителей на зиму в Армению. Из наших собеседников примерно треть сами бежали в 1988 г. (некоторые в критический момент приехали к родным и поэтому стали участниками событий), остальные слышали рассказы об изгнании от своих близких и соседей.

В 1979 г. в Нахичевани армян насчитывалось 3,4 тыс. или 1,4% населения, при этом расселены они были неравномерно. Около 900 человек проживало в городах, 2 500 в селах (Всесоюзная перепись 1979). В Шахбузском районе, судя по свидетельствам информантов, армян к тому времени уже практически не было. Около 2 000 человек проживали в крупном моноэтничном армянском селе Азнаберд (Ազնաբերդ) или в просторечии Знаберд Бабекского района³. В Ордубадском районе, видимо, проживало примерно 500 человек (ПМА АБ). Здесь единственным моноэтничным армянским селом была Парака (Փարակա) или Парага. В селах Бист (Բիստ), Алахи (Ալախի), Насирваз (Նասիրվազ) или Месропаван (Մեսրոպավան), Рамис (Րամիս), Цхна (Շինա)⁴ и Верхняя Аза (Վերին Ազա) в послевоенный период армяне и азербайджанцы⁵ жили вместе. Согласно нашим материалам, в возрастной структуре армянского населения Нахичевани преобладали пожилые люди⁶.

Хроника событий

Ордубадский район. Одними из первых в апреле-мае 1988 г. решили уехать 20 армянских семей из с. Цхна, в котором в 1978 г. А.Е. Тер-

Саркисянц зафиксировала 45 армянских домохозяйств, составлявших три четверти от общего их числа (Тер-Саркисянц 1983: 99). Часть жителей поехала в Армению через г. Мегри, а половина – через с. Ерасх⁷. Среди последней группы были родители одного из наших собеседников. Они не смогли продать свой дом в Цхне и не получили позже статус беженцев в Армении (ПМА НО). Несколько информантов рассказывали, что еще осенью 1988 г. они свободно приезжали помогать родителям убирать урожай. Правда, с сентября местные жители стали отсылать женщин с детьми и молодежь к родственникам в Армению.

В октябре решили переехать последние 6–7 армянских семей с. Алахи. Поскольку они были пчеловодами, то искали подходящее для этого занятия место. Родственники в Армении помогли им купить дома в азербайджанском с. Кабахлу (азерб. «Передовик», современное название – Гохтаник) на территории Ехегнадзорского района Армянской ССР (сейчас Вайоцзорская область Республики Армения). Алахинцы смогли увезти часть движимого имущества и своих пчел. Некоторые из них позже не были признаны беженцами и не получили компенсацию за оставленное имущество, так как «уже убежали» (ПМА УФ).

В начале-середине ноября 1988 г. в г. Ордубад прошла срочная сессия районного исполкома, на которой обсуждалась ситуация в Карабахе и «началось конкретно против армян» (ПМА КЛ). В результате три армянских председателя сельсоветов – из Биста, Параки и Цхны были сняты со своих должностей.

В 20-х числах ноября 1988 г. остававшиеся в Нахичевани армяне оказались заблокированы: «Думали, что нападут или что. Две машины выехали, остальные, кто приехал, в блокаде остались. И так где-то неделю. А потом договорились» (ПМА ЗИ). Несколько эмоционально напряженных рассказов мы слышали о «последних рейсах» на машинах.

Инф.: Я 13 лет этой дорогой (через Садарак. – Е.Г., Ю.А.) ездил к собственной матери в деревню, все инспектора меня знали. <...> Подъехал старший лейтенант, поздоровался: «Ну, что? Знаешь, что случилось? – Нет. – Сумгаитский автобус приехал в Нахичевань через Ереван <...>. Из футбола вышли (ереванские болельщики. – Е.Г., Ю.А.), разбили автобус». Я говорю: «Ничего не знаю». А там в Садараке пост был. А мы на двух машинах были. <...> В моей машине родители и сосед. <...> Второму водителю сказал: «Подъезжай поближе к илагбауму и не заглушай машину». Уже инспектор мне сказал <...>: «Знаете, что наш автобус... мы им ничего не сделали». – «Наши тоже в Сумгаите никому ничего не сделали. А вы же...». Сумгаитцы их избили, убили, резали. Да... «Я не виноват, и вы не виноваты. Так что...». Инспектор говорит полицейскому: «Открой илагбаум». Говорит: «Нет, не открою». Он сержант, а это старший лейтенант, он говорит: «Открой, я тебе говорю». А я уже этому водителю сказал: «Если увидишь, что нас бьют или кое-что, давай, не бойся, тарань илагбаум». Но этот старший лейтенант сам подошел, открыл илагбаум, сказал: «Давай, езжайте». И это был уже все – последний рейс (ПМА ЕЖ).

В рассказе ярко проявляется включенность в происходящее: не пассивное, а активное участие в независящих от наших героев обстоятельствах.

22 ноября в с. Парака, где оставалось уже не более 80 армянских семей⁸, приехало несколько азербайджанцев из соседнего с. Биляв. На собрании в сельсовете они объявили, что в их село прибыло несколько человек из Баку, они упрекают местных в мирном сосуществовании с армянами и рассказывают, что азербайджанцы воюют с армянами в Карабахе. Выступавшие дали понять, что не знают, как долго смогут удерживать свою молодежь, и посоветовали армянам уезжать. По сообщению другого нашего собеседника, некоторые билявские азербайджанцы охраняли Параку. 23 ноября был предоставлен автобус совхоза с. Биляв. Паракинцы смогли захватить лишь документы и кое-какие ценности. Некоторые передали дома или часть имущества на сбережение своим азербайджанским кирва⁹ или друзьям. Как правило, эти вещи были сохранены и потом переданы их владельцам.

Жителей Параки повезли к границе с Арменией в направлении г. Мегри в сопровождении местных азербайджанцев: *«Дали один автобус, и этот кавор-кирва»¹⁰, кирва-азербайджанец сопровождал автобус до Мегри, через Ордубад, наверное»* (ПМА ШЭ).

В Бисте, где, по словам бывшего председателя сельсовета, в последние годы из 120–130 семей жило 25 армянских, такая же ситуация повторилась 27 ноября. 49 армян на совхозных грузовиках увезли в сторону г. Мегри (ПМА КЛ, ВГ). Перед этим несколько молодых армянских мужчин, гостивших у родственников, после неудачной попытки выехать по автомобильной дороге ушли из Биста через горы в сторону г. Каджаран. В пути они поменяли направление на г. Сисиан, куда добрались примерно через сутки.

В ноябре на автобусах и машинах вывезли последних армян из сел Верхняя Аза¹¹ и Рамис¹². По рассказам третьих лиц, отъезд проходил в более жестких условиях: *«там плохо было»* (ПМА ВГ). Часть беженцев из Азы остались в г. Мегри, некоторые поселились в расположенном неподалеку с. Легваз, откуда в том же ноябре 1988 г. выехало азербайджанское население. Остальные изгнанники на автобусах отправились в Ереван. Там некоторые поселились в гостинице «Эребуни», другие – у родственников. Последнее несколько смягчило трагичность событий: люди уезжали не совсем в никуда. Следует отметить, что интеграцию нахичеванцев в принимающее общество в Армении облегчало не только наличие социальных сетей, возникших в результате интенсивной миграции из Нахичевани в 1960–1980-е гг., но и то, что в отличие от армян из других частей Азербайджана они были армяноязычными.

Вскоре нахичеванцам стали предлагать селиться преимущественно в бывших азербайджанских селах Араратского и Ехегнадзорского районов¹³. Многие беженцы из Биста, Насирваза и Параки поехали к соседям-алахинцам в Кабахлу, одни почти сразу, другие спустя некоторое время.

В начале 1990-х гг. ордубадские армяне, т.е. выходцы из Гохтан-гавара, переименовали Кабахлу в Гохтаник¹⁴. При этом в селе также были беженцы из других частей Азербайджана: «17 мест здесь люди жили» (ПМА ВГ). Помимо бывших жителей Алахи, Азы, Дер, Биста, Насирваза, Параки, Джульфы и Азнаберда, в Кабахлу оказались бакинцы, сумгаитцы, кировабадцы, а в 1991 г. приехали карабахцы из сел Мартунашен¹⁵ и Геташен¹⁶. Похожая картина наблюдалась и в соседних селах¹⁷. Беженцы, бывшие в Азербайджане горожанами, в основном продали дома и вскоре уехали, в то время как некоторые давно живущие в Армении ордубадские армяне по тем или иным причинам, наоборот, переехали в Гохтаник к родственникам или купили там дома¹⁸.

Азнаберд. В с. Азнаберд в 1978 г. этнограф А.Е. Тер-Саркисянц зафиксировала 362 семьи (Тер-Саркисянц 1983: 99). Филолог и публицист А. Варданян считал, что до 1980-х гг. в нем проживало около 450 семей, или примерно 2 000 человек (Варданян 2010: 41). Уже весной 1988 г. сельчане перестали ездить на заработки в г. Нахичевань. Сельская молодежь организовала отряды самообороны и все лето и осень 1988 г. охраняла свою территорию. Однако все еще можно было ездить из деревни в Армению и обратно.

22 ноября в сельсовет позвонили и сказали, что в г. Нахичевань и/или с. Нехрам был митинг, и на Азнаберд идет толпа в 500–600 человек. Информанты, рассказывая об этом, сами не могли определиться, предупредили ли их или хотели напугать. Одновременно с погромщиками прибыли войска, но сдержать толпу они не смогли. Однако азнабердцы оказали сопротивление нападавшим с помощью охотничьего оружия и самодельных гранат. Погромщики «получили достойный отпор: трое были убиты, а семь ранены» (Варданян 2010: 48). Толпа разбежалась. Военные оцепили Азнаберд, чтобы не пропускать никого в село и не выпускать из него, кроме того, был проведен обыск: *«Начали искать оружие в каждом доме. А мы хитрые, дома ничего не оставили, нам сказали уже... Ничего не нашли. "У нас не было оружия, они сами напали, сами взорвались"»* (ПМА ДЕ).

Азнабердцы в рассказах не предстают в образе жертвы. В навязанных условиях они сохраняют субъектность и чувство собственного достоинства. Оборона Азнаберда длилась около 10 дней. Сообщение с Арменией было налажено через горы в направлении г. Азизбеков¹⁹. На границе в горах установили блокпост, через который на помощь односельчанам приехали выходцы из Азнаберда, проживавшие в разных частях Армении.

После того как выпал снег, армянские власти Азизбекова заявили, что они не в состоянии поддерживать связь с селом через горы и обеспечить защиту, поэтому посоветовали азнабердцам уезжать. Были присланы грузовые машины, и в середине декабря из села ушли последние армяне (ПМА БВ). В г. Масис им были предоставлены места в общежитии. Позже власти предложили азнабердцам селиться в бывших азербайджанских селах. Многие оказались в Вайоцдзорской области и Ереване²⁰, кто-то уехал за пределы Южного Кавказа. Как выразился один наш собеседник, *«знабердцы разбросаны как армяне в мире...»* (ПМА ДЕ). По сути, так информант вписал судьбу односельчан в общеармянский нарратив о рассеянном не по своей воле народе.

Город Нахичевань, села Кюльтепе и Норс. О других примерах организованного коллективного выезда армян мы не слышали, но нам рассказывали о единичных случаях. Например, с. Кюльтепе покидали две армянские семьи и одна смешанная, где армянин был женат на азербайджанке (ПМА МН). Один из наших собеседников вывозил своих родственников из г. Нахичевань с помощью своих бывших сослуживцев – русских офицеров погранвойск (Там же). В с. Норс последнему армянину помогли соседи-азербайджанцы. Иными словами, огромную роль в бескровном исходе играли личные связи. При этом в собранных нами рассказах много свидетельств того, что азербайджанское общество не было однородным:

Соб.: *А это была полная неожиданность? Или нарастала постепенно тревожность?*

Инф.: *Нет, ну знали, что в Сумгаите зарезали, убивали и как бы... уже как бы и слышали, но, конечно, мы не всерьез принимали, а потом постепенно слышали, что еще где-то, еще где-то. Уже мы слышали, что армяне оттуда хотят уходить, уезжать. И как бы... нам стало как-то и страшно, и с одной стороны, спокойно. Некоторые соседи к нам подошли прямо, сказали: «Никуда не уезжайте. Мы вам не дадим!» Даже тогда работала в нефтебазе... я работала оператором, и вот, никто не знал, что я армянка. Когда я посылала накладные и как бы, отпустили там бензин, солярку или что – и вот когда взяли талон и спустились ко мне, и там разговаривали. <...> И сказали, что N тоже уедет. А некоторые: «Как это N уедет? А она зачем уезжает?» – «А она же армянка». – «Да не может быть!» – «Ну да, на самом деле армянка». – «Да не может быть!» Потом... а этот клиент как бы... он в районе работал, ну, когда подошел, всегда разговаривали, вижу, он подошел, отдал документы и так на меня смотрит, ну, как бы мне тоже неловко, зачем он на меня так внимательно смотрит? «Можно задавать вам вопрос?» Говорю: «Ну, задавайте». Говорит: «А точно вы армянка?». Я говорю: «Да». Он говорит: «Не верю». Говорю: «Ваше право – хотите, не хотите. Но на самом деле я армянка». И он потом думал-думал, ну, не знаю, что он потом. Через некоторое время он подходит, мне говорит: «Можно так: если армяне нападут – вы меня будете прятать, а если азербайджанцы нападут – я вас буду у себя дома прятать?» Я говорю: «С каких пор? Сколько вы будете?». Потом был еще мужчина, а его бабушка была армянка, он подошел, мне говорит: «Слушай, N, я уже жене все сказал, она кому-то освободит для вас, чтобы как бы... вы у меня будете жить».*

Соб.: Убежище, да?

Инф.: Ну как бы... они не хотят, чтобы я уехала. (ПМА СТ).

После вынужденного отъезда некоторым армянам удалось снова побывать в родных местах. Из рассказов информантов следует, что поездки были организованы властями и совершались самостоятельно. Ситуация с такими посещениями не была уникальной для нахичеванцев. Антрополог Э.Г. Оганнисян писала о низовой кооперации армян и азербайджанцев: «Процесс переселения проходил поэтапно: представители обеих сторон (Армении и Азербайджана. – Е.Г., Ю.А.) в течение почти трех лет приезжали и уезжали в свои бывшие места проживания, увозили имущество, оформляли документы, продавали дома, продолжали ухаживать за кладбищами и т.п.» (Оганнисян 2017: 45). Расселением прибывших в Армению беженцев и распределением жилья занимались центральные и местные власти, а также специальная комиссия.

Внезапность vs ожидаемость

С одной стороны, наши собеседники рассказывали, какой неожиданностью стали развал СССР, вражда с азербайджанцами и вынужденное бегство из родных мест. Складывается впечатление, что следствием «неверия» стало то, что многие ордубадские армяне не поехали сразу в с. Кабахлу. Живя у родственников, они ожидали, что скоро можно будет вернуться домой.

С другой стороны, те же люди говорили, что все произошедшее было предсказуемо. Неоднократно мы слышали предания о полководце Андранике (1865–1927)²¹ и Гарегине Нжде (1886–1955)²². Из рассказов становится понятным, что наши собеседники отдавали себе отчет в том, что они погубили многих азербайджанцев. Подобные рассказы не только указывают на столкновение двух групп населения в прошлом («Знали, как села между собой воевали» [ПМА ИК]), но и демонстрируют успешность в борьбе армянской стороны. Таким образом, преемственность замыслов тюркских/турецких соседей затрагивает, по представлениям наших информантов, уже не одно поколение, а политика выдавливания армян с территории Нахичевани относится к первым десятилетиям XX в.

О закономерности произошедшего в 1988 г. изгнания армян свидетельствуют и ссылки на целенаправленную политику притеснения Гейдара Алиева:

Ну, скажем, Алиев, Гейдар Алиев из Нахичевани. Он так все строил, что кто... в Нахичевани, ну... до... ну в 50-х годах большинство были армяне. Но он так все закрыл университеты и техникумы, и все, что... кто там закончил учебу, пришел в Ереван, обратно, чтобы не пришел. И так постепенно там азербайджанцы стали большинством, и... я сказал, в 83-м году уже было пять... в наше селе всего

было пять учеников. Негде было учиться, негде работать. Что делать? Пришли, остались в Армении (ПМА ИК).

Предсказуемость событий наши собеседники сегодня неоднократно подтверждают и тем, что армяне выезжали из Нахичевани заблаговременно в течение нескольких десятков лет:

Инф. 1: *Вообще-то, вражды такой не было. Но все-таки... но все-таки...*

Инф. 2: *Все-таки они турки.*

Инф. 1: *Все-таки геноцид у нас был в сердце (ПМА ИК, ШЭ).*

Объяснение изгнания обусловлено ретроспективным взглядом, выстраивающим логику произошедшего через его сцепление с геноцидом, конфликтами армян и азербайджанцев начала XX в. и в период Первой мировой и Гражданской войн, политикой Гейдара Алиева.

Дружба народов

Другой сквозной мотив всех интервью связан с неверием в то, что добрососедские отношения могут внезапно смениться агрессией. Пожилые информанты не раз подчеркивали, что в советское время этничность не была для них значима: *«Раньше не было – это армянин, это азербайджанец»* (ПМА ЦЧ). Многие делали упор на то, что армяне пользовались уважением азербайджанцев и даже занимали привилегированное положение.

Следует отметить, что в том, как рассказывают армяне-нахичеванцы о своих бывших соседях, есть прямые параллели с особенностями «коммуникативной памяти» нахичеванских азербайджанцев: «...мотив “армяне-друзья” эксплицирует тему “дружной семьи” народов региона, гостеприимства и смешанных браков. Эти воспоминания интересны нарочитой деактуализацией этноконфессиональных групповых границ и отсылкой к советской общности, вызванной “сладостным чувством ностальгии”» (Баранов, Шорохов 2024).

Безусловно, в рассказах присутствует идеализация прошлого. При этом один и тот же человек после примеров взаимного расположения и констатации высокого статуса армян среди азербайджанцев легко переходил к рассказу об этнической сегрегации на бытовом уровне и антиазербайджанских настроениях в армянской среде. Так, мать одного собеседника рассказывала ему о гибели своего брата в 1918 г. и неприятии «турок» (ПМА ФХ). Другой информант приводил слова своего деда: *«Турок будет золотым, в карман не клади»* (ПМА КЛ).

Тем не менее поражает, что даже после бегства, Первой Карабахской войны (1992–1994 гг.), Четырехдневной войны (апрель 2016 г.), Второй Карабахской войны (осень 2020 г.) и блокады Арцаха (с конца 2022 г.)²³

информанты тепло отзывались о своих соседях – нахичеванских азербайджанцах: *«Соседи (азербайджанцы. – Е.Г., Ю.А.) сочувствовали, сочувствовали. <...> С Нахичеванью так не поступили (как в городах Сумгаит и Баку. – Е.Г., Ю.А.). Может быть, какие-то подлецы были, но другие азербайджанцы – нет»* (ПМА ЛМ).

В другом интервью во фразе *«Наши азербайджанцы наших до Мегри повезли»* (ПМА РС) обращает на себя внимание использование местоимения «наши». Агрессивные действия в отношении армян нередко связывали с «чужими» азербайджанцами – беженцами из Армении и агитаторами из Баку. Иными словами, информанты достаточно последовательно придерживались мнения, что ответственность за изгнание армян не лежит на бывших соседях-азербайджанцах²⁴, она возлагается в первую очередь на политиков.

Во многих рассказах информанты упоминают тех, кто в разной степени, но помогал, предоставлял ночлег, защищал от своих и сохранял имущество армянских соседей и друзей. Впрочем, с течением времени прошлое пересматривается: в таких рассказах можно найти влияние официальных нарративов сегодняшнего дня. Некоторые информанты видят в поступках соседей корыстные мотивы. Встречались также и рассказы о том, как знакомые азербайджанцы прибегали к угрозам, кидали камнями, били стекла, воровали имущество и быстро захватывали дома. Однако серьезных столкновений в Нахичевани не было: о погибших армянах наши информанты не рассказывали. Это отчасти позволяло нашим собеседникам говорить о том, что человеческие качества не соотносятся с этнической принадлежностью.

В конце 1980-х гг. власти Азербайджана и Армении применили на Кавказе хорошо знакомый им советский опыт депортаций по этническому признаку. Сейчас события в Нахичевани рассматриваются прежде всего через призму этнического конфликта, вписываются в общую историю преследований армян и уничтожения их исторических и культурных памятников. В свою очередь, этнизация – механизм распространения травмы на всех армян (Шагоян 2016) и фактор формирования долгой памяти (Шагоян 2021: 75). «Живая память» демонстрирует в том числе альтернативные примеры поддержки и сочувствия азербайджанцев армянам и наоборот.

Агентность

Исследовательский тезаурус, относящийся к событиям депортации и насильственной миграции, обычно воспроизводит «язык власти» и предполагает отсутствие выбора у вынужденных переселенцев и беженцев (Шагоян, Гучинова 2023: 136–137). Потеря субъектности прослеживается и в нарративах наших собеседников:

Оттуда нас выгнали в 1988-м году (ПМА КЛ).

Просто сверху дали команду каждый день одно село должно по очереди освободить. Вот так мы вышли (ПМА ЗИ).

В последней фразе пассивная позиция сменяется активной, и это совсем не единичная ситуация. Наши собеседники часто представлялись деятельными участниками событий: они уговаривали стариков уезжать, вызволяли семьи, давили на органы власти, передавали дома конкретным соседям, выбирали новое место жительства. Нередко происходившее в 1988 г. описывалось в терминах активного сопротивления. Иными словами, режим памяти «борьбы и страданий» (Budrytė 2018: 103–104) очень близок нахичеванцам, рассказывающим о прошлом, хотя, конечно, и не ограничивается этой рамкой. Азнабердцам важно было показать, что армяне покидали свое село не трусливо убегая, а сделав все, что было возможно, чтобы отстоять свою землю: *«А мы оборонялись и дали ответ, и они убежали вместо этого и было убито, у нас никого не было убито»* (ПМА ДЕ). В то же время тональность рассказов о борьбе была разной. Одни подчеркивали, что хоть и сражались подручными средствами, но делали это умело, и столкновения даже привели к погибшим со стороны врага. Другие акцентировались на обороне и нежелании убивать: *«Мы армяне, мы не убийцы»* (ПМА БВ). Третьи прибегали к утрозам:

Говорит: «А председатель сельсовета, не сельсовета, совхоза, директор совхоза, там N был, он сказал, что никого там нету». «Ты что? – говорю, – как никого нету? Тебе по фамилии дать список? У меня там 49 человек, пофамильно все есть. Вот смотри!» Прямо так я грозился секретарю райкома. Говорю: «Вот смотрите, если... в том числе мои родители там, если с одного хоть волосок упадет, пеняйте на себя, я прошу, чтобы их сюда привели. Если упадет, видите, эти горы? Через горы ночью пройдем, там уже как бы Армения вокруг, вы знаете, что может быть» (ПМА КЛ).

Предостережение в ситуации неопределенности и территориальной оторванности Нахичевани от Азербайджана, безусловно, звучало серьезно.

Проявление субъектности можно видеть и в том, как используется категория «беженец». Наши собеседники уточняли, кто является беженцем, а кто нет. Часто они следовали формальному критерию признания статуса: кто-то получил жилье и компенсации, а кто-то «вышел раньше» или купил дома позднее в 1990-е гг.

Отчасти в интервью прослеживалось негативное отношение к понятию беженец в подчеркивании того, что некоторые *«хотели жалости, кто-то не хотел это слово использовать»*, *«Вынужденные – нехорошее слово, на жалость хотели»* (ПМА ИК). Вероятно, тут сказывается влияние «негативной стереотипизации “образа беженца”», когда «принимающее общество дискурсивно угнетало и символически элиминировало беженское население» (Оганнисян 2017: 50). Но можно привести пример отказа

от этого статуса и по другим причинам. Так, особый интерес представляет высказывание информанта, переселившегося из с. Азнаберд в 1988 г.: «Мы на родину пришли. С родины пришли на родину, мы себя так (как беженцы. – Е.Г., Ю.А.) не чувствуем» (ПМА ГД). Родное село информанта и регион Вайоцзор составляют одну историко-этнографическую область, на территории которой был распространен один джаук-вайкский междialeкт²⁵. Поэтому можно говорить о том, что он считает, что его семья переместилась, но «свою» территорию не покинула.

Надо заметить, что мы говорили по-русски, наши собеседники использовали слово «беженец», а на армянском использовали эквивалентом слово «пахстанкан» (*pakhstakan*) и выражение «вынужденные уехать» – стипвац энк екел (*stipvats enq ekel*), реже гахтакан (*gaghtakan*) – «переселенец», «мигрант», «беженец». Если мы спрашивали о термине «депортированный» – брнагахтвац (*brnagaghtvats*), то информанты соглашались с его использованием в отношении себя, но сами о себе так не говорили. Все эти примеры показывают, что категория «беженец» не является однозначной, и отношение к ней информантов обусловлено влиянием властного или общественного дискурса. Это также можно объяснить тем, что «...одна из особенностей любых травматических воспоминаний связана с попыткой человека рассказать о своей травме и одновременно избежать репрезентации себя в качестве жертвы. <...> Попытка представить опыт вынужденного переселения или депортации результатом выбора и принятого решения служит одной из стратегий избегания статуса жертвы. <...> В воспоминаниях о прошлом мы видим не жертв обстоятельств... а тех, кто, оценив ситуацию, решил выйти из нее тем или иным образом» (Мельникова 2023: 56–57).

Уничтожение армянских памятников в Нахичевани

Э.-Б. Гучинова (2021: 32) в одной из своих работ, посвященных депортации калмыков, отмечает, что современная память о трагических событиях часто проявляется в форме постпамяти (Хирш 2022), т.е. представляет их, основываясь не на личных воспоминаниях, а на социальном воображении. Мы заметили, что наши собеседники проводят параллели (и даже ставят в один ряд) с событиями как сегодняшнего дня, так и вековой давности. Геноцид армян начала XX в. – сквозной мотив, всплывающий при описании выселения армян с исконной для них территории, в том числе и из Нахичевани. Язык травмы для армян непосредственно связан с тяжелым событием для всего народа, и служит готовым ответом для интерпретации всего происходящего (Там же: 43; Шагоян 2021: 74):

...в [19]88 году, когда дядя приехал в автобусе Мегри – Ереван... В Нахичевани есть автобусная станция, заходит туда, 20 минут останавливается, если кто-то выходит-заходит, хочет выходить, садиться. Ну, наши парни вышли там

курить, ихние молодые парни пришли, начали их бить, ничего не говоря. А мы откуда знали, что уже начался этот геноцид по приказу (ПМА ОП).

Во многих интервью есть еще одна очень важная для информантов тема – санкционированное властями Азербайджана разрушение армянских святынь в Нахичевани, и в первую очередь – известного кладбища IX–XVII вв. в Джуге.

Исчезновение памятников, которое устанавливается по гугл-картам²⁶, многими нашими информантами рассматривается как уничтожение свидетельств армянского присутствия в Нахичевани, как продолжение геноцида. В формировании ощущения утраты огромную роль сыграли книги Аргам Айвазяна (Արգամի 1978; Айвазян 1981, Արգամի 1986; Ayvazyan 1990 и др.). Исследователь создал описание армянских памятников Нахичевани и предъявил их не только миру, но и самим нахичеванским армянам, не часто бывавшим за пределами своего родного ущелья.

В одном случае (после совместного просмотра с информантом одной из работ Аргам Айвазяна) наш собеседник пояснил, что Алиев старший начал уничтожение хачкаров Джуги, а Алиев младший завершил. Далее речь зашла о сравнении ситуации в Нахичевани и Карабахе:

Соб.: Почему как с Карабахом не получилось в Нахичевани? Почему не смогли армяне...

Инф.: Там много не могли. Мало было нас...

Соб.: Мало армян было?

Инф.: Да. Белый геноцид знаете, что такое? Они уже в Нахичевани сделали белый геноцид. Эти пропуска²⁷. Сколько они есть, они поставили. Я хочу идти в село, пропуск просят, а в одном году дали один пропуск несколько дней, без... родственники все там. Поэтому мало-мало и пришли в Армению (ПМА ФХ).

Понятия «белый геноцид» (*spitak tseghaspanutyun*), в данном случае отсылающее к ситуации, когда люди остались живы, но все потеряли, встретилось нам в интервью всего однажды. Но оно тоже подтверждает использование травмы геноцида как метанарратива. Однако у рассказов об уничтоженных памятниках есть и еще одна функция. Они включают историю нахичеванцев в общеармянский нарратив, так как представляют разрушенные церкви, монастыри и хачкары как потерянное общеармянское наследие. Таким образом, у нахичеванских армян появляется свое особое место в коллективной памяти армян.

Выводы

Произошедшие в феврале 1988 г. погромы армян в г. Сумгаит не сразу были восприняты нашими информантами как точка невозврата к ситуации мирного сосуществования двух народов. Изгнание последовало через девять месяцев. Сейчас Сумгаит видится поворотным событием; погромы, убийства и последовавшее принудительное выселение получают

объяснение через обращение к прошлому и геноциду. В рассказах мы видим три вида травм: «травма как опыт утраты, травма как символическая матрица и, наконец, травма как консолидирующее событие» (Ушакин 2009: 8). Утрата родины приводит к попыткам установить логику произошедшего, рассмотреть нередко разрозненные события в целостности, поэтому в прошлом наши собеседники находят многочисленные сигналы тревоги. Второй аспект – это то, что пережитый опыт «превращается в повествовательную матрицу, придающую логику связного сюжета раздробленным фактам индивидуальной или коллективной биографии» (Там же: 8–9). Ссылки на Геноцид становятся объяснением жесткого этнического разделения и войны за территорию. Сообщество утраты (Там же: 10) – это «Общество нахичеванских армян», оно включает в себя как непосредственных участников трагических событий, так и тех, кто считает себя связанным с потерянной территорией, наследием и страданиями предков, но не пережили личных потрясений. Из-за уничтожения в Нахичеванской Автономной Республике армянских памятников сообществом утраты фактически становится все армянское общество. Рассказывая об этом, нахичеванцы находят свое особое место в общеармянском нарративе, поскольку разрушение армянских монастырей, церквей и кладбищ рассматривается ими как продолжение геноцида.

Опыт нахичеванских армян сходен с опытом других армян – беженцев из Азербайджана, но он имеет и свои особенности. По словам наших собеседников, в Нахичеванской АССР погибших не было. Большую роль тут сыграли личные связи между армянами и их соседями-азербайджанцами, которых многие до сих пор тепло вспоминают. Безусловно, в рассказах присутствует идеализация прошлого, но, с другой стороны, нельзя не отметить, что память нахичеванцев испытывает воздействие антиазербайджанского дискурса.

Интеграция сельских нахичеванцев в принимающее сообщество Армении во многом прошла легче, чем у других беженцев из Азербайджана. Это связано в том числе с тем, что они были армяно-, а не русскоязычными. Кроме того, из-за интенсивной миграции из Нахичевани в Армению в 1960–1980-е гг. многие имели близких родственников и могли полагаться на помощь односельчан. Видимо, поэтому в рассказах практически не прослеживается противостояние между беженцами и местными армянами. Вероятно, играет роль и то, что в сельской местности селились нахичеванские армяне в бывших азербайджанских селах, где не было армян-старожилов.

В нарративах информантов в осознании изгнания мы фиксируем напряжение между ощущением внезапности произошедшего и обоснованием его закономерности. Точно так же потеря субъектности сосуществует с репрезентацией себя в качестве активных участников событий, хотя и пострадавших, но сохранивших достоинство. Даже категория «бе-

женец» не является для наших собеседников однозначной. Ее могут использовать как ожидая сочувствия, так и оправдываясь, что таковыми не являются.

Примечания

¹ Другие кейсы см.: (Гусейнова и др. 2008; Харатян 2008; Оганисян 2017).

² «Коммуникативная память охватывает воспоминания, которые связаны с недавним прошлым. Это те воспоминания, которые человек разделяет со своими современниками» (Ассман 2004: 52).

³ На советских картах – Азнабюрт, сейчас – с. Чалханкала (Çalhanqala) Кенгерлинского района.

⁴ Сейчас – с. Чаннаб (Çənnəb).

⁵ Наши информанты называли азербайджанцев по-армянски «т'урк'» (թըրք), по-русски – азербайджанцами.

⁶ Это подтверждают и данные этнографа А.Е. Тер-Саркисянц (Тер-Саркисянц 1983: 99–100).

⁷ Видимо, какая-то часть армян там еще оставалась: «В Цхне армяне жили до конца, там женщина председателем была» (ПМА КЛ).

⁸ Сведения о количестве жителей немного разнятся. В Параке, по словам самого старшего из наших информантов, в 1950-е гг. было около 420 семей (ПМА ЦЧ), в 1970-е гг. оставалось около 100 домов и примерно 50–60 постоянных жителей (ПМА ХЦ). По словам другого информанта, до конца 1980-х гг. оставалось 82 семьи, состоящих из одного-двух пожилых человек (ПМА ЦЧ). Третий паракинец подтверждал, что там проживали только пожилые люди, но считал, что до конца оставались около 30 семей (ПМА ЗИ). Другой информант полагал, что к 1988 г. жилыми были 30–40 домов (ПМА ИК). Одна собеседница утверждала, что вышло из Параки 67 жителей, 50–60 домов было покинуто (ПМА ХЦ). Еще один человек составил поименный список беженцев. По его данным, село в ноябре 1988 г. покинуло 106 человек, оставлено было 53 жилых дома (ПМА ЧШ).

⁹ Кирва – у некоторых мусульманских народов Кавказа человек, который держит ребенка при обрезании. Роль кирва похожа на функции крестного отца у христиан. В Нахичевани азербайджанцы часто приглашали армян быть кирва. Во второй половине XX в. участие в обряде уже не было обязательным, наименование кирва стало обозначением близкого друга семьи. О кирва в Нахичевани см.: (Андреева, Гуляева 2022: 128–129; Баранов, Гуляева 2023).

¹⁰ Кавор (арм.) – крестный отец.

¹¹ Е.А. Тер-Саркисянц в 1978 г. в с. Верхняя Аза зафиксировала 61 армянскую семью, оставшуюся четверть населения составляли азербайджанцы (Тер-Саркисянц 1983: 99). В конце 1980-х гг. село покинуло примерно 20 семей (ПМА ЖЗ).

¹² До 1940-х гг. там было около 100 домов, в 1960-х гг. – 30–40, в 1988 г. уезжали – 8 семей (ПМА НО). Еще один собеседник говорил, что, когда он приезжал туда на каникулы к родственникам в конце 1960-х гг., там было около 15 армянских домов (ПМА ПР).

¹³ По нашим данным, ордубадские армяне осели (по современному административному делению) в городах Ереван, Масис, Абовян, в Араратской области в селах Ехегнаван (ранее – Шидлу), Ноякерт (Халиса), Урцадзор (Карабаглар), в Вайоцзорской области в г. Ехегис (Алаяз), селах Гермон (Кавушуг), Гохтаник (Кабахлу), Вардавит (Гюлидуз), Хорс (Горс).

¹⁴ О переименовании как средстве освоения пространства беженцами см.: (Харатян 2008).

¹⁵ Сейчас – Гарабулаг / Карабулак.

¹⁶ Сейчас – Чайкенд.

¹⁷ Нам рассказывали, что в с. Кавушут (сейчас – Гермон) поехали бывшие горожане, так как там был Реле-завод, где они могли бы работать, а в с. Кабахлу предлагали ехать сельским жителям, так как были условия для содержания животных (ПМА ТУ).

¹⁸ Кто-то старался купить дом рядом с родственниками и односельчанами, кто-то для того, чтобы иметь дачу или жить там после выхода на пенсию. В начале 1990-х гг. важным фактором был тяжелый кризис в Армении (из-за упадка хозяйства Республики в результате распада СССР, последствий землетрясения, Карабахской войны, блокады со стороны Турции и Азербайджана, продолжающейся по сей день), тогда на селе было легче выживать, чем в городах. В начале 1990-х гг. в школе обучалось около 40 детей. Сейчас в Гохтанике зимовать остаются около 40 человек, летом число жителей доходит до 200 (ПМА ФХ), или, по словам другого собеседника, зимой 30–35 домов жилые, а всего домов в деревне 120. В школе в 2021 г. было 16 учеников и 11 учителей (ПМА ИК).

¹⁹ Сейчас – г. Вайк Вайоцзорской области.

²⁰ По нашим данным, азнабердцы помимо городов Армении стали жить в селах Нор-Азнаберд / Верин Азнаберд (Гюлистан), Хндзорут, Хачик, Зедеа (Зейта), Ехегис (Алаяз), Гермон (Кавушут), Гохтаник (Кабахлу), Вардаовит (Гюлидуз), Шатин (Гасанкенд), Артаван (Джул), Ехегнаван (Шидлу), Ноякерт (Халиса).

²¹ Андраник Озаян (1865–1927) – армянский полководец, один из лидеров движения за независимость Армении.

²² Гарегин Нжде (1886–1955) – армянский военный и политический деятель. Сражался за независимость Армении в начале XX в. Считается, что благодаря успешным действиям в Зангезуре (Сюнике) возглавляемых им вооруженных формирований против турецко-азербайджанских сил этот регион остался в составе Армении.

²³ Ко времени исхода карабахских армян осенью 2023 г. наша полевая работа уже была завершена.

²⁴ Сходная ситуация, когда к «своим чужим» относились лучше, чем к «чужим своим», фиксировалась другими авторами (Оганисян 2017).

²⁵ О джаук-вайском междиалекте см.: (Չիլրղիշիւմի 2020).

²⁶ См. об этом: (Khatchadourian et al. 2022; Ayvazyan 2023).

²⁷ Важным фактором жизни в Нахичеванской АССР был приграничный статус территории, введенный, видимо, после вступления Турции в НАТО в 1952 г. Для въезда людям, не имеющим прописки в Республике, в том числе ее бывшим жителям, требовался пропуск, который выписывался по месту жительства человека при условии предоставления справки из нахичеванского сельсовета, подтверждающей право посетить родственников или знакомых.

Полевые материалы авторов (ПМА)

АБ. Муж., 1951 г.р., родился в с. Азнаберд.

БВ. Муж., 1964 г.р., родился в с. Азнаберд.

ВГ. Муж., 1964 г.р., родился в с. Бист.

ГД. Муж., 1958 г.р., родился в с. Азнаберд.

ДЕ. Муж., 1952 г.р., родился в с. Азнаберд.

ЕЖ. Муж., 1951 г.р., родился в с. Алахи.

ЖЗ. Муж., 1959 г.р., родился в с. Аза.

ЗИ. Муж., 1958 г.р., родился в с. Парака.

ИК. Муж., 1968 г.р., родился в с. Парака.

КЛ. Муж., 1960 г.р., родился в с. Бист.

ЛМ. Муж., 1965 г.р., родился в г. Нахичевань.

МН. Муж., 1947 г.р., родился в с. Кюльтепе.

НО. Муж., 1955 г.р., родился в г. Ереван, родители из сел Цхна и Рамис.

ОП. Муж., 1949 г.р., родился в г. Ереван, родители из сел Аза и Рамис.

ПР. Муж., 1952 г.р., родился в с. Рамис.

РС. Муж., 1956 г.р., родился в с. Парака.
СТ. Жен., 1965 г.р., родилась в г. Нахичевань.
ТУ. Жен., 1974 г.р., родилась в г. Кировабад, супруга выходца из с. Бист.
УФ. Жен., 1969 г.р., родилась в Баку, родители родом из сел Алахи и Бист.
ФХ. Муж., 1941 г.р., родился в с. Бист.
ХЦ. Жен., 1955 г.р., родилась в с. Парака.
ЦЧ. Муж., 1930 г.р., родился в с. Парака.
ЧШ. Муж., 1976 г.р., родился в г. Ереван, родители родом из с. Парака.
ШЭ. Муж., 1961 г.р., родился в с. Парака.

Список источников

- Айвазян А. Памятники армянской архитектуры Нахичеванской АССР. Ереван: Айастан, 1981.
- Андреева Ю.О., Гуляева Е.Ю. Нахичеванские армяне: память о соседстве в 1950–1980-е гг. // Кунсткамера. 2022. № 2 (16). С. 116–133.
- Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / пер. с нем. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Баранов Д.А., Гуляева Е.Ю. Институт кирва: преодолевая этнические барьеры? // Евразия – диалог культур: материалы Двадцать вторых Санкт-Петербургских этнографических чтений. СПб.: Рос. этнографический музей, 2023. С. 191–198.
- Баранов Д.А., Шорохов В.А. «Армянская» тема в устных нарративах азербайджанцев Нахичевани // История, археология и этнография Кавказа. 2024. Т. 20, № 2. С. 462–473. doi: 10.32653/CH202462-473
- Вардамян А.В. Зов Вишапасара: статьи, эссе, рассказы. Ереван: Тигран Мец, 2010.
- Всесоюзная перепись населения 1979 г. Таблица 9с. Распределение населения по национальности и родному языку. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 6209–6237. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_79.php?reg=76 (дата обращения: 05.03.2024).
- Гусейнова С., Акопян А., Румянцев С. Кызыл-Шафаг и Керкендж: история обмена селами в ситуации Карабахского конфликта. Тбилиси: Южно-Кавказское отд. Фонда им. Генриха Белля, 2008.
- Гучинова Э.-Б.М. Дневник Арпеник Алексанян // Laboratorium. 2010. № 1. С. 84–102.
- Гучинова Э.-Б.М. Как калмыки рассказывают о депортации: дискурсивные стратегии нарратива // Сибирские исторические исследования. 2021. № 2. С. 30–52.
- Мельникова Е.А. Разломы валаамской памяти: мемориальное сообщество Валаама в поисках утраченного острова // Этнографическое обозрение. 2023. № 1. С. 45–66.
- Оганнисян Э.Г. «Экзорцизм культурной инаковости»: социальная интеграция и экономическое выживание беженцев в постсоветской Армении // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2017. Вып. 2 (37). С. 45–54.
- Тер-Саркисянц А.Е. Современная сельская семья у нахичеванских армян // Полевые исследования Института этнографии 1979 г. М.: Наука, 1983. С. 98–105.
- Ушакин С. «Нам этой болью дышать»? О травме, памяти и сообществах // Травма: пункты / сост. С. Ушакин, Е. Трубина. М.: НЛЮ, 2009. С. 5–41.
- Харатян Л. Освоение «чужого» пространства: Армяне беженцы в «азербайджанских» селах Армении // Figuring out the South Caucasus: Societies and environment. Collection of Papers. Тбилиси: Изд-во Фонда им. Генриха Белля на Южном Кавказе, 2008. С. 129–145.
- Хириш М. Поколение постпамяти; Письмо и визуальная культура после Холокоста. М.: Новое изд-во, 2022.

- Шагоян Г.А. Армянский геноцид как метанарратив травматической памяти. К 101-летней годовщине армянского геноцида: тема без «исторических уроков»? // Гефтер. 25.04.2016. URL: <http://gefter.ru/archive/18335>
- Шагоян Г.А. Культурная vs коллективная травма: мемориализация советских репрессий в постсоветской Армении по модели памяти о геноциде // Сибирские исторические исследования. 2021. № 2. С. 73–98.
- Шагоян Г.А., Гучинова Э.-Б.М. Языки описания национальных депортаций на Кавказе // Сибирские исторические исследования. 2023. № 4. С. 134–143.
- Ayvazyan A. The Historical Monuments of Nakhichevan. Detroit, 1990.
- Ayvazyan A. Historiography at the Service of Monument Degradation // Monuments and Identities in the Caucasus. Karabagh, Nakhichevan and Azerbaijan in Contemporary Geopolitical Conflict / ed. by I. Dorfman-Lazarev and H. Khatchadourian. Leiden: Brill, 2023. P. 379–390.
- Budrytė D. Gendering “History of Fighting and Suffering”: War and Deportation in the Narratives of Women Resistance Fighters in Lithuania // Narratives of Exile and Identity. Soviet Deportation Memoirs from the Baltic States / ed. by Violeta Davoliūtė, Tomas Balkelis. Budapest; New York: CEU Press, 2018. P. 103–117.
- Khatchadourian L., Smith A.T., Ghulyan H., Lindsay I. Caucasus Heritage Watch. Special Report # 1. Silent Erasure. A Satellite Investigation of the Destruction of Armenian Heritage in Nakhchivan, Azerbaijan. Cornell Institute of Archaeology and Material Studies. Ithaca, 2022. URL: <https://indd.adobe.com/view/2a6c8a55-75b0-4c78-8932-dc798a9012fb>
- Այվազյան Ա. Նախիջևանի պատմաճարտարապետական հուշարձանները, Եր., 1978:
- Այվազյան Ա. Նախիջևանի ԻԽՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ), Եր., 1986:
- Վարդանյան Ա. Ճահուկ-Վալքի միջրարբառի տարածման պատմական սահմանները // Գ. Ճահուկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված «Արդի հայերենագիտության խնդիրները» առցանց գիտաժողովի նյութեր. Եր., 2020: URL: https://language.sci.am/sites/default/files/vardanyan_artak_0.pdf

References

- Ayvazyan A. (1981) Pamiatniki armianskoi arkhitektury Nakhichevanskoi ASSR [Monuments of Armenian architecture of the Nakhchivan ASSR]. Yerevan: Hayastan.
- Andreeva Yu.O., Guliaeva E.Yu. (2022) Nakhichevanskiie armiane: pamyat' o sosedstve v 1950–1980-e gg. [Nakhichevan Armenians: Memory of Neighborhood in the 1950s–1980s]. *Kunstkamera*, 2 (16), pp. 116–133.
- Assmann J. (1992) Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen [Cultural Memory: Writing, Memory of the Past and Political Identity in the High Cultures of Antiquity]. München: Beck.
- Baranov D.A., Guliaeva E. Yu. (2023) Institut kirva: preodolevaia etnicheskie bar'ery? [Kirwa Institute: Overcoming Ethnic Barriers?]. In: *Evrasiia – dialog kul'tur: materialy Dvadsat' vtorykh Sankt-Peterburgskikh etnograficheskikh chtenii* [Eurasia – a dialogue of cultures: materials of the Twenty-second St. Petersburg Ethnographic Readings.]. St. Petersburg: Rossiiskii etnograficheskii muzei, pp. 191–198.
- Baranov D.A., Shorokhov V.A. (2024) "Armianskaia" tema v ustnykh narrativakh azerbaidzhintsev Nakhichevani ["Armenian" element in the oral narratives of the Azerbaijanis of Nakhchivan], *Istoriia, arkheologiia i etnografiia Kavkaza*, 2 (20), pp. 462–473.
- Vardanian A.V. (2010) *Zov Vishapasara: stat'i, esse, rasskazy* [Call of Vishapasar: articles, essays, stories]. Yerevan: Tigran Mets.
- Vsesoiuznaia perepis' naseleniia 1979 g. Tablitsa 9s. Raspredelenie naseleniia po natsional'nosti i rodnomu iazyku. [All-Union Population Census 1979 Table 9s. Distribution of the

- population by nationality and native language]. *Russian State Archive of Economics*. Fund 1562. List 336. File 6209–6237. Available at: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_79.php?reg=76 (access date: 03.05.2024).
- Guseinova S., Akopian A., Rumiantsev S. (2008) *Kyzyl-Shafag i Kerkendzh: istoriia obmena selami v situatsii Karabakhskogo konflikta* [Kyzyl-Shafag and Kerkenj: the history of village exchange in the situation of the Karabakh conflict]. Tbilisi: Iuzhno-Kavkazskoe otdelenie Fonda im. Heinrich Böll.
- Guchinova E.-B.M. (2010) *Dnevnik Arpenik Aleksanian* [Diary of Arpenik Aleksanyan], *Laboratorium*, 1, pp. 84–102.
- Guchinova E.-B.M. (2021) *Kak kalmyki rasskazyvaiut o deportatsii: diskursivnye strategii narrativa* [How Kalmyks Talk About Deportation: Discursive Strategies of Narrative], *Sibirskie istoricheskie issledovaniia – Siberian Historical Research*, 2, pp. 30–52.
- Hirsh M. (2021) *Pokolenie postpamiati; Pis'mo i vizual'naia kul'tura posle Kholokosta* [The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust]. Moscow: Novoe Izdatel'stvo. (In Russian)
- Melnikova E.A. (2023) *Razlomy valaamskoï pamiati: memorial'noe soobshchestvo Valaama v poiskakh utrachennogo ostrova* [Valaam Memory Breaks: Valaam's Memorial Community in Search of the Lost Island], *Etnograficheskoe obozrenie*, 1, pp. 45–66.
- Hovhannisyan E.H. (2017) “Ekzortsizm kul'turnoi inakovosti”: sotsial'naia integratsiia i ekonomicheskoe vyzhivanie bezhentsev v postsovetsskoi Armenii [Exorcism of cultural otherness: social integration and economic survival of the refugees in post-Soviet Armenia], *Vestnik Perskogo universiteta. Seriia: Istorii*, 2 (37), pp. 45–54.
- Ter-Sarkisants A.E. (1983) *Sovremennaiia sel'skaia sem'ia u nakhichevanskikh arмян* [Contemporary rural family among Nakhichevan Armenians]. In: *Polevye issledovaniia Instituta etnografii 1979 g.* [Field research of the Institute of Ethnography 1979] Moscow: Nauka, pp. 98–105.
- Oushakine S. (2009) “Nam etoi bol'iu dyshat”? O travme, pamiati i soobshchestvakh [“We need to breathe this Pain”? about trauma, Memory and communities]. In: *Travma: punkty. Sbornik statei* [Trauma: Points. collection of articles]. Compiled by S. Oushakine, E. Trubina. Moscow: NLO, pp. 5–41.
- Kharatyan L. (2008) *Osvoenie "chuzhogo" prostranstva: Armiane bezhentsy v "azerbaidzhanskikh" selakh Armenii* [Development of “foreign” space: Armenian refugees in “Azerbaijani” villages of Armenia]. In: *Figuring out the South Caucasus: Societies and environment. Collection of Papers*. Tbilisi: Izd-vo Fonda im. Genrixa Bellia na Iuzhnom Kavkaze, pp. 129–145.
- Shagoian G. (2016) *Armianskii genotsid kak metanarrativ travmaticheskoi pamiati* [The Armenian genocide as a metanarrative of traumatic memory]. *Gefter*, 25.04.2016. Available at: <http://gefter.ru/archive/18335>
- Shagoian G. (2021) *Kul'turnaia vs kollektivnaia travma: memorializatsiia sovetskikh repressii v postsovetsskoi Armenii po modeli pamiati o genotside* [Cultural vs. collective trauma: The memorialization of Soviet repression in post-Soviet Armenia modeled on genocide remembrance], *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*, 2, pp. 73–98.
- Shagoyan, G.A., Guchinova, E.-B.M. (2023) *Iazyki opisaniia natsional'nykh deportatsii na Kavkaze* [Languages for Describing National Deportations in the Caucasus]. Introduction to the Special Theme of the Issue, *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*, 4, pp. 134–143.
- Ayvazyan A. (1990) *The Historical Monuments of Nakhichevan*. Detroit.
- Ayvazyan A. (2023) *Historiography at the Service of Monument Degradation*. In: *Monuments and Identities in the Caucasus. Karabagh, Nakhichevan and Azerbaijan in Contemporary Geopolitical Conflict*. Ed. by I. Dorfman-Lazarev and H. Khatchadourian. Leiden: Brill, pp. 379–390.

- Budrytė D. (2018) Gendering “History of Fighting and Suffering”: War and Deportation in the Narratives of Women Resistance Fighters in Lithuania. In: *Narratives of Exile and Identity. Soviet Deportation Memoirs from the Baltic States* / ed. by Violeta Davoliūtė, Tomas Balkelis. Budapest–New York: CEU Press, pp. 103–117.
- Khatchadourian L., Smith A.T., Ghulyan H., Lindsay I. (2022) *Caucasus Heritage Watch. Special Report # 1. Silent Erasure. A Satellite Investigation of the Destruction of Armenian Heritage in Nakhchivan, Azerbaijan*. Cornell Institute of Archaeology and Material Studies. Ithaca. Available at: <https://indd.adobe.com/view/2a6c8a55-75b0-4c78-8932-dc798a9012fb>
- Ayvazyan A. (1978) *Nakhijevani patmachartarapetakan hushardzannery* [Historical and Architectural Monuments of Nakhichevan]. Yerevan.
- Ayvazyan A. (1986) *Nakhijevani IKHSH haykakan hushardzannery (hamahavak' ts'uts'ak)* [Armenian monuments of Nakhichevan of the USSR (compiled list)]. Yerevan.
- Vardanyan A. (2020) Chahuk-Vayk'i mijbarbari taratsman patmakan sahmannery [The historical boundaries of the spread of the Jahuk-Vayk interdialect]. In: *G. Jahukyani tsnndyan 100-amyakin nvirvats «Ardi hayerenagitut'yan khndirneri» arrts'ants' gitazhoghovi nyut'er* [Proceedings of the online conference "Problems of Modern Armenian Studies" dedicated to the 100th anniversary of the birth of G. Jahukyan]. Yerevan.

Сведения об авторах:

ГУЛЯЕВА Евгения Юрьевна – научный сотрудник отдела Кавказа и Средней Азии, Российский этнографический музей (Санкт-Петербург, Россия). ORCID: 0000-0002-7013-2661. E-mail: guliaevaevgenia@list.ru

АНДРЕЕВА Юлия Олеговна – кандидат исторических наук, независимый исследователь (Санкт-Петербург, Россия). ORCID: 0000-0002-5704-4034. E-mail: julia.o.andreeva@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Evgenia Yu. Guliaeva, Russian Museum of Ethnography (St. Petersburg, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-7013-2661. E-mail: guliaevaevgenia@list.ru

Julia O. Andreeva, Independent researcher (St. Petersburg, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-5704-4034. E-mail: julia.o.andreeva@gmail.com

The authors declare no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 14 июня 2025;
принята к публикации 9 августа 2025.*

*The article was submitted 14.06.2025;
accepted for publication 09.08.2025.*

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная статья
УДК 393, 902
doi: 10.17223/2312461X/49/8

Возможности и перспективы применения КТ и микро-КТ в археологических исследованиях

Екатерина Николаевна Бочарова¹
Дарья Валерьевна Кожевникова²
Ксения Анатольевна Колобова³

^{1, 2, 3} *Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия*

¹ *bocharova.e@gmail.com*

² *kozhevnikovadarya@yandex.ru*

³ *kolobovak@yandex.ru*

Аннотация. Компьютерная томография (КТ) и микрокомпьютерная томография (микро-КТ, μ СТ) в настоящий момент являются одними из наиболее продуктивных и перспективных методов неинвазивного анализа артефактов. Они позволяют сохранять археологические объекты, реконструировать, изучать их внутреннюю структуру, визуализировать недоступные при анализе оригинальных артефактов внутренние части, вложения и повреждения объектов без их физического разрушения. Однако в результате недостатков и ограничений метода, КТ достаточно редко используется в практике отечественных или русскоязычных археологических исследований. К недостаткам относятся дороговизна и относительная редкость оборудования, особенно промышленных микротомографов для сканирования образцов в высоком разрешении; необходимость обучения и практики использования оборудования и программного обеспечения для постобработки изображений. Среди ограничений метода следует указать значительную длительность сканирования и большой размер результативных файлов, что делает крайне сложным исследование массового археологического или палеонтологического материала. При этом в практике зарубежных археологических исследований КТ используется активно, что обуславливает необходимость заимствования полезного опыта. В предлагаемой работе обсуждаются возможности метода КТ для исследования археологических артефактов из различных материалов и периодов. КТ активно используется для исследования артефактов из кости, рога, зубов, камня, керамики, металла, стекла, текстиля, папируса, при изучении рукописей, настенных росписей, фресок, картин и т.д. КТ может использоваться как неразрушающий инструмент оценки возраста и периодов стресса по дентину человека и животных, а также служить инструментом для оценки качества коллагена в костях.

Ключевые слова: компьютерная томография, компьютерная микротомография, костяные и каменные орудия, предметы мобильного искусства, керамика, артефакты из металла, текстиль, стекло

Благодарности: исследование выполнено в рамках проекта № FWZG-2025-0007 «Применение цифровых технологий при анализе археологических источников и реконструкции истории древнейших сообществ».

Для цитирования: Бочарова Е.Н., Кожевникова Д.В., Колобова К.А. Возможности и перспективы применения КТ и микро-КТ в археологических исследованиях // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 152–173. doi: 10.17223/2312461X/49/8

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/8

Possibilities and Prospects of CT and Micro-CT Applications in Archaeological Research

Ekaterina N. Bocharova¹, Darya V. Kozhevnikova²,
Ksenya A. Kolobova³

^{1, 2, 3} *Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation*

¹ *bocharova.e@gmail.com*

² *kozhevnikovadarya@yandex.ru*

³ *kolobovak@yandex.ru*

Abstract. Computed tomography (CT) and computed micro-tomography (micro-CT, μ CT) are currently among the most productive and promising methods of non-invasive artefact analysis. These techniques have enabled the non-destructive preservation of archaeological objects, as well as their reconstruction, study of the internal structure and visualization of internal components, inclusions and damage without the destruction of the object. However, due to the inherent limitations of the method, CT is seldom employed in the context of archaeological research conducted within Russian-speaking communities. The drawbacks inherent to the method include the considerable expense and relative infrequency of the requisite equipment, particularly industrial micro-CT scanners, necessary for the scanning of samples at high resolution. Furthermore, there is a requirement for training and experience in the utilization of both equipment and software for the post-processing of scans. The method's limitations should be specified, including the significant duration of the scanning process and the large size of the resultant files. These factors render the study of mass archaeological or paleontological material extremely difficult. However, CT is actively employed in the practice of foreign archaeological research, which necessitates the borrowing of useful experience. The proposed paper discusses the possibilities of the CT method for the study of archaeological artefacts from different materials and periods. CT is actively used for the study of artefacts made of bone, horn, teeth, stone, ceramics, metal, glass, textiles, and papyrus; in the study of manuscripts, wall paintings, frescoes, paintings, etc. Notably, the CT method can be employed as a non-destructive tool for assessing age and stress periods on human and animal dentin, as well as a tool for assessing the quality of collagen in bone.

Keywords: computed tomography, micro-computed tomography, bone and stone tools, mobile art, ceramics, metal artefacts, textiles, glass

Acknowledgments: The research was carried out as part of the project No. FWZG-2025-0007 “The Application of Digital Technologies in the Analysis of Archaeological Data and the Reconstruction of the Ancient History”.

For citation: Bocharova, E.N., Kozhevnikova, D.V. & Kolobova, K.A. (2025) Possibilities and Prospects of CT and Micro-CT Applications in Archaeological Research. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 152–173 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/8

Введение

Внедрение новых технологий в археологические исследования требует удовлетворения нескольких условий: 1) обеспечение доступа ученых к новому, обычно дорогостоящему оборудованию; 2) обучение исследователей практическому использованию оборудования и сотрудничество со специалистами, ответственными за эксплуатацию оборудования; 3) понимание, какой научный результат может быть получен при использовании нового оборудования. Часто встречаются ситуации, когда научные организации приобретают приборы, не располагая специалистами, которые могут на них работать. С другой стороны, даже при наличии такого специалиста, обычно технического или естественно-научного профиля, умеющего работать с оборудованием, но не имеющего опыта исследований археологического материала, достаточно сложно определиться с точными целями и задачами исследования.

С подобными трудностями сталкивается практически каждый метод, внедряемый в практику археологических исследований. Так, например, трехмерное моделирование посредством фотограмметрии или сканеров структурированного подсвета до разработки основного инструментария метода исследования артефактов, воспринималось и использовалось как новый способ создания качественных иллюстраций (Грушин, Сосновский 2018). В лучшем случае трехмерные модели использовались как аналоги артефактов, на которых производились метрические измерения (McPherron et al. 2009). По мере развития специальных инструментов исследования археологических образцов стали очевидны возможности трехмерного моделирования. Они включают определение функций археологических артефактов, возможность измерений, которые невозможно провести на самом артефакте, комплексное сравнение форм артефактов и т.д., что в конечном итоге ведет к реконструкции моделей трудового поведения и жизнеобеспечивающих стратегий (Шалагина и др. 2020; Kolobova et al. 2019; Kolobova et al. 2020; Kolobova et al. 2022).

В настоящий момент методы компьютерной томографии (здесь и далее – КТ) и компьютерной микротомографии (здесь и далее – микро-КТ) также находятся практически на начальном этапе своего применения

в отечественной археологии, когда большинство русскоязычных исследователей знают о них, но не осведомлены обо всех возможностях и способах применения. В результате такой ситуации методы очень редко применяются в практике исследований. Целью предлагаемой статьи является обзор возможностей методов КТ и микро-КТ применительно к разным типам археологических артефактов. Для демонстрации возможностей метода в статье приведено несколько примеров его использования на разновременных археологических объектах и верхнеплейстоценовом палеоантропологическом образце.

Метод

Томография – получение послойного изображения внутренней структуры объекта. Рентгеновская КТ предназначена для исследования внутренних структур объектов с помощью рентгеновского излучения, находя применение в медицине, археологии и материаловедении. Микро-КТ – разновидность рентгеновской компьютерной томографии, которая обеспечивает значительно более высокое пространственное разрешение послойных изображений объекта исследования, вплоть до микрометров (менее 1 мкм в некоторых системах) (Elliott, Dover 1982). КТ и микро-КТ широко используются для исследования практически всех видов артефактов, позволяя выявлять внутренние структуры, трещины и следы обработки (Uda et al. 2005; Jansen et al. 2006). Среди существующих томографических методов (магнитно-резонансная томография, нейтронная томография и оптическая когерентная томография) КТ наиболее распространена для исследования археологических образцов.

Основным оборудованием в процессе исследования методом КТ (и микро-КТ) является компьютерный томограф – это прибор, использующий рентгеновское излучение для послойного сканирования объектов. Он состоит из рентгеновской трубки, детекторов, вращающихся вокруг объекта, и компьютерной системы, обрабатывающей полученные данные и создающей трехмерные изображения. Эти изображения, представленные в виде тонких срезов, объединяются в трехмерную модель, которая делает возможным исследование структуры объекта в мельчайших деталях.

Процесс компьютерной томографии включает два основных этапа: сканирование и реконструкция изображения. На первом этапе происходит сканирование объекта с использованием рентгеновского излучения (или другого вида излучения, в зависимости от метода томографии). На втором этапе проводится реконструкция изображения, в процессе которого полученные данные преобразуют в детализированные послойные изображения или трехмерную модель внутренней структуры объекта.

Для иллюстрации примеров использования метода была проведена микро-КТ на базе системы микротомографии высокого разрешения «Продис. Компакт» (модель 1215CG). Данная система предназначена для получения, обработки и хранения цифровых рентгеновских изображений, формируемых источником ионизирующего излучения. Система оснащена плоскопанельным детектором, который регистрирует рентгеновские изображения, и программным обеспечением «ПРОДИС.КОМПАКТ» (версия 1.3.20230802.02664F017, сокращенно ПО proDIS). Данное ПО позволяет получать цифровые радиографические снимки, обрабатывать и сохранять их в базе данных, а также управлять источником рентгеновского излучения и системой перемещения объекта. Основные характеристики детектора: рабочее поле 110 × 140 мм, разрешение 1690 × 2150 пикселей, размер пикселя не более 65 мкм, пространственная разрешающая способность 7 пар лин./мм, энергетический диапазон 10–300 кВ, базовое пространственное разрешение (IQI) не менее D11. Сбор данных проводился с использованием рентгеновской нанофокусной трубки напряжением 100 кВ и параметрами пучка 70 кВ и 400 мкА для всех трех объектов. Сканирование выполнялось при кубических размерах вокселей 45,48 мкм для вкладышевого орудия, 23,46 мкм для зуба и 31,16 мкм для бусины. Было снято 3 600 проекций на 360°. Визуализация и первичная обработка реконструированных томографических данных выполнены в программе «Визуализатор ПРОДИС» (версия 1.3.2). Сегментация материалов, анализ изображений и объемный рендеринг проводились с использованием программного пакета 3D Slicer (версия 5.6.2) (Fedorov et al. 2012) с дополнительным расширением SlicerMorph (Rolfe et al. 2021).

В результате возможности расчета плотности материалов, из которых изготовлены артефакты, при проведении КТ становится возможной процедура сегментации – это процесс присвоения меток вокселям в трехмерных изображениях. В результате сегментации изображение разбивается на части, соответствующие материалам с разной плотностью. Части с разной плотностью можно обособить друг от друга и анализировать отдельно. В данном исследовании сегментирование выполнено в программном пакете 3D Slicer (Fedorov et al. 2012). В исследованиях археологических артефактов, особенно композитных, сегментация является одной из наиболее востребованных процедур.

Материалы

Первая КТ мумии была проведена в 1977 г. в Королевском музее Онтарио (Канада) (Сох 2015). Эту дату можно считать началом использования метода в антропологии и археологии. В работе намеренно не приводятся примеры применения КТ в антропологии, поскольку применение

метода в этой области имеет, скорее, естественно-научную направленность, и уже накоплен значительный объем исследований, который не может войти в рамки статьи. В отличие от археологии, применение КТ в антропологии уже широко распространено в отечественных исследованиях.

Артефакты и образцы из кости и рога. КТ открывает доступ к изучению внутренней структуры костей и костяных орудий (Bradfield 2013; Bradfield et al. 2016; Baumann et al. 2023; Li et al. 2020; Orłowska et al. 2023). В исследовании Д. Брэдфилда экспериментальные образцы подвергались нагрузкам, аналогичным тем, что могли испытывать археологические орудия, включая проколы шкур, удары и постдепозиционные повреждения. Микро-КТ позволила визуализировать микротрещины и определить их антропогенное или естественное происхождение. Результаты показали, что определенные трудовые операции создают характерные микроструктурные повреждения, что может служить одним из методов определения функций древних костяных орудий (Bradfield 2013; Bradfield 2016). Анализ среднепалеолитических костяных орудий со стоянки Ше-Пино (Франция) методом микро-КТ позволил выявить структурные изменения, связанные с их использованием, и определить силу, направление ударов и характер эксплуатации этих предметов (Baumann et al. 2023).

Помимо орудий из кости, КТ используется и для детального изучения структуры и следов обработки предметов неутилитарного значения. Этот метод позволил получить высокоточные 3D-изображения верхнепалеолитической фигурки птицы, найденной на стоянке Линцзин в Китае, и проанализировать технологию ее изготовления. Томография показала, что фигурка возрастом 13,5 тыс. л. была вырезана из фрагмента эпифиза кости млекопитающего, который подвергли нескольким этапам обработки в процессе формообразования (Li et al. 2020).

Также КТ обеспечивает возможность исследования предметов из рога. Анализ послойных изображений среднепалеолитического рогового отбойника из микокской пещеры Бичник (Польша) выявил значительный износ, многочисленные вмятины, надрезы и внутренние трещины. Сравнение с экспериментальными образцами показало, что следы износа характерны для инструментов, использовавшихся при обработке камня (Orłowska et al. 2023).

Как неразрушающий метод КТ может использоваться для предварительной оценки костей перед радиоуглеродным анализом на предмет сохранности коллагена. Исследования показали, что пористость кортикальной кости – процент от общего объема кости, состоящий из пустого пространства, рассчитанный с помощью анализа снимков, может служить косвенным показателем сохранности костного коллагена. Первоначально эти данные были получены для костей крупного рогатого скота

и овец (Tripp et al. 2010), а затем метод начал применяться к человеческим останкам (Beck et al. 2012; Tripp et al. 2018). До применения КТ все методы оценки сохранности коллагена были деструктивными.

На основе метода микро-КТ был опробован неразрушающий способ определения возраста животных/индивидов по инкрементным линиям в дентине зубов, не требующий обычного для таких исследований разрушения образцов. Первоначально метод оценки возраста по слоистым структурам зубов использовался в зоологии для определения возраста и сезона смерти животных, а позднее был адаптирован для исследования человеческих зубов. Микро-КТ изображения позволяют проводить автоматизированный анализ толщины слоев для определения возраста и выявления стрессовых периодов в жизни человека (Tanner et al. 2021; Müller et al. 2022). Такое исследование находится на стыке антропологии, популяционной статистики и археологии, поскольку в качестве стрессовых периодов фиксируются эпизоды голода, болезни и беременности.

Изделия из камня. Протокол StyroStone для 3D-сканирования каменных артефактов с использованием микро-КТ и лазерных сканеров позволил значительно ускорить и улучшить процесс цифровой обработки каменных орудий. С помощью микро-КТ удалось отсканировать 220 артефактов за один сеанс с высокой точностью, что позволило получить детальные трехмерные модели, которые сохранили острые углы и мелкие детали. В процессе не возникло проблем с полупрозрачными зонами, которые сложно фиксировать 3D-сканерами. Сравнение результатов микро-КТ с результатами лазерного сканирования показало схожую точность, что подтверждает надежность метода (Göldner et al. 2022).

Микро-КТ использовалась для анализа повреждений, возникающих на экспериментальных кварцевых орудиях в результате их применения в качестве наконечников стрел и копий. Метод позволил получить детальные трехмерные данные и выявить на 33% больше повреждений по сравнению с визуальным исследованием макроследов с бинокуляра. Несмотря на то, что эти дополнительные данные не изменили основных интерпретаций, они повысили точность измерений и статистическую значимость различий между разными типами дистанционного вооружения (Pargeter et al. 2017).

Изделия из керамики. Керамика также является подходящим для КТ объектом, поскольку метод визуализирует внутренние микротрещины, слои, технологические особенности и температуру обжига (Kahl, Ramming 2012; McKenzie-Clark, Magnussen 2014; Гурьева и др. 2023; Журавлев и др. 2024). Микро-КТ применили для изучения микроструктуры керамических фрагментов со стоянки Гамбург-Боберг-15 (мезолит-неолит, Северная Германия). Были определены органические остатки, которые полностью сгорели в процессе обжига, но оставили пустоты в тесте, а также изучены минеральные примеси в глине. Помимо этого,

анализ пористости материала (ориентация пор в тесте сосуда) позволил определить технику формовки сосудов (Kahl, Ramminger, 2012).

В российских исследованиях метод КТ уже используется при изучении особенностей производства керамических сосудов (например, Гурьева и др. 2023; Журавлев и др. 2024). По мнению В.Г. Ломана, применение КТ при анализе керамики дает возможность оценивать плотность различных участков, точно измерять размеры отдельных элементов, включая минеральные примеси, и определять метрические параметры сосуда, а также строить виртуальные сечения сосудов в любой плоскости (Ломан 2020). В другом отечественном исследовании проведена КТ скульптурного изображения головы мужчины, найденного на дне Керченской бухты. Исследования терракотовой скульптуры позволили установить, что изделие было создано методом скульптурной лепки с последовательным добавлением профильных деталей. Кроме того, КТ выявила внутренние пустоты и щели, не совпадающие с рельефом поверхности, а также наличие свинцового напыла, свидетельствующего о креплении изделия к основе (Ковальчук и др. 2020).

Изделия из металла. КТ позволяет выявлять особенности и дефектыковки, а также реконструировать процессы инкрустации и коррозии в металлических артефактах (Re et al. 2015; Stelzner et al. 2016; Зайцева и др. 2023). Исследование комплекса из 100 мечей из раннесредневекового клада из Лауххайм (Германия) показало, что КТ помогает быстро и точно документировать особенности мечей, включая текстурыковки. Анализ позволил выявлять ключевые характеристики клинка, такие как узорное сваривание, железные вставки и переход сварных прутьев в хвостовик (Stelzner et al. 2016). С помощью томографии восстановлена последовательность технологических операций, применявшихся для изготовления серебряных браслетов из Исадского клада (конец XI – начало XII в. н.э.). Было установлено, что браслеты сделаны из плетеных жгутов с напаянными по концам пластинчатыми коваными площадками, на которых при помощи расклепанных шпенокков прикреплены литые выпуклые наконечники (Зайцева и др. 2023).

Использование неразрушающей КТ позволяет идентифицировать металлические предметы с сильной коррозией, например кресты, монеты и зеркала (Bozzini et al. 2014; Smeriglio et al. 2023). Исследование римских монет из Грота делле Нинфе (Италия), покрытых толстым слоем коррозии, было направлено на попытку восстановления надписей. С помощью рентгенофлуоресцентного анализа и микро-КТ удалось определить состав металла монет и восстановить скрытые надписи. Благодаря этому установлено, что монеты относятся к периоду от 7 г. до н.э. до 101 г. н.э. (Smeriglio et al. 2023).

Изделия из стекла. Древние стеклянные изделия часто имеют сложную внутреннюю структуру, которую практически невозможно исследовать традиционными методами. Применение КТ позволяет фиксировать пузыри воздуха, включения и другие дефекты (Jansen et al. 2006; Nykonenko et al. 2023; Liao et al. 2024). КТ применена для анализа предметов, обнаруженных в римском захоронении у города Бохольц (Германия), включая стекло и металл. При анализе артефактов в настолько плохой сохранности, что их невозможно было извлечь из грунта, исследователи применили метод микро-КТ для предварительно извлеченных блоков грунта с артефактами внутри, в результате чего удалось точно идентифицировать все объекты. Микро-КТ позволила определить форму, количество и расположение в погребальной камере стеклянных тарелок, мисок, бутылок и кувшинов, а также бронзовых и серебряных столовых приборов (Jansen et al. 2006).

Микро-КТ используется для анализа состава и технологии производства стеклянных бусин (Yang et al. 2013; Cheng et al. 2019; Nykonenko et al. 2023; Liao et al. 2024), в том числе древнекитайских типа «глаз стрекозы». Эти бусины были найдены в гробницах Шэньминпу в провинции Хэнань (475–221 гг. до н.э.), а также в захоронениях могильника Шампула в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (IV в. н.э.) (Китай). Было установлено, что они создавались методом инкрустации одного типа стекла в другой, что стало важным шагом в реконструкции процесса их изготовления (Cheng et al. 2019). Мануальное сегментирование КТ изображений бусин позволило определить различные варианты их производства. Были определены «одинарный» и «двойной зрачок», т.е. бусины, созданные путем однократной или двукратной инкрустации. Сегментирование оказалось крайне трудоемким процессом, в результате чего был предложен автоматизированный метод сегментации и 3D-реконструкции на основе машинного обучения (Liao et al. 2024).

Изделия из дерева. КТ и микро-КТ позволяют идентифицировать породы дерева по фрагментам образцов, углям и коре. Анализ ростовых колец внутри образцов позволяет проводить неразрушающее датирование (например, Bill et al. 2012; Stelzner, Million 2015; Kimball et al. 2024). Метод также применим для анализа плетеных изделий (Andonova 2021).

Текстиль. КТ позволяет изучать сохранившиеся ткани без необходимости физического вмешательства. Это особенно важно для текстиля, который сохранился в сложных условиях (например, в мумиях). Томография помогает исследовать тип плетения, плотность волокон, толщину нитей, а также выявлять возможные следы красителей и других типов обработки (Serrano et al. 2021; Iacconi et al. 2023; Karjalainen et al. 2023; Lipkin et al. 2023; Шишлина и др. 2024).

Исследование фрагмента шелкового текстиля из средневекового захоронения могильника Манджикины-2 (середина XIII в. н.э., Калмыкия)

позволило воссоздать золотые нити в переплетении и уточнить элементы исходного орнамента (Шишлина и др. 2024). В погребениях Вальмаринниemi (XIII–XIV вв. н.э., Финляндия) были обнаружены самые ранние находки из хлопка в регионе, определение и анализ структуры которого обеспечила КТ. С помощью КТ (сегментация модели) было проведено виртуальное удаление загрязнений с текстиля, благодаря чему был реконструирован узор тканого пояса (Lipkin et al. 2023).

Папирусы. Ценные научные результаты были получены при исследовании артефактов, которые невозможно исследовать традиционными методами ввиду их плохой сохранности. Свитки папирусов, найденные на стоянке Вилла Папирусов в Геркулануме (79 г. н.э., Италия), были обуглены, что делало их крайне хрупкими, а попытки открытия часто приводили к разрушению. Фазово-контрастная рентгеновская томография позволила ученым «виртуально развернуть» свитки, не повреждая их. Этот метод помог исследователям впервые расшифровать значительные фрагменты древнегреческих текстов, включая произведения философа-эпикурейца Филодема из Гадары (Mocella et al. 2015; Tack et al. 2016; Parsons et al. 2023).

Применение КТ помогает исследователям выявлять скрытые слои и изображения в рукописях, настенных росписях, фресках, картинах и других предметах искусства, следы закрашивания или повреждений (например, Friml et al. 2014; Re et al. 2015; Sallam et al. 2019; Bossema et al. 2024).

Композитные артефакты или образцы с артефактами внутри. КТ позволяет различать на послойных изображениях материалы с разной плотностью, что делает этот метод незаменимым при исследовании образцов, состоящих из разного сырья, либо артефактов, включающих внутри себя другие объекты, иногда неожиданные для исследователей.

Изучение «ледяного человека» Этци, найденного в Альпах (граница Австрии – Италии, 5300 л.н. по ^{14}C) показало, что он погиб от ранения стрелой – наконечник был обнаружен между грудной клеткой и левой лопаткой (Murphy et al. 2003). С помощью КТ были изучены мумии крокодилов, которые создавались в качестве жертвенных подношений, обнаруженные в гробнице в Куббат аль-Хава (Египет). КТ позволила выявить внутри одного из крокодилов рыболовный крючок, что, возможно, стало причиной его смерти (McKnight et al. 2024).

КТ используется для неразрушающего изучения вложенных предметов. Данные томографии позволили визуализировать внутреннюю структуру клада монет в керамическом сосуде из Йоркшира (Великобритания), определить взаимное расположение монет и идентифицировать скрытые экземпляры без их извлечения. Все монеты были сегментированы и идентифицированы: серебряные денарии, датированные периодом с 3 г. до н.э. по 181 г.

н.э. Впоследствии сотрудники Британского музея извлекли монеты, подтвердив их идентификацию, выполненную ранее с помощью КТ (Miles et al. 2016). Подобным примером являются неолитические костяные игольники из Верховенского могильника (Прибайкалье) с сохранившимися рыхлыми отложениями внутри. Микро-КТ продемонстрировала наличие внутри игольников костяных игл, чье положение, параллельно стенкам игольников, свидетельствует об использовании кожаных шнурков при использовании и транспортировке. Подобный способ зафиксирован на памятниках железного века и в современной этнографии Северо-Восточной Азии (Kozhevnikova et al. 2025).

Примеры применения КТ для исследования археологических артефактов

Одним из наиболее удобных для демонстрации метода типов артефактов являются композитные орудия, состоящие из каменных вкладышей, вложенных в костяную или роговую рукоять (Казачка-1, Красноярский край, граница плейстоцен-голоцена) (рис. 1. *А*). При исследовании использовался метод пороговой сегментации, позволяющий выделить материалы разной плотности. В случае значительной разницы плотностей объектов используются автоматические инструменты, но при подобной друг другу плотности материалов может потребоваться дополнительная ручная корректировка границ. Для составного орудия со стоянки Казачка-1 было успешно выполнено сегментирование вкладышей из костяной рукояти (рис. 1, 2–3). Программный пакет 3D Slicer автоматически выделил две области: кость и камень, однако пустое пространство паза также было определено как часть объекта. Далее в ручном режиме были уточнены границы каждого из четырех вкладышей. В результате экспортированы трехмерные модели вкладышей и одна модель костяной основы с пустым пазом. Необходимые измерения можно проводить встроенными инструментами в программах для анализа КТ-изображений или для работы с 3D-моделями. При необходимости виртуальные артефакты можно распечатать и работать с физическими копиями (Бочарова и др. 2025).

Вторым примером для демонстрации возможности КТ с целью исследования невидимых полостей был взят нижний правый премоляр неандертальца из комплекса Чагырской пещеры (60 тыс. л.н., Алтай) с асимметричной стертой коронкой. Внутренний канал премоляра хорошо виден на скане (рис. 2, *А*).

В качестве третьего примера была взята бусина из сердолика из могильника Усть-Эдиган (гунно-сарматское время, Горный Алтай) (рис. 2, *Б*). Особый интерес для данной категории находок имеет внутреннее отверстие, которое хорошо визуализируется на КТ-изображениях и виртуальной модели.

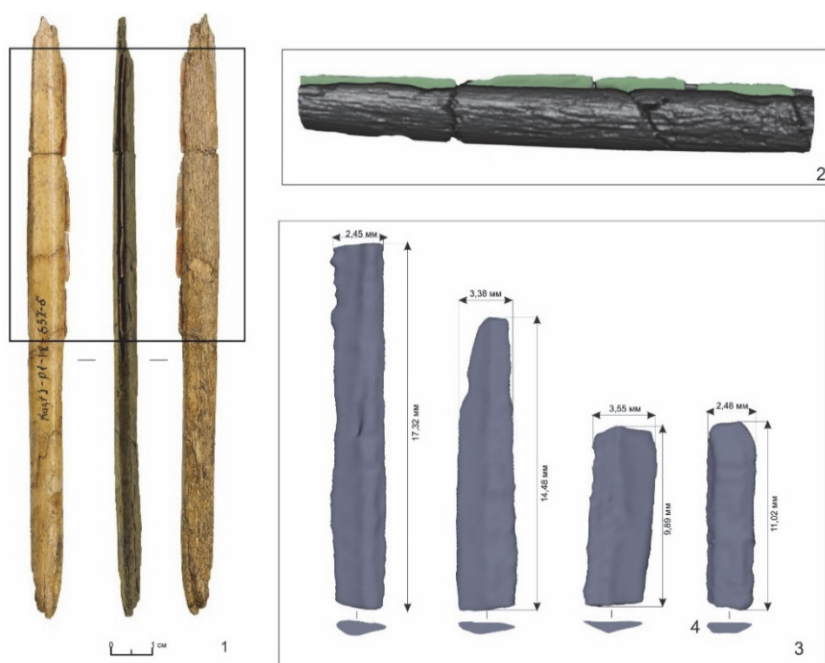


Рис. 1. Составное пазовое орудие со стоянки Казачка (ранний голоцен, Красноярский край): 1 – общий вид, фото; 2 – процесс сегментации каменных вкладышей в костяной рукояти; 3 – сегментированные каменные вкладыши, 3D-модели

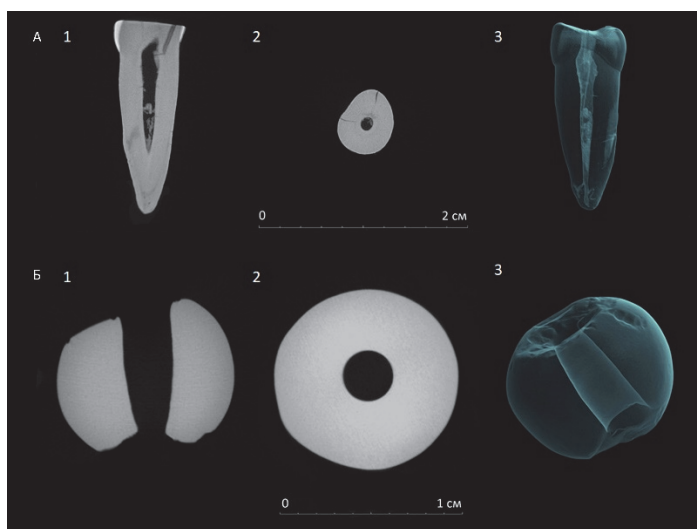


Рис. 2. Изображения, полученные в результате КТ:
 А – нижний правый премоляр неандертальца из комплекса Чагырской пещеры (60 тыс. л.н., Алтай); Б – бусина из сердолика из могильника Усть-Эдиган (гунно-сарматское время, Горный Алтай):
 1 – срез вдоль, 2 – срез поперек, 3 – 3D-модель

Данный метод позволяет рассчитать объем внутреннего отверстия и реконструировать процесс его производства. Такое длинное и узкое отверстие невозможно визуализировать методами трехмерного моделирования.

Заключение

Компьютерная томография является относительно новым инструментом для анализа археологических артефактов, который предоставляет исследователям недоступные ранее возможности для неинвазивных исследований. Традиционные методы анализа текстиля для идентификации волокон, дентина для определения сезонности смерти, оценки качества коллагена, состава керамики и металлических изделий требуют физического вмешательства и иногда даже уничтожения артефактов. Одним из главных преимуществ компьютерной томографии является высокая точность, особенно при использовании микрофокусной томографии, которая позволяет выявлять мельчайшие детали, такие как микроповреждения. Технология трехмерной реконструкции КТ-изображений создает высококачественные цифровые модели, что частично дублирует функции фотограмметрии и трехмерного моделирования. Однако трехмерное сканирование или фотограмметрия не предоставляют доступ к внутренней структуре артефактов. Сегментация, которую можно выполнить только на основе КТ-изображений, является наиболее многообещающим направлением исследования композитных или сложных артефактов.

Перспективы развития метода связаны с автоматизацией анализа при помощи машинного обучения, это позволит значительно ускорить обработку данных и повысить ее точность. Интеграция КТ с химическими и спектроскопическими методами откроет новые возможности для исследования состава артефактов, а усовершенствованные алгоритмы реконструкции позволят точнее восстанавливать утраченные части древних объектов и моделировать их использование. Важным направлением остается создание общедоступных 3D баз данных артефактов, что способствует развитию науки и образования.

Список источников

- Бочарова Е.Н., Кожевникова Д.В., Колобова К.А. Метод компьютерной микротомографии для изучения составных пазовых орудий // *Stratum Plus*. 2025. № 1. С. 285–300. doi: 10.55086/sp251285300
- Грушин С.П., Сосновский И.А. Фотограмметрия в археологии – методика и перспективы // *Теория и практика археологических исследований*. 2018. Т. 21, № 1. С. 99–105. doi: 10.14258/tpai(2018)1(21).-08
- Гурьева П.В., Журавлев Д.В., Коваленко Е.С., Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б. Фигурный сосуд в виде пантеры из Пантикапея – взгляд вовнутрь // *Археологические вести*. 2023. № 41. С. 180–188. doi: 10.31600/1817-6976-2023-41-180-188

- Журавлев Д.В., Гурьева П.В., Коваленко Е.С., Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б. Кипрские фигурные сосуды эпохи бронзы из собрания Государственного исторического музея: взгляд внутрь // Вестник древней истории. 2024. Т. 84, № 2. С. 275–299. doi: 10.31857/S0321039124020027
- Зайцева И.Е., Коваленко Е.С., Гурьева П.В., Мандрыкина А.В., Кондратьев О.А., Исмагулов А.М., Подурец К.М., Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б. Три браслета из Исадского клада 2021 г.: технология изготовления и состав металла // КСИА. 2023. № 272. С. 356–376. doi: .25681/IA5A6.0130-2620.272.356-376
- Ковальчук М.В., Яцишина Е.Б., Макаров Н.А., Грешиников Э.А., Анциферова А.А., Гунчина О.Л., Кашикарв П.К., Коваленко Е.С., Мурашев М.М., Ольховский С.В., Подурец К.М., Тимеркаев В.Б. Томографические исследования терракотовой головы из Керченской бухты // Кристаллография. 2020. Т. 65, № 5. С. 832–838. doi: 10.31857/S0023476120050124
- Ломан В.Г. Рентгеновская компьютерная томография в изучении древних керамических сосудов // КСИА. 2020. Вып. 259. С. 425–435. doi: 10.25681/IARAS.0130-2620.259.425-434
- Шалагина А.В., Колобова К.А., Чистяков П.В., Кривошапкин А.И. Применение трехмерного геометрико-морфометрического анализа для изучения артефактов каменного века // Stratum plus. 2020. № 1. С. 343–358.
- Шишлина Н.И., Орфинская О.В., Леонова Н.В., Лобода А.Ю., Коваленко Е.С., Гурьева П.В., Кондратьев О.А., Кожухова Е.И., Мандрыкина А.В., Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б. Новые подходы к анализу средневекового текстиля методами исторического материаловедения // КСИА. 2024. Вып. 276. С. 312–327. doi: 10.25681/IA5A6.0130-2620.276.312-327
- Andonova M. Ancient basketry on the inside: X-ray computed microtomography for the non-destructive assessment of small archaeological monocotyledonous fragments: examples from Southeast Europe // Heritage Science. 2021. Vol. 9: 158. doi: 10.1186/s40494-021-00631-z
- Baumann M., Plisson H., Maury S., Renou S., Coqueugniot H., Vanderesse N., Kolobova K., Shmaider S., Rots V., Gue'rin G., Rendu W. On the Quina side: A Neanderthal bone industry at Chez-Pinaud site, France // PLoS ONE. 2023. № 18 (6): e0284081. doi: 10.1371/journal.pone.0284081
- Beck L., Cuif J.-P., Pichon L., Vaubailion S., Dambricourt Malassé A., Abel R.L. Checking collagen preservation in archaeological bone by non-destructive studies (Micro-CT and IBA) // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2012. № 273. P. 203–207. doi: 10.1016/j.nimb.2011.07.076
- Bill J., Daly A., Johnsen Ø., Dalen K.S. DendroCT – dendrochronology without damage // Dendrochronologia. 2012. Vol. 30, № 3. P. 223–230. doi: 10.1016/J.DENDRO.2011.11.002
- Bossemma F.G., Palenstijn W.J., Heginbotham A., Corona M., van Leeuwen T., van Liere R., Dorscheid J., O'Flynn D., Dyer J., Hermens E., Batenburg K.J. Enabling 3D CT-scanning of cultural heritage objects using only in-house 2D X-ray equipment in museums // Nature Communications. 2024. Vol. 15 (1): 3939. doi: 10.1038/s41467-024-48102-w
- Bozzini B., Gianoncelli A., Mele C., Siciliano A., Mancini L. Electrochemical reconstruction of a heavily corroded Tarentum hemibolus silver coin: a study based on microfocus X-ray computed microtomography // Journal of Archaeological Science. 2014. Vol. 52. P. 24–30. doi: 10.1016/j.jas.2014.08.002
- Bradfield J. Fracture analysis of bone tools: a review of the micro-CT and macrofracture methods for studying bone tool function // Close to the bone: current studies in bone technologies / ed. by S. Vitezovic. Belgrade, 2016. P. 71–79.
- Bradfield J. Investigating the potential of micro-focus computed tomography in the study of ancient bone tool function: results from actualistic experiments // Journal of Archaeological Science. 2013. Vol. 40, № 6. P. 2606–2613. doi: 10.1016/j.jas.2013.02.007

- Bradfield J., Hoffman J., De Beer F. Verifying the potential of micro-focus X-ray computed tomography in the study of ancient bone tool function // *Journal of Archaeological Science: Reports*. 2016. Vol. 5. P. 80–84. doi: 10.1016/j.jasrep.2015.11.001
- Cheng Q., Zhang X., Guo J., Wang B., Lei Y., Zhou G., Fu Y. Application of computed tomography in the analysis of glass beads unearthed in Shanpula cemetery (Khotan), Xinjiang Uyghur Autonomous Region // *Archaeological and Anthropological Science*. 2019. Vol. 11 (1). P. 937–945. doi: 10.1007/s12520-017-0582-6
- Cox S.L. A critical look at mummy CT scanning // *The Anatomical Record*. 2015. № 298. P. 1099–1110. doi: 10.1002/ar.23149
- Elliott J.C., Dover S.D. X-ray microtomography // *Journal of Microscopy*. 1982. Vol. 126 (2). P. 211–213. doi: 10.1111/j.1365-2818.1982.tb00376.x
- Fedorov A., Beichel R., Kalpathy-Cramer J., Finet J., Fillion-Robin J.-C., Pujol S., Bauer C., Jennings D., Fennessy F.M., Sonka M., Buatti J., Aylward S. R., Miller J.V., Pieper S., Kikinis R. 3D Slicer as an image computing platform for the quantitative imaging network // *Magnetic Resonance Imaging*. 2012. Vol. 30 (9). P. 1323–1341. doi: 10.1016/j.mri.2012.05.001
- Friml J., Procházková K., Melnyk G., Zikmund T., Kaiser J. Investigation of Cheb relief intarsia and the study of the technological process of its production by micro computed tomography // *Journal of Cultural Heritage*. 2014. Vol. 15 (6). P. 609–613. doi: 10.1016/j.culher.2013.12.006
- Göldner D., Karakostis F.A., Falcucci A. Practical and technical aspects for the 3D scanning of lithic artefacts using micro-computed tomography techniques and laser light scanners for subsequent geometric morphometric analysis. Introducing the StyroStone protocol // *PLoS ONE*. 2022. № 17 (4): e0267163. doi: 10.1371/journal.pone.0267163
- Iacconi C., Autret A., Desplanques E., Chave A., King A., Fayard B., Moulherat C., Leccia É., Bertrand L. Virtual technical analysis of archaeological textiles by synchrotron microtomography // *Journal of Archaeological Science*. 2023. Vol. 149: 105686. doi: 10.1016/j.jas.2022.105686
- Jansen R.J., Poulus M., Kottman J., de Groot T., Huisman D.J., Stoker J. CT: A new nondestructive method for visualizing and characterizing ancient Roman glass fragments in situ in blocks of soil // *Radiographics*. 2006. Vol. 26, № 6. P. 1837–1844. doi: 10.1148/rg.266065079
- Kahl W.-A., Ramminger B. Non-destructive fabric analysis of prehistoric pottery using high-resolution X-ray microtomography: a pilot study on the late Mesolithic to Neolithic site Hamburg-Boberg // *Journal of Archaeological Science*. 2012. № 39 (7). P. 2206–2219. doi: 10.1016/j.jas.2012.02.029
- Karjalainen V.-P., Finnilä M.A.J., Salmon P.L., Lipkin S. Micro-computed tomography imaging and segmentation of the archaeological textiles from Valmarinniemi // *Journal of Archaeological Science*. 2023. Vol. 160:105871. doi: 10.1016/j.jas.2023.105871
- Kimball J.J.L., With R., Rødsrud C.L. A new and ‘riveting’ method: Micro-CT scanning for the documentation, conservation, and reconstruction of the Gjellestad Ship // *Journal of Cultural Heritage*. 2024. Vol. 66 (378). P. 76–85. doi: 10.1016/j.culher.2023.11.003
- Kolobova K., Kharevich V., Chistyakov P., Kolyasnikova A., Kharevich A., Markin S., Krivoschapkin A., Baumann M., Olsen J.W. How Neanderthals gripped retouchers: experimental reconstruction of the manipulation of bone retouchers by Neanderthal stone knappers // *Archaeological and Anthropological Sciences*. 2022. Vol. 14. P. 1–10. doi: 10.1007/s12520-021-01495-x
- Kolobova K., Rendu W., Shalagina A., Chistyakov P., Kovalev V., Baumann M., Kolyasnikova A., Krivoschapkin A. The application of geometric-morphometric shape analysis to Middle Paleolithic bone retouchers from the Altai Mountains, Russia // *Quaternary International*. 2020. Vol. 559 (7). P. 89–96. doi: 10.1016/j.quaint.2020.06.018
- Kolobova K.A., Fedorchenko A.Y., Basova N.V., Postnov A.V., Kovalev V.S., Chistyakov P.V., Molodin V.I. The use of 3D-modeling for reconstructing the appearance and function of

- non-utilitarian items (the case of anthropomorphic figurines from Tourist-2) // *Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia*. 2019. № 4 (47). P. 66–76. doi: 10.17746/1563-0110.2019.47.4.066-076
- Kozhevnikova D.V., Chistykov P.V., Kolobova K.A., Zotkina L.V. From neolithic to contemporary times: persistent use patterns of needle cases in Northeast Asia // *Archaeological and Anthropological Sciences*. 2025. Vol. 17, № 192. doi: 10.1007/s12520-025-02304-5
- Li Z., Doyon L., Fang H., Ledevin R., Queffelec A., Raguin E., d'Errico F. A Paleolithic bird figurine from the Lingjing site, Henan, China // *PLoS ONE*. 2020. № 15 (6): e0233370. doi: 10.1371/journal.pone.0233370
- Liao L., Cheng Q., Zhang X., Qu L., Liu S., Ma S., Chen K., Liu Y., Wang Y., Song W. Segmentation and visualization of the Shampula dragonfly eye glass bead CT images using a deep learning method // *Heritage Science*. 2024. Vol. 12: 381. doi: 10.1186/s40494-024-01505-w
- Licata M., Borgo M., Armocida G., Nicosia L., Ferioli E. New paleoradiological investigations of ancient human remains from North West Lombardy archaeological excavations // *Skeletal Radiology*. 2016. № 45. P. 323–331. doi: 10.1007/s00256-015-2266-6
- Lipkin S., Karjalainen V.-P., Puolakka H.-L., Finnälä, M.A.J. Advantages and limitations of micro-computed tomography and computed tomography imaging of archaeological textiles and coffins // *Heritage Science*. 2023. Vol. 11. P. 1–15. doi: 10.1186/s40494-023-01076-2
- McKenzie-Clark J., Magnussen J. Dual energy computed tomography for the non-destructive analysis of ancient ceramics // *Archaeometry*. 2014. № 56 (4). P. 573–590. doi: 10.1111/arc.12035
- McKnight L.M., Bibb R., Cooper F. Seeing is believing – The application of Three-Dimensional modelling technologies to reconstruct the final hours in the life of an ancient Egyptian Crocodile // *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*. 2024. № 34: e00356. doi: 10.1016/j.daach.2024.e00356
- McPherron S.P., Gernat T., Hublin J.J. Structured light scanning for high-resolution documentation of in situ archaeological finds // *Journal of Archaeological Science*. 2009. Vol. 36 (1). P. 19–24. doi: 10.1016/j.jas.2008.06.028
- Miles J., Mavrogordato M., Sinclair I., Hinton D., Boardman R., Earl G. The use of computed tomography for the study of archaeological coins // *Journal of Archaeological Science Reports*. 2016. Vol. 6. P. 35–41. doi: 10.1016/j.jasrep.2016.01.019
- Mocella V., Brun E., Ferrero C., Delattre D. Revealing letters in rolled Herculaneum papyri by X-ray phase-contrast imaging // *Nature Communications*. 2015. Vol. 6, № 1: 5895. doi: 10.1038/NCOMMS6895
- Müller B., Stiefel M., Rodgers G., Humbel M., Osterwalder M., Jackowski J. von Hotz G., Velasco Guadarrama A.A., Bunn H.T., Scheel M., Weitkamp T., Schulz G., Tanner C. Three-Dimensional Imaging and Analysis of Annual Layers in Tree Trunk and Tooth Cementum // *Conference: Bioinspiration, Biomimetics, and Bioreplication XII*. 2022. Vol. 12041:120410C. doi: 10.1117/12.2615148
- Murphy W.A., zur Nedden D., Gostner P., Knapp R., Recheis W., Seidler H. The Iceman: discovery and imaging // *Radiology*. 2003. № 226. P. 614–629. doi: 10.1148/radiol.2263020338
- Nykonenko D., Yatsuk O., Guidorzi L., Lo Giudice A., Tansella F., Cesareo L.P., Sorrentino G., Davit P., Gulmini M., Re A. Glass beads from a Scythian grave on the island of Khortytsia (Zaporizhzhia, Ukraine): insights into bead making through 3D imaging // *Heritage Science*. 2023. Vol. 11:238. doi: 10.1186/s40494-023-01078-0
- Orłowska J., Cyrek K., Kaczmarczyk G.P., Migal W., Osipowicz G. Rediscovery of the Palaeolithic antler hammer from Biskup Cave, Poland: New insights into its chronology, raw material, technology of production and function // *Quaternary International*. 2023. № 665–666 (1). P. 48–64. doi: 10.1016/j.quaint.2022.08.011

- Pargeter J., Bam L., de Beer F., Lombard M. Microfocus X-ray tomography as a method for characterising macro-fractures on quartz backed tools // *The South African Archaeological Bulletin*. 2017. Vol. 72, № 206. P. 148–155.
- Parsons S., Parker C.S., Chapman C., Seales W.B. EduceLab-scrolls: Verifiable recovery of text from Herculaneum papyri using X-ray CT // *arXiv preprint*. 2023. doi: 10.48550/arXiv.2304.02084
- Re A., Corsi J., Demmelbauer M., Martini M., Mila G., Ricci C. X-ray tomography of a soil block: a useful tool for the restoration of archaeological finds // *Heritage Science*. 2015. Vol. 3 (4). P. 1–7. doi: 10.1186/s40494-015-0033-6
- Rolfe S., Pieper S., Porto A., Diamond K., Winchester J., Shan S., Kirveslahti H., Boyer D., Summers A., Maga A. M. SlicerMorph: an open and extensible platform to retrieve, visualize and analyze 3D morphology // *Methods in Ecology and Evolution*. 2021. Vol. 12 (7). P. 1816–1825. doi: 10.1111/2041-210X.13669
- Sallam A., Hemeda S., Toprak M., Muhammed M., Hassan M., Uheida A. CT scanning and MATLAB calculations for preservation of coptic mural paintings in historic Egyptian monasteries // *Scientific Reports*. 2019. Vol. 9 (1): 3903. doi: 10.1038/s41598-019-40297-z
- Serrano A., Meijer S., van Rijn R.R., Coban S.B., Reissland B., Hermens E., Batenburg K.J., van Bommel M. A non-invasive imaging approach for improved assessments on the construction and the condition of historical knotted-pile carpets // *Journal of Cultural Heritage*. 2021. Vol. 47. P. 79–88. doi: 10.1016/j.culher.2020.09.012
- Smeriglio A., Filosa R., Crocco M. C., Vincenzo C., Formoso V., Cristoforo R., Solano B.A., Cerzoso M., Polosa A., Cerrone V., Agostino R.G. A numismatic study of Roman coins through X-ray fluorescence and X-ray computed μ -tomography analysis // *Acta IMEKO*. 2023. Vol. 12, № 4. P. 1–7. doi: 10.21014/actaimeko.v12i4.1504
- Stelzner J., Gauß F., Schuetz P. X-ray computed tomography for non-destructive analysis of early Medieval swords // *Studies in Conservation*. 2016. № 61 (2). P. 86–101. doi: 10.1179/2047058414Y.0000000157
- Stelzner J., Million S. X-ray computed tomography for the anatomical and dendrochronological analysis of archaeological wood // *Journal of Archaeological Science*. 2015. Vol. 55. P. 188–196. doi: 10.1016/J.JAS.2014.12.015
- Tack P., Cotte M., Bauters S., Brun E., Banerjee D., Bras W., Ferrero C., Delattre D., Mocella V., Vincze L. Tracking ink composition on Herculaneum papyrus scrolls: Quantification and speciation of lead by X-ray based techniques and Monte Carlo simulations // *Scientific Reports*. 2016. Vol. 6 (1). P. 20763. doi: 10.1038/srep20763
- Tanner C., Rodgers G., Schulz G., Osterwalder M., Mani-Caplazi G., Hotz G., Scheel M., Weitkamp T., Müller B. Extended-field synchrotron microtomography for non-destructive analysis of incremental lines in archeological human teeth cementum // *Conference: Developments in X-Ray Tomography XIII*. 2021. Vol. 11840: 1184019. doi: 10.1117/12.2595180
- Tripp J.A., Squire M.E., Hedges R.E.M., Stevens R.E. Use of micro-computed tomography imaging and porosity measurements as indicators of collagen preservation in archaeological bone // *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*. 2018. № 511. P. 462–71. doi: 10.1016/j.palaeo.2018.09.012
- Tripp J.A., Squire M.E., Hamilton J., Hedges R.E.M. A non-destructive prescreening method for bone collagen content using micro-computed tomography // *Radiocarbon*. 2010. Vol. 52 (2). P. 612–619. doi: 10.1017/S0033822200045641
- Uda M., Demontier G., Nakai I. X-rays for Archaeology. Springer Dordrecht, 2005. doi: 10.1007/1-4020-3581-0
- Yang Y., Wang L., Wei S., Song G., Kenoyer J.M., Xiao T., Zhu J., Wang C. Nondestructive analysis of dragonfly eye beads from the warring states period, excavated from a Chu tomb at the Shenmingpu site, Henan Province, China // *Microscopy and Microanalysis*. 2013. Vol. 19 (2). P. 335–343. doi: 10.1017/S1431927612014201

References

- Andonova M. (2021) Ancient basketry on the inside: X-ray computed microtomography for the non-destructive assessment of small archaeological monocotyledonous fragments: examples from Southeast Europe, *Heritage Science*, Vol. 9:158. doi:10.1186/s40494-021-00631-z
- Baumann M., Plisson H., Maury S., Renou S., Coqueugniot H., Vanderesse N., Kolobova K., Shmaider S., Rots V., Gue'rin G., Rendu W. (2023) On the Quina side: A Neanderthal bone industry at Chez-Pinaud site, France, *PLoS ONE*, 18(6): e0284081. doi:10.1371/journal.pone.0284081
- Beck L., Cuif J.-P., Pichon L., Vaubailion S. Dambricourt Malassé A., Abel R.L. (2012) Checking collagen preservation in archaeological bone by non-destructive studies (Micro-CT and IBA), *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 273, pp. 203–207. doi:10.1016/j.nimb.2011.07.076
- Bill J., Daly A., Johnsen Ø., Dalen K.S. (2012) DendroCT – dendrochronology without damage, *Dendrochronologia*, Vol. 30, no. 3, pp. 223–230. doi: 10.1016/J.DENDRO.2011.11.002
- Bocharova E.N., Kozhevnikova D.V., Kolobova K.A. (2025) Metod komp'yuternoy mikrotomografii dlya izucheniya sostavnykh pazovykh orudiy [The use of microtomography for studying composite slotted tools], *Stratum Plus*, 1, pp. 285–300. doi:10.55086/sp251285300
- Bossemma F.G., Palenstijn W.J., Heginbotham A., Corona M., van Leeuwen T., van Liere R., Dorscheid J., O'Flynn D., Dyer J., Hermens E., Batenburg K.J. (2024) Enabling 3D CT-scanning of cultural heritage objects using only in-house 2D X-ray equipment in museums, *Nature Communications*, Vol. 15 (1): 3939. doi:10.1038/s41467-024-48102-w
- Bozzini B., Gianoncelli A., Mele C., Siciliano A., Mancini L. (2014) Electrochemical reconstruction of a heavily corroded Tarentum hemiobolus silver coin: a study based on microfocus X-ray computed microtomography, *Journal of Archaeological Science*, Vol. 52, pp. 24–30. doi:10.1016/j.jas.2014.08.002
- Bradfield J. (2013) Investigating the potential of micro-focus computed tomography in the study of ancient bone tool function: results from actualistic experiments, *Journal of Archaeological Science*, Vol. 40, no. 6, pp. 2606–2613. doi:10.1016/j.jas.2013.02.007
- Bradfield J. (2016) Fracture analysis of bone tools: a review of the micro-CT and macrofracture methods for studying bone tool function. In: *Close to the bone: current studies in bone technologies*, ed. Vitezovic S. Belgrade: Institute of Archaeology, pp. 71–79.
- Bradfield J., Hoffman J., De Beer F. (2016) Verifying the potential of micro-focus X-ray computed tomography in the study of ancient bone tool function, *Journal of Archaeological Science: Reports*, Vol. 5, pp. 80–84. doi:10.1016/j.jasrep.2015.11.001
- Cheng Q., Zhang X., Guo J., Wang B., Lei Y., Zhou G., Fu Y. (2019) Application of computed tomography in the analysis of glass beads unearthed in Shanpula cemetery (Khotan), Xinjiang Uyghur Autonomous Region, *Archaeological and Anthropological Science*, Vol. 11 (1), pp. 937–945. doi:10.1007/s12520-017-0582-6
- Cox S.L. (2015) A critical look at mummy CT scanning, *The Anatomical Record*, 298, pp. 1099–1110. doi:10.1002/ar.23149
- Elliott J.C., Dover S.D. (1982) X-ray microtomography, *Journal of Microscopy*, Vol. 126 (2), pp. 211–213. doi:10.1111/j.1365-2818.1982.tb00376.x
- Fedorov A., Beichel R., Kalpathy-Cramer J., Finet J., Fillion-Robin J.-C., Pujol S., Bauer C., Jennings D., Fennessy F. M., Sonka M., Buatti J., Aylward S. R., Miller J. V., Pieper S., Kikinis R. (2012) 3D Slicer as an image computing platform for the quantitative imaging network, *Magnetic Resonance Imaging*, Vol. 30 (9), pp. 1323–1341. doi: 10.1016/j.mri.2012.05.001
- Friml J., Procházková K., Melnyk G., Zikmund T., Kaiser J. (2014) Investigation of Cheb relief intarsia and the study of the technological process of its production by micro computed

- tomography, *Journal of Cultural Heritage*, Vol. 15 (6), pp. 609–613. doi:10.1016/j.culher.2013.12.006
- Göldner D., Karakostis F.A., Falcucci A. (2022) Practical and technical aspects for the 3D scanning of lithic artefacts using micro-computed tomography techniques and laser light scanners for subsequent geometric morphometric analysis. Introducing the StyroStone protocol, *PLoS ONE*, 17(4): e0267163. doi:10.1371/journal.pone.0267163
- Grushin S.P., Sosnovsky I.A. (2018) Fotogrammetriya v arkheologii – metodika i perspektivy [Photogrammetry in archaeology – possibilities and methods], *Teoriya i praktika arkheologicheskikh issledovaniy*, Vol. 21, no. 1, pp. 99–105. doi: 10.14258/tpai(2018)1(21).-08
- Guryeva P.V., Zhuravlev D.V., Kovalenko E.S., Tereshchenko E.Yu., Yatsishina E.B. (2023) Figurnyy sosud v vide pantery iz Pantikapeya – vzglyad vovnutr' [Figure vessel in the form of a panther from Pantikapaion — view inside Archaeological News], *Arkheologicheskiye vesti*, no. 41, pp. 180–188. doi:10.31600/1817-6976-2023-41-180-188
- Iacconi C., Autret A., Desplanques E., Chave A., King A., Fayard B., Moulherat C., Leccia É., Bertrand L. (2023) Virtual technical analysis of archaeological textiles by synchrotron microtomography, *Journal of Archaeological Science*, Vol. 149: 105686. doi:10.1016/j.jas.2022.105686
- Jansen R.J., Poulsen M., Kottman J., de Groot T., Huisman D.J., Stoker J. (2006) CT: A new nondestructive method for visualizing and characterizing ancient Roman glass fragments in situ in blocks of soil, *Radiographics*, Vol. 26, no. 6, pp. 1837–1844. doi:10.1148/rg.266065079
- Kahl W.-A., Ramminger B. (2012) Non-destructive fabric analysis of prehistoric pottery using high-resolution X-ray microtomography: a pilot study on the late Mesolithic to Neolithic site Hamburg-Boberg, *Journal of Archaeological Science*, 39(7), pp. 2206–2219. doi:10.1016/j.jas.2012.02.029
- Karjalainen V.-P., Finnilä M.A.J., Salmon P.L., Lipkin S. (2023) Micro-computed tomography imaging and segmentation of the archaeological textiles from Valmarinniemi, *Journal of Archaeological Science*, Vol. 160:105871. doi:10.1016/j.jas.2023.105871
- Kimball J. J. L., With R., Rødsrud, C. L. (2024) A new and 'riveting' method: Micro-CT scanning for the documentation, conservation, and reconstruction of the Gjellestad Ship, *Journal of Cultural Heritage*, Vol. 66 (378), pp. 76–85. doi:10.1016/j.culher.2023.11.003
- Kolobova K., Kharevich V., Chistyakov P., Kolyasnikova A., Kharevich A., Markin S., Krivoshepkin A., Baumann M., Olsen J.W. (2022) How Neanderthals gripped retouchers: experimental reconstruction of the manipulation of bone retouchers by Neanderthal stone knappers, *Archaeological and Anthropological Sciences*, Vol. 14, pp. 1–10. doi:10.1007/s12520-021-01495-x
- Kolobova K., Rendu W., Shalagina A., Chistyakov P., Kovalev V., Baumann M., Kolyasnikova A., Krivoshepkin A. (2020) The application of geometric-morphometric shape analysis to Middle Paleolithic bone retouchers from the Altai Mountains, Russia, *Quaternary International*, Vol. 559 (7), pp. 89–96. doi:10.1016/j.quaint.2020.06.018
- Kolobova K.A., Fedorchenko A.Y., Basova N.V., Postnov A.V., Kovalev V.S., Chistyakov P.V., Molodin V.I. (2019) The use of 3D-modeling for reconstructing the appearance and function of non-utilitarian items (the case of anthropomorphic figurines from Tourist-2), *Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia*, 4 (47), pp. 66–76. doi:10.17746/1563-0110.2019.47.4.066-076
- Kovalchuk M.V., Yatsishina E.B., Makarov N.A., Greshnikova E.A., Antsiferova A.A., Gunchinad O.L., Kashkarova P.K., Kovalenko E.S., Murasheva M.M., Olkhovskiy S.V., Poduretsa K.M., Timerkaev V.B. (2020) Tomograficheskiye issledovaniya terrakotovoy golovy iz Kerchenskoy bukhty [Tomographic studies of the terracotta head from Kerch Bay], *Kristallografiya*, Vol. 65, no. 5, pp. 832–838. doi:10.31857/S0023476120050124
- Kozhevnikova D.V., Chistyakov P.V., Kolobova K.A., Zotkina L.V. (2025) From neolithic to contemporary times: persistent use patterns of needle cases in Northeast Asia,

- Archaeological and Anthropological Sciences*, Vol. 17, no. 197. doi: 10.1007/s12520-025-02304-5
- Li Z., Doyon L., Fang H., Ledevin R., Queffelec A., Raguin E., d'Errico F. (2020) A Paleolithic bird figurine from the Lingjing site, Henan, China, *PLoS ONE*, 15 (6): e0233370. doi:10.1371/journal.pone.0233370
- Liao L., Cheng Q., Zhang X., Qu L., Liu S., Ma S., Chen K., Liu Y., Wang Y., Song W. (2024) Segmentation and visualization of the Shampula dragonfly eye glass bead CT images using a deep learning method, *Heritage Science*, Vol. 12: 381. doi:10.1186/s40494-024-01505-w
- Licata M., Borgo M., Armocida G., Nicosia L., Ferioli E. (2016) New paleoradiological investigations of ancient human remains from North West Lombardy archaeological excavations, *Skeletal Radiology*, 45, pp. 323–331. doi:10.1007/s00256-015-2266-6
- Lipkin S., Karjalainen V.-P., Puolakka H.-L., Finnilä, M.A.J. (2023) Advantages and limitations of micro-computed tomography and computed tomography imaging of archaeological textiles and coffins, *Heritage Science*, Vol. 11, pp. 1–15. doi:10.1186/s40494-023-01076-2
- Loman V.G. (2020) Rentgenovskaya komp'yuternaya tomografiya v izuchenii drevnikh keramicheskikh sosudov [X-ray computer tomography in the studies of ceramic vessels], *Kratkiye Soobshcheniya Instituta Arkheologii*, 259, pp. 425–435. doi:10.25681/IARAS.0130-2620.259.425-434
- McKenzie-Clark J., Magnussen J. (2014) Dual energy computed tomography for the non-destructive analysis of ancient ceramics, *Archaeometry*, 56(4), pp. 573–590. doi:10.1111/arc.12035
- McKnight L.M., Bibb R., Cooper F. (2024) Seeing is believing – The application of Three-Dimensional modelling technologies to reconstruct the final hours in the life of an ancient Egyptian Crocodile, *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, 34: e00356. doi:10.1016/j.daach.2024.e00356
- McPherron S.P., Gernat T., Hublin J.J. (2009) Structured light scanning for high-resolution documentation of in situ archaeological finds, *Journal of Archaeological Science*, Vol. 36 (1), pp. 19–24. doi:10.1016/j.jas.2008.06.028
- Miles J., Mavrogordato M., Sinclair I., Hinton D., Boardman R., Earl G. (2016) The use of computed tomography for the study of archaeological coins, *Journal of Archaeological Science Reports*, Vol. 6, pp. 35–41. doi:10.1016/j.jasrep.2016.01.019
- Mocella V., Brun E., Ferrero C., Delattre D. (2015) Revealing letters in rolled Herculaneum papyri by X-ray phase-contrast imaging, *Nature Communications*, Vol. 6, no. 1: 5895. doi: 10.1038/NCOMMS6895
- Müller B., Stiefel M., Rodgers G., Humbel M., Osterwalder M., Jackowski J. von Hotz G., Velasco Guadarrama A.A., Bunn H.T., Scheel M., Weitzkamp T., Schulz G., Tanner C. (2022) Three-Dimensional Imaging and Analysis of Annual Layers in Tree Trunk and Tooth Cementum, *Conference: Bioinspiration, Biomimetics, and Bioreplication XII*, Vol. 12041:120410C. doi: 10.1117/12.2615148
- Murphy W.A., zur Nedden D., Gostner P., Knapp R., Recheis W., Seidler H. (2003) The Iceman: discovery and imaging, *Radiology*, no. 226, pp. 614–629. doi:10.1148/radiol.2263020338
- Nykonenko D., Yatsuk O., Guidorzi L., Lo Giudice A., Tansella F., Cesareo L.P., Sorrentino G., Davit P., Gulmini M., Re A. (2023) Glass beads from a Scythian grave on the island of Khortytsia (Zaporizhzhia, Ukraine): insights into bead making through 3D imaging, *Heritage Science*, Vol. 11:238. doi:10.1186/s40494-023-01078-0
- Orłowska J., Cyrek K., Kaczmarczyk G.P., Migal W., Osipowicz G. (2023) Rediscovery of the Palaeolithic antler hammer from Biskup Cave, Poland: New insights into its chronology, raw material, technology of production and function, *Quaternary International*, 665–666 (1), pp. 48–64. doi:10.1016/j.quaint.2022.08.011

- Pargeter J., Bam L., de Beer F., Lombard M. (2017) Microfocus X-ray tomography as a method for characterising macro-fractures on quartz backed tools, *The South African Archaeological Bulletin*, Vol. 72, no. 206, pp. 148–155.
- Parsons S., Parker C.S., Chapman C., Seales W.B. (2023) EduceLab-scrolls: Verifiable recovery of text from Herculaneum papyri using X-ray CT, *arXiv preprint*. doi: 10.48550/arXiv.2304.02084
- Re A., Corsi J., Demmelbauer M., Martini M., Mila G., Ricci C. (2015) X-ray tomography of a soil block: a useful tool for the restoration of archaeological finds, *Heritage Science*, Vol. 3 (4), pp. 1–7. doi:10.1186/s40494-015-0033-6
- Rolfe S., Pieper S., Porto A., Diamond K., Winchester J., Shan S., Kirveslahti H., Boyer D., Summers A., Maga A. M. (2021) SlicerMorph: an open and extensible platform to retrieve, visualize and analyze 3D morphology, *Methods in Ecology and Evolution*, Vol. 12(7), pp. 1816–1825. doi: 10.1111/2041-210X.13669
- Sallam A., Hemed S., Toprak M., Muhammed M., Hassan M., Uheida A. (2019) CT scanning and MATLAB calculations for preservation of coptic mural paintings in historic Egyptian monasteries, *Scientific Reports*, Vol. 9 (1): 3903. doi:10.1038/s41598-019-40297-z
- Serrano A., Meijer S., van Rijn R.R., Coban S.B., Reissland B., Hermens E., Batenburg K.J., van Bommel M. (2021) A non-invasive imaging approach for improved assessments on the construction and the condition of historical knotted-pile carpets, *Journal of Cultural Heritage*, Vol. 47, pp. 79–88. doi:10.1016/j.culher.2020.09.012
- Shalagina A.V., Kolobova K.A., Chistiakov P.V., Krivoschapkin A.I. (2020) Primenenie trekhmernogo geometriko-morfometricheskogo analiza dlia izucheniia artefaktov kamennogo veka [Application of 3D geometric morphometric analysis in the study of Stone Age lithic artifacts], *Stratum plus*, 1. pp. 343–358.
- Shishlina N.I., Orfinskaya O.V., Leonova N.V., Loboda A.Yu., Kovalenko E.S., Guryeva P.V., Kondratev O.A., Kozhukhova E.I., Mandrykina A.V., Tereschenko E.Yu., Yatsishina E.B. (2024) Novyye podkhody k analizu srednevekovogo tekstilya metodami istoricheskogo materialovedeniya [New approaches to the analysis of medieval textile. Using historical material science methods], *Kratkiye Soobshcheniya Instituta Arkheologii*, 276, pp. 312–327. doi:10.25681/IA5A6.0130-2620.276.312-327
- Smeriglio A., Filosa R., Crocco M.C., Vincenzo C., Formoso V., Cristoforo R., Solano B.A., Cerzoso M., Polosa A., Cerrone V., Agostino R.G. (2023) A numismatic study of Roman coins through X-ray fluorescence and X-ray computed μ -tomography analysis, *Acta IMEKO*, Vol. 12, no. 4, pp. 1–7. doi:10.21014/actaimeko.v12i4.1504
- Stelzner J., Gauß F., Schuetz P. (2016) X-ray computed tomography for non-destructive analysis of early Medieval swords, *Studies in Conservation*, 61(2), pp. 86–101. doi:10.1179/2047058414Y.0000000157
- Stelzner J., Million S. (2015) X-ray computed tomography for the anatomical and dendrochronological analysis of archaeological wood, *Journal of Archaeological Science*, Vol. 55, pp. 188–196. doi: 10.1016/J.JAS.2014.12.015
- Tack P., Cotte M., Bauters S., Brun E., Banerjee D., Bras W., Ferrero C., Delattre D., Mocella V., Vincze L. (2016) Tracking ink composition on Herculaneum papyrus scrolls: Quantification and speciation of lead by X-ray based techniques and Monte Carlo simulations, *Scientific Reports*, Vol. 6 (1), pp. 20763. doi:10.1038/srep20763
- Tanner C., Rodgers G., Schulz G., Osterwalder M., Mani-Caplazi G., Hotz G., Scheel M., Weitkamp T., Müller B. (2021) Extended-field synchrotron microtomography for non-destructive analysis of incremental lines in archeological human teeth cementum, *Conference: Developments in X-Ray Tomography XIII*, Vol. 11840: 1184019. doi: 10.1117/12.2595180
- Tripp J.A., Squire M.E., Hedges R.E.M., Stevens R.E. (2018) Use of micro-computed tomography imaging and porosity measurements as indicators of collagen preservation in archaeological bone, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 511, pp. 462–71. doi:10.1016/j.palaeo.2018.09.012

- Tripp J.A., Squire M.E., Hamilton J., Hedges R.E.M. (2010) A non-destructive prescreening method for bone collagen content using micro-computed tomography, *Radiocarbon*, Vol. 52 (2), pp. 612–619. doi:10.1017/S0033822200045641
- Uda M., Demontier G., Nakai I. (2005) *X-rays for Archaeology*. Springer Dordrecht. doi:10.1007/1-4020-3581-0
- Yang Y., Wang L., Wei S., Song G., Kenoyer J.M., Xiao T., Zhu J., Wang C. (2013) Nondestructive analysis of dragonfly eye beads from the warring states period, excavated from a Chu tomb at the Shenmingpu site, Henan Province, China, *Microscopy and Microanalysis*, Vol. 19 (2), pp. 335–343. doi:10.1017/S1431927612014201
- Zaytseva I.E., Kovalenko E.S., Guryeva P.V., Mandrykina A.V., Kondratyev O.A., Ismagulov A.M., Podurets K.M., Tereschenko E.Yu., Yatsishina E.B. (2023) Tri brasleta iz Isadskogo klada 2021 g.: tekhnologiya izgotovleniya i sostav metalla [Three bracelets from the Isady hoard of 2021: production technology and metal composition], *Kratkiye Soobshcheniya Instituta Arkheologii*, 272, pp. 356–376. doi:10.25681/IA5A6.0130-2620.272.356-376
- Zhuravlev D.V., Guryeva P.V., Kovalenko E.S., Tereschenko E.Yu., Yatsishina E.B. (2024) Kiprskiy figurnyye sosudy epokhi bronzы iz sobraniya Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya: vzglyad vnur' [Figured Vessels from Bronze-Age Cyprus in the collection of the State Historical Museum: a look inside], *Vestnik drevney istorii*, Vol. 84, no. 2, pp. 275–299. doi:10.31857/S0321039124020027

Сведения об авторах:

БОЧАРОВА Екатерина Николаевна – младший научный сотрудник, Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия). E-mail: bocharova.e@gmail.com

КОЖЕВНИКОВА Дарья Валерьевна – кандидат исторических наук, научный сотрудник, Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия). E-mail: kozhevnikovadarya@yandex.ru

КОЛОБОВА Ксения Анатольевна – доктор исторических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией «ЦифРА», Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия). E-mail: kolobovak@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Ekaterina N. Bocharova, Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: bocharova.e@gmail.com

Darya V. Kozhevnikova, Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: kozhevnikovadarya@yandex.ru

Ksenya A. Kolobova, Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: kolobovak@yandex.ru

The authors declare no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 13 апреля 2025;
принята к публикации 2 июня 2025.*

*The article was submitted 13.04.2025;
accepted for publication 02.06.2025.*

Научная статья
УДК 902/904
doi: 10.17223/2312461X/49/9

Способы разделки бизонов неандертальцами Чагырской пещеры (Алтай)

Анастасия Сергеева Колясникова¹
Сергей Васильевич Маркин²
Ксения Анатольевна Колобова^{3, 1}

^{1, 2} Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия

³ Алтайский государственный университет, Баранул, Россия

¹ kns0471@gmail.com

² markin@archaeology.nsc.ru

³ kolobovak@yandex.ru

Аннотация. Представлены результаты комплексного анализа антропогенных модификаций на костных остатках бизона (*Bison priscus*) из Чагырской пещеры (Алтай, Россия), позволяющие реконструировать стратегии использования ресурсов неандертальцами. Бизон был основной добычей группы неандертальцев, селившихся в Чагырской пещере в позднем плейстоцене (60–50 тыс. л.н.). Исследование выявило многоступенчатый процесс обработки туш, включавший снятие шкуры, отделение костей друг от друга, извлечение сухожилий, срезание мяса и добычу костного мозга из всех трубчатых костей, реже из первых фаланг. После разделки бизона его костные остатки использовались неандертальцами для ретуширования каменных орудий, предпочтение отдавалось обломкам длинных трубчатых костей, реже использовались плоские, смешанные кости и первые фаланги. Обилие порезов на «мясистых» длинных трубчатых костях свидетельствует об интенсивном снятии мяса с туш. Большинство порезов от срезания мышц на разных костях преимущественно наклонено влево, что может указывать на то, что разделка велась людьми, использующими ведущую одну руку (правую или левую). Высокий процент порезов также свидетельствует о том, что снятие мышц происходило, когда мясо было сырым, поскольку приготовленное мясо легко отделяется от кости и процесс оставляет мало порезов. Низкая встречаемость продольных порезов, наблюдаемых в этой группе, не дает нам сделать вывод о заготовке (высушивании) мяса.

Ключевые слова: неандертальцы, Чагырская пещера, *Bison priscus*, зооархеология, следы разделки, костяные орудия

Благодарности: исследование проведено при финансовой поддержке проекта РНФ № 24-67-00033 «Европейские неандертальцы на Алтае: миграции, культурная и физическая адаптация».

Для цитирования: Колясникова А.С., Маркин С.В., Колобова К.А. Способы разделки бизонов неандертальцами Чагырской пещеры (Алтай) // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 174–195. doi: 10.17223/2312461X/49/9

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/9

Neanderthal Butchery Practices of Bison at Chagyrskaya Cave (Altai)

Anastasia S. Koliashnikova¹,
Sergey V. Markin², Ksenya A. Kolobova^{3, 1}

^{1, 2}*Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation*

³*Altai State University, Barnaul, Russian Federation*

¹ *kns0471@gmail.com*

² *markin@archaeology.nsc.ru*

³ *kolobovak@yandex.ru*

Abstract. This paper presents the results of a comprehensive analysis of anthropogenic modifications on the bone remains of *Bison priscus* from Chagyrskaya Cave (Altai, Russia), allowing to reconstruct the butchery strategies of Neanderthals. Bison was the main prey of Neanderthal group from Chagyrskaya Cave in the Late Pleistocene (60-50 ka). The study revealed a multi-stage process of carcass processing, including skinning, separating bones from each other, extracting tendons, meat removal and extracting bone marrow from all tubular bones, rarely from the first phalanges. After butchering the bison, its bone remains were used by Neanderthals to retouch stone tools, with preference given to fragments of long tubular bones, less often flat, mixed bones and first phalanges. The abundance of cuts-marks on the “meaty” long tubular bones indicates intensive meat removal from the carcasses. Most of the muscle cut-marks on the different bones are predominantly inclined to the left, which may indicate the same hand laterality of butchers. The high percentage of cut-marks also suggests that muscle removal occurred when the meat was raw, since cooked meat is easily separated from the bone and the process leaves few cut-marks. The low incidence of longitudinal cuts observed in this group does not allow us to conclude that the meat was dried.

Keywords: Neanderthals, Chagyrskaya Cave, *Bison priscus*, zooarchaeology, traces of butchering, bone tools

Acknowledgements: The study was conducted with the financial support of the Russian Science Foundation project No. 24-67-00033 “European Neanderthals in Altai: migrations, cultural and physical adaptation”.

For citation: Koliashnikova, A.S., Markin, S.V. & Kolobova, K.A. (2025) Neanderthal Butchery Practices of Bison at Chagyrskaya Cave (Altai). *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 174–195 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/9

Введение

Изучение взаимодействия человека с животными, включая стратегии добычи пищевых ресурсов и их последующей утилизации, представляет собой важнейший аспект реконструкции систем жизнеобеспечения

древних сообществ. В случае поздних неандертальцев данная проблематика приобретает особую значимость в свете отмечаемого исследователями культурного разнообразия внутри вида, проявляющегося как в вариативности каменных индустрий (Romagnoli et al. 2022), так и в разной специфике охотничьих стратегий, например при выборе добычи (Farizy et al. 1994; Rendu et al. 2012). Комплексная реконструкция промысловой деятельности на всех ее этапах выступает необходимым условием для выявления закономерностей в развитии адаптационных механизмов взаимодействия неандертальских популяций с окружающей средой. Особый интерес в этом контексте представляет феномен специализированной охоты на крупных животных, получившей распространение в среднем палеолите Евразии, что требовало не только высокоэффективных технологических решений, но и сложной социальной организации, а это в совокупности свидетельствует о высоком уровне экологической адаптации неандертальцев.

О деятельности человека могут свидетельствовать несколько типов повреждений на костях, наиболее часто встречающихся в археологических контекстах, например: порезы, следы орудийной деятельности, скобления, строгания, рубки, негативы расщепления, следы огня, наличие охры на костях. Порезы – это результат контакта между режущим краем инструмента и костью во время различных операций по разделке туши, они узкие и имеют, как правило, V или \ /-образную форму в поперечном сечении (Binford 1981; Bunn 1981; Potts et Shipman 1981; Olsen, Shipman 1988). Зачастую порезы получаются непреднамеренно, так как в интересах охотника максимально избежать контакта орудия с костью, чтобы оно не затуплялось максимально возможное время. Эти следы человеческой деятельности наиболее многочисленны среди прочих на памятниках каменного века, их изучение позволяет определить такие важные аспекты деятельности охотников, как этапы разделки (Binford 1978) и способы заготовки мяса (Soulier, Morin 2016; Soulier 2021).

Цель настоящей работы состоит в реконструкции стратегий разделки туш бизонов неандертальцами Чагырской пещеры. Большой объем определимых остатков бизона со следами разделки и их хорошая сохранность позволяют реконструировать охотничьи стратегии и методы разделки туш бизона, что дает возможность оценить уровень технологического развития и когнитивных способностей неандертальцев.

Материалы и методы

Анализ следов разделки на костях осуществлялся с помощью программного обеспечения Географической информационной системы (QGIS Desktop 3.34.11, далее QGIS). Анализ порезов требует определенной точности с точки зрения их записи, особенно при определении этапа

разделки, с которым они связаны. Поэтому в QGIS были зарисованы исключительно кости и фрагменты костей, чья морфология позволила определить их точное расположение на элементах скелета. Зарисовка находок осуществлялась на уже готовых векторизованных шаблонах анатомических элементов бизона, которые были сделаны зооархеологом Энисей Режи (с использованием данных (Castel 2010; Soulier 2013)) и частично выложены в открытый доступ на сайте ArchéoZoo.org. Готовые анатомические шаблоны для каждого элемента скелета были импортированы в QGIS. Все анатомические элементы были нарисованы в соответствии с их реальными размерами. В QGIS фрагменты рисовались в виде полигонов в векторном слое (или «shapefile»). Кости нарисованы с нескольких сторон, поэтому для зарисовки одного фрагмента может быть создано несколько полигональных изображений в разных проекциях, соответствующих одной и той же находке (Regis 2020).

Ориентация и расположение порезов на кости являются основными критериями для определения типа активности (Binford 1981; Soulier, Costamagno 2017). Для верификации определения типа активности, к которому относятся порезы на исследуемых образцах, использовались эталонные определители (Binford 1981; Nilssen 2000; Abe 2005; Soulier, Costamagno 2017). Каждый порез на основе вышеперечисленных справочников был отнесен к определенному этапу разделки – снятие шкуры, срезание мяса, отделение костей, удаление сухожилий. Для оптимизации анализа распределения порезов на каждой кости анатомические шаблоны длинных трубчатых костей делились на шесть частей (Soulier, Costamagno 2017).

Следы разделки (порезы) были также определены и зарисованы на анатомических шаблонах в QGIS для анализа их распределения на костях и для оценки угла наклона относительно длинной оси кости (по примеру Chong 2011; Lemeur 2016; Regis 2020; Soulier 2021). Порезы были зарисованы в виде линий в отдельном векторном слое «shapefile». Для зарисовки костей и следов разделки использовались отдельные слои, так как QGIS не может обрабатывать информацию, смешивая линии и полигоны. Также для каждого слоя был создан протокол, включающий основную информацию о кости и порезах на ней, включая часть кости и сторону, где расположен след. Некоторые порезы, особенно длинные, могут располагаться одновременно на нескольких частях кости, в таких случаях они были отнесены к участку, на котором расположена центральная точка пореза. Углы ориентации порезов находятся в диапазоне от 0 до 180° и рассчитывались с использованием проксимального конца длинной кости в качестве географического «севера». Для анализа ориентации порезов они делились на три большие категории: продольные (0–15° и 165–180°), косые (15–75° и 105–165°) и поперечные (75–105°) (по Soulier, Morin 2016; Soulier 2021). Для изучения закономерностей в ориентациях насечек были применены диаграммы роз в Oriana v. 4 (Kovach 2011).

Частота порезов на разных участках длинных трубчатых костей была посчитана в виде доли фрагментов с порезами из общего количества фрагментов для шести частей. Этот показатель посчитан в процентах и указывает на то, как часто на определенном участке кости или элементе скелета присутствуют следы разделки.

Слои бв/1 и бв/2 являются основным источником остатков материальной культуры неандертальцев в Чагырской пещере. Слои бб и ба образуют сложную коллювиальную серию, состоящую из более чем двух перемежающихся осадочных единиц, артефакты и кости с антропогенными следами могли попасть в эти слои из нижележащих слоев бв/1 и бв/2 (Kolobova et al. 2020). Во всех слоях кости бизона отличаются от остатков других животных большей долей антропогенных следов и низким процентом кислотной коррозии и погрызов хищников. Ранее было установлено, что остатки костей бизона в слоях ба, бб, бв являются результатом преимущественно охотничьей деятельности человека, так как антропогенные следы на них количественно доминируют над следами хищников (Деревянко и др. 2018). При этом абсолютное большинство костей бизона с антропогенными следами происходит из слоя бв/1. На основании этого было решено рассматривать остатки бизона из всех шестых слоев вместе для изучения стратегии разделки туши бизонов неандертальцами. Далее в работе слои бв/1 и бв/2 объединены вместе как слой бв.

Остатки бизона. Видовые и анатомические определения остатков степного бизона Чагырской пещеры были осуществлены и опубликованы ранее (Васильев 2013; Деревянко и др. 2018), как и определения минимального количества особей и элементов скелета на основе этих данных (табл. 1).

Таблица 1

Остатки бизона из Чагырской пещеры, слои ба, бб, бв, раскопки 2007–2017 гг.

Кости	Всего	Минимальное количество элементов	Минимальное количество особей
Нижняя челюсть	20	5	3
Подъязычная	4	4	2
Лопатка	12	3	2
Плечевая	37	16	10
Лучевая+локтевая	11	5	3
Таз	7	2	1
Крестец	2	1	1
Бедренная	27	14	7
Большеберцовая	54	16	10
Заплюсневые	2	2	1
Центральная кубовидная	1	1	1
Пяточная	3	2	1
Запястные	8	7	2
Пястная	5	4	2

Кости	Всего	Минимальное количество элементов	Минимальное количество особей
Плюсневая	26	9	5
Пястная/плюсневая	2	-	—
I фаланга	15	13	4
II фаланга	3	3	1
III фаланга	2	2	1
Сесамовидные	15	11	—
Малеолярная	5	5	3
Коленная чашка	1	1	1
Астрагал	1	1	1
Шейные позвонки	3	2	1
Грудные и поясничные п.	6	2	1
Хвостовые п.	22	20	3
Ребра	33	8	1
Рог	1	1	1
Череп+верхняя челюсть	2	1	1
Всего (без учета зубов)	324	164	

Всего из слоев ба, бб, бв Чагырской пещеры за период раскопок 2007–2017 гг. определено 1 049 экз. костей, рога и зубов бизона, с количественным преобладанием изолированных зубов. Согласно значениям минимального количества анатомических элементов, кости бизона представлены в неравных пропорциях (от 1 до 16 единиц) (см. табл. 1). Среди определимых костей преобладают длинные трубчатые кости с участков туши с большим количеством мяса – большеберцовая и плечевая кости (по 16 элементов) и бедренная кость (14 элементов). Далее следуют первые фаланги (13 элементов) и плюсневая кость (12 элементов). Кости аксиального скелета, фаланги, как и кости запястья и заплюсны, учитывая их количество в скелете бизона, мало представлены в коллекции. Следы антропогенной модификации костной ткани идентифицированы на всех основных анатомических элементах скелета бизона (рис. 1, А–Ж).

В коллекции представлены остатки преимущественно половозрелых особей бизонов, однако в слоях бб и бв обнаружены плечевые кости минимум трех эмбрионов этого зверя.

Тафономия. Кости значительно фрагментированы (более 99%), но имеют относительно хорошую сохранность. Более 80% остатков имеют более половины хорошо сохранившейся кортикальной поверхности, что делает возможным обнаружение следов различного происхождения. Костные образцы преимущественно имеют слабую степень выветривания (рис. 2), чаще всего соответствующую стадии 1 по шкале А. Беренсмейер (Behrensmeyer 1978), что свидетельствует об их быстром захоронении

в слое. Редкие фрагменты сохранились хуже (стадия 2–3). Следы корней растений присутствуют у менее 1% костей.



Рис. 1. Порезы на костях бизона из Чагырской пещеры: *А* – плечевая кость; *Б* – малеоларная кость; *В* – хвостовой позвонок; *Г* – скуловая дуга; *Д* – первая фаланга; *Е* – плюсневая кость; *Ж* – нижняя челюсть

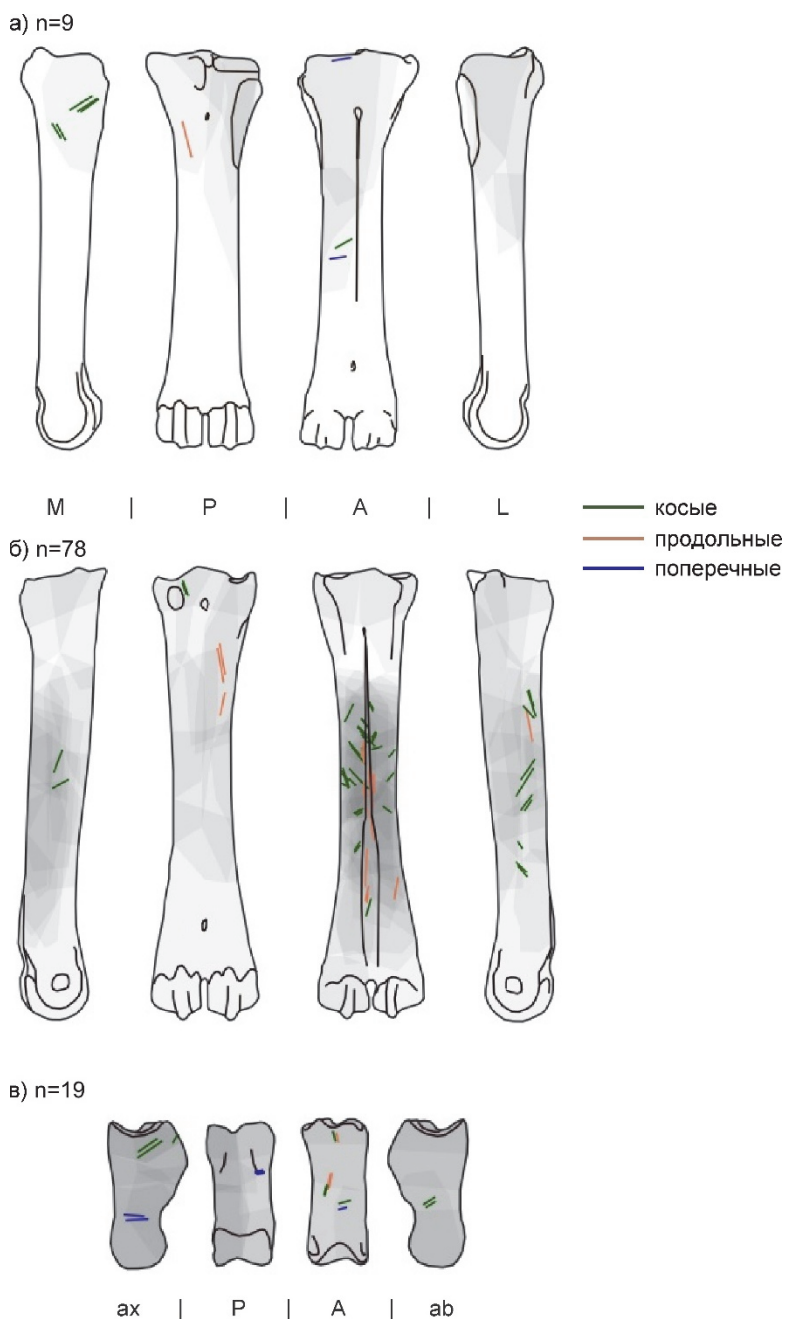


Рис. 2. Расположение порезов на пястной (а), плюсневой (б) костях и на первой фаланге (в) бизона из слоев 6 (а, б, в) Чагырской пещеры в разных проекциях – medial (M), posterior (P), anterior (A), lateral (L); axial (ax), abaxial (ab). Подписи n – количество порезов. Серым выделены области фрагментов археологических костей

Результаты

Всего на 66% костей бизона (без учета зубов) обнаружены антропогенные следы. Абсолютное большинство костей бизона с антропогенными следами происходит из слоя бв (142 экз.), меньше из слоев бб (50 экз.) и ба (24 экз.), и единичная находка обнаружена в слое 5.

Среди выявленных следов преобладают порезы (тонкие удлиненные полосы), они определены на 174 костях и в основном являются результатом срезания мышц в местах их крепления к кости (рис. 1: А, Е, В).

На 111 костях отмечены следы орудийной деятельности, а именно от ретуширования каменных орудий, часто сопровождающиеся следами скобления на кортикальной поверхности, перекрывающими рабочие зоны ретушеров (табл. 2).

Таблица 2

Количество и доли костей бизона с антропогенными следами в слоях ба, бб, бв Чагырской пещеры, раскопки 2007–2017 гг.

Кости	Кости с антропогенными модификациями					
	Со следами порезов		Со следами рубки		Со следами орудийной деятельности (ретушеры)	
	Экз.	% всех костей	Экз.	% всех костей	Экз.	% всех костей
Нижняя челюсть	9	45	–	–	7	35
Подъязычная	3	75	–	–	–	–
Лопатка	7	58	–	–	3	25
Плечевая	21	57	2	5	23	62
Лучевая+локтевая	5	45	–	–	2	18
Таз	2	29	–	–	–	–
Крестец	1	50	1	50	–	–
Бедренная	17	63	1	4	17	63
Большеберцовая	28	52	1	2	23	43
Запястные	3	38	–	–	–	–
Пястная	3	60	–	–	1	20
Плюсневая	19	73	–	–	18	69
I фаланга	6	40	–	–	2	13
Сесамовидные	1	7	–	–	–	–
Малеолярная	2	40	–	–	–	–
Шейные позвонки	1	33	–	–	–	–
Грудные и поясничные п.	2	33	–	–	–	–
Хвостовые п.	13	59	1	5	–	–
Ребра	19	58	3	9	15	45
Череп+верхняя челюсть	1	50	–	–	–	–
Всего	174	54	9	4	111	33

Более чем на половине остатков трубчатых костей определены следы расщепления твердым отбойником, свидетельствующие о добыче костного

мозга. Эти следы в виде негативных раковистых сломов расположены преимущественно по краям длинной оси фрагментов длинных трубчатых костей. На девяти остатках отмечаются следы рубки (короткие глубокие бороздки). Обгоревших костей бизона не было обнаружено (единичные находки отмечены среди неопределимых остатков).

На костях бизона определены следы всех основных операций разделки туши – снятия шкуры, расчленения, срезания сухожилий и мяса (табл. 3).

Таблица 3

Порезы от разных этапов разделки, определенные на костях бизона из Чагырской пещеры (слои 6а, 6б, 6в), раскопки 2007–2017 гг.

Кости	Этап разделки				
	Снятие шкуры	Срезание мяса	Срезание сухожилий	Дезартикуляция	Дезартикуляция/срезание мяса
Нижняя челюсть	+	+		+	
Подъязычная		+			
Лопатка		+			
Плечевая	+				
Лучевая+локтевая		+			+
Таз		+			
Крестец		+			
Бедренная		+			
Большеберцовая		+			
Запястные	+			+	
Пястная	+		+	+	
Плюсневая	+		+		
I фаланга	+		+	+	
Сесамовидные				+	
Малеолярная				+	
Шейные позвонки		+			
Грудные и поясничные позвонки		+		+	
Хвостовые позвонки	+				
Ребра				+	
Череп+верхняя челюсть				+	
Зубы	+				

Отделение шкуры и сухожилий. Следы снятия шкуры обнаружены на двух фрагментах нижней челюсти в районе подбородочного отверстия и минимум на четырех изолированных зубах нижней челюсти (2 резца и 2 премоляра от минимум двух особей) на вестибулярной стороне. От черепа бизона сохранилось крайне мало костей, на которых не было обнаружено следов снятия шкуры, однако на двух зубах верхней челюсти отмечены порезы, относящиеся к этому этапу разделки.

Следы этой активности также определены на фрагментах пястной, плюсневой (минимум трех особей) костей на медиальной и латеральной сторонах и первых фалангах спереди и по бокам (см. рис. 2). Следы преимущественно косые относительно вертикальной оси кости, реже встречаются вертикальные порезы. На 14 хвостовых позвонках (минимум от трех особей) обнаружено 26 порезов предположительно от снятия шкуры, которые располагаются как поперечно, так и вдоль основной оси кости (см. рис. 1, В). Позвонки с порезами относятся к части хвоста, где крайне мало мяса (после 8-го хвостового позвонка), поэтому с большей вероятностью, они являются результатом отделения шкуры, чем срезания мяса.

Следы срезания сухожилий разгибателя определены на фрагментах пястной (1 экз.), плюсневой (18 экз., минимум три особи) костей на краниальной поверхности; следы от удаления сухожилия сгибателя на каудальной стороне – по одному фрагменту пястной и плюсневой костей. Большинство порезов косые, реже продольные и лишь один порез поперечный. Следы удаления сухожилия сгибателя в виде коротких поперечных порезов определены на каудальной поверхности первой фаланги бизона.

Отделение костей друг от друга. Порезы от отделения нижней челюсти от черепа определены на нижней челюсти (два фрагмента) в области восходящей ветви и мышечкового отростка и на скуловой дуге бизона (см. рис. 1, Г). Следы, ассоциированные с отделением ребер от грудных позвонков, определены на 5 фрагментах ребер в области основания. Следы расчленения на длинных трубчатых костях немногочисленны, что связано в первую очередь с практически полным отсутствием эпифизов, где обычно присутствуют следы этой активности. Лишь на передней части локтевого отростка локтевой кости бизона расположены 3 пореза, которые могут быть следствием как отделения от плечевой кости, так и срезания мяса. На обломке плюсневой кости отмечен один глубокий поперечный порез спереди на проксимальной части, он связан с отделением дистальной части задней ноги в области плюсны и костей заплюсны. На двух костях запястья две группы порезов определены как результат их отделения от пястной кости.

Срезание мяса. Порезы от срезания мяса наиболее многочисленны из всех обнаруженных антропогенных следов, особенно на фрагментах диафиза длинных трубчатых костей. Доля фрагментов с порезами среди длинных трубчатых костей неизменно высокая и превышает 50% определимых находок. Всего на длинных трубчатых костях бизона от снятия мяса обнаружено и проанализировано 332 пореза. Абсолютное большинство порезов сосредоточено в области диафиза, что объясняется крайне ограниченным количеством эпифизов (рис. 3). В целом большинство порезов имеют косую ориентацию (70–82%). На всех рассматриваемых костях отмечается очень низкая доля вертикальных порезов (до 9%), особенно на плечевой (1% вертикальных порезов). Также на всех костях,

кроме плечевой (23% поперечных следов), мало представлены поперечные следы (до 16%) (табл. 4).

Таблица 4

Наклон порезов от срезания мяса на длинных трубчатых костях бизона из Чагырской пещеры, слои 6 а, б, в, раскопки 2007–2017 гг.

Кости	Порезы, экз.		
	Продольные	Косые	Поперечные
Большеберцовая	6	118	26
Плечевая	13	64	13
Бедренная	4	51	12
Лучевая/локтевая	2	20	3
Всего	25	253	54

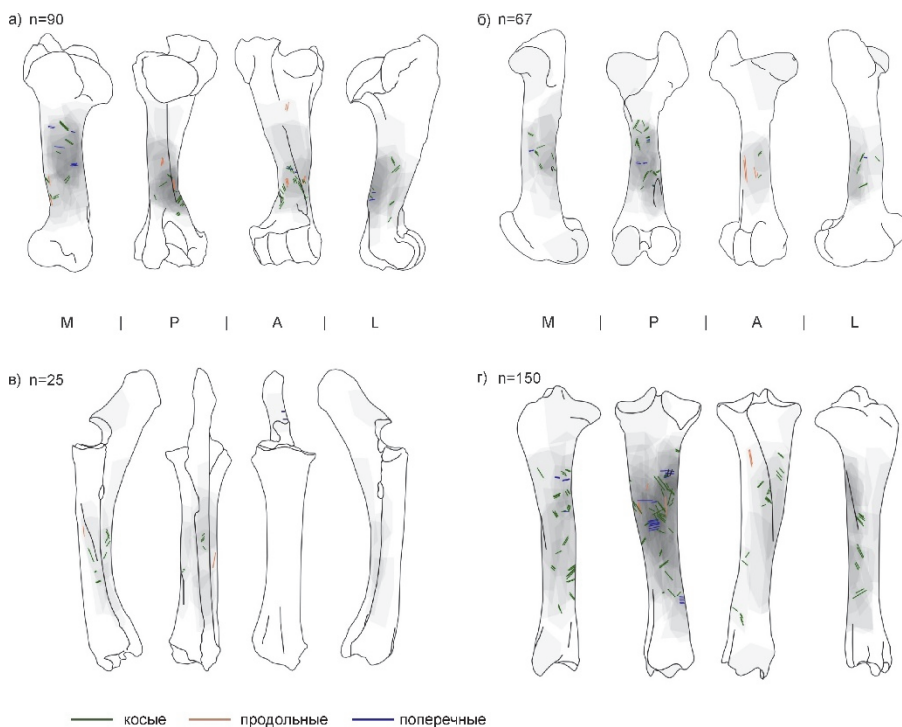


Рис. 3. Расположение следов срезания мяса на плечевой (а), бедренной (б), большеберцовой (в), лучевой и локтевой (г) костях бизона из слоев 6 (а, б, в) Чагырской пещеры в четырех проекциях – medial (M), posterior (P), anterior (A), lateral (L). Подписи n – количество порезов. Серым выделены области фрагментов археологических костей

Большинство порезов от срезания мышц на длинных трубчатых костях преимущественно наклонены влево ($>90^\circ$), что может указывать на то, что разделка велась людьми, использующими одну ведущую руку

(правую или левую) при работе. Лишь на правых бедренной и лучевой костях преобладают порезы с наклоном вправо ($<90^\circ$) (рис. 4).

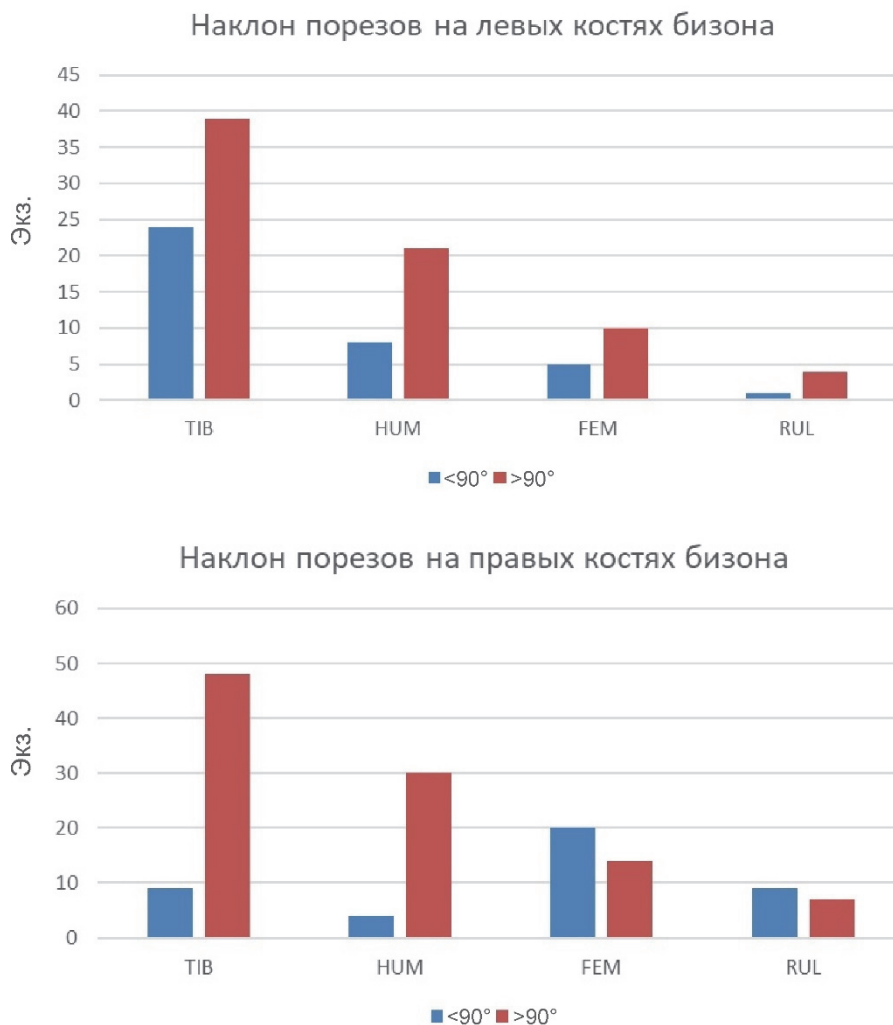
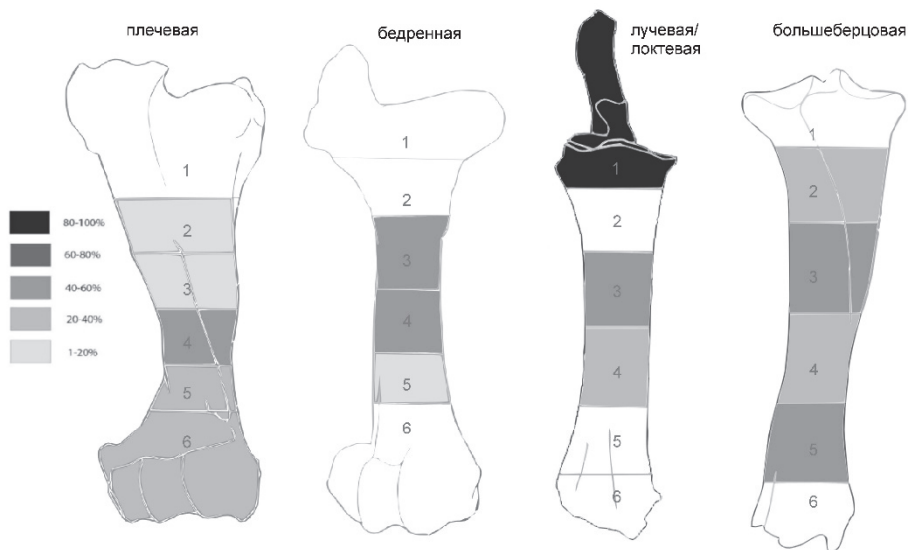


Рис. 4. Наклон порезов на большеберцовой (TIB), плечевой (HUM), бедренной (FEM), лучевой и локтевой (RUL) костях бизона из слоев 6 (а, б, в) Чагырской пещеры

Частота порезов незначительно варьируется в зависимости от элемента скелета. На остатках плечевой кости порезы чаще отмечены в середине диафиза и в нижней его части, в частности. На изображении зона нижнего конца плечевой кости отмечена как участок с большой долей порезов лишь из-за порезов на фрагментах дистальной части диафиза, при этом эпифизы отсутствуют (рис. 5, 1). Следы разделки на бедренной

кости бизона чаще встречаются в середине и верхней части диафиза, реже на нижней его части. У лучевой кости единственный фрагмент проксимального эпифиза имеет порезы, поэтому у него получился самый высокий процент. Не считая этого участка, наиболее часто порезы отмечены на третьей сверху части кости. На большеберцовой кости порезы одинаково часто встречаются на третьей и пятой частях.

1. Доля фрагментов костей бизона с порезами из Чагырской пещеры



2. Наклон порезов на костях бизона из Чагырской пещеры

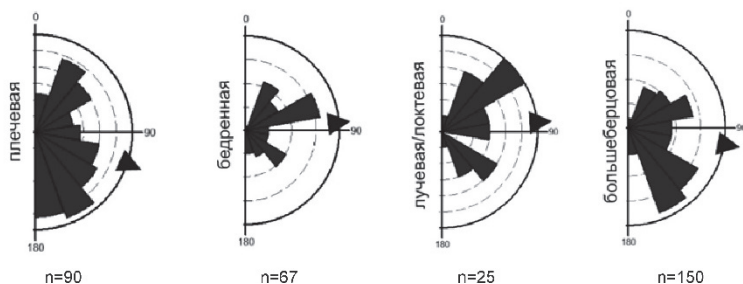


Рис. 5. Распределение и наклон порезов от срезания мяса на длинных трубчатых костях бизона из плейстоценовых слоев ба, бб, бв Чагырской пещеры:

1 – доля порезов на участках плечевой, бедренной, лучевой с локтевой, и большеберцовой костей; 2 – наклон порезов от срезания мяса;

n – количество порезов; цифры на костях – порядковые номера шести участков

Также следы этой активности отмечены на лингвальной стороне 6 фрагментов нижней челюсти, у основания и в области кончика остистых отростков и на теле грудного позвонка (4 фрагмента), на 25 обломках ребер, преимущественно на внешней стороне, на обломке крестца

и двух фрагментах таза. Многочисленные длинные разнонаправленные порезы обнаружены на семи обломках лопатки, вдоль гребня и на плоском участке. На четырех фрагментах подъязычной кости бизона определены следы извлечения языка.

Добыча костного мозга. Многочисленные следы фрагментации фаунистических остатков отмечены на длинных трубчатых костях (62% находок), что связано с интенсивной добычей желтого костного мозга. В изученной части коллекции Чагырской пещеры не было обнаружено ни одной целой длинной трубчатой кости бизона, а форма и поверхность сломов на костях показывают, что фрагментация в основном произошла на еще свежей кости (на более 60% костей сломы свежие). Также следы ударов определены на фрагментах нижней челюсти, ребер, лопатки и первой фаланги. Дополнительно в коллекции неопределимых костей крупных животных из Чагырской пещеры встречаются костные чешуйки, характерные для расщепления кости отбойником.

Орудийная деятельность. Среди определимых костей бизона обнаружено 111 костяных ретушеров. Орудия выполнены преимущественно из фрагментов длинных трубчатых костей и в меньшем количестве на ребрах, два ретушера выполнены на обломках таза и по одному на первой фаланге, остистом отростке грудного позвонка, фрагментах лопатки и нижней челюсти. Из всех длинных трубчатых костей бизона более половины (58,5%) имеют следы орудийной деятельности и были использованы в качестве ретушеров. Наибольшая доля костяных орудий определена среди обломков плечевой и бедренной костей. А среди обломков плоских и смешанных костей (череп, лопатка, ребра, позвонки, таз) такие следы имеют 13,6% находок.

Дискуссия и заключение

Снятие шкуры и сухожилий. Согласно расположению порезов шкура с нижней челюсти срезалась короткими режущими движениями под наклоном сначала в области зубов, затем в районе подбородочного отверстия. Как установлено по хвостовым позвонкам и плюсневым костям, неандертальцами Чагырской пещеры было добыто минимум три шкуры бизонов. Наличие фаланг со следами срезания шкуры и сухожилий указывает на стремление охотников получить шкуру максимального размера и/или доступ к сухожилиям, которые извлекались, вероятно, для хозяйственных целей. Многочисленные порезы на пястных и плюсневых костях и первых фалангах бизона из Чагырской пещеры свидетельствуют о практике удаления сухожилий и спереди и сзади ноги. Срезание сухожилий осуществлялось преимущественно параллельными или слегка наклонными относительно вертикальной оси кости движениями в области их крепления. По всей видимости, в процессе сухожилие оттягивалось и подрезалось поперечными кости движениями у места его

крепления. Порезы на хвостовых позвонках указывают на снятие шкуры с хвоста, при этом на самих позвонках нет других следов утилизации. Это, как и порезы на фалангах, вероятно, указывает на стремление неандертальцев получить наибольший объем шкуры бизона. Если кожа с других участков туши могла быть снята и обработана вне Чагырской пещеры, то наличие хвостовых позвонков с порезами в пещере означает, что шкура с хвоста снималась именно в Чагырской пещере, куда он был принесен или отдельно от туши, или вместе с крестцово-поясничным отделом животного.

Отделение костей друг от друга. По порезам, расположенным вблизи суставов, можно заключить, что неандертальцы Чагырской пещеры при разделке бизона отделяли нижнюю челюсть от черепа, ребра и плюсневую и пястную кости. Порезы на локтевом отростке могут быть как результатом его отделения от плечевой кости, так и срезания мяса.

Многочисленные порезы на пястных и плюсневых костях и первых фалангах бизона из Чагырской пещеры свидетельствуют о практике удаления сухожилий разгибателя спереди и сгибателя сзади ноги, вероятно, в хозяйственных целях (например Russell 1995).

Срезание мяса. По количеству и степени стертости зубов m3 и Dp4, в расчете, что одна особь – в среднем 250 кг мяса (Wheat 1967; Berger, Cunningham 1991), было определено, что неандертальцами Чагырской пещеры было добыто минимум 4,2 тонны мяса бизонов (17 особей) (Колесникова и др. 2025). Обилие порезов на «мясистых» длинных трубчатых костях свидетельствует об интенсивном снятии мяса с туш. Высокий процент порезов также предполагает, что разделявалось мясо сырым, поскольку приготовленное мясо легко отделяется от кости и оставляет мало порезов (Abe 2005; Costamagno, David 2009). Большинство следов срезания мышц на длинных трубчатых костях наклонено влево, что может указывать на то, что разделка велась людьми, использующими одну доминирующую руку (правую или левую) при работе. Низкая встречаемость продольных порезов, наблюдаемых в этой группе, не дает нам сделать вывод о практике заготовки/сушки мяса. Согласно данным М.-С. Сулье и Е. Моран (Soulier, Morin 2016; Soulier 2021), высокий процент вертикальных следов означает наличие практики заготовки (сушки) мяса, что связано с контролируемым срезанием мяса для получения длинных тонких кусков. Однако сравнение ограничено тем, что в их работе наблюдение проводилось на остатках северных оленей и антилоп, а не бизонов.

Добыча костного мозга. После удаления мягких тканей неандертальцы добывали желтый костный мозг из свежих длинных трубчатых костей, реже из фаланг (минимум одна кость), где крайне мало костного мозга, что свидетельствует о добыче максимального объема питательных веществ из бизона. Все длинные трубчатые кости бизона были расщеплены для извлечения желтого костного мозга, что подтверждается

высокой долей находок со следами раскалывания ударом твердого предмета (отбойника) (62%) и отсутствием целых элементов. Это свидетельствует о важности костного мозга как дополнительного пищевого ресурса в рационе неандертальцев.

Орудийная деятельность. Неандертальцы использовали практически все элементы скелета бизона для заготовок костяных орудий (ребра, позвонки, таз, лопатка, фаланги, плюсневая кость и др.), но предпочтительным сырьем были длинные трубчатые кости, что согласуется с ранее полученными данными (Baumann et al. 2020; Kolobova et al. 2020). Наибольший процент костяных орудий определен среди обломков плечевой и бедренной костей. Основываясь на среднем количестве активных зон на орудие, можно заключить, что наиболее интенсивно использовались ретушеры из бедренной и большеберцовой костей. Предпочтение фрагментов длинных трубчатых костей для ретушеров могло быть обосновано тем, что эти кости имеют более широкую кортикальную поверхность и обладают высокой прочностью за счет толстых стенок по сравнению, например, с ребрами или позвонками. Прочность заготовок для ретушеров была необходима, поскольку с их помощью проводились не только ретуширование или подновление каменных орудий, но и такие операции, как оформление острия, модифицирующее переоформление орудия, что связано с отделением достаточно крупных сколов при приложении силового импульса (Шалагина и др. 2020; Kolobova et al. 2022).

Таким образом, мы можем заключить, что неандертальцы Чагырской пещеры проводили интенсивную обработку добытых туш бизонов, состоящую из нескольких этапов (рис. 6). Об этом свидетельствуют высокая доля костей со следами разделки (66%), многочисленные следы намеренной фрагментации костей (>60%) и орудийной деятельности (33%). Неандертальцы Чагырской пещеры демонстрировали высокий уровень адаптации к окружающей среде, эффективно используя животные ресурсы для обеспечения своих потребностей в пище, материалах для орудий и других хозяйственных нужд (использование сухожилий).

Результаты исследования антропогенных следов на костях бизона из Чагырской пещеры позволили выявить комплексную стратегию использования этих животных неандертальцами, включающую как пищевые, так и непищевые аспекты. Наличие порезов и их расположение на костях доказывает, что неандертальцы снимали шкуру добытых бизонов, отделяли кости друг от друга, срезали мясо и сухожилия. Всю последовательность разделки установить практически невозможно по археологическим данным, но основываясь на высокой степени фрагментации костей, наличии следов расщепления и костных чешуек, мы можем констатировать, что именно в пещере неандертальцы добывали костный мозг из костей бизона, после чего из остатков отбирали фрагменты для заготовок

костяных орудий (преимущественно обломки длинных трубчатых костей и ребер) (рис. 6).



Рис. 6. Реконструкция последовательности разделки бизонов неандертальцами Чагырской пещеры

Наличие костей эмбрионов бизонов в слоях бб и бв свидетельствует о забое минимум двух беременных самок. При первичной разделке, которая производится перед транспортировкой крупной добычи, извлекаются внутренности животного, соответственно эмбрионы бизонов с большой вероятностью были отобраны на этом этапе и специально принесены на стоянку.

Список источников

- Васильев С.К. Фауна крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай) по материалам раскопок 2007–2011 годов // Археология, этнография и антропология Евразии. 2013. Т. 1, № 53. С. 28–44.
- Деревянко А.П., Маркин С.В., Колобова К.А., Чабай В.П., Рудая Н.А., Виола Б., Бужилова А.П., Медникова М.Б., Васильев С.К., Зыкин В.С., Зыкина В.С., Зажигин В.С., Вольвах А.О., Робертс Р.Г., Якобс З., Бо Ли. Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры – стоянки среднего палеолита Алтая. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. 468 с.
- Колясникова А.С., Маркин С.В., Рендю У., Колобова К.А. Стратегии неандертальцев Чагырской пещеры по добыче бизонов // Camera Praehistorica. 2025. № 2 (в печати).
- Шалагина А.В., Харевич В.М., Мори С., Боманн М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Реконструкция технологических цепочек производства бифасиальных орудий

- в индустрии Чагырской пещеры // Сибирские исторические исследования. 2020. № 3. С. 130–151.
- Abe Y.* Hunting and butchering patterns of the evenki in the Northern Transbaikalia Russia: PhD thesis. New York: Stony Brook University, 2005. 555 p.
- Baumann M., Plisson H., Rendu W., Maury S., Kolobova K., Krivoshepkin A.* The Neandertal bone industry at Chagyrskaya cave, Altai region, Russia // *Quaternary International*. 2020. Vol. 559. P. 68–88.
- Behrensmeyer A.K.* Taphonomic and ecologic information from bone weathering // *Paleobiology*. 1978. Vol. 4, № 2. P. 150–162.
- Berger J., Cunningham C.* Bellows, copulations, and sexual selection in bison (*Bison bison*) // *Behavioral Ecology*. 1991. Vol. 2, № 1. P. 1–6. doi: 10.1093/beheco/2.1.1
- Binford L.R.* *Bones: Ancient Men and Modern Myths*. San Diego: Academic Press, 1981. 312 p. (Studies in Archaeology).
- Binford L.R.* *Nunamiut Ethnoarchaeology*. New York: Academic Press, 1978. 509 p.
- Bunn H.T.* Archaeological evidence for meat-eating by Plio-Pleistocene hominids from Koobi Fora and Olduvai Gorge // *Nature*. 1981. Vol. 291, № 5816. P. 574–577.
- Castel J.-C.* Comportements de subsistance au Solutréen et au Badegoulien d'après les faunes de Combe Saunière (Dordogne) et du Cuzoul de Vers (Lot): Thèse de doctorat. Bordeaux: Université de Bordeaux I, 2010. 635 p.
- Chong S.* Etude des stries de boucherie expérimentale: approche méthodologique par SIG: Mémoire Master 2. Bordeaux: Université Bordeaux I, 2011. 65 p.
- Costamagno S., David F.* Comparaison des pratiques bouchères et culinaires de différents groupes sibériens vivant de la renniculture // *Archaeofauna*. 2009. Vol. 18. P. 9–25.
- Farizy C., David F., Jaubert J.* *Hommes et bisons du Paléolithique moyen à Mauran (Haute-Garonne)*. Paris: CNRS Éditions, 1994. 30 p.
- Kolobova K., Rendu W., Shalagina A., Chistyakov P., Kovalev V., Baumann M., Koliashnikova A., Krivoshepkin A.* The application of geometric-morphometric shape analysis to Middle Paleolithic bone retouchers from the Altai Mountains, Russia // *Quaternary International*. 2020. Vol. 559. P. 89–96.
- Kolobova K., Kharevich V., Chistyakov P., Kolyasnikova A., Kharevich A., Baumann M., Markin S., Olsen J., Krivoshepkin A.* How Neanderthals gripped retouchers: experimental reconstruction of the manipulation of bone retouchers by Neanderthal stone knappers // *Archaeological and Anthropological Sciences*. 2022. Vol. 14, № 1. P. 26.
- Kovach W.L.* *Oriana – circular statistics for windows*. Pentraeth: Kovach Computing Services, 2011.
- Lemur C.* Interprétation des stries de boucherie à l'aide du SIG: exemple de la grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées): Mémoire Master 1. Toulouse: Université Toulouse II – Jean-Jaurès, 2016. 157 p.
- Nilssen P.-J.* An actualistic butchery study in South Africa and its implications for reconstructing hominid strategies of carcass acquisition and butchery in the upper Pleistocene and Plio-Pleistocene: PhD thesis. Cape Town: University of Cape Town, 2000. 649 p.
- Olsen S.L., Shipman P.* Surface modification on bone: trampling versus butchery // *Journal of Archaeological Science*. 1988. Vol. 15, № 5. P. 535–553.
- Potts R., Shipman P.* Cutmarks made by stone tools on bones from Olduvai Gorge, Tanzania // *Nature*. 1981. Vol. 291, № 5816. P. 577–580.
- QGIS Desktop 3.34.11: геоинформационная система / разраб. QGIS Development Team. 2023. URL: <https://www.qgis.org> (дата обращения: 10.04.2025).
- Régis E.* L'exploitation de la peau par Néandertal? Analyse des stries de dépouillement du faciès 2b des Pradelles (Charente). 2020. (dumas-04096153)
- Rendu W., Costamagno S., Meignen L., Soulier M. C.* Monospecific faunal spectra in Mousterian contexts: Implications for social behavior // *Quaternary International*. 2012. Vol. 247. P. 50–58.

- Romagnoli F., Chabai V., Gravina B., Herisson D., Hovers E., Moncel M.-H., Peresani M., Uthmeier Th., Bourguignon L., Chacon M.G., Modica K.D., Faivre J.-Ph., Kolobova K., Malinsky-Buller A., Neruda P., Garaizar J.R., Weiss M., Wisniewski A., Sykes R.W. Neanderthal technological variability: A wide-ranging geographical perspective on the final Middle Palaeolithic // *Updating Neanderthals: Understanding behavioral complexity in the Late Middle Paleolithic* / ed. by F. Romagnoli et al. London: Academic Press, 2022. P. 163–205.
- Russell P.N. Some Large Game Animal Traditions of the Inland Dena'Ina. University of Alaska, 1995. 15 p.
- Soulier M.-C. Entre alimentaire et technique: l'exploitation animale aux débuts du paléolithique supérieur: stratégies de subsistance et chaînes opératoires de traitement du gibier à Isturitz, La Quina aval, Roc-de-Combe et Les Abeilles: Thèse de doctorat. Toulouse: Université Toulouse II – Jean-Jaurès, 2013. 757 p.
- Soulier M.-C. Exploring meat processing in the past: Insights from the Nunamiut people // *PLoS ONE*. 2021. Vol. 16, № 1. e0245213.
- Soulier M.-C., Costamagno S. Let the cutmarks speak! Experimental butchery to reconstruct carcass processing // *Journal of Archaeological Science: Reports*. 2017. Vol. 11. P. 782–802.
- Soulier M.-C., Morin E. Cutmark data and their implications for the planning depth of Late Pleistocene societies // *Journal of Human Evolution*. 2016. Vol. 97. P. 37–57.
- Wheat J.B. A Paleo-Indian bison kill // *Scientific American*. 1967. Vol. 216. P. 44–53.

References

- Vasil'ev S.K. (2013) Fauna krupnykh mlekopitaiushchikh iz pleistotsenovykh otlozhenii Chagyrskoi peshchery (Severo-Zapadnyi Altai) po materialam raskopok 2007–2011 godov [Large Mammal Fauna From The Pleistocene Deposits Of Chagyrskaya Cave, Northwestern Altai (Based On 2007–2011 Excavations)]. *Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii*, Vol. 1, no. 53, pp. 28–44.
- Derevianko A.P., Markin S.V., Kolobova K.A. V.P. Chabai, N.A. Rudaia, B. Viola, Buzhilova A.P., Mednikova M.B., Vasil'ev S.K., Zykin V.S., Zykina V.S., Zazhigin V.S., Vol'vakh A.O., Roberts R.G., Jakobs Z., Bo Li (2018) *Mezhdistsiplinarnye issledovaniia Chagyrskoi peshchery – stoianki srednego paleolita Altaia* [Interdisciplinary research of the Chagyrskaya Cave – a Middle Paleolithic site in Altai]. Novosibirsk: Izd-vo IAET SO RAN. 468 p.
- Koliasnikova A.S., Markin S.V., Rendiu U., Kolobova K.A. (2025) *Strategii neandertal'tsev Chagyrskoi peshchery po dobyche bizonov* [Strategies of the Neanderthals of the Chagyr cave for the hunting of bison]. *Camera Praehistorica*. 2025. No. 2 (in press).
- Shalagina A.V., Kharevich V.M., Mori S., Bomann M., Krivoschapkin A.I., Kolobova K.A. (2020) Rekonstruktsiia tekhnologicheskikh tsepochek proizvodstva bifasial'nykh orudii v industrii Chagyrskoi peshchery [Reconstruction Of The Bifacial Technological Sequence In Chagyrskaya Cave Assemblage], *Sibirskie istoricheskie issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 130–151.
- Abe Y. (2005) *Hunting and butchering patterns of the evenki in the Northern Transbaikalia Russia*: PhD thesis. New-York: Stony Brook University. 555 p.
- Baumann M., Plisson H., Rendu W., Maury S., Kolobova K., Krivoschapkin A. (2020) The Neandertal bone industry at Chagyrskaya cave, Altai region, Russia. *Quaternary International*. 559. pp. 68–88.
- Behrensmeyer A.K. (1978) Taphonomic and ecologic information from bone weathering. *Paleobiology*. Vol. 4, No. 2. pp. 150–162.
- Berger J., Cunningham C. (1991) Bellows, copulations, and sexual selection in bison (Bison bison). *Behavioral Ecology*. Vol. 2, No. 1. pp. 1–6. DOI: 10.1093/beheco/2.1.1

- Binford L.R. (1981) *Bones: Ancient Men and Modern Myths*. San Diego: Academic Press. 312 p. (Studies in Archaeology).
- Binford L.R. (1978) *Nunamiut Ethnoarchaeology*. New York: Academic Press. 509 p.
- Bunn H.T. (1981) Archaeological evidence for meat-eating by Plio-Pleistocene hominids from Koobi Fora and Olduvai Gorge. *Nature*. Vol. 291, No. 5816. pp. 574–577.
- Castel J.-C. (2010) *Comportements de subsistance au Solutréen et au Badegoulien d'après les faunes de Combe Saunière (Dordogne) et du Cuzoul de Vers (Lot)*: Thèse de doctorat. Bordeaux: Université de Bordeaux I. 635 p.
- Chong S. (2011) *Etude des stries de boucherie expérimentale: approche méthodologique par SIG: Mémoire Master 2*. Bordeaux: Université Bordeaux I. 65 p.
- Costamagno S., David F. (2009) Comparaison des pratiques bouchères et culinaires de différents groupes sibériens vivant de la renniculture. *Archaeofauna*. 18. pp. 9–25.
- Farizy C., David F., Jaubert J. (1994) *Hommes et bisons du Paléolithique moyen à Mauran (Haute-Garonne)*. Paris: CNRS Éditions. 30 p.
- Kolobova K., Rendu W., Shalagina A., Chistyakov P., Kovalev V., Baumann M., Kolyasnikova A., Krivoshepkin A. (2020) The application of geometric-morphometric shape analysis to Middle Paleolithic bone retouchers from the Altai Mountains, Russia. *Quaternary International*. 559. pp. 89–96.
- Kolobova, K., Kharevich, V., Chistyakov, P., Kolyasnikova, A., Kharevich, A., Baumann, M. S. Markin, J. Olsen, Krivoshepkin, A. (2022) How Neanderthals gripped retouchers: experimental reconstruction of the manipulation of bone retouchers by Neanderthal stone knappers. *Archaeological and Anthropological Sciences*. Vol. 14, No. 1. 26 p.
- Kovach W.L. (2011) *Oriana – circular statistics for windows*. Pentaeth: Kovach Computing Services.
- Lemur C. (2016) *Interprétation des stries de boucherie à l'aide du SIG: exemple de la grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées): Mémoire Master 1*. Toulouse: Université Toulouse II – Jean-Jaurès. 157 p.
- Nilsson P.-J. (2000) *An actualistic butchery study in South Africa and its implications for reconstructing hominid strategies of carcass acquisition and butchery in the upper Pleistocene and Plio-Pleistocene*: PhD thesis. Cape Town: University of Cape Town. 649 p.
- Olsen S.L., Shipman P. (1988) Surface modification on bone: trampling versus butchery. *Journal of Archaeological Science*. Vol. 15, No. 5. pp. 535–553.
- Potts R., Shipman P. (1981) Cutmarks made by stone tools on bones from Olduvai Gorge, Tanzania. *Nature*. Vol. 291, No. 5816. pp. 577–580.
- QGIS Desktop 3.34.11 : geographic information system / developed by QGIS Development Team. – 2023. Available at: <https://www.qgis.org> (дата обращения: 10.04.2025).
- Régis E. (2020) *L'exploitation de la peau par Néandertal? Analyse des stries de dépouillement du faciès 2b des Pradelles (Charente)*. {dumas-04096153}
- Rendu W., Costamagno S., Meignen L., Soulier M.C. (2012) Monospecific faunal spectra in Mousterian contexts: Implications for social behavior. *Quaternary International*. 247. pp. 50–58.
- Romagnoli F., Chabai V., Gravina B., Herisson D., Hovers E., Moncel M.-H., Peresani M., Uthmeier Th., Bourguignon L., Chacon M.G., Modica K.D., Faivre J.-Ph., Kolobova K., Malinsky-Buller A., Neruda P., Garaizar J.R., Weiss M., Wisniewski A., Sykes R.W. (2022) Neanderthal technological variability: A wide-ranging geographical perspective on the final Middle Palaeolithic. In: *Updating Neanderthals: Understanding behavioral complexity in the Late Middle Paleolithic* / Ed. F. Romagnoli et al. London: Academic Press, pp. 163–205.
- Russell P.N. (1995) *Some Large Game Animal Traditions of the Inland Denali*. University of Alaska. 15 p.
- Soulier M.-C. (2013) *Entre alimentaire et technique: l'exploitation animale aux débuts du paléolithique supérieur: stratégies de subsistance et chaînes opératoires de traitement du*

- gibier à Isturitz, La Quina aval, Roc-de-Combe et Les Abeilles: Thèse de doctorat.* Toulouse: Université Toulouse II – Jean-Jaurès. 757 p.
- Soulier M.-C. (2021) Exploring meat processing in the past: Insights from the Nunamiut people. *PLoS ONE*. Vol. 16, No. 1. e0245213.
- Soulier M.-C., Costamagno S. (2017) Let the cutmarks speak! Experimental butchery to reconstruct carcass processing. *Journal of Archaeological Science: Reports*. 11. pp. 782–802.
- Soulier M.-C., Morin E. (2016) Cutmark data and their implications for the planning depth of Late Pleistocene societies. *Journal of Human Evolution*. 97. pp. 37–57.
- Wheat J.B. (1967) A Paleo-Indian bison kill. *Scientific American*. 216. pp. 44–53.

Сведения об авторах:

КОЛЯСНИКОВА Анастасия Сергеева – младший научный сотрудник, Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия). E-mail: kns0471@gmail.com

МАРКИН Сергей Васильевич – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий сектором археологии палеолита, Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия). E-mail: markin@archaeology.nsc.ru

КОЛОБОВА Ксения Анатольевна – доктор исторических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией «ЦифрА», Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия); Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия). E-mail: kolobovak@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Anastasia S. Koliashnikova, Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: kns0471@gmail.com

Sergey V. Markin, Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: markin@archaeology.nsc.ru

Ksenya A. Kolobova, Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation); Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: kolobovak@yandex.ru

The authors declare no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 29 апреля 2025;
принята к публикации 8 августа 2025.*

*The article was submitted 29.04.2025;
accepted for publication 08.08.2025.*

Научная статья
УДК 902/904
doi: 10.17223/2312461X/49/10

Новые данные о древнем человеке из неолитической стоянки Берендеево

Сергей Владимирович Васильев¹
Маргарита Михайловна Герасимова²
Светлана Борисовна Боруцкая³
Наталья Александровна Лейбова⁴
Анна Владимировна Рассказова⁵
Ярослав Всеволодович Кузьмин⁶

^{1, 2, 4, 5} *Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
Москва, Россия*

³ *МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия*

⁶ *Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия*
^{1, 3} *vasbor1@yandex.ru*

² *gerasimova.margarita@gmail.com*

⁴ *leibova.natalia@iea.ras.ru*

⁵ *rasskazova.a.v@yandex.ru*

⁶ *kuzmin@fulbrightmail.org*

Аннотация. Настоящая публикация посвящена подробному антропологическому изучению останков человека из малоизвестного погребения, случайно найденного в 1966 г. на неолитической свайной стоянке на Берендеевом болоте (Ярославская область). Задачей нашего исследования было комплексное палео-антропологическое изучение скелета мужского индивида из Берендеево 1 с использованием современных методических подходов. Датировка костного образца из Берендеево составила 5352 ± 36 ¹⁴C лет (RICH-25918.1.1), что соответствует калиброванной дате 6000–6280 календарных лет назад, или 4230–4050 гг. до н.э. Возраст мужчины из Берендеево составил 45–50 лет. Мозговая коробка индивида из Берендеево может быть охарактеризована как мезокранная, на границе с долихокранией. Большинство размеров мозговой коробки – в категориях средних величин. Большими оказываются продольный диаметр, длина и ширина основания черепа, лобная хорда. Лицевой скелет отличается очень большой величиной скулового диаметра и малой величиной верхнелицевого указателя, о развитии переднего плана лица в ширину говорят верхняя ширина лица, которая находится в категории средних величин, и средняя ширина лица, которая соответствует категории малых величин. Мужчина из Берендеево характеризовался узкоплечестием и малым ростом (159,3 см). Скелет конечностей отличался средней или ниже среднего степенью массивности. Плечевые и лучевые кости сильно уплощены в средней части диафиза, большеберцовые кости – саблевидно уплощены в поперечном направлении. Степень развития мышечного рельефа на костях рук и ног в целом средняя. На скелете индивида имеются возрастные патологические изме-

нения, прежде всего признаки остеоартрозов. Зубы очень сильно стерты, что связано в первую очередь с возрастом. Повышенное значение $\delta^{15}\text{N}$ в костном образце Берендеево 1 позволяет сделать предположение об особом значении пресноводной рыбы в рационе питания индивида.

Ключевые слова: изотопный анализ, краниометрия, остеометрия, остеоскопия, палеопатология, одонтология, графическая реконструкция

Благодарности: Васильевым С.В., Герасимовой М.М., Лейбовой Н.А. и Рассказовой А.В. работа выполнена в рамках государственного задания Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (тема «Закономерности популяционной дифференциации человечества в пространстве и времени»); Борущкой С.Б. работа выполнена в рамках государственного задания «Формирование некоторых морфофункциональных особенностей человека в фило- и онтогенезе» (госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию), номер 01-1-21, номер ЦИТИС 121031600200-2).

Для цитирования: Васильев С.В., Герасимова М.М., Борущкая С.Б., Лейбова Н.А., Рассказова А.В., Кузьмин Я.В. Новые данные о древнем человеке из неолитической стоянки Берендеево // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 196–225. doi: 10.17223/2312461X/49/10

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/10

New Data on the Ancient Man from the Neolithic Site of Berendeevo

Sergey V. Vasiliev¹, Margarita M. Gerasimova²,
Svetlana B. Borutskaya³, Natalia A. Leibova⁴,
Anna V. Rasskazova⁵, Yaroslav V. Kuzmin⁶

^{1, 2, 4, 5} *Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation*

³ *Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation*

⁶ *Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russian Federation*

^{1, 3} *vasbor1@yandex.ru*
² *gerasimova.margarita@gmail.com*

⁴ *leibova.natalia@iea.ras.ru*

⁵ *rasskazova.a.v@yandex.ru*

⁶ *kuzmin@fulbrightmail.org*

Abstract. This publication is devoted to a detailed anthropological study of the remains of a man from a little-known burial accidentally found in 1966 at a Neolithic pile site on the Berendeevo swamp (Yaroslavl region). The objective of our study was a comprehensive paleoanthropological study of the skeleton of a male individual from Berendeevo 1 using modern methodological approaches. The dating of the bone sample from Berendeevo was 5352 ± 36 ^{14}C years (RICH-25918.1.1), which corresponds to a calibrated date of 6000–6280 calendar years ago, or 4230–4050 BC. The age of the man from Berendeevo was 45–50

years. The braincase of the individual from Berendeyevo can be characterized as mesocranial, on the border with dolichocrany. Most of the dimensions of the braincase are in the categories of medium values. The longitudinal diameter, length and width of the base of the skull, and frontal chord are large. The facial skeleton is distinguished by a very large value of the zygomatic diameter and a small value of the upper facial index; the development of the frontal plane of the face in width is indicated by the upper width of the face, which is in the category of medium values, and the average width of the face, which corresponds to the category of small values. The Berendeyevo man was characterized by narrow shoulders and short stature (159.3 cm). The skeleton of the limbs was characterized by an average or below average degree of massiveness. The humeri and radii were strongly flattened in the middle part of the diaphysis, the tibiae were saber-shaped flattened in the transverse direction. The degree of development of muscle relief on the bones of the arms and legs was generally average. The skeleton of the individual showed age-related pathological changes, primarily signs of osteoarthritis. The teeth were very heavily worn, which is primarily associated with age. The increased value of $\delta^{15}\text{N}$ in the bone sample of Berendeyevo 1 suggests a significant role of freshwater fish in the diet of the individual.

Keywords: isotopic analysis, craniometry, osteometry, osteoscopy, paleopathology, odontology, graphic reconstruction

Acknowledgements: Vasiliev S.V., Gerasimova M.M., Leibova N.A. and Rasskazova A.V. carried out the work within the framework of the state assignment of the N.N. Miklouho-Maclay Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences (topic "Patterns of population differentiation of mankind in space and time"); Borutskaya S.B. carried out the work within the framework of the state assignment "Formation of some morphofunctional features of man in phylo- and ontogenesis" (state budget, section 0110 (for topics on state assignment), number 01-1-21, CITIS number 121031600200-2).

For citation: Vasiliev, S.V., Gerasimova, M.M., Borutskaya, S.B., Leibova, N.A., Rasskazova, A.V. & Kuzmin, Ya.V. (2025) New Data on the Ancient Man from the Neolithic Site of Berendeevo. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 196–225 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/10

Введение

Настоящая публикация посвящена подробному изучению останков человека (краниологии и остеологии) из малоизвестного погребения, случайно найденного в 1966 г. на неолитической свайной стоянке, открытой еще в 1964 г. на Берендеевом болоте (Ярославская область). Поскольку палеоантропологических материалов неолитического времени с огромной территории лесной зоны Восточно-Европейской равнины явно недостаточно, и они не позволяют в должной мере оценить локальные различия между отдельными территориальными и культурно-хронологическими срезами даже с приростом новых серий, представляется интересным и значимым вновь вернуться к старым находкам, рассмотрев их уже с учетом новой информации в результате накопления новых палеоантропологических данных, а также при поддержке современных методов исследования, анализа и интерпретации.

В 1969 г. в сборнике «Голоцен», изданном к VIII Парижскому конгрессу INQUA, была опубликована статья о палеоантропологических находках на свайном поселении на Берендеевом болоте близ Переславля Залесского. Эта первая и предварительная публикация обнаруженных палеоантропологических материалов из двух погребений на стоянке, получившей впоследствии название Берендеево 1, принадлежит Н.Н. Мамоновой (Мамонова 1969). Археологический контекст был представлен в статье, посвященной, главным образом, палеогеографии и геоморфологии стоянки, краткому перечню археологических находок, там же описание обнаруженных погребений: мужского, хорошо сохранившегося, и разрушенного современными торфоразработками – женского с ребенком младенческого возраста (Никитин, Хотинский 1966). Интересно, что удивительный обряд погребения в скорченном положении, в тугом берестяном коробе ни в литературе тех лет, ни в более позднее время подробно не рассматривался. Спустя 10 лет одним из авторов первой публикации (Никитин 1976) обнаруженное погребение 2 описывается как младенческое, разрушенное, также с остатками бересты (дата бересты 4340 ± 40 ГИН-1976). В полуметре от ног младенца находилась ямка, в которой находились череп и челюсть медведя.

Неолитизация лесной зоны Восточной Европы, в частности Восточно-Европейской равнины, в отличие от южных территорий, началась довольно поздно, в V тыс. до н.э., а продолжилась до рубежа III–II тыс. до н.э., иногда и позднее. Проявилась она главным образом в возникновении гончарства. Свидетельства о существовании земледелия и скотоводства отсутствовали. Огромная область лесов Русской равнины в этот период времени характеризуется сменой каменного инвентаря и появлением новых технологий его изготовления (шлифовка, сверление, полировка), а главное – появлением и бурным развитием керамики, получившей название ямочно-гребенчатой. Положение стоянок близ воды, следы свайных построек, археологический инвентарь стоянок, а именно хорошо сохраняющиеся в торфяных залежах изделия из дерева, кости и рога (рыболовные крючки, остря, гарпуны), свидетельствовали о преобладании в хозяйстве рыболовства.

Культурно-историческая область лесной полосы Русской равнины под названием культуры ямочно-гребенчатой керамики рассматривалась как нечто единое. Территориальная культурно-историческая карта неолита лесной полосы появилась несколько позже (Гурина 1973). Был выделен ряд провинций, отдельные культуры и обоснована их преемственность. В связи с последующим накоплением материалов керамика Берендеева 1 стала рассматриваться как средний этап льяловской культуры, а все многообразие археологических культур Волго-Окского бассейна (рязанская, белевская, балахнинская) – как возникшее в процессе

дальнейшего ее развития (Раушенбах 1973). Наиболее подходящим термином для обозначения керамики А.Л. Никитин считает «ямчато-накольчатый» и выделяет эту керамику как особый этнокультурный комплекс, не связанный первоначально с ямочно-гребенчатым неолитом (Никитин 1976).

Что касается антропологии, то в 1948 г. Г.Ф. Дебецем была высказана идея о преимущественной принадлежности европеоидных форм на территории нашей страны V–II тыс. до н.э. к протоевропейскому антропологическому типу и сформулировано определение этого типа, характеризующегося широким (ок. 140 мм) и не очень высоким (68–72 мм) лицом, ортогнатностью или небольшой мезогнатностью, сильно выступающим носом (33–35 гр.), низкими или средней величины орбитами (индекс от d –76–80), сильно развитыми надбровными дугами, долихо-мезокранией (черепной указатель 74–76 при большом продольном диаметре (ок. 190 мм) и среднем поперечном (ок. 143 мм), средней или большой высотой черепа (135–140 мм), средним или широким лбом (97–100 мм) (Дебец 1948). К этой характеристике следует добавить высокорослость.

Концепцию Г.Ф. Дебеца тогда приняли практически все советские антропологи, и подавляющее число европеоидных серий эпохи неолита и бронзы степной полосы Северной Евразии (СССР) было отнесено к этому типу. Палеоантропологи, изучавшие неолитическое население лесной зоны Восточно-Европейской равнины (Жиров 1940; Дебец 1948, 1961; Акимова 1947, 1953; Герасимов 1955; Марк 1956 и др.), сформировали представление о наличии некоей монголоидной примеси в составе этого населения, ими была высказана также идея о связи ее с брахикранией. И уже только брахикrania, малые размеры черепов и костяков давали основания относить неолитические черепа к лапоноидному антропологическому типу. Частный вопрос об антропологическом типе носителей неолитической культуры ямочно-гребенчатой керамики стал одним из аспектов фундаментальной проблемы антропологии Восточной Европы. От его решения зависели не только наши представления о путях заселения Восточной Прибалтики или происхождения финноязычных народов, но и проблема происхождения уральской расы. Во всяком случае идея ее метисного происхождения в те годы была превалирующей. Идея же существования нейтрального протоморфного комплекса признаков, сохраняющегося в Восточной Европе с эпохи ранних стадий расогенеза, основанная на соматологическом материале (Бунак 1956), была поддержана в то время на палеоантропологическом материале практически только В.П. Якимовым (Якимов 1957).

Отмечаемая тенденция к некоторой уплощенности горизонтального профиля лицевого скелета при резком выступании носовых костей, на

долгие годы определила «основные линии изучения динамики антропологического состава Восточной Европы» (Алексеев 1984).

Палеоантропологические находки в лесной зоне были малочисленны. Большинство из них происходило из погребений, найденных на торфяниках Языково, Модлона, Караваиха или на дюнах Володары, Старший Волосовский, Панфилово, Гавриловка (Акимова 1953; Дебец 1948; Герасимов 1955). Все эти находки были единичными, плохой сохранности. Серийный материал происходил из могильника Южный Олений остров, который в то время считался неолитическим (Жиров 1940; Якимов 1960), и из сборов А.А. Иностранцева в 1882 г. разрушенного могильника Ладожский канал (Дебец 1948). Тем не менее убеждение, что наличие монголоидной примеси хорошо прослеживается на обширной территории от Прибалтики до Зауралья, стало общим мнением многих антропологических и археологических исследователей тех лет (Алексеев 1984; Герасимова 1986).

Задачей нашего исследования было комплексное палеоантропологическое изучение скелета мужского индивида из Берендеево 1 с использованием современных методологических подходов. А именно: новая радиоуглеродная датировка материала, проведение изотопного анализа, подробный краниологический анализ, остеологическое исследование, анализ степени развития мышечного рельефа на костях конечностей, палеопатологический анализ, одонтологическое исследование, графическая реконструкция облика индивида.

Результаты и обсуждение

Радиоуглеродный и изотопный анализы. Радиоуглеродное (^{14}C) датирование и измерение соотношения стабильных изотопов углерода и азота кости человека из Берендеево (материал 1965 г.) проводилось в Королевском институте культурного наследия (*англ.* – Royal Institute for Cultural Heritage; *фламандск.* – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium; *франц.* – Institut Royal du Patrimoine Artistique) (индекс лаборатории – RICH), г. Брюссель (Бельгия).

Выделение коллагена проводилось по методу Лонжина (Longin 1971). Навеска кости весом около 1 г была деминерализована в 10 мл 8%-го раствора HCl в течение 20 минут и затем промыта дистиллированной водой. После этого образец был помещен в 1%-й раствор NaOH на 15 минут, а затем промыт дистиллированной водой. Полученное вещество было обработано 1%-м раствором HCl для нейтрализации и промыто дистиллированной водой. Желатинизация выделенной органической части кости проводилась в воде (кислотная реакция – $\text{pH } 3$) при 90°C в течение 12 ч. Полученный желатин был пропущен через стеклянный фильтр

Millipore (размер отверстий – 7 микрон), после чего путем вымораживания в вакууме он был выделен в твердом виде. Продукт представляет собой коллаген (органическую часть кости), который был подвергнут ^{14}C датированию. Образец был сожжен и преобразован в графит (Van Strydonck, van der Borg 1990–1991), а затем датирован методом ускорительной масс-спектрометрии (Boudin et al. 2015).

Возраст костного образца из Берендеево составил 5352 ± 36 ^{14}C лет (RICH-25918.1.1), что соответствует калиброванной дате 6000–6280 календарных лет назад, или 4230–4050 гг. до н.э. (± 2 сигма, Кузьмин 2017).

Соотношения стабильных изотопов в коллагене оказались следующими: $\delta^{13}\text{C} = -19,2$ ‰; $\delta^{15}\text{N} = 12,3$ ‰; отношение C : N = 3,2. Повышенное значение $\delta^{15}\text{N}$, видимо, можно связать с потреблением пресноводной рыбы. Это подтверждается археологическим контекстом и находками (описаны выше). Кроме того, данный результат дает основание к некоторому удревнению ^{14}C даты (Shishlina et al. 2018). Однако данный «эффект резервуара» (Кузьмин 2017) вряд ли серьезно повлиял на определение возраста, и им можно пренебречь.

Краниологическое исследование. Основное внимание было уделено краниологическим характеристикам человека из Берендеево 1. Череп хорошей сохранности был очень подробно измерен (взято 45 измерительных и описательных признаков и подсчитано 12 указателей). Приведены таблица измерений черепа и словесное описание. Н.Н. Мамонова описывает череп из Берендеево как довольно мощный, с хорошо выраженным рельефом лобной, затылочной и височных костей (рис. 1). Мозговая коробка эллипсоидной формы, со стороны затылка – крышевидная. По черепному указателю череп мезокранный (указатель 76,9), массивный, средневысокий, с широким покатым лбом, с сильно развитой глабеллой и надбровьем. Лицо широкое, выглядит низким (72 мм) из-за очень большой величины скулового диаметра (143 мм). Орбиты очень низкие (32) из-за очень большой их ширины (46), нос среднеширокий (26) и невысокий (53), сильно выступающий (34 градуса). Большие величины симметрической высоты и высоты над максиллофронтальной хордой свидетельствуют о высокой спинке носа, а назомаллярный угол – о некоторой уплощенности орбитального отдела. Совокупность признаков, полагала Н.Н. Мамонова, позволяет отнести этот череп к тому антропологическому типу, который Г.Ф. Дебец назвал протоевропеоидным, сохранившимся в смягченном виде кроманьонские черты (Мамонова 1969).

Мы посчитали интересным вновь рассмотреть череп человека из погребения на стоянке Берендеево 1 и попробовать ответить на вопрос о месте его краниологического комплекса в ряду форм неолитического населения лесной зоны Восточной Европы. Череп был вновь измерен ав-

торами данного исследования. Его характеристики практически не изменились после более полувекового хранения в обычных лабораторных условиях. Единственное – разрушилась область дакриона.



Рис. 1. Череп мужчины из Берендеево

Измерения мозговой коробки, описательные признаки и указатели приведены в табл. 1, измерения лицевого скелета, описательные признаки и указатели – в табл. 2, нижней челюсти – в табл. 3. В современном исследовании категории размеров и указателей даны по Дебецу (Алексеев, Дебец 1964).

Таблица 1

Метрические и описательные характеристики мозговой коробки мужского черепа Берендеево 1

Измерения			Мамонова, 1969
№ по Мартину	мм	Категория размера	мм
1. Продольный диаметр.	185	Большой	186
8. Поперечный диаметр	142	Средний	143
17. Высотный диаметр	135	Средний	135
5. Длина основания	105	Большая	106
9. Ширина лба наименьшая	96	Средняя	96
10. Ширина лба наибольшая	119	Средняя	118
11. Ширина основания	128	Большая	129
12. Ширина затылка	113	Большая	
29. Лобная хорда	115	Большая	
30. Теменная хорда	109	Малая	
31. Затылочная хорда	~94	Средняя	
23а. Горизонтальная окружность через of	511	Средняя	
25. Сагиттальная дуга	360	Малая	
26. Лобная дуга	131	Средняя	
27. Теменная дуга	119	Малая	
28. Затылочная дуга	110	Малая	

Измерения			Мамонова, 1969
№ по Мартину	мм	Категория размера	мм
20. Высота от ро-ро	115		113
32. Угол лба от назиона			74
Описательные признаки в баллах			
Надпереносье 1–6	3–4		4
Надбровные дуги 1–3	2		3
Затылочный бугор			1
Сосцевидный отросток	2–3		2
Указатели мозговой коробки			
8:1. Черепной указатель	76,8	Средний	76,9
17:1. Высотно-продольный	72,9	Средний	72,6
17:8. Высотно-поперечный	95,1	Средний	94,6
9:8. Лобно-теменной	67,8	Средний	67,1
9:10. Широтный лобный	80,6	Средний	
29:26. Изгиба лба	87,8	Средний	
30:27. Хордо-дуговой темени	91,6	Большой	
31:28. Изгиба затылка	85,4	Средний	
28:27. Дуговой затылочно-теменной	92,3	Средний	
10:11. Фронтально-базиллярный	92,9	–	

Примечание. ро-ро – порион-порион.

Мозговая коробка может быть охарактеризована как мезокранная, правда, на границе с долихокранией. Продольный диаметр в категории больших размеров, но практически на границе со средней величиной. Поперечный диаметр также средний, высотный диаметр от базииона средней величины, и высотно-продольный и высотно-поперечный указатели ожидаемо в средней категории признака. Широтные размеры лба – в категории средних размеров. Теменная кость малых размеров, плоская (указатель в категории больших, т.е. хорда и дуга достаточно близки), теменные бугры не выражены. Широтные размеры затылочной кости и ее хорда – в категории средних величин признака, а затылочная дуга – в категориях малых. Затылочно-теменной дуговой указатель – в категории средних размеров, в данном контексте он интересен в связи с вопросом о расовой диагностике черепа (Беневоленская 1980, 1984). Череп обнаруживает сходство по этому признаку со средними данными могильника Южный Олений остров, «крайне спорного по расовой диагностике» (Гохман 1984).

Визуально череп не такой мощный и крупный, большинство размеров мозговой коробки – в категориях средних величин. Большими оказываются продольный диаметр, длина и ширина основания черепа, лобная хорда.

Описанный лицевой скелет, особенно относительно очень широкого лица, имеет очень низкие орбиты за счет большой ширины, среднеширокий нос с ярко выраженным антропным краем, очень большим углом выступания носовых костей и с выраженной спинкой, о чем свидетельствуют максилло-фронтальная и симолическая высоты.

Таблица 2

Метрические и описательные характеристики лицевого скелета черепа Берендеево 1

Краниометрия (результаты измерений авторов статьи)			По Мамоновой, 1969
№ по Мартину	мм	Категория	мм
45.Скуловой диаметр	143	Очень большой	
40.Длина основания лица	100	Средняя	100
43. Верхняя ширина лица	104	Средняя	104
46. Средняя ширина лица	94 ?	Малая	100
47.Полная высота лица	116	Средняя	117
48. Верхняя высота лица	72	Средняя	
55. Высота носа	53	Средняя	53
54. Ширина носа	26	Большая	26
51. Ширина орбиты от мф.	46	Оч. большая	46,3
52. Высота орбиты	32	Малая	33
Бималлярная ширина fmo-fmo	106,8		
Высота назиона над б/м хордой	18,0		
Назомаллярный угол	141	Средний	141
Зиго-максиллярная ширина	94		
Высота над з/м хордой	25		
Зиго-максиллярный угол	126	Малый	126
SS. Симотическая высота	4,9	Большая	
SC. (57) Симотическая ширина	7,1	Малая	
MC. Максиллофронт. ширина	18,6		
MS. Максиллофронт. высота	11,5		
Углы лицевого скелета			
72. Общий лицевой угол	82		84
73.			86
74. Альвеолярный угол			75
75.Угол наклона новых костей	34		34
75(1). Угол выступания носа	28		
Кранио-фациальные указатели			
45:8. Поперечный фацио-церебрал.	100,7	Оч. большой	
48:17. Вертикальный	53,3		
9:45. Лобно-скуловой	67,2		
10:45. Коронально-скуловой	83,9		
9:43. Фронтально-малярный	91,4	Средний	
40:5. Выступания лица	95,2		
Лицевые указатели			
47:45. Общий лицевой	81,1	Средний	81,2
48:45. Верхнелицевой	50,4	Малый	50,0
48:46. Верхний среднелицевой	76,4	Большой	
54:55. Носовой	49,1	Средний	49,1
52:51. Орбитный от mf	69,5	Оч. малый	71,3
Максилло-фронтальный указатель	61,8		
Симотический указатель	69,0	Оч. большой	74,3

Примечание. мф. – максилло-фронтале; б/м – Бималлярная; з/м – зиго-максиллярная; максиллофронт. – максиллофронтальная; фацио-церебрал. – фацио-церебральная.

Лицевой скелет, действительно, отличается очень большой величиной скулового диаметра и малой величиной верхнелицевого указателя, о развитии же собственно переднего плана лица в ширину говорят верхняя ширина лица (М43), которая в категории средних величин, и средняя ширина лица (М46), которая в категории малых. По Мамоновой, «очень небольшая высота лица» – в категории средних величин, а нос средневысокий и широкий, а не среднеширокий.

Таблица 3

Измерения нижней челюсти черепа Берендеево 1

№ по Мартину	мм	Категория	№ по Мартину	мм	Категория
65. Мыщелковая ширина			69(1). Высота тела	33	Очень большая
66. Угловая ширина	110	Очень большая	69(3). Толщина тела	11	Средняя
67. Передняя ширина	45	Средняя	70. Высота ветви		
68. Длина от углов			71а. Наименьшая ширина ветви		
68(1) Длина от мыщелков			79. Угол наклона ветви		
69. Высота симфиза	33	Большая	С. угол подбородка		

По поводу нижней челюсти можно сказать, что она относительно грацильная, широкая, с сильно развернутыми углами, восходящая ветвь средневысокая, довольно широкая. Все размеры нижней челюсти относятся к категории средних величин. Нами была измерена нижняя челюсть (табл. 3) в пределах краниологического бланка образца 1959 г.

Отвлекаясь от частных, можно сказать, что лицевой скелет в общих чертах обнаруживает выраженность признаков, характерную для комплекса, имеющего место на территориях северо-запада Восточной Европы и Волжско-Окского междуречья в мезолитическое и неолитическое время: большую ширину лица (особенно относительно средней высоты лица), средней ширины или широкое грушевидное отверстие, резкое выступание носовых костей, хорошо профилированное переносье, некоторую тенденцию к уплощенности горизонтального профиля лица.

А.Н. Багашев и К.Н. Солодовников провели межгрупповой статистический анализ суммарных региональных серий эпохи неолита и энеолита центральных районов Северной Евразии для выяснения картины «расогенетической дифференциации, влияющей на сложение антропологического покрова центральных регионов Северной Евразии» (Багашев, Солодовников 2024). С территории лесной зоны Восточной Европы авторы из имеющихся находок организовали следующие серии: серия культур

ямочно-гребенчатой керамики северо-западных областей Восточно-Европейской равнины и Волго-Окского междуречья (Языково, Берендеево, Ловецкое озеро, Сахтыш, Ксизово), отдельная серия волосовской и рязанской культур (Панфилово, Ивановское VII, Володары, Шагарский могильник, Черная Гора), серия мезолита и неолита Прибалтики (Звейниекские всех этапов, Абора, Крейчи, Юркова), серия мезолита северо-запада Восточно-Европейской равнины (Южный Олений остров, Попово, Песчаница). Одним из результатов проведенного анализа является вывод, что все сибирские группы демонстрируют значительное отличие от синхронных и предшествующих групп лесной и лесостепной зон Восточной Европы.

Далее мы попытались определить место черепа Берендеево 1 среди других мезолитических и неолитических форм Прибалтики, Озерного края и Волго-Окского междуречья.

Рассмотрим метрические характеристики черепа Берендеево на фоне мужских черепов мезолитического и неолитического времени лесной полосы Восточной Европы. Мы воспользовались сравнительными данными из монографии о Сахтышских неолитических могильниках (Алексеева, Денисова 1997). Результаты приведены в табл. 4.

Таблица 4

Основные метрические характеристики мужских черепов из мезолитических и неолитических погребений лесной полосы Восточной Европы

№*	1	8	17	9	45	48	55	54	51	52	77	Zm	75(1)
1	186,6	136,5	140,2	98,6	136,9	70,4	51,8	24,8	43,6	32,3	139,8	125,5	31,7
2	190,0	140,9	144,0	99,6	144,5	74,8	53,9	24,9	43,6	33,5	140,5	126,5	30,0
3	187,1	142,0	138,3	98,4	142,8	71,3	52,0	25,8	45,0	33,1	141,5	127,8	28,3
4	193,0	133,0	142,0	93,0	129,0	78,5	54,0	26,0	43,0	34,0	141,0	124,0	29,0
5	196,0	145,3	143,5	103,7	151,0	71,0	55,0	24,5	46,3	32,0	141,1	127,6	28,0
6	188,3	146,7	137,5	93,7	151,3	67,0	51,3	25,0	43,0	31,7	147,3	130,5	32,0
7	181,8	142,4	137,6	95,4	143,8	70,6	51,5	25,8	43,9	33,1	141,3	124,9	29,9
8	192,3	140,0	133,0	97,5	137,3	71,3	51,3	26,8	44,1	31,3	139,3	130,0	31,0
9	190,2	137,2	139,2	94,0	139,7	71,5	53,5	26,5	40,5	32,0	144,9	131,7	30,5
10	190,4	138,1	144,7	99,3	139,3	71,3	53,6	25,0	44,7	33,9	138,2	122,0	32,3
11	188,1	142,0	139,0	99,3	139,9	69,5	51,8	25,4	44,2	32,4	141,9	130,1	28,9
12	176,0	134,0	131,0	79,0	133,0	75,0	53,0	23,0	40,3	32,0	141,0	114,0	31,0
13	185,7	143,7	143,0	96,3	152,0	73,1	54,5	30,0	42,0	34,8	143,0	133,0	30,5
14	186,0	143,0	135,0	96,0	144,0	72,0	53,0	26,0	46,3	33,0	141,0	126,0	34,0

№* По горизонтали – признаки по Мартину; по вертикали – перечень серий: 1 – Звейниекские, мезолит; 2 – Попово; 3 – Южный Олений остров; 4 – Кирсна; 5 – Ивановский VII; 6 – Сахтыш, льяловская культура; 7 – Сахтыш, волосовская культура; 8 – Черная Гора; 9 – Ладожский канал; 10 – Звейниекские, ранний неолит; 11 – Звейниекские, средний и поздний неолит; 12 – Володары; 13 – Караваиха; 14 – Берендеево 1.

Понимая, что это не совсем корректно, поскольку мы анализируем совокупность индивидуальных и серийных данных для определения места черепа Берендеево 1 среди этой совокупности находок, был предпри-

нят компонентный анализ, для которого использовались все представленные в таблице признаки. Главные компоненты I и II описывают более 55% изменчивости (рис. 2). По первой компоненте наиболее значимыми являются следующие признаки: 9, Zm и 8; по второй – 48, 55 и 52 (табл. 5).

Таблица 5

Нагрузка по признакам на Главные компоненты

Нагрузки	1	2	3
1. Продольный диаметр	0,658	0,330	-0,292
8. Поперечный диаметр	0,774	-0,471	0,078
17. Высотный диаметр	0,595	0,635	-0,043
9. Ширина лба	0,868	0,131	-0,415
45. Скуловой диаметр	0,761	-0,295	0,276
48. Верхняя высота лица	-0,373	0,816	0,236
55. Высота носа	0,187	0,788	0,188
54. Ширина носа	0,473	0,198	0,581
51. Ширина орбиты	0,551	-0,030	-0,703
52. Высота орбиты	0,179	0,782	0,272
77. Назомаллярный	0,225	-0,449	0,707
Zm. Зигомаксиллярный	0,809	-0,174	0,346
75(1). Угол носа	-0,222	-0,281	0,061
Charact. value	4,204	3,089	1,961
Percent	32,341	23,763	15,084

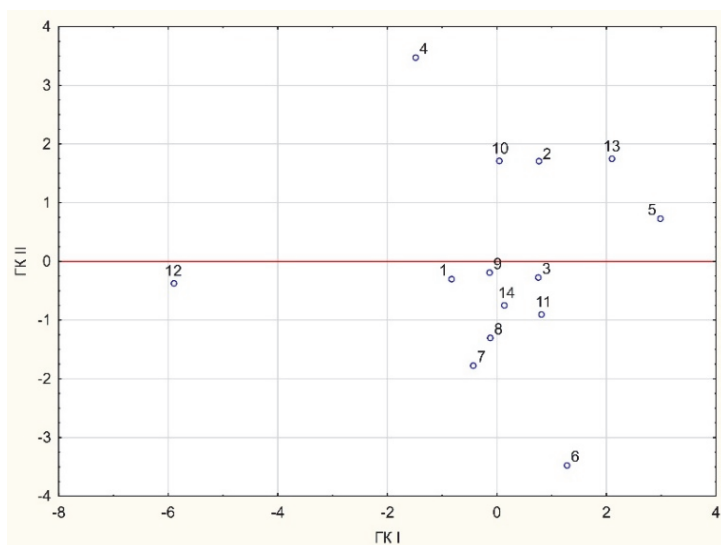


Рис. 2. Распределение находок в поле Главных компонент I и II.
Нумерация как в табл. 4

Череп из Берендеева болота ожидаемо находится практически в центре графика, и наиболее близко к нему располагаются Ладожская стоянка, Южный Олений остров, Звейниекки (средний и поздний неолит) и Черная Гора. Два памятника также ожидаемо отстоят достаточно далеко. Это мужской череп из Володар (№ 12), который М.М. Герасимов назвал малоголовым типом европейца. «Среди мужских черепов лесного неолита стоит как бы особняком, он не имеет себе подобных» (Герасимов 1955). Второй – череп из Кирсны (№ 4) (Марк 1956). Этот череп отличается резко выраженной длинноголовостью (черепной указатель 68.9), самым низким черепом, самым узким лбом, высоким лицом, высоким носом.

Как нам представляется, результаты межгруппового сопоставления мужских черепов мезолита – энеолита центральных районов Северной Евразии (Багашев, Солодовников 2024) демонстрируют значительные отличия всех популяций лесной зоны Восточной Европы от сибирских групп. «Мезолитические и неолитические группы, как лесного Урала, так и большинство европейских лесных популяций, следует признавать принадлежащими к северной ветви древних европеоидов» (Багашев, Солодовников 2024). Можно предположить, что особенности строения черепа северной ветви древних европеоидов, т.е. особенности строения черепов населения лесной полосы северо-западных и центральных районов Восточно-Европейской равнины эпохи мезолита и неолита, являются возможным проявлением пережиточного краниологического полиморфизма, сохранившегося в условиях малочисленности популяций и их изолированности из-за климатогеографических отличий северо-западных и северо-восточных территорий. Именно к этим формам и относится по строению черепа человек из Берендеево.

Остеология. Н.Н. Мамоновой были описаны (правда очень кратко) кости посткраниального скелета человека из Берендеево. Она отмечает хорошую сохранность костяка и его небольшие размеры. Нами было проведено измерение костей посткраниального скелета. Рассчитаны индексы пропорций, массивности (прочности) длинных костей, индексы сечения, прижизненная длина тела. В ряде случаев для сравнения использовались данные о размахе вариаций значений индексов пропорций, прочности и сечения для человека современного типа из литературных источников.

Скелет принадлежал мужчине. Возраст индивида по черепу составил 45–50 лет, по посткраниальному скелету – около 45 лет. Половозрастное определение и измерение костей мы проводили с учетом методик и рекомендаций из научных литературных источников следующих авторов: В.П. Алексеев (1966), В.П. Алексеев и Г.Ф. Дебец (1964), В.И. Добряк (1960), Б.А. Никитюк (1960а, 1960б), В.И. Пашкова (1963), D. Ubelaker (1978). В тех случаях, если концевые отделы длинных костей были

немного повреждены, мы использовали методику реконструкции длины костей Н.Н. Мамоновой (1968).

В табл. 6 приведены результаты вычисления индексов пропорций скелета, прижизненной длины тела индивида из Берендеево, ширина плеч и ширина таза. В отдельных случаях в таблице для сравнения приводятся вариации индексов для человека современного типа, взятые из литературных источников (Рогинский, Левин 1978; Хрисанфова 1978). Ширина плеч рассчитывалась по формулам Д. Ражева (Ражев 2003). Ширину таза измерить не удалось, так как правая тазовая кость имела не соответствующую сохранность. Мы измерили приблизительно ширину половины таза и восстановили предполагаемую ширину, умножив результат измерения на 2. Конечно, данный результат не реальный, но хотя бы приблизительный. Иной возможности предположить, какова была ширина таза у исследуемого индивида у нас не было. Цифры в таблицах соответствуют обозначению измерительных признаков в методическом пособии «Остеометрия» В.П. Алексеева (1966).

Длину тела, которую мужчина из Берендеево мог иметь при жизни, мы рассчитывали по формулам Пирсона и Ли, Дюпертюи и Хеддена, Бунака (Алексеев 1966). Далее определялось среднее значение длины тела.

Таблица 6

Индексы пропорций, некоторые показатели скелета и рассчитанная прижизненная длина тела у мужчины из Берендеево

Индекс	Правая сторона	Левая сторона	Размах вариаций у человека современного типа
Интермембральный (1 пл + 1 луч / 2 бедр+1 ббк), %	70,05	—	60–84
Плече-бедренный (1/2), %	71,46	71,22	68,8–72,9
Луче-большеберцовый (1/1), %	68,32	—	62–71
Лучеплечевой (1/1), %	77,65	—	71–82
Берцово-бедренный (1/2), %	81,22	82,44	77,3–86,6
Ключично-плечевой (1/2), %	46,71	48,45	40,1–52,1
Ширина плеч, см	33,3		
Плече-ростовой, %	20,92		
Ширина таза, см	25,8		
Тазовый, %	77,91		
Тазо-ростовой, %	16,20		
Надколенник			
Высотно-широтный указатель	98,82	98,78	
Высота / ширина (1/2), %			
Широтный указатель, %			
Ширина надколенника / ширина нижнего эпифиза бедра (2/21)	55,92	55,03	
Реконструированная прижизненная длина тела, см	159,3		

По возможности были рассчитаны индексы пропорций правой и левой сторон скелета, но, к сожалению, не во всех случаях. Поэтому иногда приходится судить о характере пропорций только по одной стороне.

Интермембральный индекс имеет среднее значение. Следовательно, можно говорить о примерно среднем соотношении длин рук и ног. Плече-бедренный индекс оказался выше среднего, что указывает на несколько удлинённый плечевой отдел рук, или относительно укороченный бедренный отдел ног. Луче-большеберцовый индекс оказался выше среднего, что говорит об относительно удлинённом предплечье или же относительно укороченной голени. Лучеплечевой индекс оказался немного выше среднего, что говорит о немного удлинённом медиальном отделе руки (предплечье) относительно проксимального отдела (плеча). Берцово-бедренный индекс имеет среднее значение, что соответствует среднему соотношению их длин.

Ключично-плечевой индекс соответствует среднему значению и немного выше среднего значения, однако данный индекс не особенно информативен. Интереснее результат расчета абсолютной ширины плеч, которая составила 33,3 см. Полученный результат говорит о выраженной узкоплечести данного мужчины. Из таблицы видно, что прижизненная длина тела мужчины невелика. Возможно, узкоплечесть связана с его общей грацильностью и низкорослостью.

Ширина таза приблизительно составила 26 см. Необходимо объяснить, что смонтировать таз и измерить его не представляло возможности. Удалось смонтировать только его левую половину. Далее мы аккуратно измерили проекционно половину ширины таза и умножили результат на 2. В итоге можно говорить о средней ширине таза. Тазовый индекс, равный почти 78%, указывает на несколько низкий таз. Обычно у мужчин этот индекс должен быть больше 80%.

Высотно-широтный указатель обоих надколенников чуть меньше 100%, т.е. надколенники немного лучше были развиты в ширину. Широтный указатель надколенника, который рассчитывается относительно ширины нижнего конца бедренной кости (ширина нижнего эпифиза), показал, что надколенники являются среднеширокими, согласно рубрикации Р. Мартина (Алексеев 1966).

Длину тела, которую мог иметь мужчина при жизни, мы рассчитывали по формулам Пирсона и Ли (158,1 см), Дюпертюи и Хеддена (161,1 см) и Бунака (158,7 см). В среднем длина тела мужчины оказалась равна 159,3 см. Таким образом, согласно рубрикации Р. Мартина, данный мужчина имел при жизни малый рост.

В табл. 7 представлены результаты определения степени массивности, или прочности, длинных костей конечностей. Размах вариаций зна-

чений индексов у человека современного типа взят из литературных источников (Рогинский, Левин 1978; Хрисанфова 1978), по прочности ключицы – наши собственные данные.

Так, ключицы данного индивида имели среднюю массивность, правая кость была немного более массивной, выше среднего. Плечевые кости оказались также средне массивными, как и правая лучевая кость. Правая локтевая кость имела прочность немного ниже среднего.

Бедренные кости были довольно грацильными. Большеберцовые кости, если ориентироваться на середину диафиза, были достаточно массивными. Но если определять массивность на уровне наименьшей окружности диафиза, т.е. снизу, большеберцовые кости обладают массивностью средней степени.

Таблица 7

**Индексы массивности (прочности) длинных костей
конечностей индивида из Берендеево, %**

Индекс массивности, кости	Правая сторона	Левая сторона	Размах вариаций у человека современного типа
Ключица (6/1)	26,67	25,53	20–30
Плечевая (7/1)	19,80	19,86	18–22
Лучевая (3/1)	15,39	–	14–18
Локтевая (3/2)	16,00	–	15–18
Бедро (8/2)	18,78	18,29	18–21
ББК (10/1)	22,82	22,49	20–22
ББК (10в/1)	20,42	20,12	18–23

В табл. 8 представлены результаты вычисления индексов сечения диафизов некоторых длинных костей. Для некоторых показателей имеются данные о размахе вариаций у человека современного типа.

Таблица 8

**Результаты расчета некоторых показателей сечения длинных костей
конечностей индивида из Берендеево**

Кости. Индексы	Правая сторона	Левая сторона	Размах вариаций у человека современного типа
Плечевая (6/5)	70,46	74,42	–
Лучевая (5/4)	73,43	72,86	72–78
Локтевая (11/12)	82,35	82,35	–
Большеберцовая (9/8)	53,23	57,33	60–90

Плечевая кость в середине диафиза, на наш взгляд, уплощена довольно сильно. Вероятно, так получилось благодаря неплохому развитию выступающей дельтовидной шероховатости. Из табл. 8 видно, что дельтовидная шероховатость действительно развита хорошо. Индексы сечения лучевых

костей невелики и соответствуют сильной уплощенности диафиза и хорошему развитию межкостного края. Локтевые кости, согласно индексам сечения, уплощены не сильно, а межкостный край выступает слабо, хотя и имеет на самой грани довольно неплохой рельеф.

Большеберцовые кости в средней части тела уплощены очень сильно, особенно правая кость.

В табл. 9 представлены результаты вычисления индексов сечения, имеющих рубрикации вариаций у человека современного типа (Алексеев 1966).

Обе локтевые кости можно охарактеризовать как эуруленичные. Кости хорошо развиты и в поперечном, и в сагиттальном направлении. В сагиттальном – немного сильнее. Гребень супинатора, который мог бы повлиять на поперечный размер кости в верхней части диафиза, развит у данного мужчины очень плохо.

Таблица 9

Результаты расчета некоторых показателей сечения длинных костей конечностей мужчины из Берендеево

Кости. Индексы	Рубрикации индексов	Правая сторона	Левая сторона
Локтевая 13/14	Индекс платолении: ...–79,99 – платоления 80–99,99 – эуруления 100,0–... – гиперэуруления	82,61	83,70
Бедренная 6/7	Индекс пиялстрии: ...–98,99 – расширенный диафиз 99,0–100,99 – округлый диафиз 101,0–... – суженный диафиз	97,20	90,91
Бедренная 10/9	Индекс платимерии: ...–74,99 – гиперплатимерия 75,0–84,99 – платимерия 85,0–99,99 – эуримерия 100,0–... – стеномерия	69,31	66,67
Большеберцовая 9а/8а	Индекс платикнемии: (...–55,0 – гиперплатикнемия) ...–64,99 – платикнемия 65,0–69,99 – мезокнемия 70,0–... – эурикнемия	52,86	57,58

У бедренных костей диафиз в средней части расширен, причем значительно сильнее у левой кости. Интересно, что у данного индивида не развит задний пиялстр бедренных костей (типа костной рельсы). Середина диафиза правой бедренной кости по форме близка к округлой, но все же немного растянута в стороны и, согласно предложенной нами рубрикации, не считается округлой. Обе бедренные кости в верхнем ярусе диафиза очень сильно уплощены, или гиперплатимеричны. Левая

кость – более уплощенная. Вероятно, нельзя посчитать их хорошо укрепленными в этой области тела кости.

Степень сплюснутости диафиза большеберцовых костей на уровне питательного отверстия – очень сильная. Левая кость – пластикнемична, а правая кость – гиперпластикнемична, или саблевидно уплощена. В целом обе кости сильно уплощены поперечно, или значительно развиты в сагиттальном направлении. Согласующийся результат получен при определении степени уплощенности большеберцовых костей в средней части тела.

Остеоскопия. Наша балловая оценка степени развития мышечного рельефа базировалась на программах остеоскопического анализа В.Н. Федосовой и В.П. Алексеева (Федосова 1986; Алексеев 1966), а также некоторых наших предложений. Результаты представлены в табл. 10.

Таблица 10
Результаты остеоскопического исследования индивида из Берендеево

Плечевая кость	Пр.	Лев.	Ключица	Пр.	Лев.	Бедро	Пр.	Лев.
Малый бугорок	2-	2-	Форма трапециевидной линии	Линия–гребень	Линия–гребень	Большой вертел	2	2
Межбугорковая борозда	2	2	Конусовидный бугорок	1	1	Малый вертел	1+	1+
Дельтовидная шероховатость	2-	2-	Рельеф ключично-реберной связки	2	2	Межвертельный гребень	1	1
Гребень большого бугорка	2	2				Межвертельная линия	2	1+
Гребень малого бугорка	2	1				Шероховатая линия	2	2
Гребень супинатора	2-	1	Лопатка			Ягодичная шероховатость	2	2
Лучевая кость			Вырезка 1–5	5(отв)	–	Надмыщелки мед/лат	2/2	2/2
Лучевая бугристость	2+	3	Верхний край	–	–	У левой кости – наличие III вертела-валика		
Межкостный край 1-2-3, вогн.-прям.-вып	2 Вогн.	2 Вогн.	Латеральный край	ДМ	–			
Нижние бугорки и бороздки	2	-				Большеберцовая кость		
Локтевая кость						Большеберцовая бугристость	2	2
Локтевая бугристость	2	2				Передний край	3	3
Гребень супинатора	1	1	Нижний угол	–	–	Межкостный край	2	2

Плечевая кость	Пр.	Лев.	Ключица	Пр.	Лев.	Бедро	Пр.	Лев.
Гребень пронатора	2	–	Подсуставн. область	–	–	Линия камбаловидной мышцы	2	2
Задний край	2	2	Сочленовная впадина 1,2	2	–	Нижние бугорки и бороздки	1	1
Межкостный край	2	2	Ость 1, 2, 3, 4	1	–			

В целом из табл. 10 видно, что мышечный рельеф на разных длинных костях конечностей развит умеренно.

На ключицах следует отметить очень хорошее развитие трапецевидной линии, имеющей вид гребня с шероховатостью. Можно предположить у данного мужчины прочную связь латеральной части ключицы и коракоида. Конусовидный бугорок выражен очень слабо, не больше чем на один балл. Скорее всего, этот признак имеет генетическую обусловленность. Рельеф прикрепления ключично-реберной связки развит средне.

К сожалению, очень мало признаков удалось оценить на лопатках, точнее, только на правой лопатке. Интересно, что у данного индивида из Берендеево вместо лопаточной вырезки имеется лопаточное отверстие, что встречается очень редко. Латеральный край лопатки – дорзо-маргинальный, как и у большинства людей. То есть на этом крае медиальный гребень смещен в сторону дорзального. Сочленовная впадина имеет сверху небольшой наклон, что более обычно для человека. Лопаточная ость, можно сказать, обычная (1 балл), не тонкая, не толстая, не крупная.

На плечевых костях рельеф для прикрепления различных мышц плечевого пояса имеет среднюю степень развития. Можно отметить неплохое развитие дельтовидной шероховатости на обеих костях. На левой плечевой кости отдельный мышечный рельеф развит чуть хуже, чем на правой.

На лучевых костях очень хорошо представлена лучевая шероховатость – место прикрепления двуглавой мышцы плеча, сгибающей плечо и предплечье и еще являющейся супинатором предплечья. Остальной рельеф развит умеренно, а межкостный край – вогнутый, как у большинства людей.

На локтевых костях очень слабо выражен гребень супинатора, находящийся латеральнее лучевой вырезки. Скорее всего, причиной являются генетические особенности, а не нагрузка на мышцу. Остальной рельеф развит средне.

Мышечный рельеф на бедренных костях развит слишком слабо для мужчины. Особенно это касается малого вертела, межвертельных линии и гребня. Остальной рельеф выражен умеренно. Вероятно, имеется связь с грацильностью скелета и, скорее всего, телосложения. Интересно проявление одного генетически зависимого признака: наличие третьего вер-

тела, удлиненного в виде валика, в верхней части ягодичной шероховатости левой бедренной кости. На правой кости подобная выпуклость выражена слишком слабо, чтобы ее посчитать третьим вертелом.

Мышечный рельеф большеберцовых костей, а именно большеберцовая бугристость и линия камбаловидной мышцы, развит довольно сильно, на 2 балла. При этом большеберцовая бугристость представлена одним бугорком большого размера. Следует отметить особое развитие переднего края обеих костей (3 балла). Край очень сильно выступает вперед, и это соответствует тому, что диафизы костей сильно сплющены, особенно у правой кости. Это, конечно, морфогенетическая особенность данного человека.

Палеопатологии и особенности скелета из Берендеево 1

Череп. Можно отметить очень мощный, толстый надглазничный край, четкие, острые, гребнеобразные верхние выйные линии, очень высокое твердое небо, очень широкие в поперечном направлении, вытянутые скуловые кости; на скуловых костях имеется закругленный гребень, идущий от подглазничного края латерально, примерно на две трети кости, заходя на височный отросток, далее гребень исчезает. У нижней челюсти углы развернуты наружу, но не сильно. Венечные отростки – очень высокие, почти до уровня мыщелковых отростков. Очень хорошо развита крыловидная бугристость на ветвях нижней челюсти.

Верхние зубы, моляры и премоляры, очень сильно стерты, косо-внутрь, второй левый верхний моляр стерт до пульпы. Нижние зубы, также моляры и премоляры, стерты сильно косо-наружу. Возможно, зубной аппарат использовался как щипцы в процессе обработки мяса и кожи животных. Возможно, это просто особенности прикуса.

Позвоночник.

Шейные позвонки – без видимых патологий. У шестого позвонка – нераздвоенный остистый отросток. В коллекции отсутствует 7-й шейный позвонок.

Грудные позвонки. Имеется пять относительно целых позвонков. У 2-го позвонка сильно вогнуты суставные поверхности верхних сочленовных отростков. На телах нижних позвонков присутствует очень слабый порозистый гиперостоз.

Поясничные позвонки. В наличии четыре позвонка. На телах имеется слабый порозистый гиперостоз.

Крестец образован пятью позвонками, но, к сожалению, он очень сильно был поврежден в процессе нахождения в погребении.

Посткраниальный скелет.

Ключицы. У правой кости – воронкообразная, вогнутая стерральная суставная поверхность. У левой кости – эта суставная поверхность не вогнутая. У правой кости на акромиальной суставной поверхности (которая повреждена) имеется небольшой остеопороз. У левой кости на аналогичной суставной поверхности отмечается очень сильная пористость, что указывает на остеоартрит ключично-акромиального сустава. Несильный артрит ключично-акромиального сустава мог иметь место и справа.

Лопатки. У правой кости вместо лопаточной вырезки имеется глубокое лопаточное отверстие, что является особенностью данного индивида. Латеральный край образуют очень острые вентральный, медиальный и дорзальный гребни, а также очень глубокие и длинные дорзальная и вентральная борозды. (Правая кость отсутствует.)

Плечевые кости. У правой кости – неровный край гребня супинатора (гребень латерального надмыщелка). Снизу он заканчивается бугорком. Возможно, имела место травма мышцы супинатора.

Локтевые кости. Обнаружен краевой гиперостоз блоковой и лучевой вырезок на обеих костях. Сильнее гиперостоз выражен на венечном отростке и на лучевой вырезке. Вероятно, имел место артроз локтевого и верхнего лучелоктевого суставов. Возможно, это было связано с возрастом индивида.

Лучевые кости. Без видимых патологий.

Кости кисти. Обнаружены на фалангах признаки наличия узлов Эбердена (Гебердена) и Бушара, а также гиперостоз по краю тел костей. Все это возрастные изменения.

Тазовые кости. На краю вертлужных впадин тазовых костей имеется несильный гиперостоз. Внутри впадин (в ямках вертлужных впадин) обнаружен мелкоячеистый небольшой остеопороз (типа кривры).

Бедренные кости. Следует отметить очень длинные шейки костей. В ямке головки каждой кости – пороз и гиперостоз, что связано с возрастом индивида, усилением прикрепления внутренней связки тазобедренного сустава. На шейке каждой кости, сверху, обнаружен крупноячеистый остеопороз. Краевой гиперостоз в виде валика обнаружен на мыщелках бедренных костей, сильнее он выражен на медиальных мыщелках изнутри. По-видимому, имел место остеоартроз коленных суставов (гонартроз). На поверхности над медиальным мыщелком, сзади, имеется сильная пористость.

Надколенники. Имеется краевой гиперостоз и некоторое окостенение сухожилия четырехглавой мышцы бедра на обоих надколенниках.

Большеберцовые кости. На костях, примерно в области нахождения верхнего метафиза отмечается мелкоячеистый остеопороз. Имеется небольшой краевой гиперостоз мыщелков, что отражает имевшийся у индивида гонартроз на обеих ногах. Краевой гиперостоз обнаружен по краю нижней суставной поверхности и суставной поверхности медиальной лодыжки. Спереди на крае заметно небольшое овальное углубление

(вероятно, остеолиз). По-видимому, имел место остеоартроз голеностопных суставов. Обнаружен гиперостоз также и в малоберцовых вырезках, и над ними, что связано с возрастным укреплением связок синдесмоза между берцовыми костями снизу.

Малоберцовые кости. Имеется небольшой краевой гиперостоз суставной поверхности головки и латеральной лодыжки на обеих малоберцовых костях.

Кости стопы. Пяточные кости: имеет место небольшое окостенение ахиллова сухожилия и несильный краевой гиперостоз всех суставных поверхностей. Таранные кости: визуально заметно, что головка таранной кости очень низкая. Ладьевидные кости: кости очень низкие и вытянутые в поперечном направлении. На всех костях имеются несильные краевые гиперостозы вокруг суставных поверхностей. Эти изменения, как и многие другие, связаны, в первую очередь с возрастом индивида, возникшими артрозами суставов стоп, а также с вероятными особыми физическими нагрузками.

Одонтология. В публикации Н.Н. Мамоновой характеристика зубной системы мужчины из погребения Берендеево 1 уместилась в полтора предложения. Это неудивительно, потому что «стертость зубов очень сильная (коронки зубов со стороны языка полностью стерты)» (Мамонова 1969). Далее она отмечает, что «прижизненной утраты зубов не было». Несмотря на описанное состояние зубочелюстной системы, мы попытались представить ее детальней, насколько это было возможно.

На верхней челюсти с правой стороны сохранились оба резца, клык, оба премоляра (первый сломан посмертно) и третий моляр; с левой – клык, премоляры, первый и второй моляры. Судить об утрате или врожденном отсутствии третьего моляра мы не можем, так как дистальная часть альвеолярного отростка разрушена и затерта восковой мастикой. На нижней челюсти справа сохранились клык, премоляры, первый и третий моляры; слева – только премоляры и третий моляр. Для индивида был характерен псалидодонтный прикус с тенденцией к лабидодонтному (по А.А. Зубову (1968)).

Все зубы в значительной степени стерты: степень стертости премоляров и моляров оценивается баллом 5–6, т.е. стирание достигло экватора коронки, а местами и прикорневой зоны. Резцы стерты в меньшей степени (балл 3–4 по Герасимову 1955). Степень стертости зубов соответствует возрасту, установленному по черепу и посткраниальному скелету. О прижизненной утрате уверенно можно говорить только в отношении первого нижнего моляра с левой стороны, хотя М.М. Мамонова считала, что все зубы утрачены посмертно. Судя по состоянию альвеолярной ячейки, процесс облитерации которой фиксируется в начальной стадии, этот моляр был утрачен сравнительно незадолго до смерти индивида. Об этом свидетельствует

и состояние зуба антагониста, стертого в значительной степени, т.е. находившегося в контакте большую часть времени.

Эмаль на большинстве зубов осыпается, тем не менее, на нескольких из них – на UI2d и UCd – видны микросколы эмали. На LP1s отчетливо виден крупный скол дистовестибулярного угла коронки. Оголение корней может быть оценено как среднее (балл 3 по (Schultz 1988)). Явных отложений зубного камня на зубах мы не видим, как не наблюдаем на сохранившихся зубах ни эмалевой гипоплазии, ни следов кариеса, ни гиперцементоза корней. Из приведенного описания очевидно, что мы, к сожалению, не можем судить о морфологических особенностях зубной системы индивида из Берендеево. Можно лишь констатировать, что корни первых верхних премоляров дифференцированы (балл 3).

Графическая реконструкция облика человека из Берендеево

Реконструкция лица по черепу была выполнена по стандартной методике на основе метода М.М. Герасимова (Герасимов 1955) с дополнениями и уточнениями других авторов (Лебединская 1998; Веселовская 2018; Веселовская, Балуева 2012; Рассказова, Веселовская, Пеленицына 2020). Результат представлен на рис. 3.



Рис. 3. Графическая реконструкция облика мужчины из Берендеево 1

Заключение

Датировка костного образца из Берендеево составила 5352 ± 36 ^{14}C лет (RICH-25918.1.1), что соответствует калиброванной дате 6000–6280 календарных лет назад, или 4230–4050 гг. до н.э.

Возраст мужчины из Берендеево составил 45–50 лет. Мозговая коробка индивида из Берендеево может быть охарактеризована как мезокранная,

правда на границе с долихокранией. Большинство размеров мозговой коробки – в категориях средних величин. Большими оказываются продольный диаметр, длина и ширина основания черепа, лобная хорда.

Лицевой скелет отличается очень большой величиной скулового диаметра и малой величиной верхнелицевого указателя, о развитии переднего плана лица в ширину говорят верхняя ширина лица, которая находится в категории средних величин, и средняя ширина лица, которая соответствует категории малых величин.

Мужчина из Берендеево характеризовался узкоплечестью и малым ростом (159,3 см). Скелет конечностей отличался средней или ниже среднего степенью массивности. Плечевые и лучевые кости сильно уплощены в средней части диафиза, большеберцовые кости – саблевидно уплощены в поперечном направлении (платикнемичная и гиперплатикнемичная кости). Степень развития мышечного рельефа на костях рук и ног в целом средняя. На скелете индивида имеются возрастные патологические изменения, прежде всего признаки остеоартрозов.

Зубы очень сильно стерты, что связано в первую очередь с возрастом. Повышенное значение $\delta^{15}\text{N}$ в костном образце Берендеево 1 позволяет предположить большое значение пресноводной рыбы в рационе питания индивида.

Список источников

- Акимова М.С. Антропологический тип фатьяновской культуры // Труды Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая (далее ТИЭ). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. Т. 1. С. 268–282.
- Акимова М.С. Новые палеоантропологические находки эпохи неолита на территории лесной полосы Европейской части СССР // Краткие сообщения Института этнографии (далее КСИЭ). 1953. Вып.18. С. 55–65.
- Алексеев В.П. Osteometria. Методика антропологических исследований. М., 1966. 251 с.
- Алексеев В.П. Физические особенности мезолитического и ранненеолитического населения Восточной Европы в связи с проблемой древнего заселения этой территории // Проблемы антропологии древнего и современного населения Севера Евразии. Л., 1984. С. 28–36.
- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1964. 128 с.
- Алексеева Т.И., Денисова Р.Я., Козловская М.В. и др. Неолитическое население лесной полосы Восточной Европы // Неолит лесной полосы Восточной Европы (Антропология Сахтышских могильников). М.: Научный мир, 1997. 197 с.
- Багашев А.Н., Солодовников К.Н. О протоазиатской антропологической формации древнего населения Западной Сибири // Российский журнал физической антропологии. 2024. № 3 (11). С. 70–92.
- Беневоленская Ю.Д. Мировое распределение затылочно-теменного указателя // Современные проблемы и новые методы в антропологии. Л., 1980. С. 70–90.
- Беневоленская Ю.Д. К вопросу о морфологической неоднородности краниологической серии из могильника на Южном Оленьем острове // Проблемы антропологии древнего и современного населения Севера Евразии. Л.: Наука, 1984. С. 37–54.
- Бунак В.В. Человеческие расы и пути их образования // Советская этнография. 1956. № 1. С. 86–10.

- Веселовская Е.В., Балуева Т.С. Новые разработки в антропологической реконструкции // Вестник антропологии. 2012. № 22. С. 22–36.
- Веселовская Е.В. «Алгоритм внешности» – комплексная программа антропологической реконструкции // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. 2018. № 2. С. 38–54.
- Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек) // ТИЭ. М., 1955. Т. 28. 585 с.
- Герасимова М.М. Еще раз о древней монголоидности в Европе // Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. М.: Наука, 1986. С. 227–234.
- Гохман И.И. Новые палеоантропологические материалы эпохи мезолита в Каргополье // Проблемы антропологии древнего и современного населения Севера Евразии. Л.: Наука, 1984. С. 28–36.
- Гурина Н.Н. (отв. ред.) Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита. Л.: Наука, 1973. 243 с. (Материалы и исследования по археологии СССР, № 172 (2)).
- Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР // ТИЭ. М.; Л., 1948. Вып. 4. 391 с.
- Дебец Г.Ф. О путях заселения северной полосы Русской равнины и восточной Прибалтики // Советская этнография. 1961. № 6. С. 51–69.
- Добряк В.И. Судебно-медицинская экспертиза скелетированного трупа. Киев, 1960. 192 с.
- Жиров Е.В. Заметка о скелетах из неолитического могильника Южного Оленьего острова // Краткие сообщения Института истории материальной культуры (далее КСИИМК). Л., 1940. Вып. 6. С. 51–54.
- Зубов А.А. Одонтология: Методика антропологических исследований. М., 1968. 199 с.
- Кузьмин Я.В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических исследованиях. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. 395 с.
- Лебединская Г.В. Реконструкция лица по черепу. Методическое руководство. М., 1998. 123 с.
- Марк К.Ю. Новые палеоантропологические материалы эпохи неолита в Прибалтике // Известия АН ЭССР. Серия общественных наук. 1956. № 1. С. 45–62.
- Мамонова Н.Н. Определение длины костей по их фрагментам // Вопросы антропологии. 1968. Вып. 29. С. 171–177.
- Мамонова Н.Н. Новая палеоантропологическая находка на болоте Берендеево // Голоцен. М., 1969. С. 145–151.
- Никитин А.Л. Неолитическое поселение Берендеево I // Советская археология. 1976. № 3. С. 191–202.
- Никитин А.Л., Хотинский Н.А. Свайное поселение на болоте Берендеево Ярославской области // Значение палинологии для стратиграфии и палеофлористики. М., 1966.
- Никитюк Б.А. О закономерностях облитерации швов на наружной поверхности мозгового отдела черепа человека // Вопросы антропологии. 1960а. Вып. 2. С. 115–121.
- Никитюк Б.А. Определение возраста человека по скелету и зубам // Вопросы антропологии. 1960б. Вып. 3. С. 118–129.
- Пащикова В.И. Очерки судебно-медицинской остеологии. М., 1963. 153 с.
- Ражев Д.И. Погрешность измерения длинных костей и реконструкция ширины плеч // Вестник антропологии. 2003. Вып. 10. С. 198–203.
- Рассказова А.В., Веселовская Е.В., Пеленицына Ю.В. Краниофациальные соотношения среднего этажа лица по материалам компьютерных томограмм // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. 2020. № 4. С. 66–78.
- Раушенбах В. Неолитические племена бассейна Верхнего Поволжья и Волго-Окского междуречья // Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны в эпоху неолита: материалы и исследования по археологии СССР. Л., 1973. № 172. С. 152–158.
- Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. М., 1978. С. 34–45.
- Федосова В.Н. Общая оценка развития компонента мезоморфии по остеологическим данным (остеологическая методика) // Вопросы антропологии. 1986. Вып. 76. С. 104–116.
- Хрисанфова Е.Н. Эволюционная морфология скелета человека. М., 1978. С. 57–74.

- Якимов В.П. О древней «монголоидности» в Европе // КСИЭ. 1957. Вып. 28. С. 86–91.
- Якимов В.П. Антропологические материалы из неолитического могильника на Южном Оленьем острове (Онежское озеро) // Сборник МАЭ. 1960. Т. 19. С. 221–359.
- Boudin M., Van Strydonck M., van den Brande T., Synal H.A., Wacker L. RICH – a new AMS facility at the Royal Institute for Cultural Heritage, Brussels, Belgium // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B. 2015. Vol. 361. P. 120–123.
- Longin R. New method of collagen extraction for radiocarbon dating // Nature. 1971. Vol. 230. № 5291. P. 241–242.
- Schultz M. Paläopathologische diagnostik // Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen. 1988. Vol. 1, № 1. P. 480–496.
- Shishlina N.I., van der Plicht J., Turetsky M.A. The Lebyazhinka burial ground (middle Volga Region, Russia): New ^{14}C dates and the reservoir effect // Radiocarbon. 2018. Vol. 60, № 2. P. 681–690.
- Van Strydonck M., van den Borg K. The construction of a preparation line for AMS-targets at the Royal Institute for Cultural Heritage Brussels // Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 1990–1991. Vol. 23. P. 228–234.
- Ubelaker D.H. Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Smithsonian institution. Chicago: Adline publishing company, 1978. 172 p.

References

- Akimova M.S. (1947) Antropologicheskii tip fat'ianovskoi kul'tury [Anthropological type of Fatyanovo culture]. *TIE*. Vol. 1. Moscow-Leningrad; Publishing house of the USSR Academy of Sciences, pp. 268–282.
- Akimova M.S. (1953) Novye paleoantropologicheskie nakhodki epokhi neolita na territorii lesnoi polosy Evropeiskoi chasti SSSR [New paleoanthropological finds of the Neolithic era in the forest belt of the European part of the USSR]. *KSIE*. Issue 18, pp. 55–65.
- Alekseev V.P. (1966) *Osteometriia. Metodika antropologicheskikh issledovanii* [Osteometry. Methodology of anthropological research]. Moscow. 251 p.
- Alekseev V.P. (1984) Fizicheskie osobennosti mezoliticheskogo i ranneneoliticheskogo naseleniia Vostochnoi Evropy v sviazi s problemoi drevnego zaseleniia etoi territorii [Physical features of the Mesolithic and early Neolithic population of Eastern Europe in connection with the problem of ancient settlement of this territory]. In: *Problemy antropologii drevnego i sovremennogo naseleniia Severa Evrazii* [Problems of anthropology of the ancient and modern population of the North of Eurasia]. Leningrad, Nauka Publishing House, pp. 28–36.
- Alekseev V.P., Debets G.F. (1964) *Kraniometriia. Metodika antropologicheskikh issledovanii* [Cranimetry. Methods of anthropological research]. Moscow, Nauka, 128 p.
- Alekseeva T.I., Denisova R.Ya., Kozlovskaya M.V. et al. (1997) Neoliticheskoe naselenie lesnoi polosy Vostochnoi Evropy [Neolithic population of the forest belt of Eastern Europe]. In: *Neolit lesnoi polosy Vostochnoi Evropy (Antropologiya Sakhtyshskikh mogil'nikov)* [Neolithic of the forest belt of Eastern Europe (Anthropology of the Sakhtysh burial grounds)]. Moscow, Nauchnyy mir. 197 p.
- Bagashev A.N., Solodovnikov K.N. (2024) O protoaziatskoi antropologicheskoi formatsii drevnego naseleniia Zapadnoi Sibiri [On the proto-Asian anthropological formation of the ancient population of Western Siberia]. *Rossiiskii zhurnal fizicheskoi antropologii – Russian Journal of Physical Anthropology*. 3 (11). pp. 70–92.
- Benevolenskaya Yu.D. (1980) Mirovye raspredelenie zatylochno-temennogo ukazatelya [World distribution of the occipital-parietal index]. In: *Sovremennye problemy i novye metody v antropologii* [Modern problems and new methods in anthropology]. Leningrad, pp. 70–90.
- Benevolenskaya Yu.D. (1984) K voprosu o morfologicheskoi neodnorodnosti kraniologicheskoi serii iz mogil'nika na luzhnom Olen'em ostrove [On the issue of morphological heterogeneity of the craniological series from the burial ground on South

- Oleniy Island]. In: Problemy antropologii drevnego i sovremennogo naseleniia Severa Evrazii [Problems of anthropology of the ancient and modern population of the North of Eurasia]. Leningrad, Nauka Publishing House, pp. 37–54.
- Bunak V.V. (1956) Chelovecheskie rasy i puti ikh obrazovaniia [Human races and the ways of their formation]. *Sovetskaia etnografiia*. 1. pp. 86–10.
- Veselovskaya E.V., Balueva T.S. (2012) Novye razrabotki v antropologicheskoi rekonstruktsii [New developments in anthropological reconstruction]. *Vestnik antropologii – Bulletin of anthropology*. 22. pp. 22–36.
- Veselovskaya E.V. (2018) «Algoritm vneshnosti» – kompleksnaia programma antropologicheskoi rekonstruktsii [“The Algorithm of Appearance” – a Comprehensive Program of Anthropological Reconstruction]. *Bulletin of Moscow University. Series 23: Anthropology*. 2. pp. 38–54.
- Gerasimov M.M. (1955) Vosstanovlenie litsa po cherepu (sovremennyi i iskopaemyi chelovek) [Reconstruction of the Face from the Skull (Modern and Fossil Man)]. *TiE*. Moscow, Vol. 28. 585 p.
- Gerasimova M.M. (1986) Eshche raz o drevnei mongoloidnosti v Evrope [Once Again on Ancient Mongoloidity in Europe]. In: *Problemy evoliutsionnoi morfologii cheloveka i ego ras* [Problems of Evolutionary Morphology of Man and His Races]. Moscow, Nauka. pp. 227–234.
- Gokhman I.I. (1984) Novye paleoantropologicheskie materialy epokhi mezolita v Kargopol'e [New Paleoanthropological Materials of the Mesolithic Era in Kargopol'e]. In: *Problemy antropologii drevnego i sovremennogo naseleniia Severa Evrazii* [Problems of Anthropology of the Ancient and Modern Population of the North of Eurasia]. Leningrad, Nauka Publishing House. pp. 28–36.
- Gurina N.N. (ed.) (1973) *Etnokul'turnye obshchnosti lesnoi i lesostepnoi zony Evropeiskoi chasti SSSR v epokhu neolita* [Ethnocultural Communities of forest and forest-steppe zone of the European part of the USSR in the Neolithic era]. Leningrad. 243 p. (Materials and research on the archeology of the USSR No. 172 (2))
- Debets G.F. (1948) Paleoantropologiya SSSR [Paleoanthropology of the USSR]. *TiE*. Moscow – Leningrad, Issue 4. 391 p.
- Debets G.F. (1961) O putiakh zaseleniia severnoi polosy Russkoi ravniny i vostochnoi Pribaltiki [On the routes of settlement of the northern strip of the Russian Plain and the eastern Baltic]. *Sovetskaia etnografiia*. 6. pp. 51–69.
- Dobryak V.I. (1960) *Sudebno-meditsinskaia ekspertiza skeletirovannogo trupa* [Forensic medical examination of a skeletonized corpse]. Kyiv. 192 p.
- Zhirov E.V. (1940) Zametki o skeletakh iz neoliticheskogo mogil'nika Iuzhnogo Olen'ego ostrova [Notes on skeletons from Neolithic burial ground of the Southern Oleniy Island]. *KSIIIMK*. Issue 6. pp. 51–54.
- Zubov A.A. (1968) *Odontologiya: Metodika antropologicheskikh issledovaniy* [Odontology: Methodology of anthropological research]. Moscow, Nauka. 199 p.
- Kuzmin Ya.V. (2017) *Geoarkheologiya: estestvennonauchnye metody v arkheologicheskikh issledovaniyakh* [Geoarchaeology: natural science methods in archaeological research]. Tomsk: TSU Publishing House. 395 p.
- Lebedinskaya G.V. (1998) Rekonstruktsiia litsa po cherepu. Metodicheskoe rukovodstvo [Reconstruction of the face from the skull. Methodological guide]. Moscow, Stary Sad. 123 p.
- Mark K.Yu. (1956) Novye paleoantropologicheskie materialy epokhi neolita v Pribaltike [New paleoanthropological materials of the Neolithic era in the Baltics]. *Izvestiia ANESSR. Seriya obshchestv. nauk*. 1. pp. 45–62.
- Mamonova N.N. (1968) Opredelenie dliny kostei po ikh fragmentam [Determination of the length of bones from their fragments]. *Voprosy antropologii*. 29. pp. 171–177.
- Mamonova N.N. (1969) Novaia paleoantropologicheskaya nakhodka na bolote Berendeevo [New paleoanthropological find on the Berendeevo swamp]. In: *Golotsen* [Holocene]. Moscow, Nauka. pp. 145–151.

- Nikitin A.L. (1976) Neoliticheskoe poselenie Berendeevo I [Neolithic settlement Berendeevo I]. *Sovetskaya arkhologiya*. 3. pp. 191–202.
- Nikitin A.L., Khotinsky N.A. (1966) Svainoe poselenie na bolote Berendeevo Iaroslavskoi oblasti [Pile settlement on the Berendeevo swamp in the Yaroslavl region]. In: *Znachenie palinologii dlia stratigrafii i paleofloristiki* [The importance of palynology for stratigraphy and paleofloristics]. Moscow.
- Nikityuk B.A. (1960a) O zakonomernostiakh oblitteratsii shvov na naruzhnoi poverkhnosti mozgovogo otdela cherepa cheloveka [On the patterns of obliteration of sutures on the outer surface of the cranial region of the human skull]. *Voprosy antropologii*. 2. pp. 115–121.
- Nikityuk B.A. (1960b) Opredelenie vozrasta cheloveka po skeletu i zubam [Determining the age of a person by the skeleton and teeth]. *Voprosy antropologii*. 3. pp. 118–129.
- Pashkova V.I. (1963) *Ocherki sudebno-meditsinskoi osteologii* [Essays on Forensic Osteology]. Moscow. 153 p.
- Razhev D.I. (2003) Pogreshnost' izmereniia dlinnykh kostei i rekonstruktsiia shiriny plech [Error in Measuring Long Bones and Reconstruction of Shoulder Width]. *Vestnik antropologii*. 10. pp. 198–203.
- Rasskazova A.V., Veselovskaya E.V., Pelenitsyna Yu.V. (2020) Kraniofatsial'nye sootnosheniia srednego etazha litsa po materialam komp'yuternykh tomogramm [Craniofacial Relationships of the Middle Floor of the Face Based on Computer Tomograms]. *Bulletin of Moscow University. Series 23: Anthropology*. 4. pp. 66–78.
- Rauschenbach V. (1973) Neoliticheskie plemena basseina Verkhnego Povolzh'ia i Volgo-Okskogo mezdurech'ia [Neolithic Tribes of the Upper Volga Basin and the Volga-Oka Interfluvium]. In: *Etnokul'turnye obshchestva lesnoi i lesostepnoi zony v epokhu neolita* [Ethnocultural Communities of the Forest and Forest-Steppe Zone in the Neolithic Age]. Leningrad. pp. 152–158. (Materials and research on the archeology of the USSR No. 172 (2)).
- Roginsky Ya.Ya., Levin M.G. (1978) *Antropologiya* [Anthropology]. Moscow, Higher School. pp. 34–45.
- Fedosova V.N. (1986) Obshchaia otsenka razvitiia komponenta mezomorfii po osteologicheskim dannym (osteologicheskaya metodika) [General assessment of the development of the mesomorphic component based on osteological data (osteological methodology)]. *Voprosy antropologii*, 76. pp. 104–116.
- Khrisanfova E.N. (1978) *Evolutsionnaya morfologiya skeleta cheloveka* [Evolutionary morphology of the human skeleton]. Moscow, Moscow University Press. pp. 57–74.
- Iakimov V.P. (1957) O drevnei «mongoloidnosti» v Evrope [On ancient “Mongoloidness” in Europe]. *KSIE*. 28. pp. 86–91.
- Iakimov V.P. (1960) Antropologicheskie materialy iz neoliticheskogo mogil'nika na Iuzhnom Olen'em ostrove (Onezhskoe ozero) [Anthropological materials from a Neolithic burial ground on the Southern Oleniy Island (Lake Onega)]. *Sbornik MAE* [MAE Collection]. Vol. 19. pp. 221–359.
- Boudin M., Van Strydonck M., van den Brande T., Synal H.A., Wacker L. (2015) RICH – a new AMS facility at the Royal Institute for Cultural Heritage, Brussels, Belgium. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B*. 361. pp. 120–123.
- Longin R. (1971) New method of collagen extraction for radiocarbon dating. *Nature*. Vol. 230, no. 5291. pp. 241–242.
- Schultz M. (1988) Paläopathologische diagnostik. In: *Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen*. Vol. 1, no. 1. pp. 480–496.
- Shishlina N.I., van der Plicht J., Turetsky M.A. (2018) The Lebyazhinka burial ground (middle Volga Region, Russia): New ¹⁴C dates and the reservoir effect. *Radiocarbon*. Vol. 60, no. 2. pp. 681–690.
- Van Strydonck M., van den Borg K. (1990–1991) The construction of a preparation line for AMS-targets at the Royal Institute for Cultural Heritage Brussels. *Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium*. 23. pp. 228–234.

Ubelaker D.H. (1978) *Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation*. Smithsonian institution. Chicago: Adline publishing company. 172 p.

Сведения об авторах:

ВАСИЛЬЕВ Сергей Владимирович – доктор исторических наук, заведующий Центром физической антропологии, главный научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва, Россия). E-mail: vasbor1@yandex.ru

ГЕРАСИМОВА Маргарита Михайловна – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра физической антропологии, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва, Россия). E-mail: gerasimova.margarita@gmail.com

БОРУЦКАЯ Светлана Борисовна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры антропологии, биологический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: vasbor1@yandex.ru

ЛЕЙБОВА Наталья Александровна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра физической антропологии, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва, Россия). E-mail: leibova.natalia@iea.ras.ru

РАССКАЗОВА Анна Владимировна – младший научный сотрудник Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва, Россия). E-mail: rasskazova.a.v@yandex.ru

КУЗЬМИН Ярослав Всеволодович – доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник, Институт геологии и минералогии СО РАН (Новосибирск, Россия). E-mail: kuzmin@fulbrightmail.org

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Sergey V. Vasiliev, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: vasbor1@yandex.ru

Margarita M. Gerasimova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: gerasimova.margarita@gmail.com

Svetlana B. Borutskaya, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: vasbor1@yandex.ru

Natalia A. Leibova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: leibova.natalia@iea.ras.ru

Anna V. Rasskazova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: rasskazova.a.v@yandex.ru

Yaroslav V. Kuzmin, Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: kuzmin@fulbrightmail.org

The authors declare no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 27 июля 2025;
принята к публикации 30 августа 2025.*

*The article was submitted 27.07.2025;
accepted for publication 30.08.2025.*

MISCELLANEA

Научная статья
УДК 711.4:316.728(571.1)
doi: 10.17223/2312461X/49/11

Арктический город между проектом и повседневностью: эпистемология комфорта

Ольга Валерьевна Устюжанцева¹
Софья Михайловна Прокопова²
Светлана Геннадьевна Кравчук³

¹ *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

^{2, 3} *Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
¹ olgavust@gmail.com*

Аннотация. Представлен анализ арктического города как пространства эпистемологического расслоения между проектными и повседневными формами знания. Эмпирическую основу исследования составляют полуструктурированные интервью с архитекторами, интервью с жителями, мобильные (drive-along) и неформальные интервью, фокус-группа, а также полевые наблюдения, проведенные в городах Новый Уренгой и Тарко-Сале. В центре внимания – представления о комфорте, городской нормальности и обитаемости в условиях экстремального климата, демографической нестабильности и ограниченной инфраструктуры. Показано, что архитектурное знание в арктическом контексте подчинено нормативной визуальности и институциональной отчетности, тогда как повседневные нарративы фокусируются на телесной уязвимости, заботе и ситуативной адаптации. Работа предлагает рассматривать такие противоречия не как сбой реализации, а как продуктивные поля сонастройки, позволяющие аналитически осмыслить город как множественную социально-техническую сборку. Методологически исследование сочетает нарративный анализ с элементами ситуативной этнографии и вносит вклад в развитие городской антропологии, критических исследований инфраструктур и социальной истории повседневности в Арктике.

Ключевые слова: Арктика, городской комфорт, архитектурное знание, повседневность, телесность, инфраструктура, городской опыт, этнография Севера, городской проект, ситуативное знание

Благодарности: работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 24-28-01426.

Для цитирования: Устюжанцева О.В., Прокопова С.М., Кравчук С.Г. Арктический город между проектом и повседневностью: эпистемология комфорта // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 226–248. doi: 10.17223/2312461X/49/11

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/11

The Arctic City Between Design and Daily Life: An Epistemology of Comfort

Olga V. Ustyuzhantseva¹, Sofia M. Prokopova²,
Svetlana G. Kravchuk³

¹ National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

^{2,3} Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin,
Yekaterinburg, Russian Federation

¹olgavust@gmail.com

Abstract. This article examines the Arctic city as a space of epistemological divergence between design-based and everyday forms of knowledge. The empirical basis of the study includes semi-structured interviews with architects and residents, mobile (drive-along) and informal interviews, a focus group, and field observations conducted in the cities of Novy Urengoy and Tarko-Sale. The article explores how notions of comfort, urban normality, and inhabitability are constructed under conditions of extreme climate, demographic instability, and infrastructural limitations. It demonstrates that architectural knowledge in the Arctic context is governed by normative visibility and institutional accountability, whereas everyday narratives focus on bodily vulnerability, care, and situational adaptation. Rather than interpreting these contradictions as failures of implementation, the study proposes to view them as productive fields of attunement that analytically reveal the city as a plural and contested socio-technical assemblage. Methodologically, the research combines narrative analysis with elements of situated ethnography and contributes to urban anthropology, critical infrastructure studies, and the social history of everyday life in the Arctic.

Keywords: Arctic, urban comfort, architectural knowledge, everyday life, embodiment, infrastructure, urban experience, ethnography of the North, urban design, situated knowledge

Acknowledgements: The work was supported by the Russian Science Foundation, grant No. 24-28-01426.

For citation: Ustyuzhantseva, O.V., Prokopova, S.M. & Kravchuk, S.G. (2025) The Arctic City Between Design and Daily Life: An Epistemology of Comfort. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 226–248 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/11

Арктические города становятся объектом множества исследовательских и политических интересов: от стратегических инфраструктурных программ и климатических адаптаций до демографических интервенций и пространственного дизайна (Стратегия развития... 2020; Мастер-план Мурманска 2023; Паспорт приоритетного... 2016). В последние годы управленческая риторика смещается в сторону повышения качества жизни в северных территориях, представляя городское пространство как управляемый проект, подлежащий технической модернизации, благо-

устройству и визуальному упорядочиванию. Однако в фокусе этих представлений о городе как объекте улучшения часто теряется другое измерение – город как повседневный опыт, обитаемое и обжитое пространство, воспринимаемое через телесные усилия, эмоциональную и инфраструктурную уязвимость, ситуативную сонастройку.

В настоящем исследовании мы предлагаем рассматривать это напряжение не как временную или техническую проблему реализации, а как устойчивое эпистемологическое расхождение между двумя режимами знания о городе: проектным и эмпирическим. Мы исходим из того, что городская среда в Арктике – это не только результат институционального или инженерного вмешательства, но и арена, где сталкиваются, сосуществуют и конфликтуют разные формы представления о том, что делает город обитаемым. В этой статье мы анализируем, как архитекторы и жители арктических городов артикулируют свои представления о комфорте, устойчивости и нормальности в условиях экстремального климата, демографической нестабильности и ограниченной инфраструктурной доступности.

Наше внимание сосредоточено на Российской Арктике как высокоурбанизированном пространстве (Волков, Симакова 2022), в котором особенно отчетливо проявляются противоречия между визуально-материальной логикой проектирования и ситуативной логикой проживания. Мы рассматриваем Арктику не как исключение из урбанистического порядка, а как экстремальный случай, позволяющий выявить и заострить фундаментальные вопросы современной городской теории о соотношении норматива и повседневности, стандарта и телесности, визуального контроля и тактик выживания.

Эмпирической базой послужил корпус интервью, собранный в 2023–2024 гг. в двух городах Ямало-Ненецкого автономного округа – Новый Уренгой и Тарко-Сале. В него входят беседы с архитекторами и проектировщиками, создающими проектные решения для городской среды на Севере, а также с жителями, преимущественно женщинами, проживающими в этих городах на постоянной основе. В интервью с архитекторами фиксируются концептуальные и нормативные рамки проектного мышления: представления о комфорте, северности, визуальной идентичности, нормативной адаптации. Интервью с жителями, напротив, раскрывают повседневный опыт: маршруты, уязвимости, сезонные ритмы, физические и эмоциональные реакции и риски, тактики обхода и приспособления. Вместе они позволяют реконструировать поле смыслов, в котором обитаемость города становится результатом не согласованного планирования, а конфигурации усилий, несоответствий и спонтанных сонастроек, своеобразных компромиссов между проектными замыслами и реальными практиками.

Теоретически мы опираемся на литературу по городской антропологии, архитектурной социологии и критическим исследованиям инфраструктуры. Нас интересуют, с одной стороны, исследования архитектуры как формы знания и коллективного действия (Yaneva 2009; Cuff 1992; Третьякова 2024), с другой – работы о повседневной «урбанности», телесности и городских тактиках (de Certeau 1984; Simone 2004; Farías, Bender 2010), а также концептуализации постсоветской инфраструктурной власти и режимов комфорта (Gunko et al. 2022; Jasanoff 2005; Scott 1998). Под режимом комфорта мы понимаем институционализированный способ представления, производства и регулирования городской среды как комфортной (Collier, Ong 2005). Это включает стандартизированные визуальные и пространственные решения (например, благоустройство, освещение, плитка), управляемые индикаторы (такие как индекс качества городской среды), а также административные процедуры отчетности в рамках нацпроектов. Такой режим формирует визуально считываемое представление о комфортности, однако он зачастую не учитывает ситуативную уязвимость, телесный опыт и неформальные практики проживания, вытесняя их за пределы планирования и публичного обсуждения.

В методологическом плане мы сочетаем нарративный анализ и ситуативную этнографию, рассматривая интервью как формы артикуляции знания, производящие не только информацию, но и отношения между пространством, телом, нормой и повседневной практикой.

Мы предлагаем понимать арктический город не как зафиксированный ландшафт, воплощенный в архитектурной форме или демографической статистике, а как поле множественной и подвижной городской субъектности. Профессиональные и повседневные нарративы, встроенные в разные режимы легитимации и публичности, не просто описывают город, они производят его как противоречивую и незавершенную форму. Арктика оказывается не краем карты, а краем урбанистического воображения, пространством, где обнажаются границы применимости проектных норм и эпистемологические разрывы между замыслом и жизнью.

Город как проект: архитектурное знание и его эпистемологические рамки

Архитектура – это не только практика создания форм, но и способ производства знания о городе. В ней сочетаются дисциплинарные традиции, инженерные регламенты, визуальные риторики и политико-институциональные интересы. Архитектура организует пространство материально, но также предлагает определенный способ видеть, понимать и контролировать город, структурируя, какие формы городской жизни

становятся возможными, какие – желательными, а какие – исключаются как несоразмерные.

Следуя логике Фуко (1996), архитектурное знание можно описать как диспозитив – совокупность техник, норм, представлений и институтов, которые формируют и управляют городской средой. Через архитектурный проект проявляется определенная эпистема – режим того, что считается знанием о городе и о человеке в нем. В этой эпистеме комфорт превращается из опыта в показатель, из телесного состояния – в визуально представимый и регламентируемый результат. Как подчеркивает Шейла Ясановф (Jasanoff 2005), речь идет не только о технологиях, но о социотехнических воображениях, в которых проектное решение закрепляет представление о том, как должен выглядеть «хороший город» и кто в нем должен жить.

Современная архитектурная практика функционирует в режиме презентации и отчетности. Она призвана быть убедительной для заказчика, для органов согласования, для публичной презентации. Как показано в работах Даны Кафф (Cuff 1992) и Албены Яневой (Yaneva 2009), архитектурное знание – это знание не только о форме, но и о согласуемости, финансируемости, транслируемости. В ситуации с арктическими городами этот эффект усиливается. Архитектура становится каналом трансляции административной воли и нормативной визуальности в условиях, где сама идея городской жизни постоянно ставится под вопрос.

В контексте Российской Арктики архитектура оказывается частью крупного политико-градостроительного режима, где комфортность становится проектом национального масштаба. Как отмечают Гунько и соавторы (Gunko et al. 2022), «комфортная среда» превращается в инструмент централизованной политики, где города воспринимаются как площадки воспроизводства визуальных стандартов. Архитектурное знание здесь подчиняется логике масштабируемости: оно должно быть универсализируемым, повторяемым, нейтральным в отношении контекста, но «убедительно северным» в визуальном ключе.

Важно подчеркнуть, речь не идет о противопоставлении «плохой» архитектуры «хорошему» опыту. Архитектурное знание продуктивно. Оно создает формы, которыми можно пользоваться, производит символы, которые могут быть присвоены. Но при этом оно структурно ограничено. Оно формируется в логике видимого и управляемого: то, что не укладывается в форматы презентации, то, что не поддается нормированию, – телесное, сезонное, случайное – оказывается вытесненным. Как писал Джеймс Скотт, «читаемость» пространства – необходимое условие управляемости (Scott 1998). Архитектура делает пространство читаемым и тем самым упорядочивает то, что этому упорядочиванию сопротивляется.

Север, как особый территориальный и климатический режим, предъявляет к этому знанию дополнительные требования. Он одновременно требует инженерной изобретательности и обостряет зависимость от нормативных решений. В результате архитектурная работа в Арктике становится еще более подотчетной, более репрезентативной, более зависимой от централизованных формализаций. При этом сама архитектура, как показывает Третьякова (2024), испытывает дефицит рефлексии по отношению к тому, как она взаимодействует с телесностью, инфраструктурной уязвимостью, повседневным страхом и ситуативной заботой. Эти формы знания чаще всего остаются вне поля проектной рациональности, и не потому, что они второстепенны, а потому, что они неуправляемы.

Таким образом, архитектурное знание в арктическом контексте можно рассматривать как режим эпистемологической нормализации. Оно задает формы городской жизни, которые кажутся допустимыми, воспроизводимыми, управляемыми. Оно создает город как проект – понятный, стандартизируемый, а потому подотчетный. Но именно в этой подотчетности оно может утратить чувствительность к тому, как город проживается. В следующем разделе мы обратимся к другой логике – повседневной, телесной, неупорядоченной, чтобы показать, как обитаемость возникает там, где проект исчерпывает себя.

Город как обживаемое пространство – повседневность, телесность и ситуативное знание

Если архитектура мыслит город как управляемую форму, то повседневность возвращает его в регистр проживания с его непредсказуемостью, телесными усилиями и ситуативной изобретательностью. Здесь город не проектируется, а складывается из маршрутов, из обходов, заботы, попыток справиться с усталостью, погодой. Пространство в этой логике не задается извне, а собирается по ходу, в движении, в теле, в адаптации.

Лефевр противопоставлял концептуализированное пространство проживаемому, показывая, как телесные ритмы, инфраструктурные повторения и сезонная цикличность формируют специфический городской опыт (Lefebvre 2004). Мишель де Серто, в свою очередь, рассматривал хождение по городу как тактику, форму выживания в среде, не рассчитанной на твое присутствие (de Certeau 1984). Эти практики не фиксируются в генеральных и мастер-планах, но именно они обеспечивают возможность быть в городе.

Позднейшие авторы развили это направление, сместив фокус с городских форм на инфраструктурную неустойчивость. Абдумалик Симон вводит представление о «людях как инфраструктуре», когда обитаемость обеспечивается не системами, а связями, практиками, координацией (Simone 2004). Игнасио Фариас и другие исследователи городской

неоднородности утверждают, что городской комфорт – это не состояние, а постоянная работа по стабилизации (Farías et al. 2010). В условиях, где инфраструктура неполна, а климат агрессивен, город не столько «есть», сколько «удерживается».

Это знание не универсально, оно телесное, ситуативное, аффективное. Донна Харауэй описывает его как «расположенное знание», т.е. знание, укорененное в конкретной позиции, уязвимости и опыте. Оно не претендует на нейтральность или всевидящую объективность, напротив, его сила в том, что оно исходит из тела, из места, из условий жизни (Haraway 1988). То, что в одном контексте выглядит как функциональное пространство, в другом может оказаться непроходимым, опасным, травматичным. Гендер, возраст, физическое состояние, климатическая чувствительность влияют на то, как пространство переживается.

Арктический город усиливает эту множественность. Здесь телесность выходит на первый план: холод, скольжение, темнота, ветер, нехватка дневного света – все это задает ритмы, ограничивает траектории, обостряет зависимость от инфраструктуры и от других людей. Привычные категории «уют», «удобство», «безопасность» наполняются другим содержанием. Здесь не работают универсальные шаблоны комфорта, их приходится пересобирать из практик, движений, взаимодействий.

Комфорт в арктическом контексте – это не набор объектов, а ощущение предсказуемости. Возможность выйти и вернуться, не замерзнуть на остановке, быть замеченным, не провалиться в сугроб, иметь возможность обойти темный участок. Это знание не формализуется в чертежах, но оно структурирует повседневную жизнь и определяет, где начинается и заканчивается город. Комфорт – это социальная сборка, а не физическая данность.

С этой позиции повседневность представляет собой альтернативный способ организации городской среды, а не «сухой остаток» после реализации проекта. Она не столько потребляет город, сколько пересобирает его изнутри, через ритмы, маршруты и тактики. Это знание не утверждается через форму, а проживается как непрерывная способность совладать с городской средой. И именно в этих формах и способах совладания возникает то, что можно назвать обитаемостью.

Такой подход требует сдвига исследовательской оптики от того, как город «должен быть устроен», к тому, как он «удерживается» в повседневной практике, от проектной рациональности к уязвимой телесности. Именно эту оптику мы предлагаем применить к анализу арктических городов, рассматривая в следующем разделе, как соотносятся архитектурные представления о городской среде с тем, как она обживается людьми изо дня в день.

Арктика как предельная сцена урбанистической драмы

Арктика в исследовательской и политической оптике часто рассматривается как пространство климатической, демографической, политико-стратегической исключительности. Однако ее продуктивнее понимать не как исключение, а как экстремум, предельное выражение тех процессов, которые характерны и для других городов, но становятся здесь особенно видимыми, обостренными, почти оголенными. В этом смысле арктический город – не только климатическая форма, но и аналитическое устройство, позволяющее рассмотреть, как работают инфраструктура, знание, власть и повседневность в условиях высокой плотности ограничений.

Советское и постсоветское освоение Севера оформило Арктику как территорию военной, индустриальной, демографической мобилизации. Город здесь с самого начала существовал как инструмент: опора на ресурсы, точка присутствия, узел воспроизводства трудовых тел. В постсоветское время эта логика не исчезла, а приобрела новые очертания. Арктический город оказался встроенным в технополитический проект, в котором идеи комфорта и устойчивости начинают играть роль не просто характеристик, а индикаторов управляемости и показателей политической дееспособности. Как показывают Гунько и соавторы (Gunko et al. 2022), программы благоустройства в арктических городах разворачиваются не как реакция на эмпирический запрос, а как инструмент вертикального вмешательства, воспроизводящий унифицированные образы «комфортной среды» на фоне депопуляции и деградации инфраструктуры.

Север в этом контексте работает как сцена, на которой урбанизм лишается иллюзий. Здесь особенно явно проявляется напряжение между визуально-административной рациональностью и реальными условиями существования. В отличие от городов средней полосы, где инфраструктура может компенсировать неблагоприятные факторы, в Арктике отказ от такой компенсации сразу становится критическим. Исследователи (Kruse et al. 2008) подчеркивают, что в условиях Севера «качество жизни» воспринимается как сумма микропрактик выживания, где психологическая устойчивость, гендерные роли и социальная изоляция оказываются ключевыми параметрами городской среды.

Фигура адаптации, столь часто упоминаемая в проектной риторике, здесь превращается в постоянное требование к телу: адаптироваться к холоду, к отсутствию света, к логистике, к нехватке сервиса. В этом смысле комфорт становится не описанием состояния, а идеологемой, представлением о том, как должно быть, и одновременно тем, что структурно недостижимо. Болотова (Bolotova 2014) обращает внимание на противоречивость: с одной стороны, оно воспроизводит колониальную

логику «освоения», с другой – сопровождается риторикой героизма, требующей мобилизации и жертвенности от жителей.

При этом в последних исследованиях появляется важный сдвиг от рассмотрения Арктики как объекта политики к пониманию ее как социально обитаемого пространства. Кристиан Фрёлих (Fröhlich 2020), анализируя городские инициативы в постсоветской Москве, указывает, что пространство проживания превращается в политическую арену именно тогда, когда привычные формы участия блокированы. Для арктического города, находящегося в еще более жесткой системе вертикального управления, это означает, что повседневные тактики и формы взаимопомощи становятся не только социальными, но и политически значимыми. Здесь возникает новая фигура гражданства – не через участие в процедурах, а через участие в жизнеобеспечении.

Таким образом, Арктика – это не только экстремальная климатическая зона, но и аналитически насыщенное пространство, в котором разрыв между проектом и проживанием достигает высокой степени напряженности. Она предъявляет к архитектуре, инфраструктуре и социальным отношениям требования, которые невозможно удовлетворить в рамках нормативных решений. И именно потому Арктика становится критически важной для анализа того, как проектные и повседневные логики городской жизни сосуществуют, конфликтуют и иногда пересобираются в условиях системной несоразмерности.

Методология и корпус данных

Исследование опирается на корпус полуструктурированных интервью, drive-along¹ интервью, неформального общения и одной фокус-группы, собранных в 2024 г. в двух городах Ямало-Ненецкого автономного округа – Новый Уренгой и Тарко-Сале, относящихся к числу арктических городов России. Мы не стремились к репрезентативности, а собирали нарративы, в которых артикулируются формы знания, обращения с городом, представления о комфорте и будущем.

Интервью с архитекторами проводились в дистанционной форме и касались вопросов профессионального позиционирования, нормативной среды, работы с понятиями «северность» и «комфорт», а также противоречий между проектной логикой и восприятием городской среды. Эти интервью рассматривались нами как формы профессионального знания, в которых репродуцируются определенные эпистемы: визуальность, модульность, масштабируемость, управляемость.

Интервью с жителями охватывали широкий спектр тем: от бытовых маршрутов, эмоционального отношения к городу, социальных практик помощи до стратегий адаптации к климату, изоляции, износу инфра-

структуры. В отличие от экспертных интервью, они содержали множество фрагментов ситуативного знания о страхе, о теле, о времени, об ожидании и утомлении. Мы обращались к ним как к материалу, в котором проявляются телесные и аффективные логики проживания, структурно игнорируемые в проектной документации.

Методологически мы совмещали нарративный анализ, в духе «интерпретативного урбанизма»², с элементами этнографической интерпретации, акцентируя внимание не на содержательной «истинности» высказываний, а на тех режимах знания, которые в них артикулируются. Повторяющиеся фигуры речи, эпизоды, образы – все это рассматривалось как проявления определенных городских логик: нормативной, аффективной, уязвимой, ситуативной. При кодировании использовались как индуктивные (тематические) категории, так и априорно заданные оси анализа, а именно комфорт, адаптация, проект, контроль, телесность, сезонность.

Исследовательская позиция в этом проекте была пограничной. С одной стороны, мы обладаем профессиональным языком и контекстом архитектурной и инфраструктурной экспертизы, с другой – сознательно стремились к деконструкции тех форм знания, которые кажутся нейтральными, но в реальности исключают значимые формы городского опыта. Этот двойной фокус – между дисциплинарным и повседневным – и определил логику анализа.

Арктический город, в нашем понимании, не дает возможности спрятаться за аналитической дистанцией. Он требует внимательности к боли, к усталости, к неловкости, к неустойчивости. И именно поэтому мы рассматривали интервью не как источник фактов, а как высказывания, через которые горожане и профессионалы конструируют свои отношения с городом. Эти высказывания не всегда согласуются, но именно в их несовпадении и возникает предмет нашего анализа.

Архитекторы: проектный комфорт и визуальная логика северного города

Рассуждая о комфорте и городской среде в условиях Арктики, архитекторы, с которыми мы беседовали, почти не прибегают к описанию повседневных практик. Вместо этого их высказывания оформлены в логике модульных решений, визуальной риторики и технической совместимости. Север в этих нарративах чаще всего предстает не как среда, которую нужно проживать, а как вызов, который нужно решить с помощью формы, материала, визуального кода. Проектная задача формулируется как необходимость упорядочить, защитить, визуализировать и убедить.

Так, один из архитекторов описывает свою цель как создание системы, «где человек не почувствует холода и пустоты» (ПМА: А6m).

Комфорт здесь определяется не через телесный опыт, а как инженерно-визуальный эффект: отсутствие раздражающих факторов, наличие света, защита от ветра. Другой проектировщик говорит: «Север – это прежде всего про ветер и свет. Мы закладываем защиту от ветра и делаем яркую среду. Цвет как противовес от тьмы» (ПМА: А1m). В этих высказываниях архитектура выступает как система компенсаций, а не взаимодействий. Среда должна не сопровождать, а нейтрализовать.

Почти все участники упоминают цвет как важнейший инструмент архитектурной выразительности. «Цвет работает сильнее материала. Мы добиваемся теплого восприятия», – говорит архитектор, участвовавший в благоустройстве нескольких северных городов (ПМА: А4m). Комфорт в этих нарративах мыслится как визуальная мягкость, как атмосфера. Присутствует желание «не перегружать», «не делать лишнего», но при этом добиться визуальной идентичности, которая будет легко считываться. Северность в этом смысле редуцируется до визуального кода: контраста, вертикалей, природных мотивов. Один из архитекторов говорит: «Северность – это не про климат, это про атмосферу. Холодно может быть и в Москве» (ПМА: А2m).

В языке архитекторов почти отсутствует категория телесного. Горожанин появляется как зритель, пользователь, иногда как потенциальный критик, но не как уязвимое тело в пространстве. Пешеходность, связность, зонирование – это абстрактные траектории, а не проживаемые маршруты. Даже когда упоминается «комфорт в зимний период», речь идет о регламентах и расчетах, а не о страхе, боли или усталости. Архитектор проектирует не повседневность, а образ, и этот образ должен быть узнаваем, воспроизводим и согласуем.

Дополнительное измерение, которое проявляется в корпусе интервью, связано с гендерными различиями в архитектурной оптике. Женщины, участвующие в проектировании арктических территорий, и их высказывания отличаются по ритму, лексике и распределению ответственности. В их нарративах чаще появляется язык «ощущений», «впечатлений», «исследования места». «Самое увлекательное – знакомство с новым городом, с чего начинается проект. Открываешь новую сущность» – говорит женщина-архитектор, описывая свою работу как форму эмпирического и эмоционального сбора информации (Малышев 2024). В отличие от жесткой инженерной логики, женские высказывания чаще оформлены в логике контактности: с территорией, с историей, с восприятием заказчика.

Женщины-архитекторы, согласно интервью и работам Третьяковой (2024) и Малышева (2024), нередко позиционируют себя как проводницы между идеей и атмосферой, между запросом и пространством. Они подчеркивают важность того, чтобы «не только убедить заказчика, но и

самой почувствовать, что это работает» (Малышев 2024). Внутри крафтового бюро женщины участвуют в проектировании как в процессе коллективной интуиции, где ценятся чуткость, гибкость, умение договариваться и удерживать открытость замысла до последних стадий проекта (Третьякова 2024). Это контрастирует с «визуальным минимализмом» и «плотной композицией», стилем, характерным для части интервьюированных нами мужчин-респондентов.

При этом архитектурная профессия в российском контексте по-прежнему структурирована как иерархичная и слабо чувствительная к телесным и аффективным формам знания. Женские стратегии, основанные на внимании к деталям повседневности, атмосферности и диалогу, оказываются маргинализированными в системе, ориентированной на регламент и визуальную отчетность. Один из респондентов признает: «Сделать красиво и просто – это не значит, что это будет работать. А мы часто делаем так, чтобы только хорошо выглядело» (ПМА: А7m).

Таким образом, гендерный фактор структурирует не только восприятие архитектурной профессии, но и способы конструирования городской среды. Женщины-архитекторы привносят в проектный процесс языки, приближенные к повседневной логике жителей, – языки впечатления, движения, интуиции, уязвимости. Это не означает их «естественную» близость к повседневности, но указывает на различия в профессиональных позициях и возможные точки сближения между архитектурной и обжитой логикой.

В то же время внутри всех интервью, и мужских, и женских, начинают просвечивать сомнения и напряжения, указывающие на границы проектной эпистемы. Архитекторы рефлексиируют, что их работа не всегда понята, что визуальные образы не трансформируются в пользование, что решения, принятые ради визуального порядка, не обязательно создают жизненность. Один из них говорит: «Бывает, делаешь хорошо, а потом приходят и говорят – не пользуются. Это обидно, но мы не можем контролировать использование» (ПМА: А4m). Другой признает: «Мы не можем сесть и объяснить каждое решение. Оно должно быть ясно из картинки. Если не понятно – значит, плохая визуализация» (ПМА: А8m). Эти высказывания открывают важный сдвиг: архитектор оказывается не в позиции контролирующего, а в положении медиатора, действующего в условиях высокой нормативной и визуальной обусловленности, но с осознанием ее ограничений.

Это соответствует пониманию архитектора как ограниченного актора: не как того, кто распоряжается пространством, а как фигуры, встроенной в сложную политическую, технологическую, риторическую сборку (Yaneva 2009). Шон (Schön 1983) описывал это как рефлексии в действии: необходимость принимать решения в условиях неопределенности, импровизировать в ситуации, где исход заранее неясен.

Именно эти фрустрации, когда проектная логика дает сбой, и становятся точками, где проектное знание сталкивается с реальностью проживания.

В этих высказываниях слышно не только раздражение, но и усталость от роли репрезентатора. Архитектор вынужден производить язык, в который он сам не до конца верит. Это хорошо согласуется с анализом архитектурной практики у Малышева, где идентичность и северность оформляются как риторические конструкции, нужные для легитимации проекта в системе заказов, но не обязательно укорененные в реальном пространстве. Здесь уместно вспомнить концепт глобальных сборок у Коллер и Онг (Collier, Ong 2005), в которых локальное пространство оформляется как сцена для воплощения универсальных схем – стандарта, управления, отчетности.

Таким образом, архитектор в арктическом городе – это не просто носитель визуальной логики, а фигура, зажатая между идеей и эксплуатацией, а также между воображением и рутинной. Это не снимает конфликта с логикой повседневности, но делает его сложнее: в проекте есть власть, но присутствует и ограниченность; есть рациональность, но также и неуверенность. И именно это делает столкновение с повседневной логикой не просто конфликтом, но возможностью, пусть и не всегда реализуемой, сонастройки.

Жители: телесность, маршруты, забота и непредсказуемость

Если в профессиональных нарративах комфорт чаще всего артикулируется как управляемый эффект среды, то в рассказах жителей он возникает как результат непрерывного телесного и эмоционального труда. Город здесь не проектируется и не оценивается по визуальному коду, он удерживается через усилия: проснуться, выйти, довести ребенка, не упасть, не замерзнуть, не быть одной. Это не комфорт в инженерном смысле, а возможность выстраивать жизнь в условиях неустойчивости и непредсказуемости.

Во многих интервью звучит идея, что обживаемость – это не архитектура, а повторяемость и узнаваемость маршрута. «Мне не нужно, чтобы красиво было. Мне нужно, чтобы можно было пройти и чтобы это не менялось каждые два года. Я привыкла. Я знаю, где скользко» (ПМА: С1f). Привычка здесь – это механизм ориентирования в среде, которая не всегда дружелюбна. Безопасность реализуется не за счет формы, а за счет предсказуемости и телесной памяти.

Тема темноты и страха звучит во многих высказываниях. Женщины говорят о том, как «с наступлением ноября все становится закрытым», «страшно идти одной», «только фонарь и звук шагов». Комфорт в этих высказываниях не равен свету, как в архитектурной риторике, он связан с чувством контроля над ситуацией, возможностью увидеть другого,

быть замеченной, не оказаться в одиночестве. Свет не декоративен, а функционален, и его отсутствие – это угроза телесной безопасности.

Во многих рассказах звучит критика благоустройства как имитации. «Они все сделали красиво, но теперь мы зимой падаем. Лучше бы не трогали» (ПМА: С3f). Здесь красота оказывается несоразмерной с телесным знанием: тело «знает», где можно идти, а проект нет. Плитка, бордюр, фонарь – это не нейтральные элементы, а источники риска, если они не встроены в телесную практику.

Часто встречаются описания ухода за другими как основной инфраструктурной практики. «Если бы не соседка, я бы не знала, что у нас воду отключат» (ПМА: С8f). Водоснабжение, тепло, информация – все это собирается в городе не из систем, а из связей. Комфорт в этом смысле – не просто ощущение, а возможность положиться на маршрут, на человека, на ритуал.

Гендерный аспект проявляется особенно остро. Почти во всех женских интервью звучит тема «нести ответственность за других», «защищать детей от города», «не отпускать одну». Мужские интервью чаще оформлены в логике контроля и изоляции: «Я сам, мне ничего не надо, я с машины до дома» (ПМА: С9m). Женщины живут в городе телесно – с телами детей, с телом матери, с телом подруги, которую ждут. Мужчины чаще описывают функциональную автономию, женщины – связанную зависимость.

В этих нарративах обитаемость часто определяется не через собственное тело, а через тело другого – ребенка, старика, животного. Эти фигуры становятся своего рода индикаторами городской пригодности. Женщина говорит: «С собакой только на пустырь хожу, потому что там не поскользнешься» (ПМА: С4f). Другая: «Мама сломала руку, с тех пор боюсь ее отпускать одну» (ПМА: С6f). Еще одна: «Я все время думаю, если что, ребенка как нести?» (ПМА: С2f). Здесь город описывается через заботу, через уязвимость, но не частную, а социальную: хорошее пространство то, где можно быть в ответе за другого.

Эти вторичные тела (дети, пожилые, животные) становятся точками проверки городской среды. Через них обнаруживается, где небезопасно, где нельзя остановиться, где слишком темно. Это важная часть повседневной телесной логики: комфорт не для меня, а для того, за кого я отвечаю. Таким образом, забота и уязвимость оказываются и моральными категориями, и аналитическими рамками описания городской среды.

Но даже в этих обрывках фраз, жалобах и усталости город появляется как пространство привязанности. «Я ненавижу эту зиму, но я знаю, как в ней жить» (ПМА: С7f). Или: «Я не люблю этот город, но тут я знаю каждый шаг» (ПМА: С8f). Здесь комфорт формулируется не как удовольствие, а как умение быть. Именно это делает город возможным.

Таким образом, в нарративах жителей арктический город предстает как телесно и эмоционально напряженная среда, где обитаемость не следствие проекта, а результат повседневных тактик: памяти, заботы, взаимности, маршрутов. Эти формы знания не укладываются в проектные документы, но они и есть город – в том виде, в каком он существует для своих обитателей.

В следующем разделе мы рассмотрим, как эти две логики, проектная и повседневная, соотносятся, конфликтуют и (в редких случаях) находят точки сонастройки.

Языки комфорта: лексические режимы и речевые жанры

Различие между архитектурной и повседневной логикой городской среды проявляется в концептах, но также и в языках, на которых говорят о городе. В интервью с архитекторами преобладают термины инженерного происхождения, категории визуального и композиционного восприятия: «атмосфера», «световое решение», «визуальный код», «пешеходная связанность», «считываемость», «контраст». Эти слова оформляют комфорт как абстрактно представимое и визуально управляемое качество. Архитектурный язык работает через синтаксис универсального: «должно быть», «мы закладываем», «нужно добиться».

В нарративах жителей, напротив, комфорт описывается через ситуации, тела, страхи и маршруты. Вместо формальных обобщений, фразы вроде «чтобы пройти и не упасть», «я знаю, где скользко», «главное, чтобы освещение было нормальное, а не для красоты». Здесь доминирует язык тактический, телесно-ситуативный, основанный на опыте и памяти. Он не абстрактен, а нарративен: высказывание строится как рассказ, как момент и переживание. Комфорт – это не визуальное качество, а результат возможности пройти, быть замеченной, не бояться.

Это несоответствие можно интерпретировать через оптику речевых жанров и регистров знания. Как показывает Оксана Мороз в своих работах по городской политике, профессиональный язык благоустройства – это язык видимости и отчетности (Мороз 2019). Он задает структуру допустимого говорения: о городе можно говорить в терминах решений, функций, целей. В то время как повседневная речь – это не жанр управления, а жанр проживания. Она не предполагает универсальности, но претендует на истинность через телесность и повтор.

Таким образом, в корпусе интервью можно выделить как минимум четыре языка комфорта:

- Инженерный (нормативно-описательный) – освещенность, защита от ветра, связанность маршрутов.
- Визуальный (эстетический и символический) – атмосфера, цвет, контраст, читаемость.

- Телесный (телоцентричный) – не упасть, не мерзнуть, не волноваться за ребенка.

- Ситуативный (тактический и нарративный) – пройти быстро, ждать у подъезда, выйти и вернуться.

Эти языки отражают разные режимы городской субъектности: архитектор говорит от лица проекта, житель от лица маршрута. Анализ этих различий не сводится к выявлению когнитивного барьера, скорее, он указывает на эпистемологическое расслоение, в котором разные формы знания о городе сосуществуют, но не встречаются. Чтобы слышать друг друга, нужно не переводить, а переосмыслять, что такое комфорт, кому он принадлежит, и через какой язык он может быть выражен.

Между проектом и телом: точки расхождения и сонастройки

Разделение между архитектурной логикой и повседневным проживанием в арктическом городе – не просто различие фокусов, а фундаментальное несоответствие режимов знания. Архитекторы работают с пространством как с управляемой, визуализируемой системой, в которой комфорт – это предсказуемый результат проектных решений. Жители же формируют свою обитаемость в логике ситуативной телесности, где комфорт – это не зафиксированное свойство среды, а достижение, за которое нужно бороться ежедневно. Эти два режима не сводимы друг к другу, но именно в их несовпадении возникает пространство города как поля напряженной сонастройки.

Первое и наиболее очевидное расхождение – в способах артикуляции комфорта. В архитектурных высказываниях он описывается через форму: свет, цвет, композиция, организация движения. В нарративах жителей – через предсказуемость, защищенность, повтор (высказывание архитектора «цвет работает сильнее материала» и жительницы «Я знаю, где скользко»). В первом случае речь идет о визуальной реакции, во втором о тактильной памяти. Здесь становится видна разница между архитектурным «восприятием» и телесным «знанием».

Второе расхождение – в отношениях с инфраструктурой. Для архитектора инфраструктура – это условие функционирования, элемент системы. Для жителя – это источник уязвимости, зона беспокойства и контроля. Плитка, освещение, фасад в проекте – это маркеры благоустройства. В жизни это то, где можно упасть, замерзнуть, не быть замеченной. Здесь эстетическая логика вступает в прямое противоречие с телесной.

Третья линия расхождения – в темпоральности. Архитектура работает с горизонтом завершения: сдача проекта, реализация концепции. Повседневность – с горизонтом удержания: выйти, вернуться, дожить до весны. Один проект – это два года жизни; один маршрут – это десятки повторений. Архитектура мыслит город как форму, повседневность –

как процесс. В этом и кроется причина фрустрации обеих сторон: проект «не понимает», почему город не «используют», жители – почему город «не работает».

Однако между этими логиками возникают не только расхождения, но и формы неявной сонастройки. Архитекторы начинают говорить о «функциональной рутине», «неявном использовании», «второй жизни пространства». Жители – о «любимых местах», «местах, где тепло». Это не всегда совпадает, но это и не абсолютный разрыв. Город удерживается не за счет взаимопонимания, а за счет *перекрестного привыкания*. Архитектор не узнает, как именно используют пространство, но проект иногда попадает в траектории повседневного движения. Житель не знает, что имел в виду автор, но может освоить и подстроить пространственную форму под себя.

Эти редкие совпадения важны не как примеры «успешного» проектирования, а как моменты городской сонастройки, в которой разные эпистемы ненадолго пересекаются. Иногда проект учитывает микротраектории, иногда житель приспособливает маршрут к форме, иногда тень от фасада становится местом встречи, хотя ее не проектировали как таковую. В этих фрагментах город и возникает – не как результат реализации, а как резонанс разных способов быть в нем.

Поэтому мы не рассматриваем проектную и повседневную логику как взаимно исключаящие. Напротив, их соотнесение – это и есть условие городской жизни: сложной, конфликтостойкой, уязвимой, но все же возможной. И именно в Арктике, где несоразмерность между формой и телом, между проектом и средой особенно велика, становится видно, как много город требует не от бумаги, а от тела и как важно проектному знанию научиться не только представлять город, но и слышать его в обмороженных пальцах, в стершейся плитке, в маршрутах, которые идут в обход.

Заключение

Арктический город – это не только климатическая экстремальность, но и эпистемологический вызов. Он делает особенно видимыми напряжения, которые в других контекстах могут оставаться латентными: между проектом и проживанием, между визуальной логикой и телесной сонастройкой, между нормативной функцией и ситуативной обитаемостью. В этой статье мы рассмотрели, как в арктическом контексте сосуществуют два режима знания о городе: дисциплинарно-проектный и эмпирически-повседневный.

Анализ интервью с архитекторами показал, что архитектурное знание формируется как репрезентативная практика, стремящаяся к визуальной убедительности, нормативной отчетности и модульной воспроизводи-

мости. Комфорт в этом знании – управляемый эффект среды, воплощенный в форме, цвете, композиции. Визуальная северность здесь часто заменяет телесную адаптацию, а эстетическая логика подменяет практики обживания.

В интервью с жителями, напротив, городская среда появляется как непредсказуемая, телесно уязвимая и эмоционально нагруженная. Комфорт здесь – не следствие формы, а результат повседневного труда: двигаться, обходить, заботиться, помнить. Город проживается не как проект, а как процесс инфраструктурного, социального, климатического, телесного удержания.

Эти два режима знания не совпадают, но они и не полностью разорваны. Мы показали, как в городе возникают точки трения, обхода, сонастройки, когда проектная форма адаптируется под телесный маршрут, когда визуальное решение случайно совпадает с повседневной нуждой, когда жители начинают переосмыслять, присваивать, модифицировать пространство. Город не живет за счет соответствия, а живет за счет временной и неполной настройки между тем, что задумано, и тем, что переживается.

Методологически мы предлагаем рассматривать такие эпистемологические расхождения не как сбои реализации, а как продуктивные поля анализа. Именно в их несовпадении становится возможным увидеть город как сложный социально-технический ассамбляж. Арктический город в этом смысле не периферийный, а предельный случай, позволяющий радикализировать вопросы, которые касаются любого города: кто его знает, кто его делает, кто в нем живет, и каким знанием этот город поддерживается.

Таким образом, статья вносит вклад в поле городской антропологии, архитектурной критики и исследований инфраструктур, показывая, как телесная и проектная логики сосуществуют в условиях высокой уязвимости и политической нормализации. Мы настаиваем на необходимости включать повседневные формы знания в архитектурное мышление как источники эпистемологической устойчивости. Потому что именно они – маршруты, тела, страхи, ритуалы, привычки – делают город возможным не только в замысле, но в жизни.

Постскриптум: что значит соучастие, когда проект и тело не встречаются?

Одним из неявных, но ключевых мотивов этой статьи стал вопрос о возможности соучастия в производстве городской среды. Мы описали, как в арктическом городе соседствуют два эпистемологических режима: проектный и повседневный. Они действуют параллельно, пересекаются, но редко вступают в диалог. Между ними различие в ритмах, в телах,

в способах легитимации знания. Архитектура репрезентирует, повседневность проживает. Проект предлагает форму, повседневность ее обходит.

В этих условиях возникает вопрос: каким может быть участие, если стороны не признают друг друга как носителей релевантного знания? Архитектор работает под нормативным давлением и временным дефицитом. Житель не верит в возможность быть услышанным. Публичные обсуждения превращаются в ритуал, визуальные презентации не предполагают обратной связи. Даже когда происходит физическое сосуществование, архитектор гуляет по городу, житель замечает новую плитку – это еще не означает встречи.

Возможно, в таких условиях соучастие – это не процедура, а переопределение форм знания. Не вовлечение как функция, а признание существования других тел, других маршрутов, других темпоральностей. Соучастие – это когда проект перестает быть автономным и становится пористым, уязвимым к вмешательству, способным к перенастройке, внимательным к отказу. Это не то, что можно гарантировать через формат, но то, что можно культивировать как режим внимания.

Мы не предлагаем новую процедуру включения горожан. Мы лишь указываем на то, что архитектурное и повседневное знания могут быть соучастны, только если признать не их иерархию, а множественность. Не переводить одно в другое, а удерживать оба как несовпадающие, но взаимозависимые формы городской сообразности.

Примечания

¹ Drive-along interview – это мобильная форма интервью, адаптированная от метода *walk-along* (совместная прогулка). В этом формате исследователь сопровождает участника во время поездки по городу на автомобиле, наблюдая и стимулируя его размышления о городской среде в процессе движения. В арктических городах весной, когда пешеходная доступность резко снижается из-за таяния снега, грязи и сезонных разрушений инфраструктуры, передвижение на машине становится наиболее удобным и комфортным способом перемещения. Такая адаптация позволяет фиксировать пространственные нарративы, чувственные впечатления и телесные переживания городской жизни в момент их актуализации.

² «Интерпретативный урбанизм» – не каноническое понятие в строгом смысле, как, например, «*assemblage urbanism*» или «*planetary urbanism*», но оно встречается в нескольких контекстах, где авторы подчеркивают качественные, гуманитарные и антропологические подходы к городу, основанные на интерпретации нарративов, значений, повседневных практик, в духе гирцевской традиции (Dovey 2010; Geertz 1973; Fariás et al. 2010).

Таблица интервью с кодами

Код интервью	Тип интервью	Гендер	Тип респондента
A1m	Интервью	Мужчина	Архитектор
A2m	Интервью	Мужчина	Архитектор
A3m	Интервью	Мужчина	Архитектор

Код интервью	Тип интервью	Гендер	Тип респондента
A4m	Интервью	Мужчина	Архитектор
A5f	Интервью	Женщина	Архитектор
A6m	Интервью	Мужчина	Архитектор
A7f	Интервью	Женщина	Архитектор
A7m	Интервью	Мужчина	Архитектор
A8m	Интервью	Мужчина	Архитектор
A9m	Интервью	Мужчина	Архитектор
C1f	Интервью	Женщина	Житель
C2f	Интервью	Женщина	Житель
C3f	Интервью	Женщина	Житель
fgf	Фокус-группа	Женщины	Житель
fgf in	Неформальное интервью	Женщины	Житель
C4f	Интервью	Женщина	Житель
C5m	Интервью	Мужчина	Житель
C6f	Drive-along	Женщина	Житель
C7f	Drive-along	Женщина	Житель
C8f	Интервью	Женщина	Житель
C9m	Интервью	Мужчина	Житель

Список источников

- Волков А.Д., Симакова А.В. Арктический моногород: восприятие населением своего будущего в перспективах его развития // Регионоведение. 2022. Т. 30, № 4 (121). С. 851–881. doi: 10.15507/2413-1407.121.030.202204.851-881
- Малышев Г.Н. Концепт идентичности в современной российской архитектурно-градостроительной практике как инструмент профессиональной легитимации: этнография одного бюро // Городские исследования и практики. 2024. № 9 (4). С. 40–53. doi: 10.17323/usp94202440-53
- Мастер-план Мурманска 2023 – Проект мастер-плана развития города Мурманска // Правительство Мурманской области. 2023. URL: <https://nashsever51.ru/storage/temporary/24/03/06/156462/47cdd109-1303-48df-a944-0d4ae3334461.pdf>
- Мороз О.В. Красота по заказу: визуальная культура и новая этика благоустройства в современной России // Неприкосновенный запас. 2019. № 6 (132). С. 216–233. doi: 10.17323/2071-160X-2019-6-216-233
- Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (утв. Президиумом, протокол № 10 от 21 ноября 2016 г.). М., 2016.
- ПМА – Полевые материалы автора. Экспедиция в Новый Уренгой и Тарко-Сале, май 2024 (см. таблицу интервью).
- Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года (утверждена Указом Президента № 645 от 26 октября 2020 г.).
- Третьякова А.А. Антропология крафтового архитектурного бюро: как идеи превращаются в проекты // Городские исследования и практики. 2024. № 9 (4). С. 22–39. doi: 10.17323/usp94202422-39
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет: пер. с фр. М.: Касталь, 1996. 448 с.
- Bolotova A. Conquering Nature and Engaging with the Environment in the Russian Industrialised North: PhD diss. University of Lapland, 2014.
- Collier S., Ong A. Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.

- Cuff D. *Architecture: The Story of Practice*. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
- de Certeau M. *The Practice of Everyday Life*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Dovey K. *Becoming Places: Urbanism / Architecture / Identity / Power*. London: Routledge, 2010.
- Farias I., Bender T. (eds.). *Urban Assemblages: How Actor-Network Theory Changes Urban Studies*. London: Routledge, 2010.
- Fröhlich C. Urban Citizenship under Post-Soviet Conditions: Grassroots Struggles of Residents in Contemporary Moscow // *Journal of urban affairs*. 2020. Vol. 42 (2). P. 188–202.
- Geertz C. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973.
- Gunko M., Zupan D., Riabova L., Zaika Y., Medvedev A. From policy mobility to top-down policy transfer: 'Comfortization' of Russian cities beyond neoliberal rationality // *EPC: Politics and Space*. 2022. Vol. 40 (6). P. 1382–1400.
- Haraway D. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective // *Feminist Studies*. 1988. Vol. 14 (3). P. 575–599.
- Jasanoff S. *Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Kruse J. et al. Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA) // *Barometers of Quality of Life Around the Globe*. Social Indicators Research Series, vol 33 / eds. by V. Möller, D. Huschka, A.C. Michalos. Springer, Dordrecht, 2008. doi: 10.1007/978-1-4020-8686-1_5
- Lefebvre H. *Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life*. London: Bloomsbury Academic, 2004.
- Schön D.A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books, 1983.
- Scott J.C. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Simone A. People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg // *Public Culture*. 2004. Vol. 16 (3). P. 407–429.
- Yaneva A. Making the Social Hold: Towards an Actor-Network Theory of Design // *Design and Culture*. 2009. Vol. 1 (3). P. 273–288.

References

- Bolotova, A. (2014) *Conquering Nature and Engaging with the Environment in the Russian Industrialised North*. PhD diss., University of Lapland.
- Collier, S., Ong A. (2005) *Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Cuff, D. (1992) *Architecture: The Story of Practice*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dovey, K. (2010) *Becoming Places: Urbanism / Architecture / Identity / Power*. London: Routledge.
- Farias, I., and T. Bender, eds. (2010) *Urban Assemblages: How Actor-Network Theory Changes Urban Studies*. London: Routledge.
- Foucault, M. (1996) *Volia k istine: po tu storonu znaniia, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [The Will to Knowledge: Beyond Knowledge, Power and Sexuality. Works of Different Years]. Translated from French. Moscow: Kastal'.
- Fröhlich C. (2020) Urban Citizenship under Post-Soviet Conditions: Grassroots Struggles of Residents in Contemporary Moscow, *Journal of urban affairs*, 42 (2), pp. 188–202.
- Geertz, C. (1973) *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Gunko, M., D. Zupan, L. Riabova, Y. Zaika, and A. Medvedev (2022) From policy mobility to top-down policy transfer: 'Comfortization' of Russian cities beyond neoliberal rationality. *EPC: Politics and Space*, 40 (6), pp. 1382–1400.
- Haraway, D. (1988) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, 14 (3), pp. 575–599.
- Jasanoff, S. (2005) *Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States*. Princeton: Princeton University Press.

- Kruse, J. et al. (2008) Survey of Living Conditions in the Arctic (SLiCA). In: Møller, V., Huschka, D., Michalos, A.C. (eds) *Barometers of Quality of Life Around the Globe*. Social Indicators Research Series, vol. 33. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8686-1_5
- Lefebvre, H. (2004) *Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life*. London: Bloomsbury Academic.
- Malyshev G.N. (2024). The Concept of Identity as a Tool for Professional Legitimation in Architectural and Urban Planning Practice: A One Company Ethnography. *Urban Studies and Practices*, 9(4), pp. 40–53. <https://doi.org/10.17323/usp94202440-53>
- Master-plan Murmansk 2023 – Проект master-plana razvitiia goroda Murmansk [Draft Master Plan for the Development of the City of Murmansk]. Government of Murmansk Region, 2023. Available at: <https://nashsever51.ru/storage/temporary/24/03/06/156462/47cdd109-1303-48df-a944-0d4ae3334461.pdf>
- Moroz, O.V. (2019) *Krasota po zakazu: vizual'naia kul'tura i novaia etika blagoustroistva v sovremennoi Rossii* [Commissioned Beauty: Visual Culture and the New Ethics of Urban Improvement in Contemporary Russia]. *Neprikosnovennyi zapas*, 6 (132), pp. 216–233. <https://doi.org/10.17323/2071-160X-2019-6-216-233>
- Pasport proekta... 2016 – Sovet pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii po strategicheskomu razvitiu i prioritnym proektam. Pasport prioritnogo proekta «Formirovanie komfortnoi gorodskoi sredy» (utverzhen Prezidiumom, protokol № 10 ot 21 noiabria 2016 g.) [Presidential Council of the Russian Federation for Strategic Development and Priority Projects. Passport of the Priority Project “Formation of a Comfortable Urban Environment” (approved by the Presidium, Protocol No. 10 of 21 November 2016)]. Moscow.
- PMA – Author’s field materials. Expedition to Novy Urengoy and Tarko-Sale, May 2024 (Appendix 1)
- Schön, D.A. (1983) *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- Scott, J.C. (1998) *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Simone, A. (2004) People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg. *Public Culture*, 16 (3), pp. 407–429.
- Strategiia razvitiia...2020 – Strategiia razvitiia Arkticheskoi zony Rossiiskoi Federatsii i obespecheniia natsional'noi bezopasnosti do 2035 goda (utverzhdена Ukazom Prezidenta № 645 ot 26 oktiabria 2020 g.) [Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and Ensuring National Security until 2035 (approved by Presidential Decree No. 645 of 26 October 2020)].
- Tretyakova A.A. (2024). An Anthropology of a Craft Architectural Company: How Ideas Turn into Projects. *Urban Studies and Practices*, 9(4), pp. 22–39. <https://doi.org/10.17323/usp94202422-39>
- Volkov, A.D., Simakova A.V. (2022) *Arkticheskii monogorod: vospriiatie naseleniem svoego budushchego v perspektivakh ego razvitiia* [The Arctic Single-Industry Town: How Residents Perceive Its Development Prospects]. *Regionologiya*, 30 (4), pp. 851–881. <https://doi.org/10.15507/2413-1407.121.030.202204.851-881>
- Yaneva, A. (2009) Making the Social Hold: Towards an Actor-Network Theory of Design. *Design and Culture*, 1 (3), pp. 273–288.

Сведения об авторах:

УСТЮЖАНЦЕВА Ольга Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры антропологии и этнологии, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск, Россия). E-mail: olgavust@gmail.com

ПРОКОПОВА Софья Михайловна – младший научный сотрудник, проектно-исследовательская лаборатория арктического дизайна, Уральский федеральный

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия).
E-mail: Sofiaprokopova@gmail.com

КРАВЧУК Светлана Геннадьевна – кандидат искусствоведения, заведующая проектно-исследовательской лабораторией арктического дизайна, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: svetlana_usenyuk@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Olga V. Ustyuzhantseva, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: olgavust@gmail.com

Sofia M. Prokopova, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: Sofiaprokopova@gmail.com

Svetlana G. Kravchuk, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: svetlana_usenyuk@mail.ru

The authors declare no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 14 мая 2025;
принята к публикации 8 августа 2025.*

*The article was submitted 14.05.2025;
accepted for publication 08.08.2025.*

Научная статья
УДК 39(571)
doi: 10.17223/2312461X/49/12

Реки и дороги: векторы движения, развитие инфраструктуры и перемены в культурных ландшафтах юганских ханты

Даниил Андреевич Вигет

*Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
Москва, Россия
DanielWiget@gmail.com*

Аннотация. Рассматриваются культурные ландшафты, зачастую представляемые как «вневременные», однако мы знаем, что с ходом времени культурные ландшафты сообщества меняются. Проведенная мною полевая работа на р. Большой Юган позволяет утверждать, что сдвиги в видах передвижения оказывают влияние на культурный ландшафт юганских ханты. Исследуется вектор движения в качестве источника образования и перемен культурных ландшафтов. Отношения культурных ландшафтов и промышленности оцениваются через анализ эволюции нефтяной инфраструктуры на р. Большой Юган и последовавших за ней перемен в быту и культуре юганских ханты (коммерциализация и объективизация окружающей среды, обращение к наемному труду, сдвиги в возможностях и потребностях). На основе проанализированных материалов делаются выводы о том, что инфраструктурное развитие провоцирует перемены в культурном ландшафте местных сообществ. Развитие инфраструктуры и следующие за ним социально-экономические сдвиги приводят к изменениям в способах передвижения, что влияет на габитус человека. Меняются традиционные подходы к взаимодействию с окружающей средой и вообще то, как люди «делают» культуру, что отражается на их культурном ландшафте.

Ключевые слова: восточные ханты, культурный ландшафт, Юган, социальное поле, габитус, коммерциализация, объективизация окружающей среды, движение, инфраструктурное развитие, нефтегазовая промышленность

Для цитирования: Вигет Д.А. Реки и дороги: векторы движения, развитие инфраструктуры и перемены в культурных ландшафтах юганских ханты // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 249–265. doi: 10.17223/2312461X/49/12

Original article
doi: 10.17223/2312461X/49/12

Rivers and Roads: Movement Vectors, Infrastructure Development and Changes in Yugan Khanty Cultural Landscapes

Daniel Andrew Wiget

*Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation, DanielWiget@gmail.com*

Abstract. The article talks about cultural landscapes. Cultural landscapes are often presented as «timeless», but we know that the cultural landscapes of a community change over time. My field work on the Bolshoy Yugan river suggests that shifts in modes of movement have an impact on the cultural landscape of the Yugan Khanty. The vector of movement is considered as a source of development and change in cultural landscapes. The relationship between cultural landscapes and industry is assessed through an analysis of the evolution of the oil infrastructure on the Bolshoy Yugan river and the subsequent changes in the way of life and culture of the Yugan Khanty – the commercialization and objectification of the environment, the shift towards wage labor, changes in affordances and needs. Based on the analyzed materials, it is concluded that infrastructural development provokes transformations in the cultural landscape of local communities. The development of infrastructure and subsequent socio-economic shifts lead to alterations in the ways of movement, which affects the human habitus. Traditional approaches to interacting with the environment and, in general, the way people «do» culture thus change, which is reflected in their cultural landscape.

Keywords: Eastern Khanty, cultural landscape, Yugan, social field, habitus, commercialization, objectification of the environment, movement, infrastructural development, oil and gas industry

For citation: Wiget, D.A. (2025) Rivers and Roads: Movement Vectors, Infrastructure Development and Changes in Yugan Khanty Cultural Landscapes. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 249–265 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/12

Вступление

Культурные ландшафты меняются. Мы знаем это, потому что они связаны с условиями жизни человека – если что-то меняется в жизни человека или сообщества, то в ответ на это меняется и сам окружающий его культурный ландшафт. Мы можем утверждать это с уверенностью, потому что культурные ландшафты в конечном счете формируются на основе того, как люди воспринимают окружающую среду; по мере того, как меняется эта среда, меняется и воспринимаемый ландшафт. Под культурными ландшафтами в этой статье подразумеваются совокупности отражающихся в культуре взаимоотношений человека с окружающим миром, как физическим, так и метафизическим, через культурные убеждения и практики. Иначе говоря, я разделяю мнение Джеймса А.Р. Нафцигера о том, что «именно различные типы слияния природных и культурных явлений в различных культурах коренных народов, а также соответствующие различия во взаимодействиях между человеческими культурами и природной средой обуславливают специфику основной концепции культурного ландшафта» (Nafziger 2018).

Эта статья посвящена хантыйским культурным ландшафтам. На основе полевой работы, проведенной среди юганских ханты, я в данном тексте хочу поднять вопросы о том, как культурные ландшафты представлены в научной среде, как они воспринимаются культурными группами и как меняются. Вопрос культурных ландшафтов зачастую связан

с некоторыми проблемами профессиональных представлений об окружающей среде и паттернах пространств, представленных картографически через территории, полигоны, точки. Картирование в антропологии как направление глубоко разработано, и – крайне важно – научные работы и методические материалы, такие как «Индигенные ландшафты: этнокартографическое исследование» М. Чапина (Charin 2001), до сих пор однозначно актуальны.

Однако данные представления обычно составляются с опорой на этнографические интервью, а потому перенесенные на карту данные зачастую недостаточно точно отражают сам опыт респондентов, переданный исследователю через интервью. В этом и кроется проблема анимистических культур. Помимо ехидных вопросов по типу «А как нам определить геолокацию духов природы?», всплывает то, что индивидуальный опыт, целостный и временный, невозможно точно представить вне быстротечного времени и двумерно на карте. Подобные статичные отражения культурных ландшафтов удерживаются в этнографии, но сами по себе не способны передать, как культурные ландшафты меняются. Эта проблема становится явной с осознанием того, что культурные ландшафты произрастают из феноменологического опыта движения в физической среде. Фактически, можно сказать, существует определенный «треугольный обмен» между индивидуальным опытом, культурным ландшафтом и культурными изменениями, где культурные ландшафты представляют собой поле Бурдьё, в котором габитус индивида одновременно информирует и изменяет посредством динамических процессов индивида его практики. Это изменение, в свою очередь, вносит изменения в культурный ландшафт – поле, где индивидуальный опыт запечатлевается в окружающей среде посредством повторения и запоминания.

Но существуют разные векторы восприятия: зрение, обоняние, память и т.д. Есть в их числе и восприятие посредством *движения*. То, как люди перемещаются по окружающей среде, оказывает сильное влияние на то, как они воспринимают ландшафт вокруг; это в значительной степени влияет на то, как люди взаимодействуют с землей, по которой они путешествуют, и как относятся к ней. Существуют ошеломляющие различия в восприятии одного и того же места людьми, которые путешествуют по нему пешком, на машине, на лодке, на поезде. На самолете тем более – можно пролететь над каким-то местом, даже не заметив его. Движение – формирующий опыт, где точки пауз и остановок определяются маршрутом, а территории – суть поля восприятия, также определенные движением.

Тем не менее, какой бы способ передвижения человек ни выбрал, сфера, в которой он предпочитает действовать, не является нейтральной – она строится с учетом условий, которые сами по себе влияют на

восприятие и практику людей; влияние, которое человек может осознавать, а может и не осознавать. Прочитируем часто используемую формулу Бурдьё: «Социальная реальность существует, так сказать, дважды: в вещах и в умах, в полях и в габитусе, снаружи и внутри агентов. И когда габитус сталкивается с социальным миром, продуктом которого он является, он чувствует себя “как рыба в воде”, он не чувствует тяжести воды и воспринимает окружающий мир как нечто само собой разумеющееся» (Wacquant 1989: 43).

В то же время восприятие человеком окружающей среды подготовлено заранее. Понимание человеком своего окружения формируется через его воспитание, его способы понимания, его язык – через его габитус. Далее будет продемонстрировано, как изменения в экономике коренных народов – и, следовательно, в способах их передвижения – меняют восприятие людьми окружающей среды и, как следствие, то, как сообщество «делает» свою культуру и формирует свой культурный ландшафт.

Движение и культурные ландшафты

Движение – это один из важнейших элементов жизни, вокруг которого люди строят свою культурную среду. Способы передвижения – ходьба, вождение автомобиля, катание на лодке, полеты и т.д. – так или иначе формулируют способы, которыми люди воспринимают свое окружение. Затем люди формируют свое окружение в соответствии с выбираемыми способами передвижения в данной среде, что, в свою очередь, обеспечивает конкретные возможности (*affordances*), которые люди используют для передвижения и жизни в адаптированной среде. Сравните человека, живущего в Москве, который ходит на работу пешком тридцать минут, с человеком, который тратит пятнадцать-двадцать минут на тот же путь, но едет на метро. Потраченное на путь время может быть как одинаковым, так и совсем другим, но важно здесь различие в самой природе опыта. Человек, идущий на работу из пункта А в пункт Б, должен пересекать городскую среду и взаимодействовать с ней хотя бы для того, чтобы не попасть под машину или не упасть с лестницы. Он ждет и идет по пешеходным переходам или по подземному переходу; ему нужно ориентироваться в толпе и избегать велосипедов и скутеров на тротуаре. Он должен проявлять внимание к своему окружению множеством способов: воспринимая пространство, по которому проходит, обращая внимание на вывески и рекламу, проделывая путь через парки, обходя здания, посещая магазины, отмечая всевозможные достопримечательности, намеренно или непреднамеренно картируя свое окружение через то, как он взаимодействует с ним в движении.

Но возьмем человека, который добирается до того же места работы на метро. Да, он ходит пешком до входа в метро и обратно, но, когда он

находится внутри системы метро, его пространство и векторы движения ограничены станциями и туннелями, по которым его везет поезд. В то время как он может выбрать окольный маршрут к намеченному месту назначения и максимально эффективно использовать свое передвижение в московском метро, наслаждаясь разнообразием станций, он стремится и к тому, чтобы выбрать самый короткий из возможных маршрутов – из пункта А в пункт Б. Он планирует свой маршрут соответствующим образом, по нисходящей линии, до мельчайших подробностей о том, когда и где в метро меньше людей, чтобы сэкономить минуты и секунды по дороге на работу. Его путешествие неизбежно становится ориентированным на пункт назначения, что влияет на то, как он воспринимает окружающее пространство. Конечно, это все обобщение. Как отмечалось выше, на действия человека будет влиять его габитус – если он хочет сэкономить время, он будет действовать таким образом независимо от того, едет ли он на метро или идет на работу пешком. А если его больше волнуют виды и диковинки, то он найдет время или намеренно опоздает на работу, чтобы пойти длинным путем. Способ передвижения делает эти решения осознанными, подталкивает людей в ту или иную сторону, изменяя, таким образом, то, как различные люди и сообщества конструируют свои культурные ландшафты. Поле предоставляет возможности, и если поле меняется – если по какой-то причине человеку становится легче передвигаться на метро, а не пешком, – то предоставляемые возможности будут меняться вместе с изменяющимся полем, утверждаясь через повторение и формируя элементы нового габитуса.

Таким образом, культурные ландшафты определяются территориями и точками. Они представляют собой как точки, так и заполненные пространства на карте, но формируются в результате чувственного восприятия и действий всех участников культурного ландшафта. Иногда это происходит непреднамеренно, иногда намеренно, но именно движение управляет рисованием этих точек, областей и линий между ними. Хью Броуди в своей основополагающей работе «Карты и сны» рассказывает об индейцах Бивер (Brody 1981), охотниках-трапперах, и о том, как их пространство прочерчивается через движение. Во время охоты «Охотник атабаска будет двигаться по направлению и в то время, которые определяются погодными условиями <...> и чувством правильности выбранного пути. У него также будут представления о передвижении животных, о своих и чужих методах землепользования... Но уже сейчас природа принятия решений охотником искажается из-за такого рода перечислений».

Охотник не начинает свое путешествие со структурированного плана своей деятельности или главного рационального соображения, которое должно стать основным и окончательным результатом охоты. Подобное

«планирование, как его понимают в других культурах, противоречит такого рода чувствительности и поставило бы под угрозу данную гибкость. Охотник, чувствительный к постоянным изменениям природы, духов и настроений людей, придерживается образа действий, который противоречит твердому плану и какому-либо точному или оговоренному соглашению с другими о том, что он собирается делать. Его образ действий не является и не должен быть предопределенным» (Brody 1981: 37).

Охотник перемещается по ландшафту свободно, создавая точки соприкосновения и интереса во время каждого похода. Он прокладывает и наслаивает свои новые маршруты на старые пространства, как расчерченные заранее, так и созданные намеренно, но его действия не в полной мере предопределены. Если он и следует по преднамеренному направлению, такому как хантыйский путик – лесная тропа с ловушками для дичи, каждый раз для него есть новый опыт, и в некотором смысле новое направление. Модель путешествия «начало–пункт назначения», как у человека, едущего в метро, поощряет невнимательность, а не внимание к пройденным точкам. Движение охотника информируется старыми маршрутами, охотничьими тропами и ограниченными пространствами – такими, как места сакрального значения, заповедная земля или закрытые нефтяные территории. Так, Джордан отмечает, что в традиционной культуре ханты фигурируют ограниченные или запретные пространства в тайге, определенные наличием живущего там в «избушке» или «амбарчике» (Jordan 2001). Такие места считаются, говоря словами Джордана (2001: 33), «божественными юртами», и в этих местах (не территориях, а именно местах) и вокруг них вся «охота, рыбалка, собирательство <...> запрещены, потому что деревья, животные и другие ресурсы принадлежат духу. Вне определенных времен эти места “закрыты” к повседневным социальным практикам, и эти места просто так не посещаются».

В схожем ключе в работе Нэнси Д. Мунн, посвященной ландшафтам австралийских аборигенов, описывается другой способ создания и очерчивания пространств (Munn 1996). Аборигены выделяют места, которые им по разным причинам требуется избегать, что приводит к систематическим обходам (detours), вытекающим из предвзятой пространственной и временной взаимосвязи с ландшафтом. Поскольку определенные места являются запретными для посещения или становятся таковыми в конкретное время либо в период мероприятий, аборигены или некоторые их группы в рамках культуры, такие как, например, женщины или дети, должны избегать эти места, что приводит к системе обходов. Как утверждает Мунн (1996: 452), «В процессе обхода акторы также создают негативное пространство – локацию, – куда они не заходят, часть которой выходит за пределы их собственного пространственного поля зрения. Этот акт проецирует знак ограничения на землю или пространство, создавая *временные, но повторяющиеся границы из движущегося тела*».

Таким образом, движение становится одной из направляющих сил в развитии и изменении культурного ландшафта. Это порождает, расширяет и сдвигает совокупности эмоциональных мест, которые формируют целостный культурный «слой» в затрагиваемой среде.

Картографирование и культурные ландшафты

Способы передвижения людей и пути, по которым они проходят, часто фиксируются на картах – бумажных и цифровых. Само действие людей, перемещающихся в своей окружающей среде, как отмечалось выше, способствует созданию и распространению внутри групп людей осознанных и неосознанных карт – ментальных карт (*mental maps*), которые сами по себе формируют и подкрепляют ментальные ландшафты людей. Эти карты могут быть правительственными документами, коммерческими картами местности или картами разграничения земель общин, но все они неизбежно создают представление о ландшафте и в дальнейшем формируют то, как другие воспринимают его.

В то же время культурные ландшафты, как и любая форма личной и общественной памяти, часто вызывают необходимость картирования мест, к которым привязан культурный ландшафт. Однако это приводит к парадоксу. Как пишет Ингольд (Ingold 2000: 225–226), «настоящие карты выглядят индексными по отношению к культурным традициям только в том случае, если культура представлена как не индексная по отношению к местности. Размещение карт в их культурном контексте сопровождается вытеснением культуры из ее контекста в жизненном мире».

Чтобы устранить это препятствие, как полагает Ингольд (2000), мы должны признать, что «карты индексируют движение, что видение, которое они воплощают, является не локальным, а региональным, но что целью современной картографии было превратить это региональное видение в глобальное, как если бы оно исходило из точки зрения “сверху вниз” и за пределами этого мира». Карта фиксирует, очерчивает и сводит в двумерное пространство временное и целостное видение локальности, так или иначе по-своему переваривая культурные данные, предоставленные местным населением.

Однако учет культурного видения людей, живущих в той или иной местности, при составлении любого вида карт является важным и необходимым или по крайней мере рассматривается как оптимальный способ для картографа избежать негативных последствий. Конфликты между коренными народами и добывающими индустриями во многих регионах мира чаще всего проистекали из нежелания добывающих компаний и/или правительства принимать во внимание сложные взаимоотношения общин коренных народов со своей землей. Воздействие добывающих компаний и других внешних агентов на коренной ландшафт приводит

к пересечению двух или более оспариваемых полей. Обычно это приводит к борьбе с добывающими компаниями – их бесконечному вторжению и навязыванию своих экономических, моральных, культурных, политических рамок ландшафту и людям, живущим в нем. Не проявляя должной заботливости, такие субъекты, как добывающие компании, картируя ландшафты, могут негативно повлиять на то, как формируются и развиваются культурные ландшафты среди новых поколений людей, живущих там.

Изучение как формирования и развития культурных ландшафтов, так и способов их исследования должно быть интересно для этнологов. Концепция культурного ландшафта, при всей ее размытости и сложности определения, находится на стыке антропологии, этнологии, географии и смежных дисциплин и является важным и полезным инструментом для попыток целостного изучения культуры взаимоотношений человека с окружающим миром.

Данные для этой статьи были собраны мной во время двух выездов на р. Большой Юган в Сургутском районе ХМАО–Югры (ПМА 2023, 2024). Я посетил одиннадцать хантыйских стойбищ, где интервьюировал глав семейств. Мной было проведено объемное анкетирование респондентов, совмещенное с глубинным интервьюированием их по структуре анкет. У респондентов запрашивалась информация по широкому набору тем – материальная база их семьи, семейная экономика, промыслы, маршруты и время движения, землепользование, значимые места, общие культурно-исторические данные и пр. Данные, запрашиваемые у респондентов через анкеты и интервью, заносились ими или мной под их руководством на физические карты их угодий в масштабе 1:200 000. Весь комплекс собранной информации был соотнесен со схожими данными из 1990-х – начала 2000-х гг., затем проведен сравнительный анализ конкретных и общих перемен в быту и культуре юганских ханты.

Юганские ханты и их ландшафты

История восточных ханты. Восточные ханты – это особая этнокультурная группа, проживающая преимущественно в ХМАО – Югре. Они говорят на языке восточных ханты (сургутский диалект) и живут в основном резидентными группами по берегам рек по всему региону; хантыйский термин для этих групп – *ях* ‘люди’. Так, например, *Яун ях* ‘люди реки’ – самоназвание юганских ханты. Большинство из этих групп проживают вдоль основных притоков средней Оби, протекающих через Сургутский, Нефтеюганский и Нижневартовский районы ХМАО–Югры. Такой образ жизни у речного берега был характерной чертой культуры восточных ханты со времен средневековья, если не раньше. Речное де-

ление хантыйских общин было настолько определяющим, что использовалось наряду с территориальными притязаниями хантыйских князей в качестве основы для разделения региона на волости, когда Российское государство распространило свое влияние на Югру. Принадлежащие к восточной общности юганские ханты – это община, компактно проживающая вдоль рек Большой и Малый Юган в Сургутском районе автономного округа.

Как и большинство других групп обских угров, юганские ханты – это отчетливо выраженное речное сообщество. Они живут в поселениях, состоящих из больших семей, расположенных вдоль рек Большой и Малый Юган, протяженностью 1 063 км и 521 км соответственно (по данным Государственного водного реестра... 2011). Исторически сложилось так, что передвижение между их населенными пунктами осуществлялось на лодке по реке в теплое время года и на собачьих и оленьих упряжках зимой по охотничьим тропам и замерзшей реке. Можно утверждать, что исторически ханты имели гораздо больше возможностей путешествовать вдали от своих земель, когда они выстраивали свои маршруты и полагались на традиционные способы передвижения. Один респондент сетовал, что «раньше люди сами далеко ходили. И лодки, олени были. С упряжкой [собачьей] ходили. А теперь даже с Бураном молодежь никуда не хочет ездить, даже сюда [до зарослей клюквы на болотах] собирать лень ходить, лежат и в телефонах сидят» (ПМА, юрты Курломкины, 2024).

Без таких ограничивающих факторов, как моторное топливо, запасные части и т.д., ханты, не обремененные необходимостью поддерживать современную технику, могли бы, как и в прошлом, летом передвигаться на весельных лодках, а зимой – на оленьих или собачьих упряжках с Югана в отдаленные хантыйские поселения, например, на реке Демьянка на юге и реке Пим на севере от Оби, в сотнях километров отсюда. Некоторые ханты даже добирались до Енисея к кетам в торговых и матримониальных целях (Wiget, Balalaeva 2011). Традиционно ханты использовали различные виды речного транспорта. Так, Дунин-Горкавич выделял два основных типа хантыйских лодок: облас – небольшая долбленка для одного или нескольких человек, и каюк – большая дощатая лодка, часто с крышкой, используемая для перевозки семей или больших групп людей (Дунин-Горкавич 1911).

Этот значимый элемент жизни ханты – дальние путешествия на лодках и нартах – заложил основы традиционного доиндустриального культурного ландшафта ханты в целом и на реке Большой Юган в частности. Между семейными поселениями река была усеяна множеством священных мест и святилищ, связывающих обжитый ландшафт с событиями хантыйской истории и мифами. Эти сети, соединенные рекой и охотни-

чьей тропой, также разграничивали территорию. Общины ханты соперничали друг с другом и своими соседями за ресурсы, в Средние века междоусобицы перерастали в состояние постоянной вражды. Э. Уигет и О. Балалаева писали по этому поводу: «Межгрупповое соперничество, по-видимому, значительно усилилось, особенно ближе к концу периода [железного века], вероятно, в результате стремления контролировать эту торговлю [сибирскими мехами в обмен на среднеазиатские предметы роскоши и военное снаряжение]. Очень раннее появление укрепленных поселений, построенных в местах слияния рек, свидетельствует о том, что в эпоху, предшествовавшую пушной торговле, существовала конкуренция за доступ к транспортным водным путям и за ресурсы, особенно за богатые рыбопромысловые районы. По мере роста торговли мехом с технологически более развитыми и социально более организованными культурами Средней Азии, эта конкуренция, возможно, также включала в себя захват меховых территорий» (Wiget, Balalaeva 2011: 5). Это стремление к разделению земель и ресурсов проводило границы как между человеческими сообществами, так и между богами, привязанными к определенным группам мест и маршрутов.

Большой Юган, например, принадлежит богу Яун-ики, одному из сыновей верховного бога Торума. Яун-ики получил реку в наследство от своего отца. Таким образом, он является «старейшиной Югана» и «отвечает за ее территорию, от истока до устья, и за жизнь проживающих здесь людей, включая их промысловую деятельность. В его подчинении находятся духи-хозяева [местных] лесов, рек, покровители селений (юрт), семейные (домашние) и личные» (Карапетова, Соловьева 2000: 202–203). Эти почти феодальные отношения бога и земли, в которые вовлечены местные сообщества, распространяются на всю речную систему Оби, где верховный бог Торум разделяет земли и реки между своими сыновьями, и они, в свою очередь, делят свои территории дальше по своему усмотрению или в зависимости от того, как складывается их история. Такая священная система уделов устанавливает и объясняет человеческие границы между сообществами. Например, «священная река Торума Тромъеган течет с севера на юг, в то время как Большой Юган, река бога Медведя [Яун-ики], сына Торума, – с юга на Север. Вместе они образуют мифологическую “ось” с севера на юг мира восточных хантов, границы которой охраняет Каменный медведь (Кяв Пупи)». Этот каменный медведь, покоренный в прошлом Яун-ики, «выполняет особую функцию стража, охраняя границы символического ландшафта, география которого соответствует историческим территориям проживания юганских и тромъеганских ханты» (Балалаева, Сурломкина, Уигет 2021: 8).

Таким образом, в этой тяготеющей к рекам среде дороги появились либо в результате вмешательства извне, либо в результате навязанного извне управления – дороги, таким образом, использовались для торговли

и сбора ясака татарами. Так, «между татарами и хантами были установлены тесные торговые сообщения: последние приезжали для обмена продуктами, особенно часто в северные населенные пункты заболотных татар, через которые проходила зимняя дорога на Тюмень». Позже появились централизованные усилия Российского государства по расширению территории для сбора ясака, по внедрению в Югру ямщицкой системы и т.д. Ненцы, дивясь роскоши украшений хантыйских нарт, объясняли это тем, «что ханты имели постоянные поселения и олени пастбища на правом берегу р. Аган (нёрэм палэк ‘болотная сторона’), где по одному из притоков – р. Каваньн явэң (Ампута) – пролегла Большая царская дорога. В течение всей зимы по этому маршруту двигались упряжки за табаком, мукой, чаем, сахаром и другими товарами на ярмарку в Сургут. Украшением нарт ханты подчёркивали значимость своего расположения на таком важном маршруте» (Академическая история Югры 2024: 433, 516).

Требования государственной экономики СССР и современной России привели к строительству промышленных дорог и мостов, однако река по-прежнему занимала центральное место в жизни и культуре ханты. В нынешнее время, с беспрецедентным расширением дорожной сети, соединяющей р. Юган с нефтяной промышленностью и близлежащими городами, сюда пришла очередная волна перемен: новые крупные нефтяные месторождения, расположенные вокруг кластера дер. Тайлаково (верхняя часть р. Большой Юган), подтолкнули нефтяные компании, в основном «Славнефть-Мегионнефтегаз», к крупным инвестициям в развитие разветвленной инфраструктурной сети, соединяющей новые нефтяные месторождения с городами Сургут (ок. 250 км) и Нижневартовск (241 км). Относительно новый проект в дер. Тайлаково уже обеспечивает до трети доходности «Мегионнефтегаза» и в настоящее время интенсивно развивается (Тайлаковское месторождение) (Новостные данные о Тайлаковском месторождении...). Участок земли между двумя городами, Сургутом и Нижневартовском, и Тайлаковскими полями быстро застраивается дорогами, заправочными и ремонтными станциями, вахтовыми поселками. Через Большой Юган было переброшено два моста. В связи с этими событиями юганские ханты ощутили серьезные изменения в том, как они воспринимают окружающую среду и как взаимодействуют с ней.

Инфраструктура, опыт и окружающая среда

Наемный труд и коммерциализация. Обозначенные выше изменения, вызванные расширением коммерческих транспортных сетей, привели к быстрому росту автомобилей среди юганских ханты, а благодаря этому и доступности ближайших населенных пунктов с разнообразными магазинами. В свою очередь, этот переход к автомобильным путешествиям и

активному приобретению различных предметов городского быта, таких как телевизоры, компьютеры, смартфоны для всей семьи, в геометрической прогрессии увеличил зависимость ханты от бензина. Согласно моим полевым материалам, шесть из двенадцати опрошенных в стойбищах семей в настоящее время имеют по крайней мере один автомобиль, помимо вездесущих лодочных моторов и электрогенераторов (ПМА 2023). Лодочные моторы нуждаются в топливе, автомобили нуждаются в топливе, а сейчас, при большом количестве электроники в большинстве домашних хозяйств, и электрогенераторы нуждаются в топливе. Достаточно часто – круглосуточно. Поскольку традиционные источники дохода, такие как охота, пушной промысел, рыболовство и собирательство, все чаще рассматриваются респондентами как нестабильные, а денежная компенсация, получаемая от первых экономических соглашений с нефтяными компаниями, заключенных в 1990-е и 2000-е гг., зачастую не растет в связи с инфляцией, и, как следствие, снижается и семейная покупательная способность, многие ханты перешли на наемный труд, чтобы увеличить доход своей семьи. Это привело к возникновению обратной связи между потребностями в поддержании этого нового образа жизни: нужда в деньгах требует работу по найму, работа по найму означает больше доступных денег, больше доступных денег означает больше товаров, связанных с электричеством, больше электроэнергии и увеличение количества поездок на автомобиле, а также расходы на лодочные моторы и снегоходы означают увеличенную необходимость в бензине, потребность в большем количестве бензина требует больше денег и т.д.

Возможности и удобства. Наличие дорог и мостов, построенных нефтяными компаниями, в целом увеличило количество поездок семей на автомобиле вдоль Большого Югана и до ближайших населенных пунктов, причем настолько, что большинство респондентов, опрошенных в течение последних двух лет полевых работ на реке, не смогли назвать точное число и часто испытывали трудности даже с приблизительным подсчетом того, сколько раз они ездили в ближайший магазин в течение года, тогда как в 1990-х и начале 2000-х гг. поход в ближайший магазин был редким событием. Как отвечал один респондент про свои передвижения в 2023 г., «Вообще, почти каждый месяц [ездим в Угут]. Много покатались. Точно не помню, вообще всё много. В Сургут чуть реже ездим вот, два-три раза» (ПМА, юрты Покачеевы, 2023).

Растущее число поселений для нефтяников и имеющих в этих поселениях магазинов обеспечили новый и более доступный источник товаров первой необходимости. Если юганские ханты хотели приобрести какие-либо товары с повышенными потребительскими свойствами, то новая дорожная сеть значительно упрощала поездку до ближайших населенных пунктов, таких как Угут, Нижневартовск и Сургут. Это, в свою очередь, привело к активизации использования автомобилей среди юганских

ханты до такой степени, что семейные и общественные парковочные места стали характерными чертами ландшафта. Например, у семей Курломкиных, живущих в верховьях Большого Югана, есть парковочное место на холме со спуском к одному из притоков, впадающих в Большой Юган. Это позволяет им подводить лодки прямо к автомобилям при высокой воде, а при низкой все, что требуется, – это 15–20 минут ходьбы, чтобы добраться до места для парковки. Парковочное место соединено с общей сетью нефтеналивных дорог с твердым покрытием грунтовой дорогой, которую респонденты неоднократно с любовью называли «нашей хантыйской дорогой» (ПМА 2023). Там, где заканчивается хантыйская дорога и начинается нефтяная, ханты устанавливают деревянный шлагбаум из бруса, чтобы нефтяники случайно не свернули в их сторону.

Изменения в социальном пространстве. Расширение автомобильных перевозок привело к нарушениям в традиционном «речном пути», исторически используемом народом ханты. Благодаря возможности совершать дальние поездки на автомобиле как для покупки и продажи товаров в регионе, так и для посещения друзей и родственников, дальние речные путешествия для некоторых ханты стали более ограниченными и часто опасными. Хотя Большой Юган по-прежнему занимает центральное место в жизни любой хантыйской семьи, живущей на его берегах, сокращение речных перевозок и вышеописанные сдвиги в возможностях и маршрутах существенно изменили социальную динамику сообщества юганских ханты. Наличие моторных лодок и вездеходов одновременно и упростило жизнь многим, и наложило собственные ограничения. Один респондент, не забыв пожаловаться на молодежь, отметил: «Раньше [до дальней речки] ездили туда дальше, в сторону Демьянки там. Бураны появились, лень ехать стало – дорогу рубить надо! А раньше пешком ходили, семьдесят-восемьдесят километров с собаками. А на Буране неохота ехать. Молодежь тем более не поедет» (ПМА, юрты Усановы, 2023).

До того, как в поздний советский период двигатели стали обычным явлением, ханты путешествовали по своим рекам на различных гребных судах, от одноместных долбленок-обласов до больших лодок, способных перевозить большое количество товаров и целые семьи. Низкая скорость безмоторных лодок и большие расстояния, которые приходилось преодолевать, означали, что обычно, путешествуя по реке, можно было за день преодолеть расстояние всего лишь между одним или двумя хантыйскими стойбищами. Такая медленная скорость передвижения от стоянки к стоянке в течение всего дня требовала постоянных контактов между различными семейными группами и сообществами на реке, и то, что путешественники останавливаются и посещают почти каждую стоянку и священное место на своем пути, стало устоявшейся практикой. Это продолжалось и в советский период, и в 1990-е гг., даже когда двигатели стали обычным явлением. Насколько известно, для некоторых

ханты эта практика продолжалась и в 2000-е гг., но с появлением мощных двигателей она стала все менее и менее востребованной, поскольку путешественники могли за несколько часов преодолеть расстояние, на которое раньше требовался целый день пути. И хотя от верховьев реки до Угута около 900 км пути по реке, сегодня путешествие по Большому Югану по всей его длине может занять не более длинного дня с одной или двумя короткими остановками для отдыха и питания.

Объективизация окружающей среды

Отмеченные изменения быстро превратили практику посещения стойбищ и сакральных объектов при передвижении по Югану в часто игнорируемую традицию, отчего некоторые ханты, живущие на реке, теперь рассматривают ее (реку), скорее, как шоссе между пунктами «А» и «Б», чем как путешествие по целостному ландшафту. Такое же отношение часто возникает и усугубляется во время поездок на автомобиле по недавно построенным дорогам.

Данный сдвиг в подходах юганских ханты к путешествиям и изменения в семейном хозяйстве, вызванные этим сдвигом, повлияли на отношение ханты к природе. Новый вид передвижения, ставящий во главу угла скорость и пункт назначения, а не то, что мы, возможно, могли бы назвать инкультурированным путешествием – движение, которое подчеркивает многообразие сенсорных воздействий и запускает инкультурированные реакции, – толкает юганских ханты к более высокой степени объективизации и коммодификации благ, добытых в тайге – процессу, начатому системой интернатов, христианизацией и другими современными социальными процессами. Подобные перемены отразились и на важнейших элементах традиционной культуры ханты, в частности на их взаимоотношениях с медведями. Один информант в 1998 г. рассказывал: «Мой отец использовал ловушку, чтобы заманить медведя. Тогда он делал все в соответствии с традицией и заводил медведя внутрь через крышу [приглашал убитого медведя домой] и т.д. А потом все забыли об этом [традиционном способе]. Мой отец перестал это делать, и мы больше так не делаем. Мы, я думаю, обратились к христианству. Бог создал медведя, и мы поклонялись ему, что было плохо, потому что это язычество. Когда я еще учился в школе, мы делали это пару раз, а потом перестали. В этом нет необходимости. И, по-моему, это плохо» (ПМ Э. Уигета, О. Балалаевой. Большой Юган, 1995). Это новые «смешанные» отношения, в которых окружающая среда чаще всего рассматривается как место для добычи ресурсов, а не как интегрированное поле, населенное множеством существ, среди которых ханты должны поддерживать сбалансированное и уважительное согласие, чтобы вести мир-

ный и гармоничный образ жизни. Это изменение в отношениях с природой может рассматриваться как переход от анимистической точки зрения в сторону материалистической.

В традиционном хантыйском мире деревья, реки, камни, все обладает анимирующей силой, духом, требующим уважения. У животных и птиц есть боги-покровители, а медведь присматривает за тайгой, и отношения с ним сложны и запутаны. Человек выстраивает с этим миром отношения, держащиеся на взаимоуважении, поддержке и ритуале. Овеществление и коммодификация эту систему взаимоотношений меняют, следовательно, меняется и отношение человека к окружающей среде. Конечно, данные отношения представляют собой спектр убеждений и точек зрения, отличающихся от человека к человеку, а не бинарную модель, в которой человек придерживается либо анимистического, либо материалистического взгляда на мир, где будто бы между ними нет ничего промежуточного. Однако обстоятельства окружения человека определяют его место между этими двумя крайностями, а обстоятельства его жизни перемещают его в том или ином направлении. Но ранее упомянутые изменения подразумевают, что у юганских ханты происходит переход от первого ко второму.

Выводы

Как отмечалось выше, обстоятельства окружения человека влияют на его габитус, на возможности того, как он может воздействовать на объекты и ситуации и воспринимать их. Но среди бесчисленных способов, которыми человек действует, думает и воспринимает, движение выделяется как центральная многогранная точка соприкосновения в той среде, где он живет. Таким образом, движение как оказывает влияние на социальные поля, присущие нашему современному капиталистическому миру, так и находится под их влиянием – в первую очередь под влиянием экономики. Изменения в способах передвижения, как и в любой другой сфере жизни, стимулируют ответ. Как было продемонстрировано, инфраструктурное развитие спровоцировало социально-экономические изменения в сообществе юганских ханты, которые, в свою очередь, влияют на габитус человека – его традиционные подходы к взаимодействию с окружающей средой меняются. В результате этих адаптаций меняется то, как сообщества и отдельные люди «делают» культуру. Следовательно, меняется и культурный ландшафт.

Список источников

- Академическая история Югры: в 8 т. / под общ. ред. Р.Г. Пихоя. Т. 2: Югра в XI–XVI вв. / отв. ред. А.В. Головнёв. Ханты-Мансийск: Новости Югры, 2024.
- Большой Юган [по данным Государственного водного реестра 2011 года]. URL: <https://textual.ru/gvr/index.php?card=193399>

- Балалаева О.Э., Сурломкина Е.П., Вигет Э.О. Голоса Югана. Сборник фольклора Йавэн-йях. Сургут: Печатный мир г. Сургут, 2021.
- Дунин-Горкавич А.А. Тобольский север: в 3 т. Т. 3: Этнографический очерк местных инородцев. М.: Либерея, 1911.
- Карпетова И.А., Соловьева К.Ю. Образ хозяина Югана «Явун-ики» как символ культуры юганских хантов // Этнография народов Западной Сибири. К юбилею доктора исторических наук, профессора Зои Петровны Соколовой / отв. ред. Д.А. Функ, А.П. Зенько. М., 2000. С. 198–211. (Сибирский этнографический сборник. 10).
- Тайлаковское месторождение [логистические данные]. URL: https://mklogistic.ru/taylakovskoe_mestorojdenie
- Малый Юган [по данным Государственного водного реестра 2011 года]. URL: <https://textual.ru/gvr/index.php?card=193529>
- Новостные данные о Тайлаковском месторождении URL: <https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/141645-taylakovskoe-neftegazovoe-mestorozhdenie/>
- Полевые материалы автора (ПМА) Д.А. Вигета. Большой Юган, сентябрь-октябрь 2023. ПМА Д.А. Вигета. Большой Юган, сентябрь-октябрь 2024.
- Полевые материалы (ПМ) Э. Уигета и О.Э. Балалаевой. Большой Юган и Малый Юган, лето 1995.
- Brody H. Maps and Dreams: Indians and the British Columbia frontier. Vancouver, B.C.: Douglas & McIntyre, 1981.
- Chapin M. et al. Indigenous landscapes: a study in ethnocartography / Mac Chapin, Bill Threlkeld. Arlington, Va: Center for the Support of Native Lands, 2001.
- Ingold T. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill (1st ed.). Routledge, 2000.
- Jordan P. Ideology, Material Culture and Khanty Ritual Landscapes in Western Siberia // Ethnoarchaeology and Hunter-gatherers: Pictures at an Exhibition / ed. by K.J. Fewster, M. Zvelebil. Oxford: British Archaeological Reports, 2001. P. 25–42. (BAR International Series 955).
- Munn N.D. Excluded Spaces: The Figure in the Australian Aboriginal Landscape // Critical Inquiry. 1996. № 22 (3). P. 446–465.
- Nafziger J.A.R. Cultural Landscapes Significant to Indigenous Peoples // Islamic Studies on Human Rights and Democracy. 2018. Vol. 2, № 1. P. 71–78.
- Wacquant L.J.D. Towards a reflexive sociology: A workshop with Pierre Bourdieu // Sociological Theory. 1989. № 7 (1). P. 26–63.
- Wiget A., Balalaeva O. Khanty, People of the Taiga: Surviving the 20th Century. University Press of Colorado, 2011. 415 p.

References

- Akademicheskaya istoriya Yugry: v 8 t.* [Academic history of Ugra: in 8 volumes, vol. 3] / pod obshch. red. R.G. Pikhoya. Khanty-Mansiysk: AO Izd. dom «Novosti Yugry». 2024. Tom 2: Yugra v XI–XVI vv. / отв. ред. А.В. Golovnev.
- Bolshoy Yugan. *Dannyye Gosudarstvennogo vodnogo reyestra ot 2011 goda* [Data of the State Water Registry of 2011]. Available at: <https://textual.ru/gvr/index.php?card=193399>
- Balalayeveva O.E., Surlomkina E.P., Wiget E.O. (2021) *Golosa Yugana. Sbornik folkloru Yaven-yakh* [The voices of Yugan. Collection of folklore of the Yaven-yah]. Surgut: OOO "Pechatnyy mir g. Surgut".
- Dunin-Gorkavich. A.A. (1996) *Tobolskiy sever. V 3 t. T. 3. Etnograficheskiy ocherk mestnykh inorodtsev* [The Tobol North. In 3 volumes. Vol. 3. An ethnographic essay of local inorodtsev]. Moscow: Libereya.
- Karapetova I.A. Solovyeva K.Yu. (2000) *Obraz khozyaina Yugana "Yavun-iki" kak simvol kultury yuganskikh khantov* [The image of the owner of Yugan "Yavun-iki" as a symbol of the culture of the Yugan Khanty]. In: *Etnografiya narodov Zapadnoy Sibiri. K yubileyu*

- doktora istoricheskikh nauk. professora Zoi Petrovny Sokolovoy* / Ed. by D.A. Funk, A.P. Zenko. Moscow. pp. 198–211.
- Logisticheskiye dannyye o Taylakovskom mestorozhdenii* [Logistical information about the Taylakovskoye field]. Available at: https://mklogistic.ru/taylakovskoe_mestorojdenie
- Malyy Yugan. *Dannyye Gosudarstvennogo vodnogo reyestra ot 2011 goda* [Data from the State Water Registry of 2011]. Available at: <https://textual.ru/gvr/index.php?card=193529>
- Novostnyye dannyye o Taylakovskom mestorozhdenii* [News data about the Taylakovskoye deposit]. Available at: <https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/141645-taylakovskoe-neftegazovoe-mestorozhdenie/>
- Brody, H. (1981) *Maps and Dreams: Indians and the British Columbia frontier*. Vancouver, B.C.: Douglas & McIntyre.
- Chapin, M. et al. (2001) *Indigenous landscapes: a study in ethnocartography* / Mac Chapin, Bill Threlkeld. Arlington, Va: Center for the Support of Native Lands.
- Ingold, T. (2000). *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill* (1st ed.). Routledge.
- Jordan P. (2001) Ideology, Material Culture and Khanty Ritual Landscapes in Western Siberia. In: *Ethnoarchaeology and Hunter-gatherers: Pictures at an Exhibition* / ed. K.J. Fewster, M. Zvelebil. Oxford: British Archaeological Reports, pp. 25–42. (BAR International Series 955).
- Munn, N.D. (1996). Excluded Spaces: The Figure in the Australian Aboriginal Landscape. *Critical Inquiry*. 22 (3). pp. 446–465.
- Nafziger, J.A.R. (2018) Cultural Landscapes Significant to Indigenous Peoples. *Islamic Studies on Human Rights and Democracy*. Vol. 2, no. 1. pp. 71–78.
- Wacquant, L.J.D. (1989) Towards a reflexive sociology: A workshop with Pierre Bourdieu. *Sociological Theory*. 7 (1). pp. 26–63.
- Wiget, A., Balalaeva, O. (2011) *Khanty, People of the Taiga: Surviving the 20th Century*. University Press of Colorado. 415 p.
- Field materials by D. A. Wiget, Bolshoy Yugan, September–October 2023. (In Russ.)
- Field materials by D. A. Wiget, Bolshoy Yugan, September–October 2024. (In Russ.)
- Field materials by A. Wiget and O. E. Balalaeva, Bolshoy Yugan and Maly Yugan, summer 1995.

Сведения об авторе:

ВИГЕТ Даниил Андреевич – младший научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва, Россия). E-mail: DanielWiget@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Daniel Andrew Wiget, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: DanielWiget@gmail.com

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 18 июля 2025;
принята к публикации 30 августа 2025.*

*The article was submitted 18.07.2025;
accepted for publication 30.08.2025.*

Научная статья
УДК 616.89
doi: 10.17223/2312461X/49/13

Культура медицинской помощи и ПТСР: многовекторный подход к диагностике

Елена Вячеславовна Миськова

*Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
Москва, Россия
milenk2@gmail.com*

Аннотация. Рассматриваются вызовы психотравматизации человека и общества в условиях войны. Акцент сделан на том, как через междисциплинарную призму медицинской антропологии может выглядеть ландшафт исследования посттравматических стрессовых синдромов, связанных с исторической, региональной и этнокультурной спецификой разных военных кампаний. Наблюдения и исследования войн и геноцидов XX в. не оставили сомнений в том, что такие события наносят человеку и обществу не только физический, но и психологический ущерб. Оценка, методологии исследований и способы устранения этого вреда, однако, по-прежнему, остаются сферой дискуссий и конфликтов описаний и интерпретаций в разных медицинских системах. В исследовании проблематизируется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) как нозологическая единица «западной» конвенциональной медицины и как составляющая медикалистского дискурса о стрессе и постстрессовом шлейфе переживаний людьми тяжелых жизненных событий. Между психологами и психиатрами разных национальных школ формируется консенсус о том, что в ходе каждой войны возникает уникальный комплекс стрессовых реакций, для описания которых нужна как общая методологическая база, так и возможность учитывать историческую, региональную, этнопсихологическую специфику. Медико-антропологический подход обеспечивает необходимые инструменты для описания разных постстрессовых синдромов и тем самым способствует решению научно-практических задач – адресному планированию помощи в преодолении последствий социальных кризисов.

Ключевые слова: медицинская антропология, война, посттравматические стрессовые синдромы, посттравматическое стрессовое расстройство, медикализация

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-18-00901 «Востребованность и доступность практик психофизиологической реабилитации в российском обществе в связи с актуальными социально-политическими вызовами (в условиях СВО)» (<https://rscf.ru/project/25-18-00901/>)

Для цитирования: Миськова Е.В. Культура медицинской помощи и ПТСР: многовекторный подход к диагностике // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 266–306. doi: 10.17223/2312461X/49/13

Original article

doi: 10.17223/2312461X/49/13

Culture of Care and PTSD: A Multi-vector Approach to Diagnosis

Elena V. Miskova

*Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation, milen2@gmail.com*

Abstract. The article is devoted to the challenges of psychotraumatization of a person and society in war. The emphasis is on how, through the interdisciplinary prism of medical anthropology, the landscape of research on post-traumatic stress syndromes related to the historical, regional and ethnocultural specifics of different military campaigns can look like. Observations and studies of wars and genocides of the 20th century left no doubt that such events cause not only physical, but also psychological damage to man and society. Evaluation, research methodologies, and ways to address these harms, however, remain a domain of debate and conflict of descriptions and interpretations across medical systems. The article problematizes post-traumatic stress disorder (PTSD) as a nosological unit of “Western” conventional medicine and as a component of the medicalist discourse about stress and the post-stress train of people’s experiences of difficult life events. A consensus is formed between psychologists and psychiatrists of different national schools that during each war a unique complex of stress reactions arises, to describe which both a common methodological base and the ability to take into account historical, regional, ethnopsychological specifics are needed. The medical-anthropological approach provides the necessary tools to describe various post-stress syndromes and thereby contributes to solving scientific and practical problems - targeted planning of assistance in overcoming the consequences of social crises.

Keywords: medical anthropology, war, PTSD, medicalization

Acknowledgements: The study was supported by grant No. 25-18-00901 from the Russian Science Foundation, "The relevancy of demand and accessibility of psychophysiological assistance and rehabilitation practices in Russian society in connection with current socio-political challenges and transformations (under the conditions of Special Military Operation)" (<https://rscf.ru/project/25-18-00901/>).

For citation: Miskova, E.V. (2025) Culture of Care and PTSD: A Multi-vector Approach to Diagnosis. *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 266–306 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/13

Введение

Масштабные исторические изменения влекут за собой риски для здоровья и социального благополучия людей и становятся вызовами для социальных институтов жизнеобеспечения и здравоохранения. Опыт переживания изменений условий жизни – от перекройки государственных границ до утрат жизни и здоровья – может быть травматическим.

В статье речь пойдет о вызовах, связанных с психотравматизацией в условиях войны как непосредственных участников боевых действий (военных), так и гражданских, затронутых тем или иным образом милитаризацией общества, нарастающей по мере увеличения длительности военной кампании.

С точки зрения медицинской антропологии важно исследовать одновременно, какие вопросы ставят новые военные испытания перед существующими медицинскими системами и как в ходе решения этих вопросов меняются сами эти системы с точки зрения целей, задач, смыслов оказания помощи.

Ниже я детально разберу некоторые диагностические категории, метафоры и идиомы страдания и помощи в связи с военной психотравматизацией, поскольку в качестве ключевой задачи статьи вижу разметку ландшафта исследования потенциального посттравматического стрессового синдрома специальной военной операции с позиции медицинской и психологической антропологии.

На данный момент важно обозначить в целом два термина, которые будут часто встречаться в статье. Они же задают важный аспект в исследовании социокультурных контекстов страдания и помощи, связанный с предпочтением разными медицинскими системами – в данном случае национальными – тех или иных категорий их описания.

Во-первых, это военная травма – широкий термин, описывающий любые повреждения психики и физиологии, полученные в условиях боевых действий. Это не только медицинский термин, но и обобщенное понятие для всего спектра переживаний последствий войн – физических, психологических, а также разрывов социальных связей и утрат – в широких временных рамках. Во-вторых, это посттравматическое стрессовое расстройство – диагностируемое клиническое состояние, развивающееся после травмирующего события, характеризующееся специфическими симптомами и требующее профессионального лечения. ПТСР – это нозологическая категория, у которой есть своя хронология, критерии измерения клинической тяжести и рекомендованные подходы к лечению, признанные медицинским сообществом и зафиксированные в международных руководствах к лечению.

Основные дебаты вокруг ПТСР, когда к ним присоединяются медицинские антропологи и представители других социальных наук, ведутся в плоскости того, насколько диагностические критерии ПТСР соответствуют разным локальным формам переживания болезни – какова кросс-культурная валидность расстройства? Можем ли мы говорить об универсальности ПТСР или это один из культурных синдромов? Еще один важный аспект – это релевантность или когерентность самих диагностических критериев, которые, в частности, привели к выявлению в качестве отдельного диагноза комплексного или осложненного ПТСР (КПТСР)

после более чем сорокалетних споров о необходимости выделения в отдельный диагностический комплекс травм развития (влияния тяжелого детского опыта на становление человека). Но расширение диагностических критериев влечет за собой новые вопросы о социальных стигмах заболевания, медиализации и конфликте нозологической номенклатуры с культурными идиомами болезни и интерпретациями симптомов, связанных с тяжелым жизненным опытом.

Крайние позиции в дискуссиях ученые склонны были занимать в 1990-е и начале 2000-х гг. Некоторые исследователи писали о том, что ПТСР – это *псевдорасстройство* (Young 1995: 5) или *превращение страданий войны в техническую проблему* (Summerfield 2001: 95–98), ведущее к психологическому империализму и патологизации целых сообществ, а также к утверждению новых форм терапевтических правительств по всему миру через различные медицинские организации и движения.

С другой стороны, гуманистически ориентированные исследователи и практики утверждали, что, хотя диагноз ПТСР – не идеальный инструмент, он дает возможность людям заявить о своих страданиях, претендовать на помощь и формировать социальные сети поддержки там, где это особенно трудно – в местах прямого и структурного насилия, затяжных военных, межэтнических и прочих конфликтов. Хотя критерии структурного насилия не могут быть полностью универсальными, их наличие и апелляция к универсальности позволяют расширять зоны безопасности в мире (McNally 2016: 118–119).

Риторика важна, но содержание и попытки найти решения для помощи людям имеют первостепенное значение. Исследования и концепции, предшествовавшие ПТСР, показывают, что этот синдром может оказаться не универсальным, но он точно совпадает с травматическими последствиями для здоровья человека, наблюдаемыми во время масштабных социальных кризисов и потрясений. Об этом говорят многочисленные попытки описать страдания и сложности, с которыми люди сталкивались после катастроф, и найти пути избавления. *Военный психоз* после Русско-японской войны; *синдром железнодорожного позвоночника*, связанный с первыми железнодорожными катастрофами в XIX в.; *синдром контузии* после Первой мировой войны относятся к ранним научным способам объяснить, почему люди после физических травм испытывали тяжелые психологические проявления, к которым относились невозможность спать, концентрироваться, раздражительность и агрессивность. К собственно военным конфликтам и природно-техногенным катастрофам постепенно добавились режимы государственного насилия, приводившие к масштабным коллективным травмам – *болезнь колючей проволоки* или синдром Вишера для симптомов людей, прошедших через концентрационные лагеря в Первую мировую; *КЛ-синдром*, *бухенвальд-*

ский синдром, синдром Минковского – для симптомов узников нацистских концлагерей; колониальный невроз, описанный Францем Фаномом; психические последствия «промывания мозгов» в Китае, межпоколенческие травмы холокоста (Герман 2021; Гронский 2021; Тарабрина, Майн 2013; Brave Heart-Jordan 1998; Danieli 1998). Социолог Кэй Эриксон описывал коллективную травму как разрыв социальных связей после стихийных бедствий, но это понятие стало толковаться расширительно, когда социологи внесли свой вклад в изучение социальных потрясений (Erikson 1976).

Наименования психотравм боевых действий исторически складывались по-разному в разных медицинских школах. В советской и постсоветской медицине, а именно в военно-медицинской и военной психиатрии, предпочтение отдается термину «военная травма» или «военно-психическая травма». В период после Великой Отечественной войны в СССР делались акценты на общем «ущербе от войны». Позже военная психиатрия рассматривала психогенные нарушения в контексте «боевого стресса» и «военно-психической травмы» без четкого выделения диагностических критериев ПТСР. В условно западной (англоязычной) медицинской традиции (США, Великобритания, Канада, Австралия) и в рамках Всемирной организации здравоохранения с конца XX в. основным термином для последствий военной психотравматизации стало ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. В США диагноз официально введен Американской психиатрической ассоциацией в DSM-III (1980) («Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам», существующее в пяти редакциях). В Международном классификаторе болезней (ICD)-10 этот диагноз был закреплен в 1994 г. До 1980 г. в англоязычной традиции использовались термины: «*shell shock*» («синдром контузии») в годы Первой мировой войны, «*combat fatigue*» («сердце солдата») в период Второй мировой войны и «*gross stress reaction*» («большая стрессовая реакция») – отражен в DSM-I (1952). В европейской континентальной психиатрии до середины XX в. чаще встречались понятия «травматические неврозы» («*traumatic neurosis*») и «военные неврозы» («*war neurosis*» и «*combat neurosis*») (Германия, Франция), зафиксированные в работах психиатров еще конца XIX в. Постепенно они слились с концепцией ПТСР после включения диагноза в DSM и ICD.

Достаточно критическое отношение советских психиатров к диагнозу ПТСР было обусловлено не только профессиональными разногласиями, но и социально-политическими рамками, в которых советская психиатрия существовала. Сегодня эти множественные контексты также играют свою роль в определении объектов и масштабов помощи, а также в ее непосредственном планировании, создавая противоречия в подходах, в том числе к исследованию психологических страданий, связанных с войной.

Одним из системных вызовов для социальных институтов в военное время являются *ограничения для статистической регистрации переживаний и страданий, приводящих к ущербу для здоровья, т.е. стрессовых реакций и способствующих им факторов*. Обозначу сначала, чем оперирует доступная статистика, а ниже и те методологические сложности и противоречия учета таких нозологий, как ПТСР, которые присутствуют не только в российской системе здравоохранения.

Со стрессовыми расстройствами сталкиваются военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Согласно методическим рекомендациям для лечения ПТСР Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева от 2022 г., от 3 до 11% участников боевых действий могут столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), но среди раненых риск возрастает до 30%¹. Поток пациентов, т.е. нагрузка на здравоохранение, может увеличиться на 150 тыс. человек. Близкие военнослужащих также нуждаются в психологической помощи.

Открытой статистики по заболеваемости ПТСР среди военнослужащих, прошедших СВО, на данный момент нет. Та, что встречается в СМИ и других открытых источниках, сама по себе является частью дискуссии о распространенности военной травмы и ПТСР. Уточнение со временем особенностей синдрома СВО, возможно, приведет к уточнению данных по заболеваемости.

Доступная статистика тревожности россиян в связи с СВО, собранная по исследованиям разных социологических агентств, демонстрирует классическую модель общественной реакции на кризисные события: первоначальный шок, пиковые значения тревожности во время мобилизации, последующую стабилизацию и постепенную адаптацию.

В начале спецоперации (февраль-август 2022 г.) около 35–40% россиян испытывали повышенный уровень тревожности². Этот период характеризовался относительно сдержанной реакцией общества, что эксперты объясняют «когнитивным замиранием» – защитной реакцией на стресс³. Пик тревожности пришелся на сентябрь-октябрь 2022 г., когда была объявлена частичная мобилизация. Уровень тревожности скачкообразно вырос с 35% до 69–70%, достигнув рекордных значений за последние годы. С 2023 г. начался период стабилизации и показатели тревожности, постепенно снижаясь, стабилизировались на уровне 40–45%. Средний суммарный индекс тревожности в 2023 г., по данным Компании развития общественных связей (КРОС), составил 11 754,02 пункта. 2024 г. ознаменовался существенным снижением индекса тревожности – почти на четверть. К началу 2025 г. уровень тревожности продолжил снижаться, достигнув к марту 36%⁴.

В 2024 г., впервые с 2022 г., повестка, связанная с СВО, перестала быть главной темой, тревожащей россиян. Ее обогнали рост цен и финансовое мошенничество. Вслед за ней оказалось замедление YouTube и миграционные вопросы. А вот следом возникла тенденция тревожиться за свое психологическое состояние и потребность в психологической помощи. Индекс потребности в психологической помощи, по данным опроса ВЦИОМ, вырос с 23 пунктов в 2022 г. до 30 пунктов в конце 2024 г. Это максимальный показатель за последние шесть лет. По данным Института психологии РАН, у значительной части населения наблюдаются признаки психологических расстройств: 39% россиян демонстрируют признаки депрессии, 24% имеют симптомы тревожных расстройств. Примерно треть населения находится в тревожно-депрессивном состоянии. За профессиональной психологической помощью в 2024 г. обращались 13% россиян, что вдвое больше, чем в 2009 г. (6%). При этом 86% россиян никогда не обращались к психологам⁵.

Москва, по данным выше отмеченного исследования КРОС, остается самым тревожным регионом с индексом 531,94, хотя этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом (642,05). В топ-3 самых тревожных регионов 2024 г. вошли Курская и Белгородская области из-за непосредственной близости к зоне боевых действий.

Таким образом, к 2025 г. российское общество показывает признаки психологической адаптации к новой реальности, но потребность в профессиональной психологической помощи повышается.

Вызов наблюдения и регистрации изменений в здоровье и благополучии человека и общества тесно связан и с вызовом для формирования научно-практической исследовательской повестки социальных наук в военное время.

На мой взгляд, в рамках медицинской антропологии важно, во-первых, обозначить проблему спорности самого диагноза ПТСР и рассмотреть дискуссии вокруг его постановки в связи с трансформациями, которые он претерпел в мировых диагностических руководствах к лечению психических заболеваний.

Во-вторых, требует изучения, особенно в прикладном аспекте, как диагностический инструмент может и становится исцеляющим. Как возможность установить диагноз ПТСР расширяет или сужает возможности и рамки помощи людям?

Таким образом, задача статьи – разметить основной эпистемологический ландшафт для изучения способов возвращения и поддержания психофизиологической безопасности общества в особой социальной ситуации, вызванной СВО с высокими рисками травматизации самых разных слоев населения. Из чего должна была бы состоять исследовательская программа, на что опираться и какое исследовательское поле намечать?

Что важно знать о ПТСР с точки зрения медицинской антропологии?

Снова вызовы учета и статистики. В последних изданиях мировых диагностических руководств посттравматическое стрессовое расстройство включено в разделы, связанные со стрессом, наряду с КППТСР и пролонгированной реакцией горя (Clinical Description 2024: 337–363; American Psychiatric Association 2013: 265–290).

Если посмотреть на временную линию диагностики, то ПТСР не случайно называют «посттравматическим». Травма с точки зрения психологии и психиатрии – не в событии, а в нервной системе. Диагноз ставится чаще всего спустя 3–6 месяцев после воздействия стрессора. Существует острая реакция на стресс и расстройство адаптации. Все мы подвержены стрессу, который необходим организму, однако если адаптивные возможности снижены, накапливающийся кумулятивный эффект может привести к патологическим реакциям: ПТСР, пролонгированной реакции горя и т.п.

По данным ВОЗ, ПТСР диагностировался хотя бы однажды в жизни у 3,6–3,9% населения мира. Более 70% людей во всем мире хотя бы раз подвергались потенциально травмирующим событиям, но только малый процент из них впоследствии развивает ПТСР – около 5,6%. Чаще всего диагноз ПТСР ставят в США: годовая заболеваемость – 3,5%, а риск в течение жизни – 8,7%⁶. В других странах диагноз ставится реже, и возникают закономерные вопросы – с чем это связано: с культурными особенностями медицинской помощи и эпистемой описания стресса как причины разных заболеваний, недодиагностированностью или различиями в чувствительности к разным стрессорам? Тогда насколько и в сочетании с какими факторами диагноз ПТСР может считаться универсальным?

Мужчины в два раза чаще сталкиваются с тяжелыми стрессорами, но женщины в два раза чаще страдают ПТСР (10–12% против 5–6% в течение жизни)⁶. Возможно, это связано с тем, что для мужчин больше характерна экстернализация переживаний – импульсивность, агрессия, злоупотребление психоактивными веществами, и эти симптомы только недавно стали рассматриваться как часть ПТСР. Женщины привычнее и социально одобряемо интернализуют свои страдания через повторные переживания, негативные мысли о себе и повышенную настороженность. ПТСР в целом у женщин протекает в более длительных и хронических формах, так же как для детей, длительно подвергавшихся насилию, для них характерно недавно включенное в диагностические мануалы КППТСР – комплексное или осложненное ПТСР с устойчивым комплексом негативных убеждений, дисфункционального поведения и сложностями в поддержании здоровых отношений.

К особым группам риска относят также отдельные профессиональные группы с регулярным воздействием травм (военные, полиция, медики, спасатели). Они могут иметь распространенность ПТСР до 14–17% (Arena et al. 2025: 8).

Таким образом, факторы стрессоров взвешиваются по степени угрозы жизни, непредсказуемости и неконтролируемости события, влекущего за собой разные субъективные ощущения беспомощности. К факторам предрасположенности чаще относят: женский пол, недостаток социальной поддержки, низкое образование, бедность, неблагополучное детство (включая пережитое насилие), предшествующие психические расстройства. По типу травматического события, согласно данным метаанализа, в диагностике ПТСР с большим отрывом лидирует сексуальное насилие. На его долю приходится 55% случаев. За ним следуют нападения и убийства (42,6%), природные катастрофы и экстренные нарушения безопасности на работе (по 30%), бездомность (27%), родительство детей с тяжелыми заболеваниями (24%), приемное родительство (23%), и только потом военные действия (21%), почти на одном уровне с эпидемиями инфекционных заболеваний (20%) (Schincariol et al. 2024: 4024).

Впрочем, статистика в этой области очень уязвима для критики и меняется от исследования к исследованию. Так, например, Департаментом по делам ветеранов США приводятся данные о различиях в процентном соотношении ПТСР у военнослужащих, прошедших через разные вооруженные конфликты. Из них следует, что среди ветеранов Второй мировой и Корейской войн ПТСР диагностировалось у 2% непосредственно после травмирующих событий и 3% – в течение жизни. Среди ветеранов Вьетнама – у 5% и 10% соответственно. Среди тех, кто воевал в Персидском заливе – у 14 и 21%, а среди участвовавших в военной операции в Ираке – у 15 и 29%. Такой разброс в цифрах побуждает строить догадки о различиях в стрессовых факторах, но потом мы узнаем, что эти цифры – результат тестирования живых ветеранов на момент исследования, а также дается поправка, что более отдаленные по времени исследования все же отдают пальму первенства по числу диагностированных ПТСР ветеранам Вьетнама⁷.

В российских публикациях можно встретить также очень разные цифры в ссылках на данные мировых исследований: *«В ряде исследований констатируется, что посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) составляют от 10 до 50% всех медицинских последствий боевых событий. Ими до сих пор страдают 29–45% ветеранов Второй мировой войны, 25–30% американских ветеранов вьетнамской войны. ПТСР отмечается у 42% лиц, получивших ранения»* (Караяни, Волобуева 2007: 31).

Признание важности учета разных факторов и сложности диагностирования расстройства постепенно привело к формированию в медицин-

ском сообществе биопсихосоциального подхода к лечению ПТСР, в котором фармакотерапия сочетается с психотерапией и психологическим консультированием, а также необходимой социальной помощью и поддержкой.

Отражение травматических переживаний в диагностических категориях. Важно представлять себе структуру диагноза и динамику складывания и применения такой нозологической единицы, как ПТСР. Я буду здесь опираться на подход к описанию ПТСР как социокультурного феномена, обозначенный авторами получившей широкую известность коллективной монографии “Culture and PTSD. Trauma in Global and Historical Perspective” (*«Культура и ПТСР. Травма в глобальной и исторической перспективе»*) (Hinton, Good 2016). Ее редакторы и участники, внесшие основной теоретический вклад, – Девон Эмерсон Хинтон, профессор психиатрии и медицинской антропологии в Гарвардской медицинской школе, и Байрон Джон Гуд, психиатр и медицинский антрополог, один из пионеров изучения проявлений травмы и стресса у мигрантов, жертв насилия и людей с опытом принудительной миграции, который сыграл ключевую роль в признании того, что психические расстройства, включая ПТСР, не могут рассматриваться вне культурного и социального контекста.

Посттравматическое стрессовое расстройство всегда развивается после столкновения с экстремально угрожающим событием и сопровождается повторными переживаниями этого события, которые описываются в диагностических критериях как интрузивная симптоматика – от слова «вторжение» (интрузия) – флешбэки, навязчивые воспоминания, ночные кошмары. Второй кластер симптомов – это кластер так называемого избегания, когда человек, пытаясь справиться, старается изолировать себя от потенциальных триггеров, т.е. избегает людей, действий, мест, которые бы напоминали ему о пережитом. Эта сфера или зона избегания постоянно расширяется. И, наконец, третий кластер – это то, что иногда называют гипервозбудимостью, гипербдительностью, гипернастороженностью, т.е. субъективным ощущением сохраняющейся угрозы в ситуации объективно безопасной. Расстройство должно длиться какое-то время и значительно влиять на жизнь человека. Таким образом эти кластеры описываются в последних двух изданиях «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» (ICD) (Clinical Description 2024: 337–363; Крюков, Шамрей, Марченко 2025: 11–36).

Важно также взглянуть подробнее на критерии ПТСР в «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» (DSM), разрабатываемом и публикуемом Американской психологической ассоциацией, поскольку именно американские психиатры и психологи в связи с Вьетнамской войной способствовали принятию и продви-

жению номенклатуры посттравматического расстройства (American Psychiatric Association 2013: 265–290; Darrel et al. 2013: 88–94). Динамика изменений в этих критериях отражает сдвиги в отношении медицинского сообщества к страданиям людей, переживших разные войны, и сказывается на формировании медикалистского дискурса о жизни как психологическом стрессе той или иной интенсивности (Hinton, Good 2016: 16–20).

Кластер симптомов А – это перечисление стрессоров, приводящих к травме: столкновение со смертью или угрожающей жизни ситуацией, подверженность серьезной травме или сексуальному насилию в одном (или нескольких) вариантах. Первоначально (в DSM-III, 1980 г.) под стрессорами понимались исключительно экстремальные события: насилие, военные действия, пытки. В последующих изданиях к ним добавились: вторичное травматическое воздействие (например, работа с жертвами катастроф для спасателей или медиков); непосредственное свидетельство (визуальное) или получение известия о травме близких; повторное воздействие деталей события (характерно для профессий, связанных с риском).

Кластер В – это кластер так называемых интрузивных симптомов (флешбэки, кошмары, диссоциативные реакции, интенсивный психологический дистресс), которые могут преследовать человека, спустя длительное время после завершения травмирующих событий.

Кластер С – кластер избегания – сознательные попытки блокировать воспоминания, избегать разговоров или ситуаций, ассоциируемых с травмой.

Кластер D – это негативные когнитивно-эмоциональные состояния: стойкие убеждения наподобие «я нигде не годен», «жизнь опасна и несправедлива», «никому нельзя доверять». Этот кластер включает также эмоциональную притупленность, чувство вины, стыд и гнев.

Кластер Е – кластер гиперактивации – раздражительность, аутоагрессивное поведение, нарушения сна, гиперреактивность, проблемы с концентрацией внимания.

При диагностике сложно соблюсти строгость в соответствии с этими критериями. То, что медицинские антропологи называют биологией травмы, уже указывает на ее возможную многоликость: что считать угрожающим событием? С течением времени происходит дрейф от оценки в качестве угрожающих только экстремальных, экстраординарных событий, которые превышают все пороги совладания, к ситуациям, когда человек оказывается свидетелем того, что что-то ужасное происходит не с ним, а с другим человеком, или, например, при повторном переживании деталей травматического события людьми кризисных профессий – спасателями и медиками в зонах чрезвычайных ситуаций.

Кластеры В и С – интрузивные повторные переживания и избегание – также расширились от одной редакции диагностического руководства к другой. Но значительно расширилась и стала отдельным кластером, по сравнению с первым описанием диагноза в 1980 г., симптоматика, которая связана с негативными мыслями, настроением и эмоциями. Неспособность справиться с руминациями (навязчивыми мыслями) и стойкое преувеличение негативных убеждений в отношении себя и других стали встречаться чаще и тяжелее поддаваться коррекции, так же как комплекс так называемых негативных эмоций – страх, ужас, гнев, чувство вины и стыда.

Наконец, значительно расширилась также симптоматика, связанная с активацией нервной системы: реактивность, раздражительность, вспышки гнева, рискованное поведение, аутоагрессия или агрессия в отношении других, суицидальные попытки, чрезмерная реакция испуга, проблемы с концентрацией внимания, нарушение сна. Нарушение сна, например, добавилось относительно недавно и стало важной составляющей диагностики.

Учитывая все это, мы можем понять, даже не будучи психиатрами, сложность в том числе дифференциальной диагностики ПТСР: клиническая картина в значительной мере перекрывается, например, с такими расстройствами, как депрессия, разные тревожные расстройства, зависимости от психоактивных веществ, соматоформные расстройства и т.д. При этом само ПТСР почти всегда приводит к так называемому циклу негативных последствий, когда в ходе него снижаются возможности для социальной адаптации, создается так называемая обедненная социальная среда, в которой рождаются и социализируются дети. Нарастает пул симптомов, которые сами по себе не являются собственно следствием конкретного травматического события, но, если не оказывать помощь, перенастраивают вдолгую разные системы жизнеобеспечения – от нервной системы самого человеческого организма до социальных систем разных уровней. Попадая в цикл негативного мышления, человек в том числе отрицает возможность исцеления, перестает обращаться за помощью, не доверяет тем, кто эту помощь предлагает (Brave Heart-Jordan 1998; Danieli 1998; Zerach et al. 2017; Menakem 2017; Van der Kolk 2015).

Расстройство или синдром из множества сходных других?

В последние десятилетия в психиатрической и психологической диагностике наблюдается тенденция перехода к синдромальному описанию. Синдром – это «совместный бег симптомов», и, как уже было сказано, перекрытия клинических картин между разными расстройствами могут быть значительными. Не случайно исцеление в психологической и психиатрической парадигме сегодня представляет собой совместное – врача и пациента – исследование, корректировку и отслеживание того, что происходит с человеком.

Любое расстройство в этой парадигме не существует вне времени и не обладает внутренней универсальностью и целостностью. Оно, по словам Алана Янга, *«склеивается практиками, технологиями и нарративами, с помощью которых оно диагностируется, изучается, исцеляется и репрезентируется (описывается), а также разными интересами, институтами и моральными аргументами, мобилизующими усилия и ресурсы»* (Young 1995: 5).

В США исследования ПТСР были сосредоточены на двух направлениях: военная травма у воевавших во Вьетнаме и тяжелый детский опыт, включая домашнее и сексуальное насилие. В 1962 г. Генри Кемп описал синдром избитого ребенка, который позже стал частью Шкалы тяжелого детского опыта (Kemp et al. 1962: 17–24).

Было обнаружено, однако, что только ограниченное число людей (до 20%), переживших тяжелые события, заболевают ПТСР, и эта цифра может быть еще ниже в разных ситуациях. Исследователи, возвращаясь к базовым концепциям общего адаптационного синдрома, эустресса и дистресса Ганса Селье и транзакционной модели стресса-копинга Ричарда Лазаруса, начали писать о том, что ПТСР следует переименовать в расстройство восстановления, подчеркивая, что люди по-разному переживают травму, а пересмотр диагностических критериев ПТСР должен быть направлен на исследование того, что снижает сопротивляемость и препятствует успешному восстановлению после стресса⁸.

Видение военной травмы как травмы психической в первую очередь сформировалось в США в связи с Вьетнамской войной. Прежде негативные для здоровья последствия войн описывались преимущественно через телесные проявления, как в случае с *«синдромом контузии»* (Myers 1915: 316–320) или *«сердцем солдата»* (также *«раздраженное сердце»*, *«сердце старого сержанта»* и др.) (Da Costa 1871: 61–117; Озерецковский 1891; Посттравматическое стрессовое расстройство... 2022).

Под этим было и экономическое основание: только физическое расстройство давало право на какую-либо медицинскую и социальную компенсацию для пострадавших. После Вьетнама психологические эффекты стали первостепенными. Недавние войны породили новые синдромы, например иракский, в котором комбатанты описывали постоянный страх заражения, вызванный ольфакторными или зрительными триггерами (запахи или цвета). Превалирование подобной симптоматики заставило исследователей и медицинских практиков вновь поднять вопрос о специфических физико-психологических синдромах (Boehnlein, Hinton 2016: 159).

Поствьетнамский синдром, когда он был впервые описан в 1972 г., содержал ограниченный набор критериев, включая сильную вину, которую солдаты испытывали за действия, совершенные против граждан-

ского населения, и перед боевыми товарищами, погибшими в ходе выполнения заданий. Антидепрессант «прозак», впервые примененный в качестве селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС – класс антидепрессантов) для ветеранов Вьетнама, часто оказывался неэффективным, а групповые дискуссии демонстрировали, что вина выжившего становилась для посткомбатантов средством самонаказания для сохранения верности памяти погибших. Антидепрессантам предпочитали злоупотребление психоактивными веществами. Эти люди чувствовали себя козлами отпущения, преданными обществом, что приводило к гневу, ярости и эмоциональной изоляции.

Исследователи настаивали на том, что ветераны Вьетнама демонстрируют отдельное расстройство с отсроченным стартом и хроническим течением, которое сопровождает человека всю жизнь. Отсроченный старт подразумевает, что симптомы могут появиться через два, три, четыре, пять или шесть месяцев после того, как человек пережил травмирующее событие. Это стало важным аспектом исследований по травматической памяти, которые были очень популярны в то время. Одновременно отсроченный старт и хроническое течение позволяли пострадавшим рассчитывать на помощь в течение длительного периода их жизни и даже если симптомы проявились не сразу. Раньше помощью обеспечивали только тех, кто только что вернулся с войны, но через месяц могли в ней отказать. Постепенно стало понятно, что вьетнамский посттравматический синдром – это один из видов ПТСР, а не универсальный ПТСР. Диагностические критерии ПТСР начали расширяться.

К исследователям и практикам, активно раздвигавшим рамки ПТСР как диагноза, относятся Джонатан Шей и Роберт Джей Лифтон. Автор теперь уже классического труда «Ахиллес во Вьетнаме» Джонатан Шей с помощью анализа древнегреческого эпоса описывал разрушение характера ветерана, вводя понятие «моральной травмы» (Shay 1994). Лифтон поставил в центр своей работы «психическое онемение» (psychic numbing) и «выживающую личность», предложив социокультурную типологию травм от Хиросимы до Вьетнама (Lifton 1973). Оба критиковали ограниченность биомедицинского понимания травмы в формате ПТСР, несмотря на то что Лифтон сам входил в рабочую группу, которая продвигала нозологию в DSM-III. Шей настаивает, что ПТСР, как и моральная травма, должны рассматриваться как «раны» или «повреждения» (injury), а не «расстройства» (disorder) (Shay 2012: 57–86).

Концепция «моральной травмы» первоначально была сформулирована Шеем в узком смысле в ходе его 20-летней работы с более чем 200 ветеранами Вьетнама и относилась к конкретным ситуациям: предательству того, что морально правильно и ценно, спровоцированному некомпетентным командованием в ситуации высокого риска, где на карту поставлено выживание. Это порождает гнев, стыд и утрату доверия, в

отличие от ПТСР, которое для Шейя связано в первую очередь с повторным переживанием ужаса. Предотвращение моральной травмы возможно при условиях сплоченности военного подразделения (cohesion), этичности и компетентности командования и грамотной, реалистичной подготовки военнослужащих к тому, что ожидает их в условиях боя. В свою очередь, преодоление моральной травмы требует поддерживаемого обществом «переприсвоения» опыта через ритуалы, групповую поддержку и восстановление лидерских практик (Shay 2012: 57–86).

Сейчас понятие «моральная травма» используется шире, и многие исследователи обсуждают его «дрейф» так же, как и изменения содержания понятий ПТСР и травмы в целом (Hoyt 2023: 60–70; Brett, Litz 2009; Haleigh, Hurley, Taber 2019; Litz, Kerig 2019; Litz 2022). Моральные дилеммы, с которыми сталкивались работники здравоохранения во время пандемии COVID-19, выполняя свою работу в условиях, приближенных к боевым, вполне могут приводить к состояниям, оцениваемым как моральная травма. Гнев, вина и стыд могут преследовать ветерана, если он совершал жестокие действия в отношении гражданского населения без всякого приказа некомпетентного командования, оказавшись в ситуациях, которые Лифтон называл «продуцирующими жестокость» (atrocity-producing situation). Одновременно в качестве моральной травмы ветераны могут испытывать ситуации отвержения обществом, изоляции и пренебрежения по возвращении к мирной жизни. Дифференциальная диагностика моральной травмы в сравнении с выгоранием, депрессией и т.д., а также определение моральных стрессоров составляет такую же сложность для помогающих специалистов, как дифференциальная диагностика ПТСР и депрессии, зависимости от ПАВ (психоактивных веществ) и т.п.

Роберт Джей Лифтон – автор множества работ, посвященных переживанию последствий войн. Самые известные из них – это «Смерть при жизни: выжившие в Хиросиме», где исследуется психическое онемение или эмоциональное выхолащивание у hibakusha – выживших после атомной бомбардировки Хиросимы, и «Дом из войны», где анализируются многочасовые глубинные интервью с ветеранами Вьетнама. В этих трудах показано, как война и сопутствующие ей идеологические искажения порождают ситуации, в которых обычные люди – не злодеи – совершают злодеяния (Lifton 1991; 1973).

В своей клинической работе с ветеранами Лифтон сделал акцент на том, чтобы «жертвы» могли трансформироваться в людей с миссией выживания, для которых доступен ресурс «символического бессмертия» путем превращения личного страдания и вины в политическое, общественное, антивоенное свидетельство. Работа в нарративном ключе с группами ветеранов помогла Лифтону войти в состав рабочей комиссии, подготовившей включение ПТСР в DSM-III. Активистом движения за

нераспространение и уничтожение ядерного оружия Лифтон был многие годы и остается до сих пор. При этом со временем ПТСР стали критиковать именно за аполитичность, уравнивание жертв и тех, кто совершил военные преступления, и в целом сдвиг диагноза к медиализации травмы. Последние годы ведутся дискуссии о включении диагноза «моральная травма» в ее расширенной концепции в следующую редакцию диагностических мануалов, подобно тому, как больше сорока лет назад велась борьба за включение ПТСР⁹.

«Дрейф» концепции травмы, или изменчивость эпистемы нозологии. О «дрейфе» – расширении объема таких понятий, как «травма», посттравматический стресс и др., исследователи в разных социальных дисциплинах пишут давно, критикуя медиализацию и патологизацию человеческих страданий в терапевтическом режиме высказывания. Применительно к психологии и ПТСР термин *«bracket creep»* ввел двадцать лет назад Ричард МакНелли – клинический психолог, профессор Гарварда и один из ведущих специалистов по ПТСР. Под «расширением рамок» он имел в виду постепенный рост числа критериев и объема понятия травмы в дефинициях ПТСР, когда в категорию «травматического» начинают попадать все менее экстремальные и обычные стрессоры (McNally 2004: 1–14).

В социологии, антропологии, культурологии о «дрейфе» понятия «травма» пишут, критически рассматривая наследие Йельской школы деконструкции, активно использовавшей метафору травмы для описания социальных потрясений и их последствий для нескольких поколений. В рамках этой школы были сформулированы основные тезисы, которые, к сожалению, давно приобрели околпсихологическое звучание и поп-психологическое распространение: травма всегда к кому-то апеллирует, ей необходимо свидетельство; травма не переживается непосредственно в событии, если только как утрата когнитивного контроля; травмированный субъект буквально переживает травмирующее событие, потому что травматическая память отличается от нарративной и в ней путается прошлое и настоящее; переживая травму в настоящем, травмированный субъект создает ситуацию, в которой слушающий может быть травмирован как свидетель – это делает травму «заразной», на чем часто ошибочно выстраивается концепция межпоколенной передачи; из-за того, что травматическая память – особенная, травма – непомышляема/нерепрезентируема и непроговариваема; травматический компонент есть в любой человеческой коммуникации (Lopez 2022: 121–145).

Критика использования травмы как расширительной метафоры двигалась по нескольким линиям – от философии и социологии до психологии и нейронаук. Дискутировались и продолжают обсуждаться такие вопросы, как спорность уравнивания жертв, свидетелей и преступников;

нейрокорреляты симптомов буквального повторения или отыгрывания травмы; возведение кризиса репрезентации в травме до глобального кризиса репрезентации и превращение травмы в базовое условие человеческого существования.

Проблему расширения объема понятий, связанных с вредом и патологиями, активно развивает профессор психологии Николас Хаслам, прослеживая дрейф «травмы» от физической к психологической, из экстраординарного условия в ординарное, от прямой травмы к косвенной, от индивидуальной к коллективной. Последнее время, правда, Хаслам все чаще говорит о том, что расширение понятий вреда всегда влечет за собой поляризацию: с одной стороны, такое расширение позволяет идентифицировать пострадавших, нуждающихся в помощи, обозначить преступное поведение, которое прежде было в серой зоне, нормализовать симптомы страдания и таким образом дать доступ к помощи для людей, их испытывающих. С другой стороны, цена такого расширения – тривиализация вреда и повышенная сензитивность и подозрительность (Haslam 2016: 1–17). Редуцировать все к одному полюсу – значит подерживать и раскачивать поляризацию, а не снимать ее.

Историческая изменчивость эпистемы нозологии всегда нуждается в учете. Она включает в себя, во-первых, изменчивость диагностических категорий.

По сравнению с первыми изданиями диагностических руководств в последних, например, гораздо меньше внимания уделено такому кластеру симптомов, как избегание триггеров и сниженные эмоции, но добавлены негативные когниции (самообвинения и обвинения других, стойкие негативные убеждения и ожидания от себя и других, черно-белая картина мира) и эмоции (страх, ужас, гнев, вина, стыд). В неврологическом кластере «возбудимости» больше акцента стало на реактивности и рискованном и саморазрушительном поведении. Если же мы добавляем сюда кросс-культурный фактор, то избегание и так называемое эмоциональное онемение могут вообще или не выявляться, или с трудом предьявляться, что соотносится с этнопсихологией заболевания в разных культурах. Например, одно из исследований, проведенное в США среди трех этно-расовых групп – чернокожих, латиноамериканцев по происхождению и «белых» (все остальные группы), показало, что выраженность избегания зависит от ощущения себя в группе, от так называемой идентичности, основанной на сплоченности. Чем выше групповая сплоченность, тем менее будут проявлены эти симптомы. И наоборот, чем слабее коллективная идентичность, тем эти симптомы будут сильнее выражены. Симптомы могут проявляться в разных комплексах: если фиксируется избегание и снижение эмоций, то это будет равно касаться как позитивных, так и негативных, а не каких-то одних, что, например, характерно для афроамериканцев. А для латиноамериканцев оказалось

довольно выраженным избегание позитивных эмоций, потому что они могут привести к самораскрытию и к различным формам подверженности насилию. При этом вполне не избегаются эмоции негативные (Weiss et al. 2020: 35–43).

Эмоциональное онемение, уплощенность могут оказаться социокультурной практикой демонстрации эмоций. Я работала в этнографическом поле с представителями разных групп коренных малочисленных народов Севера – в Ханты-Мансийском автономном округе, на Чукотке. Люди, которые выросли в этих местах, а также исследователи культуры коммуникации данных групп, понимают, что эта молчаливость – далеко не про эмоциональную бедность¹⁰. Прожив год на оленеводческом стойбище, я много раз сама была свидетелем того, как люди, приезжая друг к другу в гости, приветствуют друг друга особым образом, в котором молчанию отводится важная роль. В культуре нет речевых формул, аналогичных «русскому» приветствию, зато есть другие способы установления контакта между гостем и хозяевами: один осматривается, а другие демонстрируют заботу и ожидание, суетясь по хозяйству. Спустя некоторое время, когда пространство обретает с помощью молчания привычные, безопасные черты, возникает неспешный разговор. Если медицинские профессионалы будут диагностировать психологическое состояние людей, ушедших воевать из таких сообществ, они рискуют оценить эмоциональные аспекты с искажениями, используя стандартные интервью или опросники без учета этнопсихологических аспектов.

В неврологическом кластере акцент при диагностике ПТСР постепенно стал смещаться к реактивности, импульсивности и рискованному, саморазрушительному поведению. Чувство вины, например, на котором строилось много описаний посттравматического стрессового расстройства у ветеранов Вьетнамской войны, в 1987 г. перестало быть самостоятельным симптомокомплексом, но позже вернулось. Стыд и вина сложны для диагностики, поскольку дифференцировать их как результат военного опыта с тяжелым детским опытом и межпоколенческими травмами всегда непросто. Травмы содержат в себе этот комплекс стыда и вины в значительном объеме, поэтому вопрос о том, к какому опыту он больше относится, всегда остается открытым. ПТСР часто считают слишком узким диагнозом для исторической и трансгенерационной травмы, который приводит к обвинению жертвы (виктим-блеймингу) и патологизации без учета социального контекста разных форм вреда – от сексуального насилия до расизма и ксенофобии. На основе этой критики и работы таких исследователей и практиков, как Джудит Герман, подверженность жестокой, длительной и массивной психологической и физической травматизации стала рассматриваться как отдельный комплекс стрессоров, приводящий к отдельному расстройству – КППТСР – комплексному или осложненному посттравматическому расстройству.

Раздражительность как симптом ПТСР со временем заменила собой «гнев на общество и власти»: вместо протестности – индивидуальное неблагополучие. Эмоциональная же отстраненность и трудности в выражении любви и привязанности близким, остались.

На протяжении всей истории ПТСР продолжают дебаты по поводу соматических симптомов, с помощью которых люди описывают свои страдания в разных культурах и которые часто не учитываются как таковые при диагностике. Изменения и различия этих определений и категорий очень показательны (McNally 2016: 117–134; Young, Breslau 2016: 136–154):

- в ветеранских нарративах Первой мировой войны не было флешбэков, но были сонный паралич, тремор, неспособность ходить и говорить;

- выраженность диспептических симптомов и страх пептических язв присутствовали у солдат Второй мировой войны, и тоже почти нет фиксации флешбэков в медицинских архивах;

- сонный паралич не присутствует в описании симптоматики ПТСР, но распространен у людей с КППТСР, у жертв сексуального насилия, особенно в детстве, у людей с тревожными расстройствами;

- страх ядовитых химических агентов и соматические симптомы заражения фиксируются как доминирующие у ветеранов Войны в Заливе (война США с Ираком);

- 4% людей, у которых диагностировали ПТСР после событий 11 сентября в США, видели происходящее по телевизору, находясь за много километров от места события, что говорит в пользу сдвига к расширительному определению стрессора в диагностических руководствах;

- у пострадавших и свидетелей взрывов бомб переплетаются между собой неврологические симптомы mTBI (сотрясения или умеренного травматического поражения мозга) и ПТСР.

В медицинских отчетах и архивах после Второй мировой войны львиную долю симптомов составляли диспептические расстройства – проблемы с желудком и кишечником, а также выраженный страх пептических язв. В то время в обществе было распространено представление о язвах как о тяжелых заболеваниях, приводящих к смерти. Считалось, что причиной их возникновения является психогенный фактор – страх. Позже было установлено существование бактерий, вызывающих язвы и различные поражения кишечника (Young, Breslau 2016: 147).

Сонный паралич – одно из самых распространенных расстройств сна при разных посттравматических расстройствах. Если же говорить о культурной специфике сонного паралича, то люди часто не будут рассказывать о нем, как о показателе своего состояния. Почему? Потому что это состояние может концептуализироваться через различные религиоз-

ные верования и категории: встреча с покойниками, атака духов, одержимость и т.д. Поэтому, не спрашивая о данной симптоматике, не интересуясь тем, что происходит с людьми, что они переживают, помогающие специалисты могут сами ограничивать диагностику и помощь (McNally 2016: 123–125).

Начиная с 11 сентября 2001 г., когда произошел террористический акт во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, стало гораздо больше обсуждений и публикаций о том, что среди людей с диагностированным ПТСР оказалось 4% тех, кто вообще не был на месте события и видел его только по телевизору. Тем не менее в DSM-5, который был принят в 2013 г., до сих пор есть примечание о том, что симптомы не относятся к свидетельству, полученному через экран или услышанному по радио и т.д. (исключение составляют случаи, когда речь идет о профессиональных рисках; если человек – военный или спасатель, то для него ретравматизация будет актуальна). С нарастанием цифровизации и увеличением времени, проводимого взрослыми и детьми перед экранами гаджетов с бесконечным воспроизведением реальных сцен насилия в разных концах света, вряд ли это примечание сохранит свою актуальность. Риски викарной травмы (травмы свидетеля), возможно, будут возрастать.

Линейное описание нелинейных процессов. Другая сложность с диагностикой ПТСР, помимо изменений в содержании концепции, – ее линейность. Любой диагноз линейно описывает нелинейный процесс, который в реальности происходит куда более сложным образом. Ярким примером является процесс горевания. Есть множество мемов в интернете о том, как выглядит горе в концепциях психологов – последовательная смена стадий, и как у людей в «реальности» – утрированно хаотичное изображение путаницы состояний и периодов.

Линейно ПТСР выглядит следующим образом:

1) травматическое событие, которое влияет на память и порождает интрузии – закликивающиеся, повторяющиеся и несвязные воспоминания;

2) травматическое воспоминание провоцирует автономную нервную систему на ответ в режиме выживания (так называемые реакции «бей–беги–замри»). Проявляются такие симптомы, как расстройство сна, раздражительность, возбудимость и сложности с концентрацией внимания, гипербдительность, а также моторные нарушения;

3) дальше человек «адаптируется» к постоянному состоянию дистресса и возбуждения нервной системы с помощью избегания стрессоров и эмоционального онемения.

В этой модели исследователи отмечают очевидные логические допущения – например, ретроспективную атрибуцию: переживание симпто-

мов кластеров избегания и негативных убеждений приводит к появлению симптомов интрузивного кластера (флешбэки и т.п.) (Young, Breslau 2016: 147). Если я знаю о том, что со мной произошло, и, например в ситуации повышенной тревожности, начинаю воспроизводить и продуцировать эти воспоминания, если плюс к этому я еще знаю, и мне уже рассказали не один раз, что эти травматические воспоминания вообще-то не являются объективными, они неправильные, то тогда по поводу этого травматического воспоминания у меня возникнет много тревоги, и мне нужно будет его атрибутировать как травматическое, чтобы успокоиться, но при этом я опять буду возвращаться к нему мыслями как о навязчивом, и эту самую тревожность и навязчивость буду наращивать. Нашему мозгу важно установить какую-либо причинно-следственную связь, неважно какую, чтобы снизить тревогу. И, когда я атрибутирую, в том числе отношу свое состояние к тому, что со мной произошло когда-то, оно становится циклическим. Если добавляются факторы риска, то человек, который и так склонен к тревожности и у которого была предрасположенность в результате тяжелого детского опыта к гипербдительности и гипервозбудимости, будет с большой вероятностью попадать и застревать в этом зацикливании.

У каждой войны свой набор, или, по выражению социологов, ассамбляж симптомов, который надолго определяет, что такое травма и нетравма в общественном сознании. Поствьетнамский синдром стал модельным для ПТСР. Ранее описывали синдром контузии периода Первой мировой войны, и долгое время считалось, что весь ветеранский синдром заключается в том, что рядом с человеком разорвалась бомба, и только у этого человека будут такие проявления. Это связывалось с взрывной волной, которая каким-то образом действует на тело человека, но тогда было непонятно как именно, и выражение «психические последствия взрывной волны» звучало бы ненаучно. Спустя много десятилетий в описаниях синдромов Войны в Заливе или в Афганистане это влияние получает медицинское подтверждение: разные наполненные воздухом органы человека, такие как ушные раковины и легкие, действительно, испытывают компрессию в результате взрывной волны, и это мощнейшим образом активирует тревожную систему мозга, ответственную за распознавание угроз для выживания.

Еще одна сложность с линейной диагностикой в том, что мы можем многое упустить, если для выражения некоторых симптомов человеком используется другой язык, отличный от медикалистской номенклатуры, как в случае с сонным параличом в разных социокультурных контекстах. А если и флешбэки в том же ряду? Такие свидетельства в эпоху до открытий «травматической памяти», а позднее разных видов памяти, связанных со сложной активностью разных сетей мозга, просто могли опускаться исследователями как «ненаучные».

Есть ли вообще что-то общее между этими разными ПТСР, пока мы опираемся на операциональное определение диагноза?

Подверженность травматическому стрессору? Но только ограниченное число людей, которые встречаются с похожими стрессорами, развивают ПТСР. В таком случае любая отклоняющаяся от нормы реакция на стресс должна исторически приводить к ПТСР, но тогда ПТСР как диагноз теряет всякие границы.

Факторы риска, которые усиливают вероятность ПТСР, несмотря на степень жесткости стрессора? Но тогда относительно слабый стрессор может вызвать серьезные симптомы ПТСР. И это, похоже, так, только эти факторы риска тоже изменчивы. В течение многих веков, например, пытки и казни были публичным развлечением. Во многих культурах существуют свои пороги восприятия насилия и ненасилия.

В некоторых российских регионах (и не только российских) с депрессивной социальной средой, особенно после разрушившегося в перестройку привычного советского уклада, люди обратились к тому, что официально называется «традиционным образом жизни», но по сути являлось сложным комплексом выживания и приспособления с использованием нерегламентированных жизнеподдерживающих практик. Охота – часть этого комплекса, соответственно, у множества семей есть доступ к оружию. В ситуации на грани выживания любые семейные конфликты, осложненные алкоголизацией целых семей, довольно часто приводили и приводят к насилию и еще чаще – к суицидам, недаром суицидальное поведение и «эпидемии суицидов» в северных регионах – это отдельная область международных междисциплинарных исследований¹¹. Среди основных факторов «северных суицидов» есть и исторические и социокультурные травмы, а также часто их следствия или дополнительные триггеры – обедненная среда для социализации, злоупотребление ПАВ, демографические особенности, семейные и индивидуальные травмы¹². В таких случаях порог терпимости к насилию достаточно высок. Свидетельство насилия может очень специфически сказываться на человеке и приводить к нестандартному набору симптомов ПТСР с преобладанием, например, осложненного горевания, депрессии, фрустрации, вызванной разными факторами.

Ранние издания диагностических руководств предполагали, что люди должны испытывать одно расстройство за единицу времени, но поздние допускают коморбидность – наложение диагнозов. Тревога и депрессия – это следствие травмы или люди, их испытывающие, предрасположены к патологической реакции на сильный стресс? ПТСР – это нормальная реакция на экстраординарное событие (как в определении стрессоров в первых руководствах: военное сражение, бомбежка, изнасилование, пытки, концентрационный лагерь) или это патологический

ответ на событие тяжелое, но необязательно экстраординарное, с которым другие справляются (разрушение дома или сообщества, свидетельство насилия над другим)? Сейчас все чаще пишут о подпороговом ПТСР по аналогии с субклинической депрессией – когда его симптомы сглажены и по-разному фиксируются в разных когортах населения, но при этом связаны с более высоким риском развития других психических патологий в течение жизни (Mota et al. 2016:185–186).

Наши представления о том, что травма – это «драма вечного повторения», серьезно корректируются современными нейронауками. Да, воспоминания о прошлом – это одновременно предсказание будущего. Наш мозг – это машина предсказаний: мы постоянно соотносим будущие события с тем опытом, который у нас есть. В этом смысле воспоминание о будущем не является метафорой. Мы о будущем вспоминаем, потому что у нас нет другого опорного пункта. Это создает угрозу заикливания, но также дает ресурс нейропластичности. Опросы ветеранов Войны в Заливе проводились спустя месяц и через два года после событий. Через два года 70% ветеранов рассказывали дополнительные истории о боях, о которых не упоминали ранее. Это говорит о том, что мозг человека может ориентироваться на показатели ПТСР как на легитимирующие способы помнить, присваивать информацию и делиться сложным опытом.

Посттравматический стрессовый синдром в широком социокультурном контексте. Современный консенсус среди исследователей, учитывающих множественность социально-психологических контекстов травматизации, возвращается к тому, чтобы описывать конкретные посттравматические стрессовые синдромы, а не синдромы универсального ПТСР. Множественные онтологические домены травмы диктуют такую необходимость.

В таком случае важно учитывать:

- природу или биологию травмы – локальные феноменологии стрессора (опыта) и симптомов (последствий), как они описываются и типологизируются в разных культурных контекстах;
- онтологическую безопасность: травма действительно в прошлом или условия травматизации перманенты?
- локальные практики исцеления – на чем основываются и что в себя включают?
- как диагноз встраивается в систему локальной помощи – патологизирует индивидов и сообщества или становится эффективным инструментом для ответа на социальные потрясения?

Многие исследователи, работавшие на Гаити, где ужас гражданского противостояния длится десятилетиями, не считают возможным говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве, потому что травматическая ситуация вовсе не относится к прошлому, а является текущей

(Hinton, Good 2016: 50–113). В таких случаях внимание помогающих специалистов может быть сконцентрировано только на том, чтобы у человека появилась хоть какая-то поддержка, если это в принципе возможно. Бесполезно акцентировать, например, внимание женщины в таких условиях на рефлексии о том, насколько насилие ужасно и недопустимо – оно действительно ужасно, но оно в таком контексте постоянно присутствует, и тогда осознание недопустимости невозможно без создания минимальных зон безопасности. Если практики, волонтеры, организации только сенсibilизируют женщину к травме, то они способствуют ее изоляции в том, что для нее собственно травму и создает.

В рамках текущего исследования Центра медицинской антропологии ИЭА РАН, посвященного практикам оказания помощи и реабилитации в ситуации СВО, эксперты не говорят о ПТСР – эта аббревиатура практически не звучит в беседах. Одна из причин, вероятно, в том, что никакого «пост», т.е. завершения травмирующей ситуации, пока не происходит. Зато в сообщениях экспертов часто звучат *«истощение»*, *«усталость»*, *«измотанность»*, *«без сил жить»*. Сравнивая ситуацию этой войны с опытом афганской и чеченской кампаний, эксперты с военным опытом подчеркивают превалирующую длительность боевого опыта СВО для ее участников:

«Четвертый год пошел для многих. Некоторые после нескольких ранений. Если раньше, допустим, в том же Афганистане и в той же Чечне после ранений не всегда возвращались, сейчас обязательно возвращение, если человек не комиссован, поэтому многие неоднократно ранены еще... вживаемость в войну сейчас стала просто более, наверное, такая интенсивная... Они стали жить на войне. Это была командировка, все надеялись, что через 4–5 месяцев вернутся, а сейчас это норма жизни. Мы живем на войне, они пытаются жить и адаптироваться к этим условиям постоянно. Причем они меняются постоянно, они пытаются в них постоянно адаптироваться»¹³.

Это подтверждают и немногочисленные пока исследования психологических сложностей, с которыми сталкиваются комбатанты СВО в зависимости от особенностей данной военной ситуации, например, допустимого времени непрерывного пребывания комбатантов в зоне боевых действий, после которого у них возникают те или иные психические расстройства:

«Самая благоприятная картина наблюдается в группе комбатантов, которые находились в зоне боевых действий дольше всего – более одного года. В этой группе комбатантов наблюдаются самые низкие средние показатели ПТСР, как в начале госпитализации, так и после госпитализации. Но в этой группе комбатантов в начале госпитализации имеет место самый высокий средний уровень безнадежности (который, впрочем, значительно снижается через 8 недель оказания медицин-

ской помощи). Этот результат можно объяснить, опираясь на понимание “шоковых” и “протрагированных” форм стрессовых расстройств по В.А. Гиляровскому и Г.Е. Сухаревой, согласно которому при длительном психогенном воздействии эмоциональное напряжение уже не так интенсивно, но действует более глубоко (возможно с этим фактом связан и высокий средний уровень безнадежности, который наблюдается в этой группе комбатантов)...

Вероятно, в этой группе формируется так называемый синдром “старого сержанта”, который при относительно невысоких показателях ПТСР характеризуется пессимизмом и безнадежностью, ощущением бесперспективности жизни. В большей степени проявляются негативные психологические симптомы, такие, как трудности с принятием решений, нежелание брать на себя ответственность за других. Более сложные симптомы включали потерю уверенности в себе, беспокойство, депрессию и склонность к самоуничижительным замечаниям. Во многих отношениях синдром “старого сержанта” похож на феномен эмоционального выгорания» (Ларских и др. 2023: 3).

«Синдром старого сержанта» – психосоциальный и эмоциональный «износ» самых опытных солдат после длительных боевых действий – впервые был описан в 1947 г. Рэймондом Собелом (Sobel 1947: 315–321). Ключевыми чертами являются утрата уверенности, депрессия, избегание новых эмоциональных привязанностей, снижение лидерских качеств и специфическая социальная изоляция на фоне сохранения мотивации к службе и внутреннего чувства долга. Синдром наблюдается у солдат, прошедших через многочисленные сражения, потерявших многих товарищей и испытывающих хронический эмоциональный стресс. Первоначально такие солдаты были наиболее ответственными, мотивированными, выносливыми и самыми эффективными в бою. Со временем у них начинает проявляться апатия, депрессия, тревожность, снижение самооценки, потеря уверенности и готовности брать на себя ответственность за других. Возникает усталость к новым знакомствам и эмоциональной близости – многие избегают общения с новобранцами, чтобы не переживать очередную утрату. Возрастает страх за себя и чувство вины перед подчиненными или погибшими товарищами. Симптомы могут включать бессонницу, раздражительность, растерянность, снижение внимания, боязнь рисковать. В тяжелых случаях появляются выраженные дистрессивные и депрессивные эпизоды, а также симптомы, перекрывающиеся с ПТСР: навязчивые воспоминания, тревожность, нарушения адаптации.

Сейчас синдром считается предшественником комплексного ПТСР и эмоционального выгорания профессионалов экстремальных профессий, и от ПТСР его отличает в том числе длительность абнормального стресса и экспозиции жизнеугрожающему стрессору без оказания помощи.

Травматичность стрессового события для ПТСР определяется его внезапностью, угрозой для идентичности и глобальным характером воздействия. Если такой стрессор перестает быть «внезапным», а становится частью «*вживаемости в войну*», то резонно говорить уже КППТСР. В список специфических травматических ситуаций пролонгированного характера входят плен, рабство, длительное пребывание на территории военных действий, домашнее физическое или сексуальное насилие (Васильева 2022: 72–81).

Получается, что если не оказывать помощь пострадавшим вовремя, то мы всегда будем иметь дело либо еще не с ПТСР, либо уже не с ПТСР. И помощь эта заключается далеко не только в терапевтическом вмешательстве, но и в удалении человека из жизнеугрожающей ситуации вовремя – в случае с военнослужащими речь должна идти о необходимой ротации и в боевых формированиях.

Множественные контексты травмы. Итак, коморбидность многих расстройств, вызываемых тяжелым стрессом, требует от практиков и исследователей в первую очередь широкой разметки ландшафта травмы в разных ее контекстах. Среди них – наличествующие возможности исцеления и обращения за поддержкой; проявление пула травматических симптомов в сочетании с локальными вариантами переживания тяжелого опыта; локальный консенсус по поводу поисков помощи и исцеления.

Многие описания так называемых культурно обусловленных синдромов могут показаться экзотическими, но мы тем не менее можем легко соотнести их симптомы с характерными для различных стрессовых расстройств: неконтролируемая ярость при малазийском амоке; «*голоса из желудка*», говорящие на языке врагов и вызывающие кошмары, усталость, бессонницу и склонность к самоубийству у зулусов в Южной Африке; «*синдром подавленного гнева*» (хвабен) в Корее, который описывается чаще всего соматически как «*кипение в груди и во всем теле*» и встречается у бедных корейцев и корейских женщин после 40 лет; «*сумасшедшая болезнь*» в Никарагуа, при которой больные впадают в апатию, сменяющуюся резкими вспышками ярости, во время которых они хватаются за оружие для борьбы с невидимыми врагами; «*синдром слабого сердца и сосудов*» в Камбодже (Saint-Marten 1999: 66–70; van der Zeijst et al. 2021: 471–485). Нетрудно заметить, что большинство этих симптомов переживаются людьми в местах и обществах с тяжелым опытом гражданских войн и геноцидов.

В Камбодже, например, люди, пережившие кровавый режим Пол Пота, испытывают целый набор неврологических симптомов – тиннитус (шум в ушах), слабость, головокружение, тошноту и т.п. В их числе не будет эмоционального онемения или уплощенности, часто проявляющимися при ПТСР, человек способен жаловаться и обращаться за помощью

к близким. Такая возможность создает локальную атрибуцию симптомов и особую идиому исцеления – обращение к родственникам за специальным массажем, который, как предполагается, устраняет нарушение баланса жидкости и воздуха в сосудах, в результате чего человек может почувствовать облегчение. Если исследователи не игнорируют описываемую симптоматику и спрашивают людей, когда их симптомы появились, то довольно быстро выясняется, что люди связывают их с тяжелой работой в голоде, холоде и эпидемиях малярии в течение нескольких лет. Основным фокус внимания оказывается на соматических проявлениях – «сломанной спине», дрожи в конечностях и т.д. Если исследователи не связывают симптомы с историческим контекстом, последние могут не уложиться в привычную картину ПТСР, и люди могут потерять возможность обращаться за медицинской помощью (Hinton, Good 2016: 50–113).

Локальные онтологии травмы специфичны, поскольку специфичны локальные стрессоры. Многие исследователи молодежного суицида и самоповреждения (селфхарма) в Мексике не фиксировали комплекса избегания и онемения. Наркотрафик, сопровождающийся постоянным насилием, давно создал многопоколенную основу для травмы и превратил насилие в структурное. Самоповреждение как основной симптом молодежь использует и предъявляет в поисках помощи, поскольку домашнее насилие рутинно и, как считается, приводит не к травме, а к депрессии и тревожности. Селфхарм принял масштабы эпидемии в качестве формы эмоционального реагирования – он не признак эмоционального отстранения и онемения, как это часто бывает при депрессии у подростков в других условиях. Для молодых мексиканцев это способ дотянуться до заботы и поддержки – хотя бы перевяжут и заберут в больницу на несколько дней (Hinton, Good 2016: 50–113).

Локальные этиологии травмы – чему приписывается причина плохого самочувствия – также могут быть специфичными. У кечуа причиной тяжелых симптомов предъявляются *«тревожащие мысли»*. Те, у кого они есть при столкновении с тяжелым опытом, становятся как *«дырявая ткань»* против сильных порывов ветра или *«дерево, изъеденное червями»*. Грусть представляется набором вполне соматических симптомов – головная боль и боль в животе. Для коренных американцев концепт исторической травмы лучше описывает их ситуацию: симптомы воспринимаются как логичный ответ на многопоколенный геноцид и угнетение. Утрата культуры и связей с предыдущими поколениями – важная причина чувствовать себя плохо. Таким образом, призма исторической травмы открывает больше пространства для исцеления, которое понимается как создание новой космологии и нового понимания индивидуальности: исцеление как реонтологизация (Brave Heart-Jordan 1998).

Хорошо известно, что разговоры в сообществе о пережитом, создание коллективов нарративов травмы создают целительный эффект поддержки и принятия. Многие терапевтические вмешательства в западной психологии также основываются на этом: без восстановления коллективной безопасности и возможности поделиться своим опытом нельзя справиться с симптомами ПТСР.

Дополнительную сложность могут составлять и конфликтующие курсы травмы. Например, на Гаити есть версия травмы, которой придерживаются христиане Евангелической церкви: все страдания – это результат вовлечения гаитян в практики вуду и заключения ими «пакта с дьяволом» в 1791 г., чтобы опрокинуть французское владычество (Hinton, Good 2016: 50–113). Часть травматической онтологии – активность неуспокоенных душ людей, погибших от насилия. Духовная небезопасность дополняет и усиливает физическую. Тогда и фокус исцеления может быть изменчивым. В таких местах, как Гаити, оно невозможно и бесполезно как преодоление индивидуальной травматизации. Важнее восстановление коллективной безопасности – социальной, политической и экономической.

Многовекторный подход к диагностике посттравматического стрессового синдрома. Дэвон Хинтон и Байрон Гуд в коллективной монографии под своей редакцией предлагают теоретическую модель описания и работы с разными посттравматическими стрессовыми синдромами, предполагающую многовекторный подход к диагностике травмы. Эта модель представляется важной и рабочей для постановки задач по изучению в том числе возможного посттравматического стрессового синдрома СВО. Такие задачи необходимо решать уже сейчас, чтобы своевременно и адекватно планировать и оказывать помощь пострадавшим в разных ситуациях, с этой войной связанных.

Важно, чтобы междисциплинарные программы сбора «полевого» материала включали в себя следующие вопросы:

1. Это комплексная травма? Является ли она следствием отдельного события или связана с продолжительными по времени и многообразными ситуациями насилия?

2. Каковы основные характеристики стрессоров? В чем биология именно этой травмы? И как люди сами описывают причину своих страданий?

3. Каковы самые выраженные специфические симптомы и как они проявляются?

Необходим сбор и анализ соматических симптомов, которые, как уже было показано, часто недооцениваются в диагностических руководствах, но составляют большую часть симптоматики, которую человек способен описать. При этом необходимо учитывать, как разные контек-

сты влияют на описание и присваивание себе соматической симптоматики. Например, особенности гендерной социализации будут сказываться на том, чему будут атрибутировать свои симптомы мужчины и женщины. Мужчины чаще замалчивают страхи. О каких-то телесных симптомах говорят открыто, а каких-то избегают, потому что во многих культурах образ мужского тела – это образ тела доминантного, которому не положено страдать и испытывать унижения. Женщинам привычнее говорить открыто о слабости тела, страхах и тревогах, но не о гневе и ярости – последние находят преимущественно соматическое выражение. Карту проявлений симптомов важно составлять по словам и в словах человека.

4. Оказывает ли травма влияние на представление о себе, межличностных отношениях, группе, мире? Если да, то какое? Какую схему Я она создает?

5. Есть ли у травмы многопоколенные аспекты?

Корни негативных убеждений могут уходить в межпоколенческие послания и семейные мифы. Например, с убеждением в том, что никому нельзя доверять, будет легче работать, если мы изучим его происхождение вместе с человеком. Человек может говорить о том, что он не может доверять своей жене и другим, кто не пережил того же, что и он, но если мы спросим, как было с доверием в его родительской семье, то ему станет проще заметить, что груз недоверия – это не только его личный опыт.

6. Включено ли актуальное страдание в контекст исторической травмы и если да, то насколько эта травма признается, учитывается в официальных дискурсах о прошлом? Насколько ее признание или непризнание способствует исцелению или тормозит его?

7. Включает ли травма социальную утрату – смерть родственников, эмиграцию, депортацию?

8. Включает ли она в себя утрату культуры (культурных традиций); влечет ли за собой невозможность отправлять необходимые ритуалы (например, погребения погибших)?

Среди культурных традиций могут быть самые разные – от невозможности придерживаться привычной диеты до религиозных убеждений. Среди самых болезненных утрат – невозможность совершать необходимые пред- и послеродовые действия и, конечно же, невозможность или серьезные бюрократические затруднения для совершения необходимых ритуальных действий в случае смерти человека, невозможность обойтись правильно с телами погибших.

9. Включает ли травма утрату социального статуса, экономические потери?

Насколько человек может рассчитывать на разного рода поддержку, компенсации, возмещение, медицинскую помощь? Если он (она) пойдет

за этой помощью, то куда пойдет, куда ему (ей) легче дойти? Как он (она) себе представляет доступный маршрут исцеления?

10. Можно ли назвать травму эпизодической, эндемичной – специфичной для определенной когорты населения (поколенческой, гендерной, меньшинства)?

Необходимо учитывать когортные показатели – кто окажется в зоне большего риска травматизации и при каких условиях – и при этом мониторить актуальную динамику, не полагаясь только на обобщенные данные. Например, риск ПТСР и тяжесть проявления симптомов ниже у людей молодого и старшего поколения. Как показывают результаты недавнего исследования, группа комбатантов СВО 41–50 лет – единственная, в которой уровень тревоги снизился до легкой степени выраженности после оказания медицинской помощи. Самой «проблемной» оказалась средняя возрастная группа комбатантов – 31–40 лет. *«В этой группе в начале госпитализации было выявлено самое высокое среднее значение показателя ПТСР (которое не снизилось до нормативного уровня даже после оказания междисциплинарной медицинской помощи в течение 8 недель) и самый высокий средний уровень агрессивности. И наоборот, наиболее благоприятная картина наблюдается в самой “молодой” группе комбатантов 20–30 лет – самый низкий средний показатель ПТСР в начале госпитализации»* (Ларских и др. 2023: 3).

Важно понимать, какие ресурсы в доступе у человека – на что он может опереться, на какую сопротивляемость и совладание мы можем рассчитывать. Насколько сильную поддержку окружающих имеет человек – семьи, сообщества, государства.

И конечно же, важно исследовать разные подходы к исцелению травмы во всем многообразии целительских традиций, которые доступны от конвенциональных до неконвенциональных и локальных. Куда человек обратится за помощью, зависит от многих факторов, и немаловажный из них – открытость, гласность и поддержание диалога между целительскими подходами, даже если они в чем-то конфликтуют.

Например, традиция исследования и лечения боевого стресса и военной травмы в России имеет свою специфику, которая проявляется сейчас в концептуализации условий СВО как способных привести скорее к сложностям реадаптации и при этом содействующих посттравматическому росту, если предпринимаются меры сопровождения бойца на доэкстремальном, экстремальном и постэкстремальном этапах подготовки. Военный психолог, академик, начальник кафедры психологии Военного университета Министерства обороны РФ А.Г. Караяни в одном из своих последних выступлений перечисляет факторы риска для здоровья военнослужащих, связанные со спецификой именно СВО¹⁴:

– высокая протяженность линии боевого соприкосновения и высокая интенсивность боевых действий.

Об этом же – о плотности поражения и постоянном ожидании боевого столкновения говорят и эксперты в нашем исследовании;

– мощностъ и постоянное «усовершенствование» применяемого оружия, ведущего к подавляющему числу минно-взрывных, увечающих и приводящих к ампутации ранений.

Психологи, работающие с комбатантами, говорят о флешбэках, возникающих при виде птиц и газонов;

– сложный образ врага – *«мотивированный, подготовленный, жестокий, близкий нам по языку и общей истории противник. И эта близость запускает механизм нарциссизма малых различий, который придает противоборству некоторые свойства гражданской войны, такие как особая эмоциональность, нетерпимость, ожесточенность и бескомпромиссность»*.

На дискуссии в первой же фокус-группе с помогающими специалистами психологи согласились с тем, что о враге речи идет мало в их работе, четкого его образа нет;

– продолжительность участия войск в боевых действиях, которая *«превышает прогнозированные ранее временные рубежи. Представление о шести-восьмимесячном пределе пребывания в зоне боевых действий, после которого наступает обвальная психотравматизация комбатанта, оказалось несостоятельным. Некоторые участники, прежде всего от ДНР и ЛНР, преодолели 10-летний период непрерывной и интенсивной боевой жизни, а основная масса российских военнослужащих – 27-месячный период. Я говорю это для того, чтобы подчеркнуть, что наши бойцы испытывают колоссальную, нередко запредельную боевую и психологическую нагрузку»*;

– высокая прозрачность и чувствительность боевого пространства за счет применения боевых спутников, беспилотников, видеокамер, разных датчиков звука, движения. Перемещение в таком пространстве требует неотступной настороженности, которая «не может не сказываться на психическом состоянии, порождает психологический эффект витринности, чувство постоянной труднопреодолимой опасности»;

– схватки с роботизированными системами противника и «робочелу» человеческих качеств;

– сильное информационно-психологическое воздействие, которое создает множество параллельных и пересекающихся виртуальных реальностей.

Выше перечислены только факторы, влияющие на военнослужащих без разделения их на мобилизованных и контрактников, приходящих в отпуск и возвращающихся в боевую обстановку, раненых и демобилизованных по ранению, прервавших контракт, подписавших контракт в местах отбывания заключения и др. Важной задачей остается и исследова-

ние вопросов психологической безопасности широкого круга людей, затронутых СВО: членов семей комбатантов; членов семей погибших и пропавших без вести в зоне боевых действий; людей, живущих на территориях, рядом с которыми ведутся боевые действия; волонтеров, беженцев, работников военных производств, которые трудятся в мобилизационном режиме; жителей разных регионов, которые сталкиваются с внезапными атаками БПЛА.

Выводы

1. Контекст, в котором сегодня может проводиться исследование картины стресса и травматизации разных групп населения, а также возможной помощи, включает:

- отсутствие или ограничение на доступ к статистическим материалам медико-социального характера;
- продолжающуюся, незавершенную ситуацию кризиса и травматизации, в которой еще или уже – в зависимости от групп населения – невозможно концептуально подходить к стрессовому синдрому СВО как к постсиндрому;
- уязвимость претензий диагноза ПТСР на универсальность, а также перекрытие его с множеством других категоризаций стрессовых расстройств, влекущее за собой сложность дифференциальной диагностики и кризис доверия к нему со стороны помогающих специалистов;
- конфликт интерпретации стрессовых расстройств в разных национальных традициях конвенциональной медицины.

2. Учесть этот контекст представляется возможным в многовекторном подходе к исследованию, описанию и диагностике (пост)травматического стрессового синдрома СВО. Он предполагает междисциплинарные усилия в решении проблемы и позволяет избежать распространенных ошибок медикализации человеческих страданий, пренебрежения культурными идиомами страдания и разными онтологическими уровнями безопасности – от физического и духовного здоровья до правового обеспечения, невнимания к историческому измерению травмы – исследованиям источников и корней современных кризисов, а также невнимания к тем симптомам, которые не присутствуют или отличным образом формулируются в разных культурных контекстах.

Примечания

¹ Минтруда РФ опирался на такие данные при разработке стандартов реабилитации людей с инвалидностью, «получивших ранение или заболевание в связи с участием в боевых действиях» (<https://www.kommersant.ru/doc/7499141>). Замминистра обороны РФ Анна Цивилева заявила в 2024 г. о наличии ПТСР у 20% возвращающихся с СВО бойцов (<https://tass.ru/obschestvo/21125769>).

² Фонд общественного мнения. Опрос «ФОМнибус» 30 сентября – 2 октября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1 500 респондентов. Факторы формирования общественного мнения // Настроение окружающих. URL: <https://media.fom.ru/fom-bd/d39no2022.pdf>

³ ВЦИОМ Новости. Индекс потребности россиян в психологической помощи. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/indeks-potrebnosti-rossijan-v-psikhologicheskoi-podderzhke>

⁴ Исследование. Индекс тревожности россиян снижается второй год подряд. URL: <https://www.cros.ru/ru/exploration/anxiety/4114/>

⁵ Научная Россия. Между тревожностью и депрессией? Психологи и социологи об актуальных общественных настроениях и методах сохранения душевного здоровья. 04.03.2025. URL: <https://scientificrussia.ru/> <https://scientificrussia.ru/articles/ot-trevogi-dobozni-paukov-i-bulimii-psihologi-i-sociologi-ob-aktualnyh-obsestvennyh-nastroeniah-i-metodah-sohranenia-dusevnogo-zdorova>

⁶ American Psychological Association. Women who experience trauma are twice as likely as men to develop PTSD. Here's why: women are typically exposed to more interpersonal trauma than men, and often at a younger age, which can have a greater negative impact on their lives. Last updated: July 8, 2024. URL: <https://www.apa.org/topics/women-girls/women-trauma>

⁷ См.: U.S. Department of Veterans Affairs. PTSD: National Center for PTSD. URL: https://www.ptsd.va.gov/understand/common/common_veterans.asp; Крюков, Шампей, Марченко 2025.

⁸ Общий адаптационный синдром Селье описывает унифицированный ответ организма на сверхпороговое воздействие: стадия тревоги, стадия резистентности и стадия истощения. Концепция породила производные идеи – «адаптационной энергии», «эустресса» и «дистресса» – и остается методологическим каркасом для физиологии, психологии, спортивной науки и исследований психосоматики, хотя подвергается критике за игнорирование когнитивной оценки и межличностных различий. В модели Лазаруса–Фолкмана стресс не является прямым следствием внешнего события, а обусловлен тем, как человек его оценивает и какие ресурсы активирует для реагирования. Таким образом, процесс включает непрерывную обратную связь между оценками, копингом и эмоциональным состоянием. См.: (Селье 2000; Лазарус 1970; Кадыров 2012).

⁹ См.: (Proctor 2024; Gessen 2023).

¹⁰ Об этом пишет, например, Наталья Новикова: *«Слово и молчание в мире коренных народов выполняют коммуникативную функцию, причем во многих важных ситуациях приоритет принадлежит именно молчанию. Молчание выступает и культурным маркером аборигенов, важнейшим кодом и средством их презентации в современном мире. Молчание является своеобразным паролем во взаимодействии коренных народов с окружающим миром, но для его понимания и интерпретации необходимо исследовать культуру аборигенов, понять, почему и когда они говорят или молчат. Молчание можно сравнить с вечной мерзлотой, которая является основой сохранения арктической природы. В восприятии же представителей других культур молчание или недоговоренности аборигенов часто воспринимаются как недостаток последних»*. См.: (Новикова 2012); О молчании, как способе сказать «нет» в коммуникации с «чужими» по поводу своих прав и собственности см. также: (Миськова 1999).

¹¹ Согласно данным исследований, при сходном с общероссийским типе воспроизводства (снижение рождаемости и смертности) у коренных малочисленных народов Севера (КМНС) России доля умерших младше 60 лет составляет 70% против 30% в среднем по РФ; более ¾ представителей КМНС младше 45 лет (в РФ менее ½). Средняя ожидаемая продолжительность жизни КМНС в НАО на 9 лет меньше, чем у некоренного населения. См.: (Любов, Сумароков, Конопленко 2015). Молодежь (15–24 года) – группа с наивысшей суицидальной смертностью: среди якутов, ненцев, инуитов суицид – ведущая причина смерти у подростков и молодых мужчин. См.: (Kue Young, Ревич, Soininen 2015). В

ряде арктических поселков (например, нганасаны в северном Красноярском крае) зафиксированы случаи, когда смертность от суицида превышает все прочие естественные причины смертности. См.: (Naylor 2021).

¹² См.: (Risk and Protective Factors... 2021).

¹³ Полевые материалы автора. Экспертное интервью (май 2025) в рамках исследования, выполняемого за счет гранта Российского научного фонда № 25–18-00901 «Востребованность и доступность практик психофизиологической помощи и реабилитации в российском обществе в связи с актуальными социально-политическими вызовами и трансформациями (в условиях СВО) (2025–2027)». URL: <https://rscf.ru/project/25-18-00901/>

¹⁴ Далее цит. по: (Караяни 2024).

Список источников

- Васильева А.В. Посттравматическое стрессовое расстройство в центре международных исследований: от «солдатского сердца» к МКБ-11 // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2022. № 122 (10). С. 72–81. doi: 10.17116/jnevro202212210172
- Герман Дж. Травма и исцеление. Последствия насилия – от абьюза до политического террора. М.: Эксмо, 2021.
- Гронский А.В. Когнитивно-поведенческие установки, сформированные под влиянием травмы политических репрессий, и их семейное наследование // Психология и психотерапия семьи. 2021. № 3. doi: 10.24412/2587-6783-2021-10019
- Кадыров Р.В. Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD): состояние проблемы, психодиагностика и психологическая помощь. СПб.: Речь, 2012.
- Караяни А.Г. Поколение СВО – психологический актив созидания будущего России. Доклад на 18-м Санкт-Петербургском саммите психологов в СПб, 2–5 июня 2024 // Психологическая газета. 22.08.2024. URL: <https://www.psy.su/feed/12504/>
- Караяни А.Г., Волобуева Ю.М. Военная психология как область специального научного знания и практики // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2007. № 4. С. 20–33.
- Крюков Е.В., Шамрей В.К., Марченко А.А. Современные представления о посттравматическом стрессовом расстройстве // Медицинская реабилитация комбатантов с посттравматическим стрессовым расстройством / ред. Е.В. Крюков. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2025. С. 11–36.
- Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования // Эмоциональный стресс / под ред. Л. Леви. Л.: Медицина, 1970.
- Ларских С.В., Ларских М.В., Михан О.Ю., Потапова О.Н., Железняков М.А. Исследование эффективности междисциплинарной медицинской помощи комбатантам с ПТСР // Медицинская психология в России: сетевой науч. журн. 2023. Т. 15, № 4. С. 3. URL: http://medpsy.ru/mpj/archiv_global/2023_4_81/nomer03.php
- Любов Е.Б., Сумароков Ю.А., Конопленько Э.Р. Жизнестойкость и факторы риска суицидального поведения коренных малочисленных народов Севера России // Суицидология. 2015. № 3 (20), Т. 6. С. 23–30.
- Миськова Е.В. Стойбище-на-нефти и национальный поселок: жизнь семей лесных нелцов и восточных хантов в районах разрабатываемых нефтяных месторождений // Обычное право и правовой плюрализм: (материалы XI Междунар. конгр. по обычному праву и правовому плюрализму, авг. 1997 г., Москва): [сб. ст.] / отв. ред.: Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М.: [б. и.], 1999. С. 239–242.
- Новикова Н.И. Коммуникативные практики коренных народов в глобальном мире // Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое / отв. ред. Я.А. Яковлев. Ханты-Мансийск; Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. С. 112–125.
- Озерецковский А.И. Об истерии в войсках. М., 1891.
- Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. М.: Медгиз, 2000.

- Тарабрина Н., Майн Н. Феномен межпоколенческой передачи психической травмы (по материалам зарубежной литературы) // Консультативная психология и психотерапия. 2013. № 3. С. 96–119.
- American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013. P. 265–290. URL: <https://dn790004.ca.archive.org/0/items/APA-DSM-5/DSM5.pdf>
- Arena A.F., Gregory M., Collins D.A.J., Vilus B., Bryant R., Harvey S.B., Deady M. Global PTSD prevalence among active first responders and trends over recent years: A systematic review and meta-analysis // Clinical Psychology Review. 2025. № 120. 102622. doi: 10.1016/j.cpr.2025.102622
- Boehnlein J.K., Hinton D.E. From Shell Shock to PTSD and Traumatic Brain Injury: A Historical Perspective on Responses to Combat Trauma // Hinton D.E., Good B.J. (ed.) Culture and PTSD Trauma in Global and Historical Perspective. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016. P. 156–175.
- Brave Heart-Jordan M.Y.H. The return to the sacred path: Healing from historical trauma and historical unresolved grief among the Lakota. Smith College Studies in Social Work, 1998.
- Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders. Geneva: World Health Organization; 2024. Licence: CC BY-NC-ND 3.0 IGO. P. 337–363. URL: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375767/9789240077263-eng.pdf>
- Da Costa J.M. On irritable heart: a clinical study of a form of functional cardiac disorder and its consequences // Am. J. M. Sc. 1871. P. 61–117. doi: 10.1016/0002-9343(51)90038-1
- Danieli Y. (ed.) International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Plenum Press, 1998.
- Erikson K. Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood. New York: Simon & Schuster, 1976.
- Gessen M. How to Maintain Hope in an Age of Catastrophe. Interview with Robert Jay Lifton // The New Yorker Interview. November 12, 2023. URL: <https://www.newyorker.com/news/the-new-yorker-interview/how-to-maintain-hope-in-an-age-of-catastrophe>
- Haslam N. Concept Creep: Psychology's Expanding Concepts of Harm and Pathology // Psychological Inquiry. 2016. № 27. P. 1–17.
- Hinton D.E., Good B.J. (eds.) Culture and PTSD: Trauma in Global and Historical Perspective. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.
- Hinton D.E., Good D.J. The Culturally Sensitive Assessment of Trauma: Eleven Analytic Perspectives, a Typology of Errors, and the Multiplex Models of Distress Generation // Hinton D.E., Good D.J. (eds.) Culture and PTSD Trauma in Global and Historical Perspective. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016. P. 50–113.
- Hoyt T. Moral Injury. Wrestling with Definitions and Conceptual Drift // Æther: A Journal of Strategic Airpower & Spacepower. 2023. Vol. 2, № 3. URL: https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AEtherJournal/Journals/Volume-2_Number-3/Hoyt.pdf
- Kempe C.H., Silverman F.N., Steele B.F., Droegemueller W., Silver H.K. The Battered-Child Syndrome // JAMA. 1962. Vol. 181 (1). P. 17–24.
- Kue Young T., Певуч Б., Soininen L. Суициды в Приполярных районах // Суицидология. 2015. № 3 (20). Т. 6. С. 23–30. URL: <https://psychiatr.ru/download/2362?view=1&name=Суи%>
- Lifton J.R. Death in Life: Survivors of Hiroshima. The University of North Carolina Press, 1991.
- Lifton J.R. Home from the War. Vietnam Veterans: Neither Victims nor Executioners. Simon & Schuster, 1973.
- Litz B.T. et al. Defining and Assessing the Syndrome of Moral Injury: Initial Findings of the Moral Injury Outcome Scale Consortium // Frontiers in Psychiatry. 2022. № 13. doi: 10.3389/fpsy.2022.923928
- Litz B.T., Kerig P.K. Introduction to the Special Issue on Moral Injury: Conceptual Challenges, Methodological Issues, and Clinical Applications // Journal of Traumatic Stress. 2019. Vol. 32, № 3. P. 341–349. doi: 10.1002/jts.22405

- Lopez M.A.* Is it Time to Give Up the Concept of Collective Trauma? On the Need for New (Old) Lexicons to Frame Social Suffering // *Quaderns de filosofia*. 2022. Vol. IX, № 1. P. 121–145.
- McNally R.J.* Is PTSD a Transhistorical Phenomenon // Hinton D.E., Good B.J. (Ed.) *Culture and PTSD Trauma in Global and Historical Perspective*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016. P. 117–134.
- McNally R.J.* Conceptual Problems with the DSM-IV Criteria for Posttraumatic Stress Disorder // *Posttraumatic Stress Disorder: Issues and Controversies*. Edited by G.M. Rosen. 2004. P. 1–14. John Wiley & Sons, Ltd. URL: <https://catalogimages.wiley.com/images/db/pdf/047086284X.excerpt.pdf>
- Menakem R.* *My Grandmother's Hands: Racialized Trauma and the Pathway to Mending Our Hearts and Bodies*. Central Recovery Press, 2017.
- Mota N.P., Tsai J., Sareen J., Marx B.P., Wisco B.E., Harpaz-Rotem I., Southwick S.M., Krystal J.H., Pietrzak R.H.* Бремя субклинического ПТСР (согласно критериям DSM-5) среди ветеранов США / пер. Г.А. Красавин; ред. Н.В. Захарова // *World Psychiatry*. 2016. № 15:2. P. 185–186. URL: https://psychiatr.ru/files/magazines/2016_06_wpa_1057.pdf
- Myers C.S.* A contribution to the study of shell shock: Being an account of three cases of loss of memory, vision, smell, and taste, admitted into the Dutchess of Westminster's War Hospital // *The Lancet*. February 13. 1915. P. 316–320. URL: <https://archive.org/details/b30621264>
- Naylor A.* Russia, Explained: Siberian Indigenous Population Halves Amid Suicide Epidemic. A suicide epidemic is ravaging indigenous nations in Siberia. April 8, 2021. URL: <https://cepa.org/article/russia-explained-siberian-indigenous-population-halves-amid-suicide-epidemic/>
- Proctor H.* *Psychic Numbing* // *Boston Review*. April 18. 2024. URL: <https://www.bostonreview.net/articles/psychic-numbing/>
- Risk and Protective Factors for Suicide among Inuit in Canada. A Summary of Statistics Related to Suicide and Mental Health. Canadian Centre on Substance Use and Addiction, 2021. URL: https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-10/CCSA-Risk-Protective-Factors-Suicide-Mental-Health-among-Inuit-Report-2021-en_0.pdf
- Saint-Marten M.L.* Running Amok: A Modern Perspective on a Culture-Bound Syndrome // *Prim Care Companion J Clin Psychiatry*. 1999. № 1 (3). P. 66–70. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC181064/>
- Schincariol A., Orrù G., Otgaar H., Sartori G., Scarpazza C.* Posttraumatic stress disorder (PTSD) prevalence: an umbrella review // *Psychological Medicine*. 2024. № 54. P. 4021–4034. doi: 10.1017/S0033291724002319
- Shay J.* *Achilles in Vietnam: Combat Trauma and the Undoing of Character*. New York: Scribner, 1994.
- Shay J.* Moral Injury // *Intertexts*. 2012. Vol. 16, № 1. doi: 10.1353/itx.2012.0000
- Sobel R.* The "Old Sergeant" Syndrome // *Psychiatry*. 1947. № 10 (3). P. 315–321.
- Van der Zeijst M., Veling W., Makhathini E.M., Susser E., Burns J.K., Hoek H.W., Susser I.* Ancestral calling, traditional health practitioner training and mental illness: An ethnographic study from rural KwaZulu-Natal, South Africa // *Transcultural psychiatry*. 2021. № 58 (4). P. 471–485. doi: 10.1177/1363461520909615
- Weiss N.H., Schick M.R., Reyes M.E., Thomas E.D., Tobar-Santamaria A., Contractor A.A.* Ethnic-Racial Identity and Posttraumatic Stress Disorder: The Role of Emotional Avoidance among Trauma-Exposed Community Individuals // *Psychol Trauma*. 2020. № 13 (1). P. 35–43. doi: 10.1037/tra0000974
- Young A., Breslau N.* What is "PTSD"? The Heterogeneity Thesis // Hinton D.E., Good B.J. (eds.) *Culture and PTSD Trauma in Global and Historical Perspective*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016. P. 136–154.

Zerach G., Levin Y., Aloni R., Solomon Z. Intergenerational Transmission of Captivity Trauma and Posttraumatic Stress Symptoms: A Twenty Three-Year Longitudinal Triadic Study // *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*. 2017. Vol. 9, № S1. P. 114–121.

References

- Aguilar W., Halseth R. (2015) *Aboriginal Peoples and Historic Trauma*. Prince George, BC. Available at: <https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/context/RPT-HistoricTrauma-IntergenTransmission-Aguilar-Halseth-EN.pdf>
- American Psychiatric Association: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*. Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013. P. 265–290. Available at: <https://dn790004.ca.archive.org/0/items/APA-DSM-5/DSM5.pdf>
- Arena A.F., Gregory M., Collins D.A.J., Vilus B., Bryant R., Harvey S.B., Deady M. (2025) Global PTSD prevalence among active first responders and trends over recent years: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*. no. 120. 102622. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2025.102622>
- Barnes H.A., Hurley R.A., Taber K.H. (2019) Moral Injury and PTSD: Often Co-occurring Yet Mechanistically Different. *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*. Vol. 31, no. 2. A4–A103. <https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.19020036>
- Boehnlein J.K., Hinton D.E. (2016) From Shell Shock to PTSD and Traumatic Brain Injury: A Historical Perspective on Responses to Combat Trauma. In: Hinton D.E., Good B.J. (Ed.) *Culture and PTSD Trauma in Global and Historical Perspective*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. pp. 156–175.
- Brave Heart-Jordan M.Y.H. (1998) *The return to the sacred path: Healing from historical trauma and historical unresolved grief among the Lakota*. Smith College Studies in Social Work.
- Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders*. Geneva: World Health Organization; 2024. Licence: CC BY-NC-ND 3.0 IGO. P. 337–363. Available at: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375767/9789240077263-eng.pdf>
- Da Costa J.M. (1871) On irritable heart: a clinical study of a form of functional cardiac disorder and its consequences. *Am. J. M. Sc.* pp. 61–117. [https://doi.org/10.1016/0002-9343\(51\)90038-1](https://doi.org/10.1016/0002-9343(51)90038-1)
- Danieli Y. (Ed.) (1998) *International handbook of multigenerational legacies of trauma*. New York: Plenum Press.
- DeSalle R., Tattersall I. (2014) *The Brain. Big Bangs, Behaviors, and Beliefs*. Yale University Press.
- Erikson K. (1976) *Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood*. New York: Simon & Schuster.
- Foa E.B., Keane T.M., Friedman M.J. (2005) *Effektivnaya terapiya posttravmaticheskogo stressovogo rasstroistva* [Effective treatments for PTSD]. Moscow: «Kogito-Tsentr».
- Gessen M. (2023) How to Maintain Hope in an Age of Catastrophe. Interview with Robert Jay Lifton. *The New Yorker Interview*. November 12. Available at: <https://www.newyorker.com/news/the-new-yorker-interview/how-to-maintain-hope-in-an-age-of-catastrophe>.
- Glebova T., Knudson-Martin C. eds. (2023) *Sociocultural Trauma and Well-Being in Eastern European Family Therapy*. AFTA Springer Briefs in Family Therapy.
- Gronskiy A.V. (2021) Kognitivno-povedencheskie ustanovki, sformirovannye pod vlianiem travmy politicheskikh repressii, i ikh semeinoe nasledovanie [Cognitive-behavioral attitudes formed by trauma of political repression and their family inheritance]. *Psikhologiya i psikhoterapiya sem'i*. 3. DOI 10.24412/2587-6783-2021-10019
- Haslam N. (2016) Concept Creep: Psychology's Expanding Concepts of Harm and Pathology. *Psychological Inquiry*. 27. pp. 1–17.

- Herman J. (2021) *Trauma i itselenie. Posledstviia nasiliia – ot ab'iuza do politicheskogo terrora* [Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to Political Terror]. Moscow: Eksmo.
- Hinton D.E., Good B.J. (Ed.) (2016) *Culture and PTSD: Trauma in Global and Historical Perspective*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Hinton D.E., Good D.J. (2016) The Culturally Sensitive Assessment of Trauma: Eleven Analytic Perspectives, a Typology of Errors, and the Multiplex Models of Distress Generation. In: Hinton D.E., Good D.J. (Ed.) *Culture and PTSD Trauma in Global and Historical Perspective*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. pp. 50–113.
- Hoyt T. (2023) Moral Injury. Wrestling with Definitions and Conceptual Drift. *Æther: A Journal of Strategic Airpower & Spacepower*. Vol. 2, no. 3. Available at: https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ÆtherJournal/Journals/Volume-2_Number-3/Hoyt.pdf
- Kadyrov R.V. (2012) *Posttravmaticheskoe stressovoe rasstroistvo (PTSD): sostoianie problemy, psikhodiagnostika i psikhologicheskoe pomoshch'* [Post-traumatic stress disorder (PTSD): the state of the problem, psychodiagnostics and psychological assistance]. St. Petersburg: Rech'.
- Karaiani A.G. (2024) Pokolenie SVO — psikhologicheskii aktiv sozidaniia budushchego Rossii. Doklad na 18-m Sankt-Peterburgskom sammite psikhologov v SPB, 2-5 iunია 2024 [Generation SVO — a psychological asset for creating the future of Russia. Report at the 18th St. Petersburg Summit of Psychologists in St. Petersburg, June 2-5, 2024]. *Psikhologicheskaiia gazeta*. 22.08.2024. Available at: <https://www.psy.su/feed/12504/>
- Karaiani A.G., Syromiatnikov I.V. (2006) *Prikladnaia voennaia psikhologiiia* [Applied Military Psychology]. Moscow.
- Karaiani A.G., Volobueva Iu.M. (2007) Voennaia psikhologiiia kak oblast' spetsial'nogo nauchnogo znaniia i praktiki [Military psychology as a field of special scientific knowledge and practice]. *Vestn. Mosk. Unta. Ser. 14. Psikhologiiia*. 4. pp. 20–33.
- Karaiani A.G., Volobueva Iu.M., Dubiaga V.F. (2007) *Sotsial'no-psikhologicheskaiia integratsiia v rossiiskoe obshchestvo invalidov boevykh deistvii* [Social and psychological integration of disabled combat veterans into Russian society]. Moscow.
- Kempe C.H., Silverman F.N., Steele B.F., Droegemueller W., Silver H.K. (1962) The Battered-Child Syndrome. *JAMA*. 181(1). pp. 17–24.
- Kriukov E.V., Shamrei V.K., Marchenko A.A. (2025) Sovremennye predstavleniia o posttravmaticheskom stressovom rasstroistve [Modern concepts of post-traumatic stress disorder]. In: Kriukov E.V. (red.) *Meditsinskaia rehabilitatsiia kombatanov s Posttravmaticheskim stressovym rasstroistvom* [Medical rehabilitation of combatants with post-traumatic stress disorder]. Moscow: GEOTAR-Media. pp. 11–36.
- Kue Young T., Revich B., Soininen L. (2015) Suicide in Circumpolar regions. *Suicidologia*. no. 3 (20). Vol. 6. pp. 23–30. Available at: <http://psychiatr.ru/download/2362?view=1&name=Сун%>
- Larskikh S.V., Larskikh M.V., Mikhan O.Iu., Potapova O.N., Zhelezniakov M.A. (2023) Issledovanie effektivnosti mezhdistseplinarnoi meditsinskoi pomoshchi kombatanam s PTSR [A study of the effectiveness of interdisciplinary medical care for combatants with PTSD]. *Meditsinskaia psikhologiiia v Rossii: setevoi nauch. zhurn*. Vol. 15, no. 4. pp. 3. Available at: http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2023_4_81/nomer03.php
- Lazarus R. (1970) Teoriia stressa i psikhofiziologicheskie issledovaniia [Stress Theory and Psychophysiological Research]. In: *Emotsional'nyi stress* [Emotional stress]. Ed. by L. Levi. Leningrad: Meditsina.
- Lee J., Wachholtz A., Choi K.-H. (2014) A Review of the Korean Cultural Syndrome Hwa-Byung: Suggestions for Theory and Intervention. *Asia T'aep'yongyang sangdam yon'gu*. 4(1). 49. <https://doi.org/10.18401/2014.4.1.4>
- Lifton J.R. (1973) *Home from the War. Vietnam Veterans: Neither Victims nor Executioners*. Simon & Schuster.

- Lifton J.R. (1991) *Death in Life: Survivors of Hiroshima*. The University of North Carolina Press.
- Litz B.T. et al. (2022) Defining and Assessing the Syndrome of Moral Injury: Initial Findings of the Moral Injury Outcome Scale Consortium. *Frontiers in Psychiatry*. 13. doi: 10.3389/fpsyt.2022.923928
- Litz B.T., Kerig P.K. (2019) Introduction to the Special Issue on Moral Injury: Conceptual Challenges, Methodological Issues, and Clinical Applications. *Journal of Traumatic Stress*. Vol. 32, no. 3. pp. 341–349. DOI: 10.1002/jts.22405
- Litz B.T., Stein N., Delaney E., Lebowitz L., Nash W.P., Silva C., Maguen S. (2009) Moral Injury and Moral Repair in War Veterans: A Preliminary Model and Intervention Strategy. *Clinical Psychology Review*. Vol. 29, no. 8. pp. 695–706. DOI: 10.1016/j.cpr.2009.07.003
- Liubov E.B., Sumarokov Iu.A., Konoplenko E.R. (2015) Zhiznestoikost' i faktory riska suitsidal'nogo povedeniia korennykh malochislennykh narodov Severa Rossii [Resilience and risk factors for suicidal behavior of indigenous peoples of the Russian North]. *Suitsidologiya*. no. 3 (20), Vol. 6. pp. 23–30.
- Lopez M.A. (2022) Is it Time to Give Up the Concept of Collective Trauma? On the Need for New (Old) Lexicons to Frame Social Suffering. *Quaderns de filosofia*. Vol. IX. núm. 1. pp. 121–145.
- Major Raymond Sobel. Medical Corps, Army of the United States Anxiety-Depressive Reactions After Prolonged Combat Experience – the "Old Sergeant Syndrome". In: *Annual Report the Surgeon General United States Army. Section II Psychiatric Disorders of Combat*. Fiscal Year 1961. Office of the Surgeon General Department of the Army, Washington, D.C.
- McNally R.J. (2004) Conceptual Problems with the DSM-IV Criteria for Posttraumatic Stress Disorder. In: *Posttraumatic Stress Disorder: Issues and Controversies*. Edited by G.M. Rosen. pp. 1–14. John Wiley & Sons, Ltd. Available at: <https://catalogimages.wiley.com/images/db/pdf/047086284X.excerpt.pdf>
- McNally R.J. (2016) Is PTSD a Transhistorical Phenomenon. In: Hinton D.E., Good B.J. (Ed.) *Culture and PTSD Trauma in Global and Historical Perspective*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. pp. 117–134.
- Menakem R. (2017) *My Grandmother's Hands: Racialized Trauma and the Pathway to Mending Our Hearts and Bodies*. Central Recovery Press.
- Miskova E.V. (1999) Stoibishche-na-nefti i natsional'nyi poselok: zhizn' semei lesnykh nentsev i vostochnykh khantov v raionakh razrabatyvaemykh neftiannykh mestorozhdenii [Oil camp and national settlement: life of forest Nenets and eastern Khanty families in oil fields]. In: *Obychnoe pravo i pravovoi pliuralizm: (materialy XI Mezhdunar. kongr. po obychnomu pravu i pravovomu pliuralizmu, avg. 1997 g., Moskva): [sb. st.]* [Customary Law and Legal Pluralism: (Proceedings of the XI International Congress on Customary Law and Legal Pluralism, August 1997, Moscow): [collection of articles]] / ed. by N.I. Novikova, V.A. Tishkov. Moscow. pp. 239–242.
- Miskova E.V. (2022) Travma [Trauma]. In: *Slozhnye chuvstva Razgovornik novoi real'nosti: ot ab"iuza do toksichnosti* [Complex Feelings. A Phrasebook of the New Reality: From Abuse to Toxicity]. Ed. by P. Aronson. Moscow: Individuum. pp. 230–238.
- Miskova E. (2023) Collective Trauma and Retraumatization in Russia: A View from the Inside. In: Glebova T. and Knudson-Martin C. (Eds.) *Sociocultural Trauma and Well-Being in Eastern European Family Therapy*. AFTA Springer Briefs in Family Therapy.
- Mota N.P., Tsai J., Sareen J., Marx B.P., Wisco B.E., Harpaz-Rotem I., Southwick S.M., Krystal J.H., Pietrzak R.H. (2016) The Burden of Subclinical PTSD (According to DSM-5 Criteria) Among US Veterans / Translation: Krasavin G.A. Editing: PhD Zakharova N.V. *World Psychiatry*. no. 15:2. pp. 185–186. Available at: https://psychiatr.ru/files/magazines/2016_06_wpa_1057.pdf
- Myers C.S. (1915) A contribution to the study of shell shock: Being an account of three cases of loss of memory, vision, smell, and taste, admitted into the Dutchess of Westminster's

- War Hospital. *The Lancet*, February 13, pp. 316–320. Available at: <https://archive.org/details/b30621264>
- Naylor A. (2021) *Russia, Explained: Siberian Indigenous Population Halves Amid Suicide Epidemic. A suicide epidemic is ravaging indigenous nations in Siberia*. April 8. Available at: <https://cepa.org/article/russia-explained-siberian-indigenous-population-halves-amid-suicide-epidemic/>
- Novikova N.I. (2012) Kommunikativnye praktiki korennykh narodov v global'nom mire [Communicative practices of indigenous peoples in a global world]. In: *Sibirskie ugry v ozherel'e subarkticheskikh kul'tur: obshchee i nepovtorimoe* [Siberian Ugrians in a necklace of subarctic cultures: common and unique] / ed. by Ia.A. Iakovlev. Khanty-Mansiisk; Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta. pp. 112–125.
- Osadchaia E.V., Tataeva R.K. (2024) Stepen' vyrazhennosti posttravmaticheskikh stressovykh narushenii u veteranov Afganskoi voyny [The severity of post-traumatic stress disorder in Afghan war veterans]. *Psikhologiya cheloveka v obrazovanii*. Vol. 6, no. 1. <https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-1-92-99>
- Ozeretskovskii A.I. (1891) *Ob isterii v voiskakh* [About hysteria in the troops]. Moscow.
- Posttravmaticheskoe stressovoe rasstroistvo v paradigme dokazatel'noi meditsiny: patogenez, klinika, diagnostika i terapiia: metodicheskie rekomendatsii* [Posttraumatic stress disorder in the paradigm of evidence-based medicine: pathogenesis, clinical features, diagnostics and therapy: methodological recommendations] / authors-compilers: A.V. Vasil'eva, T.A. Karavaeva, N.G. Neznanov, K.A. Idrisov, D.V. Kovlen, N.G. Ponomarenko, D.S. Radionov, D.A. Starunskaya, Iu.S. Shoigu. SPb.NMITS PN im. V.M. Bekhtereva, 2022.
- Proctor H. (2024) Psychic Numbing. *Boston Review*, April 18. Available at: <https://www.bostonreview.net/articles/psychic-numbing/>
- Psych Concepts Creep into our Everyday Experiences: An Interview with Nicholas Haslam*. By Ayurdhi Dhar, Ph.D. April 13, 2022. Available at: <https://www.madinamerica.com/2022/04/psych-concepts-creep-everyday-experiences-interview-nicholas-haslam/>
- Regier D.A., Kuhl E.A., Kupfer D.J. (2013) DSM-5: Classification and Criteria Changes / Translation: Pavlichenko A.V. Editing: Bukhovets I.I. *World Psychiatry*. Vol. 12:2. pp. 88–94. Available at: https://psychiatr.ru/files/magazines/2013_06_wpa_648.pdf
- Risk and Protective Factors for Suicide among Inuit in Canada. A Summary of Statistics Related to Suicide and Mental Health*. Canadian Centre on Substance Use and Addiction, 2021. Available at: https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-10/CCSA-Risk-Protective-Factors-Suicide-Mental-Health-among-Inuit-Report-2021-en_0.pdf
- Saint-Marten M.L. (1999) Running Amok: A Modern Perspective on a Culture-Bound Syndrome. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry*. 1(3). pp. 66–70. Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC181064/>
- Schincariol A., Orrù G., Otgaar H., Sartori G., Scarpazza C. (2024) Posttraumatic stress disorder (PTSD) prevalence: an umbrella review. *Psychological Medicine*. 54. pp. 4021–4034. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0033291724002319>
- Selye H. (2000) *Ocherki ob adaptatsionnom syndrome* [Essays on Adaptation Syndrome]. Moscow: Medgiz.
- Shay J. (1994) *Achilles in Vietnam: Combat Trauma and the Undoing of Character*. New York: Scribner.
- Shay J. (2012) Moral Injury. *Intertexts*. Vol. 16, no. 1. DOI: <https://doi.org/10.1353/itx.2012.0000>
- Sobel R. (1947) The "Old Sergeant" Syndrome. *Psychiatry*. 10 (3). pp. 315–321.
- Summerfield D. (2001) The Invention of Post-Traumatic Stress Disorder and the Social Usefulness of a Psychiatric Category. *British Medical Journal* 322:95-98.
- Tarabrina N., Main N. (2013) Fenomen mezhpokolencheskoi peredachi psikhicheskoi travmy (po materialam zarubezhnoi literatury) [Phenomenon of Intergenerational (Transgenerational) Transmission of Mental Traumatization (Analytical Review of International Studies)]. *Konsul'tativnaia psikhologiya i psikhoterapiia*. 3. pp. 96–119.

- Van der Kolk B. (2020) *Telo pomnit vse* [The body keeps the score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma]. Moscow: Bombora.
- Van der Zeijst M., Veling W., Makhathini E.M., Susser E., Burns J.K., Hoek H.W., Susser I. (2021) Ancestral calling, traditional health practitioner training and mental illness: An ethnographic study from rural KwaZulu-Natal, South Africa. *Transcultural psychiatry*. 58 (4). pp. 471–485. <https://doi.org/10.1177/1363461520909615>
- Vasil'eva A.V. (2022) Posttravmaticheskoe stressovoe rasstroistvo v tsentre mezhdunarodnykh issledovaniy: ot «soldatskogo serdtsa» k MKB-11 [Post-Traumatic Stress Disorder in The Focus of International Research: From Soldier Heart to ICD-11]. *Zhurnal neurologii i psikiatrii im. S.S. Korsakova*. 122(10). pp. 72–81. <https://doi.org/10.17116/jnevro202212210172>
- Weiss N.H., Schick M.R., Reyes M.E., Thomas E.D., Tobar-Santamaria A., Contractor A.A. (2020) Ethnic-Racial Identity and Posttraumatic Stress Disorder: The Role of Emotional Avoidance among Trauma-Exposed Community Individuals. *Psychol Trauma*. 13(1). pp. 35–43. doi: 10.1037/tra0000974
- Young A. (1995) *The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Young A., Breslau N. (2016) What is “PTSD”? The Heterogeneity Thesis. In: Hinton D.E., Good B.J. (Ed.) *Culture and PTSD Trauma in Global and Historical Perspective*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. pp. 136–154.
- Zerach G., Levin Y., Aloni R., Solomon Z. (2017) Intergenerational Transmission of Captivity Trauma and Posttraumatic Stress Symptoms: A Twenty Three-Year Longitudinal Triadic Study. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*. Vol. 9. no. S1. pp. 114–121.

Сведения об авторе:

МИСЬКОВА Елена Вячеславовна – кандидат исторических наук, магистр психологии, старший научный сотрудник Центра медицинской антропологии, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва, Россия); практикующий психолог, системный семейный психотерапевт (Москва, Россия). E-mail: milenk2@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Elena V. Miskova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); practicing psychologist, systemic family psychotherapist (Moscow, Russian Federation). E-mail: milenk2@gmail.com

The author declares no conflict of interests.

*Статья поступила в редакцию 23 июля 2025;
принята к публикации 4 сентября 2025.*

*The article was submitted 23.07.2025;
accepted for publication 04.09.2025.*

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия
УДК 93/94
doi: 10.17223/2312461X/49/14

Отражения эпох в истории Восточноазиатского общества

Spang Christian W., Wippich Rolf-Harald, Saaler Sven. Die OAG 1873–1979. Die Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. München: Iudicium Verlag GmbH, 2024. 606 S. ISBN 978-3-86205-133-5



Для цитирования: Любимова Н.С. Отражения эпох в истории Восточноазиатского общества (Рец. на: Spang Christian W., Wippich Rolf-Harald, Saaler Sven. Die OAG 1873-1979. Die Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. München: Iudicium Verlag GmbH, 2024. 606 S. ISBN 978-3-86205-133-5) // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 307–315. doi: 10.17223/2312461X/49/14

For citation: Liubimova, N.S. (2025) Reflections of Eras in the History of East Asian Society (Review of Spang Christian W., Wippich Rolf-Harald, Saaler Sven. Die OAG 1873-1979. Die Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. München: Iudicium Verlag GmbH, 2024. 606 S. ISBN 978-3-86205-133-5). *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 307–315 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/14

Представленная в этой рецензии книга является примером того, как растет интерес к дисциплинарной и институциональной истории в социогуманитарных науках и как развиваются и углубляются подходы к ней.

Монография Кристиана В. Шпанга, Рольфа-Харальда Виппиха и Свена Заалера посвящена истории одного немецкого научного общества, основанного в 1873 г., – Немецкого общества естествознания и этнологии Восточной Азии, также известного как Восточноазиатское общество (ВАО; *Ostasiatische Gesellschaft* – OAG). Оно было образовано в Токио (подобно британскому Азиатскому обществу Японии, появившемуся на несколько месяцев раньше) и служило как целям консолидации немецких экспатов в Японии, так и своего рода выражением немецких империалистических колониальных амбиций. Одновременно оно стремилось сохранять строгий дух немецкой академии, позиционируя себя как чисто научную организацию. Если не считать двух кратких периодов после Первой и Второй мировых войн, когда Общество приостанавливало свою деятельность, а то и вовсе было распущено, оно функционирует уже полтора века.

Обсуждаемая книга – далеко не первая работа, посвященная немцам в Японии и ВАО, в частности. Члены этого общества регулярно обращались к собственной истории и по случаю «круглых» юбилеев выпускали соответствующие очерки. В 1982 г. вышла книга «История ВАО. С 1873 до 1980», которая объединила под одной обложкой исторический очерк об обществе, начатый Карлом фон Веегманом (председатель в 1951–1957 гг.) к 85-летию в 1958 г. и завершенный Куртом Майснером (председатель в 1921 и в 1932–1945/48 гг.) после внезапной смерти Веегмана, и очерк, посвященный последующим 20 годам жизни ВАО, написанный Робертом Шинцингером (председатель в 1957–1969 гг.). Райнер Линдберг (председатель в 1980–1986 гг.) в предисловии к этому изданию замечал, что ВАО уникально, и его история может представлять интерес не только для тех, кто имеет к нему отношение, но и для широкой публики. Уникальность общества он видел в следующем: 1) большая часть его членов – немцы, но существует оно в рамках японского права; 2) это частное общество, не получающее дотаций от правительств, но занимающееся культурной внешней политикой, которая обычно рассматривается как задача государства; 3) оно «гармонично объединяет культуру и коммерцию: это научно-культурное общество, в котором, к его выгоде, с самого начала большинство составляли коммерсанты» (Weegmann, Schinzingler 1982: 5). Кстати, текущая председательница ВАО Карин Ямагути в предисловии к рецензируемой книге также отметила эти особенности общества, подчеркнув, что полная финансовая независимость общества от немецкого правительства (по крайней мере с 1904 г., за исключением нацистского периода) является важной его ценностью (S. 12).

Рецензируемая монография призвана переработать и углубить историю ВАО в более беспристрастном и научном духе. Все три автора

предыдущей книги (1982) были в разное время председателями общества, и более того – сами описывали годы собственного руководства. Даже если отбросить то обстоятельство, что эти исторические труды местами напоминали отчет о деятельности главы организации, отсутствие исторической дистанции неизбежно наложило на них свой отпечаток. Шпанг и его соавторы отмечают этот недостаток «критической дистанции» в труде 1982 г., приводя в пример скудное и явно неполное описание нацистского периода жизни общества. Так, у Веегмана (и Майснера) периоду с 1933 по 1945 г. было посвящено менее двух страниц (S. 14). Надо добавить, что и Шинцингер в одной из своих статей, пусть и рассказал гораздо больше о жизни ВАО в нацистский период и даже констатировал, что множество его членов вступили в НСДАП, расставил акценты таким образом, что на первом плане оказалась успешная защита «научного характера» востоковедческого общества перед лицом требований больше писать о Германии и германцах, а также о всяческих потерях, понесенных ВАО в результате взаимодействия с другими немецкими (нацистскими) структурами в Японии (Schinzinger 1974: 91–93).

Шпанг и соавторы сообщают, что необходимость более объективной и полной истории общества осознавалась еще в 1990-е гг., а в начале нулевых началась работа в этом направлении, в том числе в рамках созданного в 2003 г. Комитета по истории ВАО, который возглавил Шпанг. Его члены искали источники в немецких и японских архивах и пытались восполнить пробелы в истории общества (S. 15), и финальным результатом их работы как раз и стала монография «Die OAG 1873–1979. Die Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens». Шпанг, Виппих и Заалер – историки, много лет проработавшие в вузах Японии; у каждого из них в сфере научных интересов важное место занимает тема немецко-японских отношений и международной политики в XIX–XX вв. К написанию новой истории ВАО они подошли со всей профессиональной скрупулезностью.

Как видно уже из названия книги, авторы не стали расширять хронологические рамки исследования и доводить его до современности, как обычно делали их предшественники, остановившись на 1979 г. (судя по всему, этот год выбран по причине переезда ВАО в новое собственное здание, в котором оно работает и по сей день). Такое решение абсолютно оправдано, если принять во внимание уже упомянутую критику предыдущей книги по истории ВАО, – это позволило создать ту самую историческую дистанцию, необходимую для беспристрастного критического осмысления. Авторы упоминают, что при работе над книгой собирали интервью у старших членов общества, которые могли что-то рассказать о работе ВАО до 1979 г., однако таких членов оставалось уже немного и их рассказы привнесли не так много деталей в понимание жизни ВАО

исследуемого периода (S. 16). Кроме того, можно подозревать, что нежелание отодвигать верхнюю хронологическую границу было обусловлено и специализацией авторов: все трое в прочей исследовательской деятельности сосредотачиваются на второй половине XIX в. и/или первой половине XX в. Интерес авторов к более ранним периодам замечен и по тексту книги: описание последнего, послевоенного, 35-летнего периода существования ВАО несколько компактнее по объему, чем повествование о предыдущих эпохах, хотя как раз здесь корпус источников должен быть наиболее полон, поскольку основная утрата документов связана с гибелью довоенного архива ВАО в пожаре в 1945 г. Также в последних разделах несколько упрощается структура текста и сокращается спектр ракурсов и контекстов, в которых рассматривается история общества. Тем не менее эти изменения малозаметны, текст книги представляется ровным.

На первый взгляд, монография выстроена по простому хронологическому принципу. Введение дает широкий исторический контекст, затрагивая как состояние межгосударственных отношений на момент образования ВАО в 1873 г., так и особенности немецкого научного мира в тот период, а далее книга делится на главы по периодам: до Первой мировой войны, межвоенное время, нацистский период и послевоенный. Тем не менее в этой работе можно выделить несколько сквозных сюжетов.

Разумеется, основой повествования является собственно история общества: его внутренняя жизнь изложена максимально подробно, все изменения в концепции развития и политике ВАО пристально рассмотрены и проиллюстрированы цитатами не только из официальных документов, но и из различных источников личного происхождения. Как уже было упомянуто, финансовая независимость – предмет гордости ВАО, вероятно, поэтому значительное внимание уделено материальной стороне его жизни: как сменяли друг друга «тучные» и «скудные» года, где, как и на каких основаниях располагалось общество, как оно копило средства, планировало и строило собственные здания. Тесно связана с финансовым вопросом тема численности членов ВАО; ее динамика прослежена на протяжении всего исследуемого периода насколько возможно точно, причины изменений этой динамики получают развернутое объяснение. Жизнь общества была во многом связана с его библиотекой, поэтому о ее судьбе также говорится немало.

Важным сюжетом являются взаимоотношения ВАО с другими общественными и научными организациями внутри и за пределами Японии. Главным партнером и одновременно конкурентом для ВАО было британское Азиатское общество Японии – их партнерство пережило две мировые войны. Так, например, с приобретения ВАО собственного здания и до пожара 1945 г. библиотека Азиатского общества хранилась в ВАО. Во время Второй мировой войны Веегман, помимо деятельности в ВАО, являвшийся одновременно функционером НСДАП и членом Совета

Азиатского общества, фактически спас его от полного разгрома (S. 366), и после войны ссылаясь на долгое сотрудничество общества как на аргумент о чисто научном характере ВАО, чтобы получить разрешение на его восстановление (S. 382–383). Также в 1950-е гг. существовали планы постройки совместного здания (S. 386) и пр. Конкуренция между этими двумя обществами также имела непреходящее мотивационное значение: в 1873 г. немцы организовали собственное общество всего на несколько месяцев позже британцев, а «История ВАО» 1982 г. была подготовлена и опубликована, потому что «после появления истории Азиатского общества в 1978 году этот вопрос стал казаться все более насущным» (S. 14). Прослеживаются и взаимосвязи ВАО с другими немецкими обществами в Японии.

Отдельный сюжет – отделения ВАО в других регионах Азии и в Германии. Хотя изначально предполагалось, что деятельность общества охватит собой всю Восточную Азию, а различные научные материалы не о Японии публиковались в его журнале с самого начала, ее активное распространение на другие страны региона в основном пришлось на 1930-е гг. (Китай, Батавия (Джакарта) и Манчжурия). Немецкая же часть ВАО понесла в это же время тяжелый урон: в 1925-м было организовано новое отделение в Лейпциге (третье после Берлина и Гамбурга), и к началу 1930-х гг. оно стало крупнейшим (и самым активным) в Германии (100 человек). Однако в 1933–1934 гг. председатель ВАО Курт Майснер побывал в Германии и перестроил немецкие структуры ВАО; после этой реорганизации упоминания о лейпцигской группе в печатных органах общества исчезли, хотя официально о ее роспуске в них не сообщалось. Причиной, скорее всего, послужило еврейское происхождение руководителей и основных организаторов этой группы – супругов Берлинер. Результатом усилий Майснера стало сокращение активности ВАО в Германии (S. 202–206, 256–261). После войны большое количество живших в Японии немцев, в первую очередь аффилированных с нацистскими структурами, были высланы из Японии американской администрацией. Среди высланных оказались многие члены ВАО, в том числе Майснер. В результате в 1950-е гг. в Германии открылись новые, связанные с обществом структуры в Гамбурге и Тюбингене (S. 390–393).

Еще одним сквозным сюжетом стала история взаимодействия Восточноазиатского общества со своим японским окружением, в первую очередь участие японцев в деятельности общества. Изначально принимать японцев в немецкое научное общество не предполагалось, хотя они могли присутствовать на научных мероприятиях и подавать материалы в Известия ВАО (*Mitteilungen der OAG*) – первый и основной печатный орган общества. Уже на первом заседании присутствовал японский гость. Тем не менее участие гостей-иностранцев в жизни общества было строго ограничено – они могли приглашаться не чаще двух раз в год.

Первый японский член в ВАО появился только в 1885 г., причем по необходимости: общество собиралось купить собственное здание, но регистрация недвижимости могла состояться только на японского подданного (S. 87–90). За первые 25 лет существования ВАО в него вступили всего 6 японцев, и лишь в XX в. их число начало медленно расти (S. 99). Наличие японцев в составе общества стало одним из факторов, которые помогли ему сохраниться в годы Первой мировой войны, когда прочие немецкие объединения в Японии были принудительно закрыты (S. 160). К 20-м гг. XX в. для японских ученых ВАО несколько потеряло свою притягательность в связи с развитием собственно японской академической среды (S. 194). И хотя в юбилейном издании 1933 г. участвовало целых 6 японских авторов – много по меркам ВАО, – этот год стал переломным. Впоследствии японские авторы почти не публиковались в изданиях ВАО, а некоторые вовсе вышли из состава общества в 1933–1934 гг. Одновременно авторы книги отмечают, что с 1933 по 1945 г. ВАО не дало никому из японцев почетное членство (S. 216–217). Эта негативная тенденция, безусловно, была связана с утверждением нацистской расовой идеологии. В период послевоенного восстановления общества ситуация снова резко переломилась: уже в 1952 г. 26 японцев составляли около 20% членов ВАО, к 1962 г. в Токио в ВАО состояло уже 106 японцев, а с 1970-х гг. японские члены стали входить и в различные комитеты общества (S. 422–424).

Разумеется, в книге рассказывается и о собственно научной деятельности общества, которая по большей части заключалась в регулярных докладах на заседаниях общества и публикации научных работ его членов. Однако она освещена преимущественно с организационной стороны, хотя и это само по себе имеет значительную ценность для истории науки. Достаточно подробно изложена история музейного проекта ВАО, который закончился неудачей: в первые пять лет существования общества одной из его целей было создание «научного музея» в Японии, его члены стали собирать и передавать в ведение общества экспонаты и т.п. Однако к 1878 г. стало понятно, что ВАО не обладает необходимыми ресурсами для реализации такого проекта, и от него отказались, а уже собранную коллекцию передали в музей Лейпцига (S. 48–64). Также уделено внимание содержательным изменениям в выступлениях и публикациях ВАО в нацистский период: об изначальном запрете на политические выступления тогда речи уже не шло, и помимо сообщений о Японии заседающие нередко заслушивали идеологически инспирированные доклады о Германии. Несколько иначе обстояло дело с публикациями: по крайней мере, они в основном были о Японии; хотя и в публикациях прослеживалось проникновение националистической идеологии, как немецкой, так и японской – так, был переведен и опубликован пропагандистский памфлет японского военного ведомства (S. 336–343). В целом же с

точки зрения содержания труды общества комментируются редко, что, впрочем, естественно, ведь спектр тем, которыми занималось ВАО, дисциплинарно не был никак ограничен, и в рамках труда, нацеленного на историю организации, а не идей, разумно ограничиться лишь констатацией самых крупных изменений в характере и направлении исследований.

Стоит отметить, что эта книга может служить энциклопедией немецких японистов конца XIX – первой половины XX в., ведь все крупнейшие исследователи того периода, в том числе те, кто возглавлял в Германии первые кафедры и институты, посвященные изучению Японии, бывали в Японии, состояли в ВАО и публиковались в его изданиях. Возможно, эта монография не скажет многого об их работах, но зато даст отличное понимание контекста, в котором они писались.

История ВАО сама по себе интересна – столь подробно нарисованная картина жизни научного общества в широком историческом контексте предлагает непривычный ракурс известных исторических событий. Общество – независимая организация, поэтому в нем сталкивались самые разные люди. Некоторые из конфликтов той или иной эпохи разыгрывались внутри него, чему можно видеть свидетельства в личных документах, но при этом могли проявляться в его внешней деятельности по-разному. Так, например, предубеждения против «желтой расы» находили прямое отражение в ранней жизни ВАО: японцев поначалу держали исключительно на положении учеников и не позволяли присоединиться к «настоящим» европейским ученым. Формально это изменилось, только когда самой организации понадобились соратники и покровители в японской элите и интеллигенции, а позже торжество нацизма возобновило этот раскол, причем сделало его еще глубже – уже сами японцы не соглашались мириться с предписанной им второстепенной ролью. За отказом (пусть и под давлением) от любых националистических идей (с обеих сторон) последовала готовность сотрудничать всех со всеми. С другой стороны, антисемитизм, как отмечают авторы книги, был характерен для многих немцев в ВАО и в XIX в., но судя по всему, не выливался ни в открытые противостояния, ни в «политики» обществ; по крайней мере открытой дискриминации исследователей еврейского происхождения в ВАО по имеющимся документам проследить не удалось. Зато в 1933 г. обнаружилось, что многие члены ВАО весьма симпатизируют идеям Гитлера, и общество подверглось «чистке» еще до того, как в Германии вступили в силу расовые законы. Интерес представляет в первую очередь то, что история ВАО иллюстрирует как подобные обеспеченные идеологиями конфликты, так и давление политических событий, таких как изменения во внешней политике государств, войны и поражения в них, практически на частном уровне, демонстрирует множество личных судеб и стратегий, порой совершенно неочевидных выборов. Так, в 1900 г. в ВАО вступил японский князь Коноэ Ацумаро; в свое

время он учился в Германии, но известен он был своими паназиатскими идеями и призывами к «желтой расе» сплотиться и дать отпор «белым», что не помешало ему быть членом немецкого научного общества до самой смерти в 1904 г. (S. 98). Другой пример – Мартин Нетке, фотограф и преподаватель немецкого языка; он и его жена после 1933 г. не только потеряли свои преподавательские места, но и были вынуждены закрыть свой фотосалон и перебивались частными уроками. ВАО также отстранилась от них, однако в 1950-х гг. Нетке занимался восстановлением общества наряду с Шинцингером и Веегманом, бывшим членом партии (S. 287–288). Эта история, сплетенная из множества личных судеб, многие из которых не забывают подсвечивать авторы, делает картину прошлого более сложной и выпуклой, и уже только этим может быть интересна читателю.

Интересна эта монография и в своем основном качестве – как история одной организации, которая являлась порождением академического мира XIX столетия, но смогла сохраниться на протяжении полутора веков, несмотря ни на исторические потрясения, ни на изменения самого научного мира. В XIX в. подобные общества были важными акторами в научной жизни; они могли дать пропуск в большую науку тем, кто по тем или иным причинам не делал карьеру в академии, и одновременно именно в таких обществах нередко оформлялись новые дисциплины (S. 23). ВАО началось как такое общество, но впоследствии не раз корректировало свои цели и задачи, сообразно эпохе, сохраняя при этом науку как основное направление деятельности. ВАО конца XIX – начала XX в. было центром изучения Японии, местом, где встречались и представляли свои результаты исследователи, ставшие отцами немецкой японистики. Упор на изучение Восточной Азии позволил сохранить научный характер общества даже в те годы, когда многие его члены сами были готовы подчинить его цели пропаганде нацизма. Это позволило позднее апеллировать к американской оккупационной администрации и не только восстановить общество, но и получить материальное возмещение за конфискованное после войны имущество. Научный характер общества также позволял преодолевать обусловленные идеологиями и предрассудками противоречия между немцами и японцами на протяжении десятилетий. Теряя позиции в качестве одного из центров европейской японистики, ВАО наращивало посредническое значение между немецким и японским обществами, и при этом ему удалось сохранить академичность и не превратиться в исключительно культурно-просветительскую организацию, доказательством чего служит обсуждаемый труд – великолепный образец исторической работы. Иными словами, эта книга – история о любви к научному познанию мира разных по проис-

хождению, взглядам и роду занятий людей, которую они проносили через десятилетия и передавали через поколения, и которая объединяет сотни людей и поныне.

Наталья Сергеевна Любимова

References

Weegmann C., Schinzinger R. (1982) *Die Geschichte der OAG. 1873 bis 1980*. Tokyo: OAG.
Schinzinger R. (1974) Die Beziehungen zwischen OAG und Asiatic Society in Hundert Jahren.
In: *MOAG. Sechs Vorträge im Jubiläumsjahr 1972-73*. Tokyo, pp. 82–97.

Сведения об авторе:

ЛЮБИМОВА Наталья Сергеевна – младший научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия). E-mail: lyubimova@iea.ras.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Nataliia S. Liubimova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: lyubimova@iea.ras.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 15 мая 2025 г.;
принята к публикации 30 июля 2025 г.*

*The article was submitted 15.05.2025;
accepted for publication 30.07.2025.*

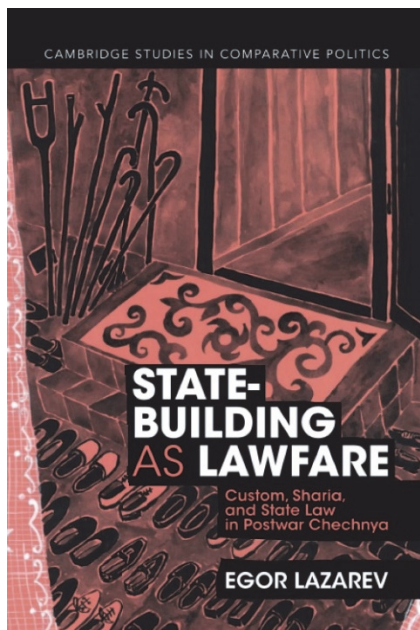
Рецензия

УДК 355.48:316.7

doi: 10.17223/2312461X/49/15

Право на выбор права

Lazarev Egor, State-building as lawfare: custom, sharia, and state law in postwar Chechnya. Cambridge studies in comparative politics. Cambridge University Press, 2023. 321 p., ISBN: 9781009245944



Для цитирования: Танайлова В.А. Право на выбор права (Рец. на: Lazarev Egor, State-building as lawfare: custom, sharia, and state law in postwar Chechnya. Cambridge studies in comparative politics. Cambridge University Press, 2023. 321 p., ISBN: 9781009245944) // Сибирские исторические исследования. 2025. № 3. С. 316–322 doi: 10.17223/2312461X/49/15

For citation: Tanaylova, V.A. (2025) The Right to Choose the Right (Review of Lazarev Egor, State-building as lawfare: custom, sharia, and state law in postwar Chechnya. Cambridge studies in comparative politics. Cambridge University Press, 2023. 321 p., ISBN: 9781009245944). *Sibirskie Istoricheskie Issledovaniia – Siberian Historical Research*. 3. pp. 316–322 (In Russian). doi: 10.17223/2312461X/49/15

В 2023 г. в издательстве Кембриджского университета вышла книга «Государственное строительство как правовое противостояние: традиционное право, шариат и государственный закон в послевоенной Чечне». Автор ее, Егор Лазарев, является доцентом кафедры политических наук Йельского университета. До прихода в Йель он занимал должность ассистента профессора в Университете Торонто и был научным сотрудником Гарвардской академии международных и региональных

исследований. Научные интересы Лазарева сосредоточены вокруг права и государственного строительства на постсоветском пространстве. Его работы публиковались в таких журналах, как *World Politics*, *World Development*, *Political Science Research & Methods*. «Государственное строительство как правовое противостояние» – это первая книга Егора Лазарева, в основу которой положена его диссертация, защищенная в Колумбийском университете.

Вдохновением для рецензируемой работы, по словам самого автора, послужила книга Георгия Дерлугьяна «Тайный поклонник Бурдые на Кавказе». Работая над своим исследованием, автор обращался к советам и мнениям чеченских коллег: политологов Аббаза Осмаева и Марата Ильясова, историка Маирбека Ватчагаева, этнографа Саид-Магомеда Хасиева. Перечисленные в благодарностях исследователи, которые помогли автору в его работе и повлияли на его книгу, являются действительно признанными в международной академической среде первоклассными специалистами в своих областях – это Статис Каливас, Сара Кхан, российские исследователи Светлана Стародубровская и Евгений Варшавер и многие другие. К работам этих авторов я сама обращалась не раз в собственных исследованиях, посвященных роли памяти в политическом, социальном и военном конфликтах. Мы с коллегами также сотрудничали со всеми этими людьми в процессе работы над международным исследовательским проектом и написания собственной книги по его итогам. Но кажется, что все они как будто бы представляют одно направление исследовательской мысли относительно военного конфликта и его последствий, в частности конфликта в Чечне. Оно не является неверным, но оно, зачастую, игнорирует то, что оказывается на противоположной стороне исследовательского спектра. К этому вопросу я вернусь в конце рецензии.

Основная цель работы самим автором сформулирована очень емко, но просто, это, на мой взгляд, всегда говорит о том, что исследователь хорошо понимает свой материал и точно знает, что именно он хочет и может от него получить. По словам Лазарева, его работа «исследует использование государственных и негосударственных правовых систем как политиками, так и простыми людьми в послевоенной Чечне» (Lazarev 2023: i). Если говорить шире, то для исследования динамики взаимодействия разных правовых систем в условиях постконфликтного общества автор последовательно раскрывает двойственную природу этого процесса, где действия властей и стратегии граждан образуют сложную систему взаимосвязей. Со стороны правящей элиты можно увидеть сознательную поддержку альтернативных правовых институтов, которая позволяет одновременно обращаться к традиционным ценностям, ограничивать влияние федерального центра и интегрировать потенциально оппозиционные группы. Этот процесс сопровождается не

менее значимым встречным движением со стороны людей, когда наиболее уязвимые группы, вопреки ожиданиям, чаще обращаются именно к государственному правовым механизмам. Особое внимание Егор Лазарев уделяет гендерному измерению этих процессов – автор убедительно показывает, как разрушение традиционных социальных структур в ходе затяжного конфликта создало условия для правовой активизации женщин, что превращает их в неожиданных агентов государственного строительства. Такой подход позволяет переосмыслить традиционные представления о роли различных социальных групп в формировании правового пространства и механизмах легитимации власти в условиях правового плюрализма.

Лазарев предлагает свой взгляд на роль конфликта в процессах государственного строительства в Чечне, смещая акцент с классической модели Чарльза Тилли – «войны, создающей государства» (Tilly 1990, 2004), на анализ внутренних вооруженных противостояний. В его интерпретации сепаратистские конфликты становятся катализаторами переосмотра вложенного суверенитета и формирования конкурирующих проектов государственности. Такой подход раскрывает важное аналитическое преимущество: если правовой плюрализм отражает различные историко-культурные варианты существования права, то вооруженное противостояние выступает как «социальный шок», обнажающий скрытые механизмы взаимодействия индивидов, общества и власти в правовом поле. Автор рассматривает конфликт как продолжительный процесс радикального разрыва социальной ткани, последствия которого продолжают влиять на политические и правовые практики долгое время после прекращения насилия.

Теоретическая рамка исследования строится вокруг четырех взаимосвязанных элементов: правового плюрализма как отражения фрагментации социального контроля, концепции вложенного суверенитета как способа распределения власти, гендерного раскола как ключевой линии социального размежевания, и трансформационной роли вооруженных конфликтов. Развивая подход Джоэла Мигдала (Migdal 1988, 2001), Лазарев рассматривает социальный контроль как ключевую «валюту» политического взаимодействия, подчеркивая, что даже в современных централизованных государствах эта сфера остается предметом острой борьбы. Яркой иллюстрацией служат примеры из американской практики, где религиозные общины создают параллельные системы правового регулирования, охватывающие даже уголовные дела и финансовые споры. При этом чеченский кейс Лазарева раскрывает особенности правового плюрализма, характерные для обществ с сильными этническими, клановыми или религиозными структурами.

Автор сам признает определенную ограниченность выбранного им теоретического подхода, связанную, прежде всего, с недостаточным учетом исторической динамики государственности. Однако это не лишает данный подход эвристической ценности. Анализ микропроцессов, внимание к повседневным правовым практикам и «незначительным» на первый взгляд конфликтам позволяет по-новому взглянуть на механизмы формирования государственности в условиях правового плюрализма. Как подчеркивает исследователь, именно эти, казалось бы, частные случаи и повседневные стратегии часто оказываются ключом к пониманию масштабных политических трансформаций.

Исследование последовательно раскрывает механизмы правового плюрализма в контексте чеченского государственного строительства. В самом начале Лазарев задает концептуальную основу, сочетая теоретическую рамку анализа государственного строительства как формы правового противоборства с этнографической рефлексией о методологических и этических аспектах исследования чеченского поля. Затем автор предлагает историко-политический анализ эволюции правового плюрализма на протяжении трех ключевых периодов: имперско-советский этап, на котором политика центра определялась административными возможностями и идеологией; период де-факто независимости 1990-х, когда местные элиты использовали правовые системы как инструмент политического выживания; современная эпоха, где режим Кадырова стратегически использует обычное право и шариат для укрепления своей власти и автономии. И наконец, Лазарев переходит от макрополитики к микропрактикам, исследуя, как обычные люди, особенно женщины, взаимодействуют с альтернативными правовыми системами. Исследователь анализирует последствия военных конфликтов для правовых предпочтений населения, трансформацию гендерных ролей и парадоксальное усиление запроса на государственное право, как реакцию на социальные потрясения. В завершение своего исследования автор расширяет перспективу работы, помещая чеченский случай в сравнительный контекст постколониальных и постконфликтных обществ, одновременно предлагая новые теоретические подходы к пониманию права как инструмента господства и сопротивления.

Исследование Егора Лазарева основано на масштабной полевой работе, проведенной им в 2014–2016 гг. Я хочу отдельно остановиться на этом моменте, поскольку полевая работа в Чечне имеет свою специфику, тем более когда она связана с темой государственного строительства и касается политических стратегий и действий чеченских властей. Качество проведенной полевой работы напрямую связано с качеством дальнейшего аналитического исследования, результаты которого изложены в книге.

Лазарев провел семь полевых выездов в Чечню общей длительностью семь месяцев. География работы охватывает не только Грозный, но и другие населенные пункты Чечни, что позволило учесть региональные особенности и различия в пережитом опыте коллективного насилия. Кроме этого, исследователь посещал соседние регионы и брал интервью у представителей чеченской диаспоры в Европе. Основу эмпирического материала составили 78 глубинных интервью с представителями трех правовых систем: государственных судей, прокуроров и полицейских; исламских кади и имамов; старейшин, хранителей адата. Дополнительно были опрошены чиновники, юристы, правозащитники, а также представители интеллектуальной среды – университетские преподаватели, этнографы, историки и журналисты. Отдельно можно выделить групповые дискуссии, включая заседания советов старейшин. В беседах с официальными лицами особое внимание уделялось трем аспектам: наиболее распространенным правовым спорам, реальной практике их разрешения и нормативным представлениям о должном.

Отдельный блок интервью был посвящен военному опыту, где респонденты представляли различные стороны конфликта – от бывших боевиков и политиков до сотрудников НПО, помогавших перемещенным лицам, и журналистов, освещавших события. Эти материалы позволили реконструировать историю виктимизации и механизмы управления в военный период.

Метод включенного наблюдения применялся в различных контекстах: от заседаний федеральных и шариатских судов до повседневных практик – работы госучреждений, деятельности НПО, университетских занятий, религиозных обрядов и бытовых взаимодействий. Собранные качественные данные легли в основу детального анализа правового плюрализма, выявления типичных споров и стратегий их разрешения.

Для верификации выводов Егор Лазарев дополнил качественные методы количественным анализом оригинальных опросов и судебной статистики. Проведенный репрезентативный опрос (особенно значимый в условиях отсутствия в Чечне крупных опросных служб) и сбор поведенческих данных в судах, несмотря на известные сложности работы с административной информацией в целом на Северном Кавказе, позволили выявить и проанализировать реальные правовые предпочтения населения.

В своей книге Егор Лазарев определяет чеченское общество как постколониальное, постконфликтное, постсоветское, которое является частью федерации. Из этого перечня спорным, на мой взгляд, является определение «постколониальное». Оно вызывает у меня вопросы не из-за исторической спорности самого термина (мне кажется вполне уместным рассмотрение присутствия России на Кавказе в качестве именно колониального), но из-за его аналитической уместности в контексте современной российской федеративной системы. Это замечание возвращает

нас к еще одной проблеме, обозначенной в начале рецензии. Работа Лазарева принадлежит к определенной интеллектуальной традиции, которую условно можно назвать «критической» в рамках исследований Северного Кавказа. Ее представители, включая некоторых цитируемых Лазаревым исследователей, предлагают важный и необходимый взгляд «снизу», фокусируясь на травматическом опыте различных конфликтов на Кавказе, механизмах сопротивления и стратегиях выживания местных сообществ. Однако, как и любая исследовательская перспектива, этот подход имеет свои слепые зоны.

Анализируя Чечню преимущественно через призму насилия, сопротивления и маргинализации, мы рискуем воспроизвести своеобразный ориенталистский дискурс, где регион предстает как пространство исключительно страдания и противостояния. При этом остаются за кадром другие аспекты чеченской социальной реальности – процессы адаптации, компромисса, сознательного выбора в пользу интеграции. Это не упрек автору, его работа как раз отличается вниманием к сложным стратегиям взаимодействия с государством, а скорее приглашение к методологической рефлексии.

Парадоксальным образом критическая традиция в изучении Чечни при всей своей ценности иногда воспроизводит ту самую логику противостояния, которую стремится преодолеть. Возможно, следующим шагом в развитии этого направления мог бы стать более гибкий подход, учитывающий не только опыт жертв, но и мотивацию тех, кто сознательно участвует в строительстве существующей политической системы, будь то из прагматических соображений, искренней лояльности или сочетания того и другого. Такое расширение перспективы не означало бы отказ от критической позиции, но позволило бы увидеть чеченское общество во всей его сложности. Не только как объект внешнего воздействия, но и как пространство разнонаправленных стратегий и осознанных выборов.

Валентина Александровна Танайлова

References

- Migdal, J. (1988) *Strong societies and weak states: State-society relations and state capabilities in the Third World*. Princeton University Press.
- Migdal, J. (2001) *State in society: Studying how states and societies transform and constitute one another*. Cambridge University Press.
- Tilly, C. (1990) *Coercion, capital, and European states, AD 990–1992*. Blackwell.
- Tilly, C. (2004) *Contention and democracy in Europe, 1650–2000*. Cambridge University Press.

Сведения об авторе:

ТАНАЙЛОВА Валентина Александровна – стажер-исследователь Института этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия); младший научный сотрудник

Лаборатории социокультурной антропологии, Московский государственный лингвистический университет (Москва, Россия). E-mail: valya00763@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Valentina A. Tanaylova, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); Moscow State Linguistic University (Moscow, Russian Federation). E-mail: valya00763@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 23 апреля 2025 г.;
принята к публикации 30 июля 2025 г.*

*The article was submitted 23.04.2025;
accepted for publication 30.07.2025.*

Научный журнал

**СИБИРСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
SIBERIAN HISTORICAL RESEARCH**

2025. № 3

Редактор Н.А. Афанасьева
Оригинал-макет А.И. Лелоюр
Дизайн обложки Л.Д. Кривцовой
Редактор-переводчик А.П. Данилова

Подписано в печать 25.09.2025 г.
Формат 70×108¹/₁₆. Печ. л. 15,3. Усл. печ. л. 19,9. Гарнитура Times.
Тираж 50 экз. Заказ № 6456. Цена свободная.

Дата выхода в свет 27.10.2025 г.

Отпечатано на оборудовании
Издательства Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Тел.: 8(382-2)–52-98-49
Сайт: <http://publish.tsu.ru>
E-mail: rio.tsu@mail.ru